ГАЛИМДЖАН
ИБРАГИМОВ

НАШИ ДНИ

СЕРИЯ КНИГ О КОММУНИСТАХ

ГАЛИМДЖАН ИБРАГИМОВ

Классик татарской советской литературы Галимджан Ибрагимов (1887—1938) был свидетелем и участником трех русских революций, активным борцом за социалистическое преобразование жизни после Великого Октября.

Он первым в татарской прозе приступил к освоению историко-революциоиной темы. Картины революциоиной борьбы родного народа писатель рисовал, опираясь на непосредственные впечатлеиия, широко привлекая богатейший историко-архивный матсриал, обращаясь к мемуарам и свидетельствам современников. Стремясь к максимальной достоверности, писатель решал главную задачу: создание образа нового героя — революционера, большевика. И не случайно иекоторые образы, выведенные в многоплановом романе «Наши дни», были «спнсаны» Г. Ибрагимовым с реальиых прототипов, с живых участников революции 1905 года в Поволжье, иа Урале.

ГАЛИМДЖАН ИБРАГИМОВ

НАШИ ДНИ

РОМАН

Перевод с татарского
Р. Фаизовой

МОСКВА · «СОВРЕМЕННИК» · 1983

С (тат)2
И 15

Ибрагимов Г. Г.

И 15 Наши дни: Роман /Пер. с татарского Р. Фаизовой.— М.: Современник, 1983.— 398 с. (Сыновья века).

Галимджан Ибрагимов — основоположник татарской советской литературы, крупный филолог, историк, известный общественный деятель, оставивший яркий след в духовной культуре своего народа.

Многоплановый историко-революционный роман «Наши дни» вдохновенно и романтично воссоздает картины революционной борьбы 1905 года. Поднимая глубинные пласты народной жизни, писатель раскрывает ее сложный, противоречивый характер, где сталкиваются и противоборствуют политические, сословные, национальные интересы... С горячей любовью рисует самоотверженность революционеров (Зарифа Булатова, Герея Султанова и других), посвятивших себя борьбе за свободу.

И $\frac{4702510000-010}{М106(03)-83}$ 233—83

ББК84.Тат
С(тат)2

НАЧАЛО ВЕКА

Классик татарской советской литературы Галимджан Ибрагимов (1887—1938) был свидетелем и участником трех русских революций, активным борцом за социалистическое преобразование жизни после Великого Октября.

Он неоднократно видел и слушал В. И. Ленина, имел счастье вести с вождем деловую беседу в его рабочем кабинете, получил от него доброе напутствие...

Подобно М. Горькому, в своей родной литературе он развивал реалистические традиции XIX века и одним из первых создал галерею новых людей — борцов революции. То есть он решал ту задачу, которая определяла и определяет магистральную линию развития всей советской литературы, начиная с таких этапных произведений, как «Разгром» А. Фадеева, «Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича.

Тема революции глубоко волновала его, и параллельно с трилогией им создавалось серьезное научное исследование — «Революционное движение среди татар». Оно было издано в 1925 году, а через год — на русском языке («Татары в революции 1905 года»). По замыслу писателя труд этот должен был охватить события всех трех революций в России.

Появление в одной из тюркоязычных литератур писателя такого масштаба, с биографией революционера и общественного деятеля, уже само по себе примечательно. Татарский прозаик оказал в двадцатых и тридцатых годах огромное влияние на литературный процесс Советского Востока.

Так, один из основоположников туркменской советской литературы, автор «Решающего шага», Берды Кербабаев всякий раз, когда речь заходила о его творчестве, неизменно говорил об одном из своих литературных учителей — татарском прозаике Галимджане Ибрагимове. Произведения Г. Ибрагимова сыграли в литературной судьбе туркменского собрата по перу исключительную роль — они побудили Б. Кербабаева, известного тогда молодого поэта, перейти от стихов к прозе.

Данью уважения учителю, выражением горячей признательности явилась статья Б. Кербабаева «Живой голос художника», опубликованная в «Правде» в 1962 году к 75-летию Г. Ибрагимова.

«Вода течет, а скалы стоят незыблемо. Само время не властно над ними. Так и люди, те, что силой дел своих и духа возвышаются гордыми утесами, и ни время, ни случай не вольны вырвать их имена из благодарной памяти людей. Одним из таких был и Галимджан Ибрагимов — классик татарской литературы, первый мой учитель на большом и нелегком пути литературы»,— писал Берды Мурадович.

Впрочем, не один Б. Кербабаев, а многие видные прозаики тюркоязычных литератур знали хорошо творчество Г. Ибрагимова, притом на языке оригинала, любили его произведения, считали и считают его своим учителем,' крупнейшим мастером современной прозы. К опыту Е. Ибрагимова обращались и Мухтар Ауэзов, и Сабит Муканов, и Абдулла Кадыри, и Айбек — всех имен не перечислишь...

Да, Галимджан Ибрагимов, бесспорно, самая крупная фигура в татарской литературе двадцатых и тридцатых годов.

Необыкновенно разносторонней была сама личность этого человека. Г. Ибрагимов счастливо сочетал в себе талант художника слова и пытливость ученого-историка. Он мог живо интересоваться проблемами лингвистики и в то же время с головой окунаться в кипучую, повседневную революционную деятельность. Будучи педагогом, он проводил смелые эксперименты в деле преподавания литературы. Пожалуй, ни одна отрасль общественных наук не была чужда Г. Ибрагимову.

Богата интересными фактами биография писателя. Все перипетии сложного жизненного пути Г. Ибрагимова было бы трудно раскрыть в кратком предисловии. Приведу лишь два эпизода.

...1918 год. Москва. Г. Ибрагимов работает в Центральном мусульманском комиссариате, созданном при Народном комиссариате по делам национальностей, и одновременно редактирует газету «Чулпан». В то время писатель еще числится в партии левых эсеров, но по важнейшим политическим вопросам примыкает к платформе большевиков, вызывая тем самым недовольство своей партии. Большое влияние на татарского революционера оказывают речи и статьи В. И. Ленина. События развиваются стремительно, воочию обнаруживается истинная сущность целого ряда мелкобуржуазных политических партий. Левые эсеры в знак «протеста» против мирного договора с Германией покидают советский аппарат и даже организуют мятежи против Советской власти. Но Г. Ибрагимов безо всяких колебаний остается на посту заместителя Мусульманского комиссариата. Понимая двойственность своего положения, страстно желая отдать свои силы революционному народу, Г. Ибрагимов идет за советом к В. И. Ленину. «Я ...был принят Владимиром Ильичем,— вспоминал писатель впоследствии в своей автобиографии,— рассказал ему свою фактическую позицию. Он сказал по этому вопросу

в категорической форме: «Работайте!» [1] Это слово вождя было добрым напутствием татарскому общественному деятелю и революционеру, выражением полного доверия к нему. В 1920 году Г. Ибрагимов стал членом партии большевиков, причем партийный стаж ему был определен с 15 февраля 1917 года.

И вот другой эпизод.

...Лето 1919 года. Молодая Советская Республика ведет тяжелые бои против контрреволюционных сил и интервентов. По особому заданию командовании Красной Армии Г. Ибрагимов, временно оставив свои литературные и общественные дела, облачившись в простую крестьянскую одежду, отправляется на подводе в тыл Колчака. Выдавая себя за мужика, промышляющего извозом, он собирает ценные сведения о противнике. Опасность преследует Г. Ибрагимова на каждом шагу, но он, верный своему революционному долгу, продолжает выполнять трудное задание. Сказать кстати, жажда подвига не была чужда порывистой, романтически настроенной натуре татарского литератора. Сохранилась старая фотография, на которой Г. Ибрагимов снят по возвращении из этого довольно долгого «извоза». Обросший окладистой бородой крестьянин даже отдаленно не напоминает интеллигента, служителя муз. В результате этой поездки писателем был опубликован очерк «Четыре месяца в стане врага».

Литературное наследие Г. Ибрагимова весьма значительно. Из-под его пера вышло четыре романа («Молодые сердца», «Наши дни», «Дочь степи», «Глубокие корни»), целый ряд повестей и рассказов. Пробовал он свои силы и в драматургии.

Всесоюзному читателю еще в тридцатых годах был известен роман «Глубокие корни», изданный в переводе на русский язык.

Роман «Наши дни» занимает особое место в творчестве выдающегося татарского прозаика. Ни одно его сочинение не было столь многоплановым, глубоким по замыслу и таким сложным для читательского восприятия.

История создания «Наших дней» сама по себе заслуживает внимания, она помогает понять черты своеобразия этого произведения.

Г. Ибрагимов был непосредственным участником революционых событий 1905—1907 годов. Для татарского общества тот период был переломным. На политической арене заявила о себе буржуазия. Интеллигенция искала путей сближения с народом. Немногочисленный в тот период татарский пролетариат рука об руку с русским рабочим классом боролся в революции за свои права. Именно в тот сложный, переломный момент появились такие выдающиеся личности, как поэт-демократ Габдулла Тукай, как Гафур Кулахметов — драматург, испытавший несомненное влияние пролетарской идеологии.

---

[1] Подлинник автобиографии — в архиве Татарского обкома КПСС. Фонд 1378, опись 1987, единица хранения 110, дело 378, стр. 123.

События первой русской революции настолько ярко запечатлелись в сознании Галимджана Ибрагимова, что возник замысел большого эпического полотна. К непосредственному осуществлению этой задачи писатель приступил лишь в 1914 году. На юге, в Сухуми, за исключительно короткий срок — меньше чем за полгода — был написан роман «Наши дни». Одно из казанских издательств решило осуществить публикацию нового произведения, но царская цензура незамедлительно наложила запрет на роман, в котором автор осмелился отобразить картины революционных боев.

Пришел Октябрь 1917 года, и путь к публикации «Наших дней» был открыт. Роман вышел в свет в 1920 году. Произведение имело успех, но взыскательный писатель не был удовлетворен. Первоначальный вариант романа теперь уже Г. Ибрагимову казался устаревшим, требующим новой редакции. Дело в том, что в условиях 1914 года автор не видел и видеть не мог конечной эволюции своих героев: последние еще не обозначились в достаточной степени как зрелые социальные характеры. Не случайно в 1914 году Г. Ибрагимов писал в письме к своему другу, литератору Х. Карниму:

«В новом романе «Наши дни» появится много новых людей. Увидишь среди них себя — не поражайся. Только одно, дружище, плохо — татарская действительность, в особенности жизнь молодежи, еще не раскрыла своих возможностей: законченных, зрелых характеров почти нет».

Социальные характеры достигли своей зрелости в период Великой Октябрьской революции. Именно она, революция, должна была стать естественным финалом романа «Наши дни». Вспомним о том, что В. И. Ленин в свое время советовал А. М. Горькому дождаться революции, чтобы осуществить замысел романа «Дело Артамоновых». «Отличная тема...— говорил Ленин,— но — не вижу: чем вы ее закончите? Конца-то действительность не дает. Нет, это надо писать после революции» [1].

Г. Ибрагимов все больше убеждался в необходимости пересмотреть первую редакцию романа «Наши дни», сознавая, что судьбу героев романа следует довести до рубежей Октябрьской революции. Так созрел замысел обширной историко-революционной хроники, которую писатель видел как трехтомное повествование (под названием «Волны жизни»). Первой частью трилогии должен был стать роман «Наши дни», но в новой редакции, с большими изменениями.

В 1934 году читатели получили пересмотренный вариант известного им романа «Наши дни». Г. Ибрагимов продолжал работать над второй и третьей книгами трилогии, несмотря на тяжелую обострившуюся болезнь. 21 января 1938 года писатель умер. Замысел трилогии остался нереализованным. Мы располагаем лишь первой книгой заду-

[1] См.: Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 30, 1955, стр. 168.

манной эпопеи — романом «Наши дни», притом в двух редакциях. Настоящий русский перевод осуществлен с текста 1934 года.

Роман «Наши дни» — первая историко-революционная эпопея в татарской литературе и, если брать шире, первый образец социального романа. В татарской прозе появились герои, сознательно борющиеся за преобразование общества революционным путем (Зариф Булатов, Герей Султанов). И как бы ни был трагичен финал романа, веришь, что этому герою принадлежит будущее.

Кто он, этот герой?

Прежде всего, это — борец, убежденный в правоте своего дела, выбирающий трудную и опасную дорогу борьбы с самодержавием.

И Зариф Булатов, и Герей Султанов — члены РСДРП(б), выполняющие волю партии, ощущающие свою связь с большевистским центром. Они одни из тысяч других таких же борцов, объединенных в рядах социал-демократии.

Как много значат для них имя В. И. Ленина и его слово! Статьи вождя учат их бороться, выбирая ближние и дальние цели.

Показательна эволюция этих героев. Общее и закономерное проявилось в их биографиях.

Зариф Булатов родился и вырос в бедной городской семье. Пройдя суровую жизненную школу и приобщившись к рабочему движению, он стал профессиональным революционером.

Герей Султанов с восьмилетнего возраста работал на заводе, сблизился постепенно с представителями социал-демократии, вступил в партию большевиков. Возглавлял боевые дружины, вел непримиримую борьбу с меньшевиками и эсерами, участвовал в стачечном движении и боролся за перерастание всеобщей стачки в вооруженное восстание.

Схваченный жандармами, Герей, даже приговоренный к смертной казни, сохранил уверенность в конечной победе рабочего класса.

Он гибнет за революцию. Его смерть становится оптимистической трагедией, осознанным подвигом ради самых высоких идеалов человечества.

Некоторые читатели в письмах к Г. Ибрагимову упрекали его за «пессимистический» конец романа, видя в этом нарушение исторической перспективы. И вот что ответил своим адресатам Г. Ибрагимов. Он обратился к опыту русской советской прозы, к роману А. Фадеева «Разгром», чтобы показать необоснованность упреков.

«Вы знаете,— писал Г. Ибрагимов,— партия несла очень большие жертвы... Вы, конечно, читали хорошее реалистическое произведение известного писателя-коммуниста Фадеева «Разгром». Здесь под руководством Левинсона сражается тысячный партизанский отряд. А сколько остается после жестокой битвы? Есть глава «Девятнадцать».

Когда Г. Ибрагимов создавал первую редакцию своего романа «Наши дни» (1914), реалистическое направление в татарской прозе было еще не окрепшим. Галимджан Ибрагимов дебютировал, в сущно-

сти, как писатель романтического склада, а первые главы «Наших дней» писались автором в период начавшегося крутого перелома в его творчестве: романтически приподнятый слог ранней прозы Г. Ибрагимова менялся на суровую, точную, нагую речь. Роман «Наши дни» хранит следы начавшегося перехода, поэтому в словесной ткани произведения эклектично сочетаются элементы реализма с чертами романтического стиля. Длительная творческая история романа позволяет делать интересные выводы о возмужании таланта писателя, о его движении к настоящей зрелости и мастерству.

Роман «Наши дни» — прекрасный памятник татарской прозы. Нельзя не быть благодарным писателю за произведение, в котором неувядаемо живет его эпоха.

Виль Ганиев

I

СТРАШНОЕ НАДВИГАЕТСЯ

Ночь темна. Всюду тихо. Но море шумит. Море там, внизу, злобно воет. Его грозные волны, вздымаясь, бросаются на крутые каменистые берега. Кажется, вот еще несколько ударов — и волны захлестнут весь мир... Но для вас опасности нет. Ваш дом — на уступе высокой скалы, и как бы сильны ни были волны, сюда они ие доберутся. Вы можете не тревожиться. Послушать, распахнув окна, шум моря и снова погрузиться в мирный сон.

Такими же далекими представлялись сначала некоторым людям, в глухих углах страны, и могучие волны революции, поднявшиеся в море великой России.

Где-то борются с правительством рабочие, где-то на улицах воздвигаются баррикады, широкие площади покрываются трупами убитых... Рекою льется кровь... Но это где-то там, далеко... А сюда, немного смущая душевный покой, доходит только гул бури. Сами же волны сюда не докатятся. Можно продолжать устоявшуюся веками привычную жизнь. Так она и течет здесь, жизнь,— медленно, все по тому же старому руслу. И лишь разные слухи, все более мрачные, как-то беспокоят и, вызывая в воображении страшные картины, вселяют в сердце тревогу.

Вначале казалось, что ничего особенного и не произошло. Просто какие-то студенты, не одолев премудростей наук, принялись со зла мутить да бесчинствовать. Однако смутные разговоры не прекращались, слухи ползли, и рисуемые воображением страхи раздувались, разрастались: мол, черная туча, которая показалась на западе, заслонит скоро все небо, и запляшут тогда огненные молнии, загрохочут громы и рухнет весь мир.

Вначале говорили о крамольниках-студентах. А потом объявилась совсем новая группа людей — как их, социа-

листов, что ли? В одной руке у них якобы красные флаги на длинных древках, в другой — чудовищное, вроде адской машины, оружие! Вот в столице, где живет сам царь, поднимаются рабочие, родилось новое слово — забастовка, закрываются заводы, фабрики, на железных дорогах останавливается движение. Одни не могут уехать, другие не могут вернуться и застревают где-то на полпути, на чужих, незнакомых станциях.

Тем временем волна докатывается и до деревень: крестьяне, еще вчера падавшие ниц перед помещиком, сегодня отбирают у него землю, рубят его лес, жгут усадьбу.

Над городом, еще вчера погруженным в дрему, сегодня гул и треск бомб, пулеметов, винтовок. Взрывы бомб, брошенных нынче в губернатора, завтра в министра, то и дело потрясают тихие когда-то улицы. Грабежи становятся чем-то обычным. Сегодня на почте захватывают сто тысяч, завтра вооруженный отряд уносит из банка полмиллиона. Растерянное правительство кидает свои войска, полицию, жандармерию, чтобы остановить вздыбившиеся волны. Тюрьмы полнятся новыми и новыми заключенными, крестьянские поля, заводские, фабричные улицы покрываются трупами убитых повстанцев, кровь заливает землю. В темные ночи на обнесенных высокой кирпичной стеной тесных площадках возле зловеще вытянувшихся к небу столбов смерти палачи ждут своих жертв.

Борьба ширится, разливается стремительным потоком, как река весной в половодье.

II

ГЯУРЫ ДЕРУТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ

То были дни, когда события развертывались с молниеносной быстротой. Волны вдруг стали неотвратимо близкими, молнии засверкали перед самыми глазами. Искры глухой, страшной борьбы, которая еще так недавно представлялась очень далекой, о которой и не думали, что она когда-нибудь дойдет сюда, вспыхивали уже совсем рядом. Увидев, как сгустились черные тучи, как заметались огненные молнии, вздрогнули и те, кто пребывал в тяжелой спячке.

— Что это такое?.. О аллах, неужто добираются и до нас?..

Добираются! Добираются! Волна захлестывает и этот

город, и эти улицы. Дракон революции, который буйствовал где-то вдали, чей жуткий призрак являлся здесь лишь в воображении, теперь готов ринуться и на них, готов заглотить их...

В городе замечают незнакомых, чужих людей. На улицах, на базаре, на всех перекрестках что ни день находят написанные синими чернилами листовки. Они написаны не по-русски, не на языке гяуров, а на своем, татарском языке. В них кто-то призывает:

— Довольно спать!

— Пора пробудиться!

О каком сне говорят эти листки?

О каком пробуждении?

Не успевают разобраться в этом, как всех ошеломляют новые слова: «Единение рабочих»... Нет, дескать, ни русских, ни евреев, нет немцев, нет татар,— все вместе, все равны, для всех единый путь. Мол, скоро рабочие нашего города объединятся и пойдут с красными флагами к губернатору, станут чего-то требовать у него. И если тот им откажет, бросят работу, забастуют...

— Что это? Безумие? С ума, что ли, они посходили?.. «Бросят работу»! Да пускай! Пусть бросают... и хоть проваливаются в тартарары! Уж кого на свете много, так это рабочих! Один уйдет — десять заявятся. Хозяину-то не все равно? А те вместе со своими семьями с голоду подохнут...

Так и рассудили. Но пока пытались утешить себя, искали успокоения взбудораженным мыслям, стали доходить вести, что в городе то тут, то там останавливаются заводы, закрываются фабрики. А слух, что отключат водопровод, вызвал немалую суматоху у хозяек. Они спешно принялись наливать воду в бочки, кадушки, кумганы[1]. Тревожный слушок приполз и с электростанции. А уж когда пошли упрямые толки о том, что и пекари объявят забастовку, страх лишиться сразу и огня, и воды, и хлеба охватил даже спокойные доселе дома. Паника росла не по дням, а по часам.

Теперь уже трудно было не верить. До сих пор, пока эти неведомые «они» орудовали, скрываясь от царя, полиции, жандармов, таились в подполье, можно было видеть лишь написанные синими чернилами листовки их... Но вот уже третий день, как выпырнули «они» сами.

Люди пришли в недоумение:

---

[1] Кумган — медный кувшин с крышкой.— *Примечания здесь и далее переводчика.*

— Что за диво?.. Ужасы-то ведь какие рассказывали! А поглядишь — ничего страшного! Такие же люди, как и мы. Только много их очень, и очень они озлобленные. Нагайки ли конных казаков, солдатские ли винтовки или сабли жандармов — все им нипочем! Запрудят широкие улицы из края в край и текут, волнуясь, будто поток весенний, вырвавшийся из берегов. А впереди — красное знамя... Потом остановятся где-нибудь на перекрестке или на площади. Один заберется куда повыше, а то вскочит прямо на плечи своих товарищей и, взмахнув знаменем, разразится речью на всю площадь. Ему со всех сторон кричат: «Ур-ра!.. Ур-ра!..», из толпы несутся какие-то возгласы, и все, словно бы угрожая кому, поднимают невообразимый шум. Назревает стычка. В гущу людей, пытаясь кого-то схватить, бросаются жандармы. Их не пропускают, начинается перепалка, хлопают винтовочные выстрелы. Чтобы разогнать бурную, гудящую толпу, прямо на нее, хлеща людей нагайками, устремляются казаки. В воздухе мелькают сабли, пики. Кто знает, что там происходит еще, но говорят, что человек сорок полегло насмерть и что раненым счету нет. Мол, от пуль там рябыми стали белые стены домов, камни мостовой сплошь залило кровью...

А вечером разносится новая весть:

— Слышали? Берут город!

— Кто?

— У кого?

— Зачем берут?..

Но тревожные вопросы остаются без ответа. И люди, точно в ожидании удара молнии, сжимаются, цепенеют.

— О аллах, какие беды еще ожидают нас? На тебя уповаем, аллах!

Преследуемые всеми этими страхами нашли одно лишь утешение: между смутьянами нет своих, нет единоплеменников — татар! Как зайдет где речь о заполонивших город треволнениях, тут же успокаивают друг друга:

— Гяуры дерутся между собой!..

Однако и такое утешение оказывается ненадежным. Повсюду разносится наводящий ужас слух: будто «те» вламываются в густонаселенные дома и, замахиваясь обнаженными саблями, накидываются на людей: «Пойдете за нами или нет? Попробуйте не пойти, мигом срубим головы!» А тех, кто противится, приканчивают, мол, на месте.

Всполошились старометодные медресе [1], в которых жили

[1] Медресе — духовное училище.

по двести — триста шакирдов[1]. Сердца хазретов[2] и хальфэ[3] смущали новые опасения:

— Что мы станем делать, если «те» ворвутся в медресе и силой поволокут с собой?!

Люди осмотрительные приняли все меры предосторожности.

— Отец заболел, домой меня зовет! — заявил сын башкирского старшины старый шакирд-пишкадем[4] и улизнул к себе в деревню.

Старший кази[5] из мишар[6] вынул запрятанный в сундуке тяжелый железный брусок, которым обычно колол сахар, положил его на стол на видное место.

Хальфэ тоже не сидели сложа руки. Укрепили расшатавшиеся деревянные ворота, приделали к дверям новые петли, крючки и, как только наступали сумерки, запирались на все запоры. Хромой сторож не спал ночи напролет: караулил медресе.

В дни всеобщей тревоги и возбуждений самый почтенный мулла города Вафа-ахун[7] каждую пятницу с кафедры мечети обращался с наставлениями к пастве:

— Знайте, помните! Крамолой, смутьянами, духом мятежным полна ныне земля. По велению аллаха, именем ислама и корана говорю вам: если среди слуг мятежа и смуты появится хоть один мусульманин, это будет позором для мусульман всего мира. Не предавайте ислам, не бросайте черную тень на светлый лик мусульманства, не подходите близко к слугам мятежа, к слугам смуты!

И заканчивал проповедь слезной молитвой о здравии царя, царицы и всего их семейства, о нерушимой крепости их трона, о погибели всех враждебных им сил.

Первые ряды молящихся плакали вместе с ахуном и выходили из мечети с влажными глазами, но с умиротворенной душой.

По домам они разбредались словно бы уверенные в том, что опасность миновала, страхи отошли.

Но ненадолго наступало и это успокоение.

---

[1] Шакирд — учащийся медресе.

[2] Хазрет — почтительное именование муллы.

[3] Хальфэ — учитель.

[4] Пишкадем — шакирд, окончивший полный курс медресе и продолжающий там обучение.

[5] Кази — надзиратель в медресе со сравнительно широкими правами.

[6] Мишары — группа татар, имеющая диалектные отличия в языке.

[7] Ахун — то же, что благочинный у православных.

В пятницу вечером, когда мятежники шатались по улицам с красными флагами, будто бы кто-то видел рядом с их главарями служившего у богача-еврея приказчиком Габдрахмана. С ним якобы были еще какие-то молокососы, да тех не узнали... За этой новостью следовала другая: если верить слухам, два правоверных джигита отозвали того Габдрахмана в тихий переулок и в кровь избили его. Ты, мол, что мусульман срамишь?

Сами же джигиты вроде бы и рассказывали про то на базаре, хвастали перед тамошней братией:

— Дали мы ему жару. А он сразу и обмяк: «Не убивайте, говорит, дяденьки... В первый и последний, говорит, раз». Плачет, кается...

Не успела сдобренная смешными подробностями утешительная эта весть обойти татарские улицы, как все были захвачены новыми происшествиями: тут уж оказались замешанными не какие-нибудь приказчики еврейских богачей, а свои, истинно правоверные люди.

— Слышали? Взбунтовались двенадцать приказчиков торговца Кадыр-бая!..

Говорили, что они стали «красными», говорили с удивлением, с сожалением, со злобой.

Да еще и в медресе взбаламутились. Будто бы в Медресе-и-исламийе[1] нашлись шакирды, которые поднялись против своих наставников.

— Слышали? Двести шакирдов подписали и подали Гали-мюдаррису[2] петицию! Требуют каких-то реформ. Выбрасывают книги, выгнали нескольких старых хальфэ. Шумят: учите, мол, нас русскому, долой схоластику!.. Дали недельный срок. Если, мол, за это время не примут их требования, выбьют все стекла, разнесут каменные стены и пойдут с песнями по улицам!..

Разговоры, вначале вертевшиеся вокруг приказчиков Кадыр-бая и шакирдов Медресе-и-исламийе, очень скоро разрослись, раздулись:

— Нет! Это только начало смуты! Кадыровские и галиевские — не исключение. Дурная болезнь прилипчива. Слышали? Приказчики организовали между собой тайное общество «Помощь» и собирают на него деньги. За теми двенадцатью, что бросили работу у Кадыр-бая, оказывает-

---

[1] Медресе-и-исламийе — известное в свое время духовное училище.

[2] Мюдаррис — глава медресе, старший преподаватель.

ся, последовали приказчики Ибрай-бая, Салахи-хаджи[1], Голубого Вали, Хромого Садри, Гарифа-солдата, Ашита Нигмата... Говорят, они сообща обратятся к хозяевам: «Требуем, дескать, восьмичасового рабочего дня!.. Прибавки заработной платы!.. Человеческого обращения с приказчиками!» И если, дескать, не будет по-ихнему, все побросают работу...

Продолжались беспорядки и у шакирдов.

— Галиевские-то оказались не одни! Говорят, они перетянули на свою сторону еще четыре медресе. И тоже объединятся и составят тайное общество «Шакирд-реформист», примут туда своих единомышленников и возьмутся за свое: «Ввести новые порядки в медресе! Долой схоластику! Включить в программу светские науки: историю, литературу, географию, геометрию, химию! Русский язык должен стать полноправным предметом! Курс отрицания христианства, а также коран и хадисы[2] изучать в переводе на татарский!» Ну, а если, мол, мюдаррисы не пойдут навстречу их желаниям, шакирды бросят учебу.

Даже люди, которые считали, что это «гяуры дерутся между собой», и надеялись прожить в стороне, по своим издавна заведенным обычаям, по старинке,— даже они, увидев прорвавшуюся к ним волну, стали в смятении раздумывать: как же остановить этот нарастающий грозный поток?.. Правда, баи по-прежнему еще верили в свою силу. При первом столкновении Кадыр, Садри, Ибрай — все баи лишь усмехнулись с издевкой: пускай уходят! Только чего они добьются? Поголодают и притащатся обратно работу клянчить. Тут уж мы надаем им пинков!.. Сброд сопливый! Ведь курам на смех: подавай, мол, восьмичасовой рабочий день! Половинную надбавку на жалованье поднеси!.. Держите карман шире! Пятнадцать часов работаете, и то не больно разжились!..

Так поначалу рассуждал каждый бай, и собственные его доводы казались ему неоспоримо правильными. Неукоснительными как будто представлялись они и помалкивавшим пока приказчикам. Однако бай подмечал в приказчиках что-то не совсем обычное, и в душу его прокрадывались сомнения... Ведь вот даже Фахри, который прежде низко склонял перед ним голову, теперь стал каким-то другим... И остальные тоже переменились. Слово покрепче скажет или прикажет что погромче, смотрят исподлобья, вроде бы

[1] Хаджи — человек, совершивший паломничество к могиле Магомета.

[2] Хадисы — предания о жизни, об изречениях Магомета.

говорят: мы тебе не рабы!.. Хозяин чувствовал это. его так и подмывало закричать, затопать ногами, но он сдерживал себя. В душе его зарождался страх, он скрывал этот страх, злился на свою слабость и распалялся еще больше:

— Нет! Я им покажу! Зажрались! Зажирелая собака хозяина кусает... Так и они...

И твердо решал: ежели еще раз заметит своевольничанье, вот тут-то уж крикнет, топнет на них ногой, а коли станут прекословить — прогонит немедля...

Но тут опять забирало сомнение:

— Прогнать-то прогонишь... Да ведь сраму не оберешься! Приказчики, скажут, наперекор ему пошли... Сплетен будет сколько...

Лишились покоя и муллы-мюдаррисы. Они вначале тоже надеялись на свое право наставника, верили в свой авторитет. Услышав о разных беспорядках, мюдаррис не допускал даже мысли, что это может коснуться его.

— Нет! — говорил он.— Мир перевернется, но мои шакирды останутся мне верны!

Однако, входя в медресе, он чувствовал, что уверенность покидает его. Не те, не те стали теперь шакирды. Уж не говоришь ничего о подражании русским в одежде. Закрываешь глаза и на перемены в манерах. Не поднимаешь шума, как прежде, из-за отпущенных волос [1]. Но ведь некоторые дошли до такого бесстыдства, что считают за геройство пререкание с тобой, с наставником, который учил их добрый десяток лет: ты, мол, думаешь так, а я вот — иначе... Другие вовсе остыли к занятиям. Первое время сдерживались, стеснялись открыто заявлять об этом, а теперь им ничего не стоит презрительно бросить:

— Не те времена, чтобы такой схоластикой мозги засорять!

Кази тоже жаловался на шакирдов:

— Вечно где-то пропадают. Книжки читают со всякими пустыми бреднями. От тех книжек и блажь-то у них! Нет, так не пойдет, надо их взнуздать. Сопливы еще, чтобы своим хальфэ перечить! Узнают они меня! Я им покажу!..

Больше всего горя и тяжелых дум принесли эти дни матерям. Сын чадолюбивой Камилэ служит у бая. И где бы какие бы ни происходили столкновения между баем и слугами, весть о них ввергает мать в тревогу, страхом сжи-

[1] По религиозному обычаю, мужчины должны были обязательно сбривать волосы.

мает ее сердце: неужто и ее дорогой Фахри пристал к этим крамольникам? Неужто и он прекословит баю-хозяину, идет против него?..

— Аллах, владыка, храни его от напасти! Да пребудет с ним счастье-благонравие...

В душевных муках, в молитвах проводит долгие ночи старуха Камилэ.

Наконец доходит слух, что ее сын ни в чем не замешан, служит по-прежнему покорно, безропотно. В сердце матери праздник радости.

Но радость меркнет очень скоро. Опять ползут слушки, опять волнения, бессонные ночи, проводимые в надеждах и печали.

Любимый сын Фаризэ, Джихангир, учится в каком-то далеком медресе. О нем говорят с любовью и гордостью: пройдет, мол, науки и вернется муллой — в чапане, с белой чалмой на голове. Надеются, что будет он в чести и в почете у народа. И все же ноет сердце матери: не впутался ли там сын в беспорядки, не вступил ли, увлекшись всякими бреднями, в распри с хальфэ, с наставником?!

Так и живет мать. Сейчас — надежда и радость, а в следующий миг — смутные вести, и снова полные скорби томительные, бессонные ночи.

Отцы тоже лишились покоя. Только уж они-то не льют горьких слез. Не взывают в темные ночи к аллаху с мольбой. Не пытаются умилостивить провидение обетами и подаяниями. Если крамола, если сын выступил против бая, муллы, наставника, отец не простит сына и не станет предаваться слезливым стенаньям. Призовет к себе и будет бить — до крови, пока не образумится, бить с горечью, злобой, остервенением! Ну, а если и это не вернет заблудшего на путь истинный, выгонит как собаку.

— Я ему кто? Есть у меня отцовское право или нет? Отдали его в медресе — пускай учится! Отдали на службу к баю — пускай служит. Да хорошо учится, хорошо служит! Тогда получит благословение. Человеком станет, опорой отцу и матери. А как преставятся они, будет молиться за их души!

Но то было время, когда перед взорами других ярким видением встало грядущее. Борьба разгорается. В ее пламени горят, рушатся гнилые устои старой жизни. А впереди, в далеком мареве, сияя светом свободы, вспыхивают лучи зарождающейся жизни. Влекут, тянут к себе сердца и души.

Хватит ли силы? Есть ли крылья, которые донесут до вольных, счастливых берегов?

О том не спрашивай. Ответы на этот вопрос таятся в открывающихся страницах истории.

III

СТАРЫЙ ЖАНДАРМ

Был один из ненастных, ветреных дней.

Старый жандармский полковник Герасимов велел оседлать к двум часам свою вороную лошадь. Осмотрел маузер, зарядил. И, словно воин, собравшийся в опасное сражение, или охотник, готовый один ринуться на сонмище львов, весь напряженный, с бьющимся сердцем, отдал приказ срочно вызвать отряд жандармов.

Солнце, приветливое и ясное утром, сейчас куда-то запряталось. Свинцово-серые тучи, громоздясь друг на друга, заволакивали небо. Из-за гор, долин и лесов на город стремительно надвигались дожди, налетел буйный, порывистый ветер.

Промозглый осенний день стал уже клониться к вечеру. Из тяжело нависших туч хлынул крупный холодный дождь. Деревья, крыши домов, улицы намокли, заблестели, по канавам потекли мутные воды. Немощные улицы превратились в непроходимое месиво грязи.

Когда старый жандарм во главе своего отряда подъехал к центру города, там, на цирковой площади, неумолчно гудело, волновалось людское море. Как будто на всех улицах жизнь замерла, как будто, оставив обыденные свои заботы, бросив дела, весь большой город бурным потоком ринулся на эту площадь. Кипела, теснилась плотная толпа. Клубы, театры, цирки теперь оказались слишком малы. Их залы не могли вместить народ, стекавшийся с заводов, фабрик, из училищ, из бедных кварталов. Вот уже третий день, как митинги, проводимые с разрешения, которое было вырвано у губернатора, перешли на площадь.

Герасимов соскочил с коня и, передав повод одному из жандармов, приказал отряду рассыпаться по краю, вдоль стен и заборов. Сам он решил пробраться сквозь толпу в середину — к сооруженной наскоро трибуне.

Тем временем слева, сотрясая воздух могучим пением, вступили на площадь колонны рабочих. За ними шли мелкие мастеровые, учащиеся, молодежь, мальчишки... Гера-

симов стал пробиваться туда: ведь вчера передали, что рабочие организовали «железные дружины» и выйдут на демонстрацию вооруженные. Потому-то старый жандарм и привел отряд в тридцать человек.

Но выбраться из толпы ему так и не дали. Какие-то люди, видимо желая перейти на другую сторону площади, стали нажимать изо всех сил. Герасимова подхватило, понесло и притиснуло к высокому забору...

Народу все прибывало. Вместе с рабочими и бедняками, жителями окраин, группами шли шакирды медресе, приказчики. Нахлобучив круглые шапки, застегнув на все пуговицы длинные казакины, меся кявушами[1] грязь, тащился сюда и всякий ремесленный люд из татарской братии. Эти почему-то сторонились других, держались особняком.

Среди них оказался и герой последних двух дней — «красный приказчик», как его теперь называли, Габдрахман. Левый глаз у него весь затек, щека повязана белым платком. Его сразу окружили другие приказчики. Главный среди бастующих приказчиков Кадыр-бая, хорошо, даже щеголевато одетый Фахри протянул ему руку и, смеясь, спросил:

— Значит, правду говорили? А я было не поверил разговорам...

Габдрахман покосился на него и тоже засмеялся:

— Не говори, брат! Щеку здорово попортили, песьи рыла! И ведь, на беду, в самое такое время, когда невесту себе облюбовал! — Хмыкнув, он добавил: — Слыхал, наверное, женюсь я... на Нэфисэ. Сваха уже согласие получила...— И пустился расхваливать свою невесту.

Фахри внимательно присматривался к Габдрахману. В глазах юноши, должно быть, мелькнула тень сомнения: действительно ли уж так сильно избили его? Габдрахман почувствовал это и, положив в карман маленькую книжку, которую держал в руке, развязал платок.

Фахри содрогнулся:

— Завяжи скорее, застудишь!

Под ухом зияла кровавая рана. На виске и под глазом темнели иссиня-багровые кровоподтеки.

Габдрахман снова осторожно завязал лицо и со смешком в голосе рассказал:

— В тот день я до самого дома губернатора шел рядом со знаменосцем и всю дорогу чувствовал на себе чьи-то

[1] Кявуши — кожаные калоши.

враждебные взгляды. Видно, подстерегали. Когда казаки стали разгонять демонстрацию нагайками, я тоже побежал и свернул в тупичок. Тут вдруг откуда ни возьмись двое знакомых парней — Сейфулла с Хайбуллой. Взялись ругать меня на чем свет стоит: ты, мол, всех мусульман позоришь! Избили в кровь и удрали. Пока я осмотрелся да закричал «караул»...

Он не успел договорить,— над бушующим людским морем поднялся низкий, сильный голос:

— Товарищи! Граждане! Дни этой великой схватки...

Площадь мгновенно затихла. Только позади возникло движение. Это те, кто стоял в стороне, начали протискиваться к середине. На заборах, воротах, на деревьях гроздьями повисли ребятишки, подростки.

Первым оратором был адвокат Абрам Моисеевич Соломонов, личность знаменитая. В залах суда часто можно было видеть этого человека среднего роста, с короткой, округлой бородой, с черными острыми глазами на худощавом лице. Он славился едкими выпадами против прокурора на процессах, а за последние четыре-пять лет сумел снискать себе известность и на арене политической борьбы.

Как-то особенно веско произнося каждое слово, Соломонов говорил об отношениях между правительством и народом. Обратившись к истории, он остановился на примере Конвента во времена Великой французской революции. Затем, сразу перескочив на революцию сорок восьмого года, напомнил о парижских баррикадах. И наконец, добравшись до революции, вспыхнувшей в России, завел красивейшую песню о конституции на основе демократии, о демократии на основе конституции, о парламентаризме...

Все это было не ново для Герасимова, хорошо ему знакомо. Когда впереди ожидались настоящие бои, вооруженные схватки и баррикады, разглагольствования адвоката о конституции не тревожили уши старого жандарма.

А вот стоило появиться на трибуне следующему после Соломонова оратору, которого знали под именем Коли, Герасимов злобно выругался про себя: «Таких бы давно на виселицу надо вздернуть! А мы им на трибуну выходить дозволяем...» Он никак не был согласен с тактикой, которую в последние недели приняли вышестоящие чины.

Как только Коля показался на трибуне, Фахри и Габдрахман, протискиваясь, расталкивая народ, устремились к нему. Они отлично знали этого сероглазого, с густыми, растрепанными волосами человека, всегда носившего под

тужуркой красную косоворотку, подпоясанную кушаком с кистями. Коля приходился родным дядей студенту Егору, который давал им уроки: тому самому Егору, о котором недавно пронесся слух, что его повесили. В доме своего учителя они часто встречались с Колей...

Узнали его и рабочие. Едва ветер зашевелил, взлохматил длинные пряди волос человека в косоворотке, татарин-текстильщик Галимов неистово захлопал в ладоши. Его аплодисменты бурно подхватили другие. Татарские рабочие знали Колю как самого пламенного оратора партии в их городе и любили, почитали его не меньше, чем своих — таких, как Герей Султан и Зариф Булат[1]. Дважды, когда он попадал в беду, с боем отбивали его у жандармов. Вот и сейчас они жадно вслушивались в его речь.

Голос у Коли сегодня был охрипший, не звенел, как прежде, и слова падали тяжело.

— Товарищи,— говорил он,— разгром самодержавия, конечно, самая насущная наша задача. Но, товарищи, победить этого противника — значит сделать лишь первый шаг, подняться лишь на первую ступень в нашей борьбе. Тут вам пели о конституции, о парламентаризме. Правильно, нужное это дело. Только людям трудового класса нельзя тешить себя иллюзиями, что они-де получат конституцию и что для них наступит полное благоденствие. Да, царское правительство — злейший наш враг. Однако, подобно царю и его правительству, враждебны нам и капиталисты и помещики. Если первый враг будет сражен, а власть перейдет к буржуазии, это буржуазное правительство повернет пулеметы, орудия, винтовки против пролетариата! Среди тех, кто сегодня провозглашает свободу, вы видите и либеральных буржуа. Не поддавайтесь обману! Если власть перейдет в их руки, эти самые либералы потопят в крови пролетарскую революцию... Нельзя забывать ни на минуту о том, как сложна классовая борьба, товарищи...

Его слушали, прерывая речь рукоплесканиями. Не раз вся площадь, вся округа гремела от взрывов оваций.

Герасимов с досадой заметил: чем резче говорит оратор, чем злее, острее слова, направленные против правительства, тем сильнее аплодирует толпа. И еще более утвердился в своем мнении: нет, полицейская шашка и казачья нагайка еще не завершили своей миссии в воспитании этого стада баранов, именуемого «народом»...

[1] В татарской речи возможны сокращения фамилий: Булатов — Булат, Султанов — Султан.

Сменялись на трибуне ораторы разных партий. Каждый громил правительство. Одна часть толпы устраивала овации одному оратору, другая — другому. А у жандарма копилась злоба на всех: «Какой упускаем момент! Эх, из пулемета бы их сейчас!..» Но осторожность, которую с обнародованием манифеста проявлял департамент по отношению к беснующемуся стаду и к тем, кто растравлял, распалял, подстрекал это стадо, отнимала возможность действовать.

Тридцать лет жизни отдал старый жандарм борьбе против революции. И сейчас каждое слово ораторов впивалось ему в самое сердце. «Если будет так продолжаться, сами погибнем и Россию погубим!» — с горечью думал он.

Вдруг раздался громкий голос председателя митинга:

— Зариф Булат!

Герасимов, услыхав татарское имя, сразу очнулся и, отбросив осаждавшие его тяжелые думы, уставился на трибуну.

На подмостки резким, стремительным шагом поднялся высокий, широкоплечий и очень худой мужчина в темном пальто и кепке. На смуглом его лице топорщились коротко остриженные, густые черные усы, черные глаза смотрели с легким прищуром. Он шагнул вперед, заговорил горячо, возбужденно. Голос у него был грудной, чуть надтреснутый. Говоря, Булат наклонялся всем корпусом то в одну, то в другую сторону, размахивал рукою, словно хотел движением и жестами сделать свою мысль зримой.

— Товарищи, близок час крушения монархии...

И после первых же его слов толпа зашевелилась. Татарские приказчики, шакирды из медресе, плохо знавшие русский язык и потому не особенно разобравшиеся в выступлениях других ораторов, тесня друг друга, хлынули к трибуне. Они надеялись услышать речь наконец-то на родном языке.

«Кто же это?.. Такое знакомое лицо...» — недоумевал Герасимов.

И, напрягая память, припомнил: однажды с рабочими и студентами, взятыми за участие в запрещенных собраниях, этого человека привели в жандармерию. Полковник, узнав, что вот попался и татарский бунтовщик, приметил его.

Тогда ему показалось, что молодой этот человек довольно толков в разговоре, скрытен и, возможно, хитроват... И все же в то время он ничего предосудительного в арестованном не нашел.

«Я татар люблю, тридцать лет среди них работаю. Не тот народ татары, чтобы против царя идти,— сказал он.— Молод еще. Евреи его подбили. Образумится!» — И отпустил Зарифа.

И вот сейчас Герасимов пристально всматривался в освобожденного им самим Булата... Он-то он... но как изменился!.. Ведь прошло совсем немного времени, а взглянуть на него — будто минул добрый десяток лет: так он вырос, возмужал, окреп. Правда, похудел, вокруг черных глаз появились морщины...

«Что ж, коли в тот раз оплошал, теперь уж не упущу!» — решил Герасимов и напрямик двинулся к трибуне.

Но тут из затененного деревянным забором угла площади раздался истошный крик мясника Фасхетдина:

— Тебя когда успели окрестить?! По-татарски, что ли, не можешь говорить?

Толпа от неожиданности вздрогнула. Жандармы обернулись на голос. Но, ничего не поняв, выжидательно уставились на Герасимова. Тот остановился, переводя взгляд то на Булата, то на Фасхетдина...

— О чем он кричит? Чего он хочет, этот татарин в шапке? — спросил Коля у пробравшегося к нему Фахри.

Узнав, в чем дело, подошел к трибуне и нетерпеливо зашептал Булату:

— Давай переходи на татарский! Крой по-своему! Они же нас не понимают!..

Однако Булат, боясь, что иначе его не поймет большинство, продолжал говорить на русском языке. Татары, до тех пор державшие себя на митинге несколько отчужденно, вдруг зашумели. Со всех сторон поднялись крики:

— Царь манифест объявил, говори по-татарски!

— По-татарски!..

Булату было все равно на каком языке говорить. Но сейчас он как-то растерялся: ему казалось, что он не сумеет найти нужные слова, термины, чтобы выразить большие политические идеи на татарском языке. Однако он не стал противиться, повернулся крупным своим телом в сторону, где больше всего скопилось татар, и заговорил по-татарски:

— Товарищи, братья! Царь объявил манифест. Но не по доброму желанию, а вынужденно. Не поддавайтесь обману! Одной рукой самодержавие протягивает манифест, а другой — нацеливает пушки, винтовки, чтобы ударить по революции. На словах манифест, а на деле — полиция, жандармы, ссылки, тюрьмы, палачи. Все силы правитель-

ства брошены на удушение революции, все поставлено на ноги, чтобы потопить в крови завоеванные пролетариатом свободы... Вы возлагаете надежды на манифест, но посмотрите: с вас, словно коршун, не сводит глаз полковник жандармерии Герасимов!.. Товарищи, манифест объявлен, свободы обещаны, борьба, однако, не закончилась на этом, а только начинается, только обретает глубину и размах. Борьба — до свержения самодержавия...

Герасимов не понимал, о чем говорит оратор, ему казалось, что он впервые в жизни сталкивается с таким возмутительным, даже оскорбительным для него случаем. В то же время ему не хотелось отпугивать пришедших на митинг татар. «Пусть поболтает немного!» — думал он, набираясь терпения.

Но когда оратор помянул его, Герасимова, имя и, судя по тону, отнюдь не добрым словом, он не выдержал. Рванулся вперед и, выхватив из ножен шашку, взмахнул ею, требуя внимания.

— Господин губернатор соизволил разрешить вам собраться лишь для разъяснения народу царского манифеста,— громогласно объявил он.— Вы же выходите за пределы дозволенного! Призываете к бунту, к восстанию, искажаете манифест государя императора... К тому же здесь нет переводчика. Я ставлю условие: не переходить границ! Все ораторы должны говорить на языке, доступном представителям власти... Иначе... иначе я буду вынужден закрыть собрание и привлечь нарушителей к ответственности по закону об охране государственного порядка!

Вокруг зашумели. Растерянность, страх, возмущение — все смешалось в разноголосом гуле.

Адвокат Соломонов, побледнев, взмолился:

— Ну что вы подводите, Зариф Гирфанович!.. И так поймут...

А Коля взобрался на плечи двух рабочих и, тряхнув светло-русыми волосами, гневным голосом подавил нарастающий шум:

— Что это значит, товарищи?.. Что же это за манифест?! Почему татарам затыкают рты?! Говорят, нам разрешили собраться здесь, чтобы разъяснить манифест. Как же его довести до татар, которые не знают русского, если не говорить на их языке?! Это во-первых. Во-вторых, удивительная все-таки происходит вещь: носятся они с манифестом — дескать, свобода слова, собраний, союзов... А тут жандарм Герасимов расставил кругом своих подручных с шашками наголо, сам влез в середину и не дает ораторам

слова сказать!.. Это ли маннфест? Это лн свобода?.. Я предлагаю: вывести жандармов с иашего собраиия!..

В это время сквозь неистовствующую толпу продрался вернувшнйся недавно из Баку рабочий Герей Султан, которого иазывали Кавказским. Его лицо пылало негодоваиием. Он так рванулся к трибуне, что один из жандармов испуганно отшатиулся: «Как бы бомбу не броснл!..» — и невольно схватился за револьвер на боку.

Пробившнсь вплотную к трнбуне, Герей потянулся к Булату и сдавлеиным от волнення голосом прохрнпел:

— Что стоишь? Продолжай! Начал, так режь и дальше по-татарски!

Однако в бурном людском кнпеннн Булат не расслышал его слов н, стараясь перекричать всех, обратился к гудящей, клокочущей массе по-русски:

— Товарищи, этот маиифест завоеван намн в боях! Чтобы добнться его объявления, пролетариату пришлось выдержать не одну кровавую схватку! Сейчас мы подошли к решающему этапу борьбы! Враг пошел на отступленне, даже потерпел некоторое поражение, но еще не разгромлен... Чтобы окончательно разгромить, уннчтожить его, чтобы пролетарнату и крестьяиству самнм стать хозяевами своей жизни, есть только одии путь! Только одно средство! Товарищн, к полиой победе над врагом нас может прнвести лишь вооруженная борьба! В руках протнвиика армня, в руках противннка тюрьмы, суд, палачи... В руках противника пушкн, пулеметы, вннтовкн! Чтобы победить такого врага, чтобы победнла революция, есть один лишь путь: вооруженное восстанне! Товарищи, нас ждут великие бои, мы должны быть готовы к ним!..

Внезапно в страстиую речь Булата ворвался какой-то шум. Все оглянулись и увидели, как, запрудив мостовую, тротуары, растекшнсь во всю шнрину улицы, двнгался к площадн людской поток. Впереди плыла, сияя золотом, огромная икона. Облаченные в парчовые ризы, торжественно выступали трое тучных, седобородых священников с тяжелымн серебряными крестами иа груднн. На порядочном расстояннн от них маячили белые чалмы — это шествовали муллы. За теми следовали почтенные баи в старинных татарских бобровых шапках, в добротных, застегнутых доверху бешметах. А дальше — опять попы, кресты, купцы. чиновники... И над всем этим потоком плыло тягучее пение. «Боже, царя храни...» — выводили идущне, и густые звуки неслись, обволакивая и цирк, н площадь, и собравшихся на площади людей.

Герасимов знал, что это шествие состоится сегодня, именно в этот час; собственно, он был одним из тех, кто готовил его. Но даже он не думал, что оно будет таким мощным, что пойдет и татарское духовенство. Он весь загорелся: настало время, час пробил, пора наконец скрутить крылья красному дьяволу! До сих пор его удерживала необычная мягкотелость, нерешительность департамента. Сейчас он забыл и о департаменте... Нет, говорил он себе, не погибнет Россия, есть еще у нас здоровые силы!

А Булат, не обращая никакого внимания на приближающиеся колонны, гремел на всю площадь, призывая к вооруженному восстанию.

Вскипев яростью, Герасимов грозно оборвал его:

— Собрание вышло за пределы дозволенного! Здесь не разъясняют манифест, а топчут его, подстрекают народ вооружаться против царя! Как представитель охраны государства, я не могу допустить крамольные выступления и распускаю митинг!

Он крикнул жандармам, приказывая разогнать народ и схватить тех, кто стоит на трибуне.

Жандармы, полицейские с гиканьем ворвались в середину толпы. На площади, как во время пожара, началась давка, поднялся шум, гам. Два жандарма бросились к Булату, но Галимов и Герей Султан Кавказский отбросили их в сторону. На трибуну взбежал Коля, стал призывать народ не расходиться. В него вцепились жандармы, а он все что-то выкрикивал, пока его не стянули вниз. Потом один за другим взбирались на трибуну студент и какой-то рабочий, но их тоже сбросили оттуда.

Тем временем черная демонстрация — попы, муллы, переодетые полицейские, агенты охранки — со всеми иконами, царскими портретами, чалмами, трехцветными флагами выстроилась вдоль ворот и забора цирка, затем окружила всю площадь. Назревала стычка. Пешие и конные жандармы накинулись на народ. Рабочие ломали ограды и ворота, вооружались досками, выворачивали булыжник, готовясь дать отпор.

Однако до столкновения дело не дошло. В дальнем конце площади неожиданно взметнулось вверх красное знамя, и люди хлынули к трепетавшему на ветру полотнищу. Площадь между тем со всех сторон оцепили конники казачьего эскадрона и рота солдат. Красное знамя тронулось с места, за ним, отбиваясь от преграждавших путь полицейских, бесстрашно шагая навстречу солдатским штыкам и казачьим нагайкам, двинулись рабочие, молодежь, шакирды,

приказчики, мастеровые... Другие, точно завидев хищника, бросились врассыпную кто куда. Но стекавшаяся под знамя густая толпа, невзирая на угрозы жандармов, сама устрашая силой, могущей поднять весь город, устремилась к переполненной политическими заключенными тюрьме.

И, могучая, взвилась, поплыла над улицами песня:

Вихри враждебные веют над нами...

IV

БУЛАТ

Зарифу Булату, который раньше был на полулегальном положении, в последнее время пришлось уйти в подполье.

На окраине, населенной татарами, есть переулок, который называют Глиняной улицей. До сих пор Булат жил с матерью и сестренкой на этой самой улице в маленькой лачуге через два дома от лавки на углу. После стычки с жандармами на цирковой площади он не рискнул вернуться домой и стал чуть не каждый день менять место своего ночлега.

Вот и сегодня он встретился с Гэвхар-туташ[1], у которой прятали некоторые вещи, и попросил ее передать Фахри, что придет ночевать к нему.

Двенадцать приказчиков именитого горожанина Кадырбая бросили работу. Ими руководил Фахри. Сколько шуму наделали они тогда в городе, сколько поднялось разговоров, споров среди татар! Но теперь острота, сама сущность этих разговоров и споров постепенно теряли в глазах Фахри свое значение. Его уже смущало, что он не может показать себя в более серьезном, нужном деле. Когда поздно вечером, скрываясь под густой вуалью, к нему, как к товарищу, пришла Гэвхар-туташ, Фахри снова почувствовал себя окрыленным. Правда, узнав причину ее визита, он немного струхнул: «Ночевать-то пустишь, а вдруг следом же за ним — жандарм...» Но тут же поборол в себе сомнение, даже во взгляде его оно не успело проявиться.

— Можно, можно. Вполне можно. Располагайте мною, туташ. Хоть я, вы знаете, в партии и не состою... Но с полным удовольствием. Вполне можно,— повторил он еще раз.

Проводив Гэвхар до ворот, он пожал ей руку, подо-

[1] Туташ — барышня. Употреблялось прежде как обращение к девушке.

ждал, пока она, дойдя до перекрестка, скрылась в ночной темени, потом быстро вбежал к себе в комнату. Ведь не шутка все-таки! Он впервые взялся за конспиративное дело... Дело это, конечно, не лишено опасности. Коли раскроется, спасибо не скажут: сошлют или посадят. Но не то сейчас время, чтобы бояться этого! Когда весь мир вверх дном перевернулся, завертелся волчком, не пристало и ему, Фахри, слоняться, поругивая Кадыр-бая, да двенадцатью приказчиками козырять... В первый, в первый раз!.. В первый раз дали ему тайное поручение. У него теперь одна из конспиративных квартир революции... А Гэвхар — ядовитая штучка! Ведь что говорит:

«Модисточек придется бросить. Язык надо держать за зубами. Проговоритесь кому-нибудь — погубите всю конспирацию, будете считаться провокатором...»

Только к чему такие слова? Ребенок, что ли, Фахри? Разве он не горит тоже огнем революции?

Сказала, что Булат придет в двенадцать. Прошло двенадцать. Час. Только когда пробило два, тихо стукнули в окно. Вышел с опаской. Перед ним стоял какой-то человек в низко надвинутой татарской шапке, в присборенной, обшитой мехом шубе, с узелком в руках. Оказалось, это Булат.

Молча вошли в дом.

— Как у тебя хозяева, не слишком любопытные люди? — спросил шепотом гость.

Фахри жил здесь недавно.

— Трудно сказать. Но очень набожные. Весь дом в иконах, и в каждой комнате по два царских портрета.

Булат, видно, очень устал. Его и без того худое лицо осунулось, щеки ввалились, глаза смотрели тускло. Он уже начал стягивать сапоги, чтобы поскорее улечься, как взгляд его упал на окошко. Кажется, от ворот к крыльцу скользнула чья-то тень... Жандарм или филер? Булат метнулся к окну. На крыльцо поднимались два вооруженных человека. За ними виднелись еще какие-то темные фигуры.

Он вмиг надел сапоги.

— Где у вас черный ход? — И, схватив шапку и шубу, бросился через кухню к другому выходу.

В полном мраке он сбежал по расшатанной лесенке и махнул через забор. Он решил пробираться на другой конец города — на завод, к Галимову.

Фахри остолбенел от ужаса. «Пропал,— подумал он,— теперь меня сочтут за провокатора... Булата, скажут, выдал... Убьют...»

А там, во дворе, будто хотели разнести все, колотили и колотнлн в дверь.

Накинув пиджак, Фахрн вышел. Спросил, не отворяя двери:

— Кого вам надо?

Назвали его имя и фамилию. О Булате не упомянули. Как же это?.. Может, не называют умышленно? Или в самом деле ищут его самого, «красного прнказчнка» Фахри?.. Он так н не разобрался.

Вошлн четверо — пристав, жандарм, двое понятых. После поверхностного обыска взялн два напнсанных по-татарски письма от матерн, несколько книжек, изданных татарскими социал-демократами, и ушлн.

Удивительно все-таки получилось... Фахри, хоть н не показывал вида, в душе очень растерялся, струсил, ожидая, что его уведут... А его и не тронули.

Он не спал до утра и, лишь просветлел день, ушел в город.

Как распутать захлестнувшийся узел?.. Попался Булат нли нет? В каком положении остальные?.. Ведь Гэвхар вчера предупреднла: «Проговоритесь — будете счнтаться провокатором...» Как же нзбавнться от этой неожиданной, навалившейся на него невыносимой муки?..

Пошел к Герею Султану. Там всегда сборище, кого-нибудь да встретншь! И Ннна с Колей оттуда, можно сказать, не вылезают... Ну, а в случае неудачи — к Гэвхар!

Размышляя обо всем этом, Фахрн вошел в подъезд дома, где жил Султанов, и вдруг увидел синюю фуражку. Пристав! С ним два жандарма и двое понятых... Поднимаются по лестнице к Герею! Что такое?.. Да что онн нынче, весь мир собрались обыскать?..

Пока Фахри соображал, как бы отступить, уйти незамеченным, пристав обернулся и окинул его фигуру мутным, одуревшим взглядом. «Надо, надо и этого прощупать, вроде тоже плелся к Султанову!» — шевельнулась у пристава мысль. Но он не спал уже двое суток, за одну последнюю ночь произвел обыски в четырех домах, одиннадцать человек взял под арест, сейчас шел к двенадцатому, в пятый дом... Голова у него словно бы разбухла, как тыква... Увндев Фахри, решнл было «прощупать» его, да тут же и позабыл о своем намереннн.

Фахри воспользовался заминкой и мгновенно исчез.

Пристав со свонми людьми поднялся в квартиру и вошел в маленькую, бедно обставленную, полутемную комнату Герея Султана. Вошел и удивленно остановился в

дверях: Султана не было... А какая-то очень хорошенькая девушка сидела за столом и быстро-быстро что-то писала. Личико ее побелело, тонкие губы сердито сжаты, в глазах сверкала злая обида. При виде пристава она скомкала бумагу и бросила на стол, но тут же схватила ее обратно и, сунув в ридикюль, поднялась. Она была одета в черную шерстяную юбку и красную шелковую кофту. Ноги были обуты в маленькие желтые ботинки на высоких каблуках. Каштановые волосы красиво подстрижены. А глаза голубые, точно ясное небо.

— Вы кто? Жена, родственница? — отрывисто спросил пристав и, не дожидаясь ответа, добавил: — Мы пришли с обыском. Ну-ка, давайте — какую вы там бумагу спрятали в ридикюль?

Девушка — трудно было угадать, русская она или татарка, так чисто щебетала она по-русски,— обхватила обеими руками ридикюль и прижалась к стене.

— Нет, это мое личное,— запротестовала она.— Вы пришли обыскивать не меня, а хозяина комнаты. Здесь нет ничего политического, просто объяснение между товарищами!

У пристава усталость как рукой сняло. Сопротивление девушки показалось ему очень подозрительным.

А вдруг, подумал он, в этой записке — ключ к раскрытию какой-нибудь тайны? И все мысли сосредоточил не на обыске, а на скомканной бумажке в руках девушки. Не сумев воздействовать словами, он приказал одному из жандармов:

— Отними у нее ридикюль! Открой и вытащи письмо!

— Я сама отдам! — крикнула девушка, когда жандарм начал ломать ей руки.

Но, вынув из ридикюля комок бумаги, быстрым движением сунула его себе в рот.

Для пристава значение бумаги после этого возросло еще больше. Теперь уже казалось, что можно пойти на любое средство, хоть на убийство, лишь бы заполучить ее. Он крепко обхватил девушку, пригнул ее и начал одной рукой разжимать ей зубы. Та сначала пыталась вырваться, но, почувствовав во рту грязный прокуренный палец, выплюнула бумагу и, вся красная, едва сдерживая тошноту, упала на стул. Придя немного в себя, она сняла с гвоздя жакет и шляпу, хотела уйти.

Пристав не выпустил девушку. Посадив ее за стол, стал допрашивать.

— Гэвхар Ильбаева.

Пристав поразился, услышав это имя:

— Как Ильбаева? Ваш батюшка работает в земстве? Вы дочь Мухаррама Сулеймановича?.. Вот не ожидал! Не ожидал... Что вас занесло в комнату этого крамольника?

На лице Гэвхар появилась вымученная улыбка:

— Я разбита вся, позвольте мне уйти, господин пристав!

И, стараясь не касаться политических моментов, коротко рассказала: знакома с Булатовым. Встречались в комнате Султанова. Вчера он назначил ей свидание здесь, но сам не пришел. Одна девушка, Нина, оставила ему записку. По этому поводу Гэвхар и хотела с ним объясниться. В ее письме нет ничего предосудительного, и она просит вернуть его ей, не читая.

Для пристава это предложение было решительно неприемлемым. Он уселся поудобнее и, разложив перед собой обе вырванные у девушки записки, внимательно прочел их:

Нина писала коротко.

«Меня сегодня не жди. Так получилось. Уезжаю на несколько дней в Челябинск».

Вторая записка была длиннее, написана нервно, раздраженно, но красивым почерком и тоже по-русски:

«Зариф, это мое последнее письмо к тебе. У меня на многое открылись глаза. Ты меня называл своей Гэвхар, своей умницей. Оказывается, ты так же относишься и к Нине. Иначе почему бы она приходила к тебе ночью? Почему обращается к тебе на «ты»? Значит, ты меня обманывал, а сам таскался с русскими девушками? Если эта курносая так дорога тебе, оставляю тебя ей совсем...»

Пристав рассмеялся. Записку Нины приложил к протоколу, а письмо Гэвхар возвратил.

Измученная, подавленная горем и унижением, девушка ушла. Пристав же, обыскав комнату, дал понятым подписать протокол, велел жандармам связать в узлы и забрать взятые у Герея книги и бумаги и заторопился в участок: наконец-то он сможет выспаться!

Но отдохнуть ему сегодня, видимо, не было суждено.

От начальника петербургского департамента на имя полковника жандармерии Герасимова пришла срочная за № 021450 шифрованная телеграмма. В ней передавалось распоряжение готовиться к ликвидации всех революционных организаций в губернии. Как только получил эту телеграмму, Герасимов превратил свой кабинет в оперативный штаб. Несмотря на острый приступ ревматизма, он

взялся непосредственно руководить всеми, даже незначительными мерами контрдвижения, контрнаступления.

Работа и внутренней агентуры и внешнего наблюдения у него была поставлена достаточно хорошо. Ему вовремя докладывали о деятельности социал-демократов, о движении рабочих, о всех возможных выступлениях. Вначале было сложнее со сведениями о татарах. Теперь и это наладилось. Его ставили в известность о деятельности панисламистских, пантюркистских, социалистических кружков среди шакирдов медресе. Приказчики тоже были на виду. Только вот возникла новая путаная задача. И ее-то до сих пор не могли разгадать, добраться до ее сердцевины! Вчера пришло анонимное письмо. В нем говорилось:

«Восемь рабочих-боевиков под руководством местного большевистского комитета устроили тайный склад оружия и фабрику бомб и динамита. Один из них татарин, зовут его Герей Султанов, кличка Кавказский. Это — большая, сильная подпольная организация. Она по указанию большевистского комитета готовит вооруженное выступление, вооруженные бои. У них имеются маузеры, бомбы, динамит, пироксилин, нитроглицерин, бикфордовы шнуры. Последние недавно переправлены в Россию из Парижа Центральным Комитетом. Вывезла шнуры, обмотавшись ими, одна девушка. Я пишу не обо всем. Если дадите мне десять тысяч рублей, раскрою эту фабрику».

Дальше было написано о том, как передать деньги, какими путями договариваться.

У Герасимова после чтения письма создалось такое ощущение, будто его посадили на пороховую бочку. И без того взвинченный, усталый как собака, он всю ночь не смог сомкнуть глаз.

Теперь он лично инструктировал всех, кого посылал на обыски, а потом каждого отдельно заставлял отчитываться. Тайная фабрика встала перед старым жандармским полковником задачей, в тысячу раз более сложной, чем та, которую задала ему телеграмма из петербургского департамента. Кто знает, возможно, что все, о чем говорится в письме, выдумка. Но ведь и другая возможность не исключена... Случалось же подобное и в других городах, и нередко! Если сообщение окажется верным, может получиться так, что, пока он будет готовиться ликвидировать их, они ему самому устроят ликвидацию... Ну, а случись это, какой же он тогда полковник!.. Баба-распустеха! Еще хуже...

Он направил всю энергию только по двум руслам: на

подготовку ликвидации этой группы и на раскрытие тайного склада оружия и фабрики бомб.

Пристава, который, обыскав комнату Султанова, принес материал, в сущности не стоивший и двух копеек, Герасимов выслушал, бранясь про себя: «Болван, пьяница! Чего от такого и ожидать?!» Вслух же сказал строго:

— Вечером в городском театре назначено собрание татар в связи с предстоящими выборами в думу. Вы пойдете туда для наблюдения за порядком как представитель власти! Подготовьтесь заранее, будьте трезвы! Скандалы и распри будут обязательно. Смотрите не прозевайте что-нибудь!..

Пристав ничего не понял, кроме одного: свободен до восьми часов! Пообедает, выпьет, поспит, а в половине восьмого пойдет колошматить басурман... Что может быть легче!

С этим он и поспешил к жене.

V

В ГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ

Когда пристав в сопровождении своих явных и тайных агентов явился в театр, там уже везде, даже на галерке, народу было набито битком. У самого входа, только он шагнул в вестибюль, с левой стороны кто-то налетел на него. Мелькнувшее лицо показалось приставу знакомым. Очень знакомым... И, кажется, видел его где-то недавно. Хотел было взглянуть попристальней, рассмотреть: не из тех ли молодчиков, за кем охотятся,— но человек уже исчез.

То был Фахри. Бедняга оробел и даже впал в уныние. «Что за несчастье! В течение суток третий раз сталкиваюсь с этой дубиной. Следит он, что ли, за мной? Или уж злой рок меня преследует?..» Чтобы скрыться, Фахри метнулся в зал.

Сегодня, после долгих мытарств, он нашел Булата в квартире у Галимова, и тот дал ему несколько поручений к Гэвхар. Фахри рассчитывал встретить ее на этом собрании.

Прошел в партер. Там все места, все углы были заняты, переполнены до отказа. В другое время на такие собрания приходили главным образом приказчики, молодые торговцы, ремесленники, шакирды. Но после того как некоторые

более просвещенные муллы в пятницу во время молебствия воззвали в мечетях к верующим: «Уважаемые прихожане, не оставайтесь в стороне, когда будут решаться дела нашей религии и шариата!» — сюда сошлись все, начиная от мелких торговцев с толкучки до мясников, отъевшихся баев и хаджи. Толкаясь, наступая людям на ноги, Фахри пробирался по залу. В креслах впереди сидели Даут Урманов и Габдрахман. Мелькнуло лицо Усмана. А Гэвхар не было нигде... Задрав голову, Фахри оглядел плотные ряды сидевших и стоявших в ярусах и на галерке. Однако и там не увидел ее. Он решил, что девушка не пришла. Но все же, когда заметил шакирда Джихангира, протиснулся к нему и, присев на краешек его стула, спросил:

— Ты не видел, Гэвхар не приходила?

— Погоди, не мешай слушать! — отмахнулся от него Джихангир.

На трибуне, справа от стола президиума, стоял довольно высокий, одетый во все европейское мужчина с коротко подстриженной округлой бородкой — Ахмед Нури-эфенде [1]. Он говорил сочным голосом, вставляя в свою очень гладкую речь турецкие слова. Видимо, оратор сказал что-то интересное или остроумное — что именно, Фахри не расслышал,— но в партере бурно зааплодировали. Взгляд Фахри упал на одну из левых лож. Там виднелось веснушчатое лицо гимназиста Тангатарова, одетого в поношенную форму, а рядом другое, очень красивое, аристократическое,— реалиста Акчулпанова. Вытянувшись вперед, Фахри разглядел в соседней ложе Разию Ширинскую и Гэвхар Ильбаеву.

Он осторожно поднялся и стал пробираться к выходу в фойе, чтобы пройти в ложу.

Голос воодушевленного аплодисментами Ахмеда Нури-эфенде звучал еще проникновеннее:

— Досточтимый Садык-хазрет выразил абсолютно правильную мысль, господа. Как он изволил сказать, у нас очень много религиозных проблем. И они будут рассматриваться в думе. Чтобы решение их отвечало духу ислама, депутаты, которых мы изберем, должны, конечно, быть людьми сведущими в вопросах религии. Мы ничего не можем возразить против этого. Однако, господа, мы обязаны не игнорировать своим вниманием и то, что знание русского языка и вместе с тем компетентность в текущих государственных делах, осведомленность в законах и госу-

[1] Эфенде — господин.

дарственном устройстве также крайне необходимы нашим избранникам. Это ясно вам всем, господа... Если среди уважаемых духовных наставников, среди почитаемых хазретов окажутся столь достойные лица, мы встретим их избрание с глубочайшим удовлетворением. Тем не менее, господа, если мы изберем авторитетных деятелей из нашей интеллигенции, заслуживших всеобщую признательность своей верной службой религии и нации, по моему скромному мнению, мы достигнем наилучшего решения стоящей перед нами задачи... Ибо наша священная религия...

Выступление Ахмеда Нури-эфенде затянулось почти на полчаса. Часть публики долго и громко аплодировала ему.

Но эта овация далась не дешево. В седьмом ряду партера в кресле сидел кожевник Гейнетдин. На татарском базаре он снискал себе славу героя тем, что всячески ругал, обливал грязью не только нынешних социалистов, красных, но и всех джадидов[1]. Аплодисменты, вспыхнувшие после выступления Ахмеда Нури-эфенде, задели Гайнетдина-абзы[2] за живое. Он вдруг вскочил и что-то заорал диким голосом. Отороченная выдрой круглая шапка сдвинулась набок, засаленный казакин распахнулся, а он все кричал, размахивая красными толстыми руками... В шуме аплодисментов сначала нельзя было разобрать его слов, но он распалялся все больше...

— Что это такое?.. Что это такое, а?.. Вы что, русские? Когда вас окрестили-то?.. Чего захлопали?.. Русским уподобляетесь? Окрестили-то вас когда?..

И вот одинокий голос Гейнетдина-абзы оказался уже сильнее аплодисментов. Люди невольно переставали хлопать и старались разглядеть, кто это так вопит. Багровое лицо Гейнетдина-абзы стало сизым, глаза налились кровью. Наступившая на миг тишина снова сменилась его истошным криком:

— Как вы смеете хлопать?.. Русские вы, что ли?..— Теперь он обращался прямо к президиуму: — Говорили, выборы да выборы! А тут всякие короткохвостые[3] забрали дело в свои руки, а почтенные хазреты жмутся позади... Эти шайтаны, короткохвостые, сами метят в депутаты, что-

---

[1] Джадидизм — буржуазно-реформаторское движение. От слова «джадид» — новое.

[2] Абзы — дядя. Употребляется при обращении к старшему по возрасту мужчине.

[3] Так называли мужчин, носивших не длинные татарские казакины, а русские пиджаки.

бы потом питерским шлюхам веру нашу продавать... Пускай муллы едут! Хазреты!.. Нам веру нужно соблюсти!..

Председатель пытался урезонить его:

— Если вы хотите говорить, запишитесь на очередь, агай! [1]

Кожевник затопал ногами и замахал руками:

— Никаких очередей не знаю!.. Пускай в Питер муллы едут! А то найдутся тут короткохвостые...

Председатель оборвал его:

— Молчите, если не знаете! Иначе я вас выведу с полицией.

Гайнетдин-абзы уже успокоился немного и уселся, бормоча себе под нос:

— И выведет, собака, выведет... Бога-то у него нет. С полицией из одной чашки хлебает, собака!

Слово для выступления получил один из мулл города, Габдулла-эфенде. Его посеребренная сединой аккуратная борода, зеленый в полоску чапан, намотанная по-бухарски огромных размеров чалма умаслили душу такой, как Гайнетдин-абзы, татарской братии. К тому же и говорил он складно, и голос у него был очень мягкий...

У Габдуллы-эфенде все свелось к одному:

— В думу должно выбирать только духовных лиц, людей, которые истинно пекутся о религии!

Закончил он свою речь требованием:

— Пусть наши избранники ходатайствуют перед правительством о жалованье для мулл. Дабы сдерживать прихожан от пьянства, прелюбодеяний и всяких других пороков, испросить муллам право подвергать провинившихся телесным наказаниям!..

После того как еще несколько ораторов, повторив то же самое и попросив извинения за короткие речи, сошли со сцены, слово взял Дашкин, известный своими ядовитыми выступлениями против мулл. Он заявил напрямик:

— От мулл в думе не будет пользы ни на грош... Отпускать грехи за нарушение правил супружеской ночи там некому, хоронить, отпевать покойников тоже нет надобности. Муллы — они перед каждым урядником да полицейским дрожмя дрожат! На что они там! На что они годятся? Нам такие депутаты не нужны! Мы посылаем в думу людей затем, чтобы они отвоевывали у правительства то, чего требует народ... А не за утверждением правил шариата насчет супружеских ночей!..

[1] **А г а й** — то же самое, что «абзы».

За ним поднялся на трибуну Садык-хазрет и, перемежая свои слова молитвами из корана и изречениями Магомета, произнес еще одну длинную речь.

Люди утомились. Одни входили, другие выходили из зала. Тут секретарь президиума вызвал следующего оратора:

— Даут Урманов!

Всю ночь Даут просидел за столом: писал ответы на письма домашних, ответил Нэфисэ — и почти не спал сегодня. Усталый, разбитый, он тяжело поднялся с кресла, расстегнул пуговицы пальто и, чуть сдвинув на затылок высокую черкесскую папаху, прошел вперед. Не поднимаясь на сцену, он заговорил, оставшись стоять тут же, в партере. Но сверху, из президиума, крикнули:

— Сюда иди, сюда!

Фахри интересно было послушать Даута, и он задержался у двери.

Даут прошел к трибуне.

— Веками возлагали мы на духовенство все наши надежды,— снова начал он свою речь.— Уповали на мулл, доверялись им. В результате наш народ оказался в таком вот жалком положении. Опыт сотен лет должен наконец пробудить нас, народу пора уже разобраться, кто друг его и кто враг...— Высказав свое отношение к выборам духовенства в депутаты, он перешел к партии «Союз мусульман»: — Здесь все волки выходят, завернувшись в овечью или телячью шкуру. Одни пытаются пролезть в думу, прикрываясь ширмой из фраз о религии, шариате; другие жонглируют словами «нация», «прогресс», «равенство», «единение», думают опутать этими силками народ, привлечь его на свою сторону, чтобы, поехав в Петербург, присоединиться к своим друзьям — кадетам... А уж дальше у них пойдут веселье, кутежи... Пора понять, кто безраздельно отдает себя делу борьбы за чаяния нашего угнетенного народа. Мы, народники...

К концу речи Урманова одна половина зала стала свистеть, стучать ногами, другая — аплодировать. Он стоял, выжидая, когда улягутся страсти. Шум уже начал было стихать, но оратору опять помешали говорить: из передних рядов вынырнул худой, сутулый человек со впалыми щеками, с высохшим, точно пергамент, лицом. Натужным, сдавленным голосом выкрикнул:

— Я... господа...

На него уставился весь театр. Многие узнали его и удивленно усмехнулись: это был один из пишкадемов, окончив-

ших медресе Вафы-хазрета, известный наркоман Кабир-хальфэ. С восьми до сорока лет, год за годом, безвыездно провел он в стенах медресе. У него было мало способностей, зато много прилежания. Один его приятель, вернувшийся из Бухары, приучил его курить опиум.

Сначала Кабира-хальфэ нигде не принимали всерьез. Но когда борьба между джадидами и кадимистами[1] обострилась, его авторитет возрос. Ведь он был далеко не последним среди тех, кто пытался оградить средневековую схоластику от новых веяний. А как пришла революция, стал самым заклятым ее врагом. Он держал медресе на крепком запоре. Если находил у кого светскую книгу или газету, бросал ее немедленно в огонь. Под страхом изгнания из медресе запрещал шакирдам посещать какие бы то ни было собрания в городе. Сам же не пропускал ни одного татарского собрания. Он стремился на эти сходки не для того, чтобы высказать свои собственные мысли. Его влекло туда безудержное желание опровергать мысли других, цепляться к каждому чужому слову, разносить все и вся! Сколько ничтожных, бессмысленных речей говорят на собраниях... Забивают людям головы чепухой! Он, Кабир-хальфэ, появится там и даст отпор: всех разобьет в пух и прах, жгучим остроумным словом сокрушит все выступления, все мысли крамольников! И джадидов, и думу, и борьбу, и аплодисменты — все изничтожит!..

К бою он готовился основательно. Перед собранием запирался в учебной комнате медресе, составлял речь, бросал в лицо воображаемым противникам свои возражения — и все выходило прекрасно, и он верил, что вызовет всеобщее восхищение.

Только обширность ли залов, где проходили собрания, непривычная ли обстановка, большое скопление людей или новизна поднимаемых вопросов, но что-то неизменно подавляло его расстроенные опиумом нервы, сжимало сердце, отнимало силы... На каждом собрании он то вскакивал, собираясь крикнуть: «Запишите меня на очередь!», то поднимался посреди речи оратора, чтобы не упустить момент и отчитать его, но — что за несчастье! — сердце у него тут же заходилось, дыхание перехватывало, во рту пересыхало, все слова улетучивались из памяти, пропадал голос, перед глазами плыл туман... И он в муках, в злобе плюхался обратно на стул. О, если бы аллах явил ему помощь и он хоть

---

[1] Кадимисты — сторонники отжившего, реакционного во всех областях жизни. От слова «кадим» — старое.

раз мог бы раскрыть рот, смог произнести хотя бы несколько слов, тогда он захватил бы арену, тогда слова, мысли потекли бы у него, как и на диспутах в медресе!.. Точно так же как на званых обедах, когда он, начиная перед баями богословские споры, запутывал, заставлял сдаваться самых известных хазретов, самых крупных мюдаррисов, он повергнул бы в прах и эти шумные сборища! Увы, каждый раз и горло и сердце оказывались в тисках, в глазах темнело, пропадал голос, и он опять становился несчастнейшим человеком...

Беспощадные слова, брошенные Урмановым в лицо духовенству, заставили его подняться и сейчас. Пусть без очереди, но — о счастье! — он впервые смог выдавить из себя:

— Я .. господа...

И весьма возможно, что заготовленная им речь именно теперь потекла бы могучим потоком на диво всей публике, но... неудачи преследовали его: тот самый кожевник Гайнетдин сорвался со своего места, замахал руками и завопил на весь театр:

— Скажите! Ну скажите, ради бога... Кто он, этот короткохвостый?.. Говорит вроде бы по-татарски, а клонит в сторону гяуров... Скажите, что это значит?.. Земля, видишь ли, нужна, свобода! А чтобы получить их, видишь ли, надо выбирать левых... Коли мусульманина такого не найдется, объединимся, значит, с левыми русскими! Скажите на милость, кто это говорит?.. Как это понять?.. Нам ни земли не надо, ничего не надо... Ислам нужен, шариат нужно блюсти! Русский за твою веру не больно-то похлопочет... Станет он, русский депутат, для тебя стараться! Держи карман шире, постарается!..

Поднялся шум, на столе президиума не переставая звенел колокольчик.

Председатель с трудом, охрипнув от крика, водворил наконец порядок и пригрозил:

— Предупреждаю в последний раз, агай: хотите выступать, просите слова, порядка не нарушайте. Но если опять начнете говорить без разрешения, я попрошу вывести вас из зала!

Гайнетдин-абзы, видно, был не из робкого десятка. Разъяренным, клокочущим голосом он снова потряс своды театра:

— Ну и выводи!.. Нашел чем пугать: выведет с собрания... Не больно-то нуждаюсь, выводи!.. Но я остаюсь при своем мнении: здесь собрались всякие короткохвостые, что-

бы продавать веру, а нам земли не нужно, нужна вера!.. Чтоб провалиться вам, чтоб шею вам свернуло, гяуры!..— И он сам, ругаясь и осыпая всех проклятьями, выбрался из зала.

А у Кабира-хальфэ уже не хватило сил ни сказать что-нибудь, ни сдвинуться с места.

После Гайнетдина пытался поднять голос мясник Фасхетдин:

— Откуда взялись они, эти проклятые красные болтуны?.. Допустимо ли такое? У нас есть почтенные хазреты, а он подговаривает русских выбирать... Да есть ли у него бог? Есть ли совесть?.. И что за сумасшедшие эти красные болтуны, а? — начал он взывать к публике, но так и не смог привлечь ничьего внимания.

Да и был он сущее дитя рядом с Гайнетдином-абзы. Председатель крикнул на него построже и сразу посадил на место.

Слово должен был получить учитель Усман Азаматов. Председатель задумался: собрание принимало слишком бурный и нежелательный характер. По его размышлению, следовало дать мыслям и настроениям публики другое направление, и он, пропустив в списке нескольких человек, вновь дал слово оратору с турецким говором — Ахмеду Нури-эфенде.

Корректно, с нотками горечи, недоумения в голосе и вместе с тем надежды, что ему удастся образумить людей, тот заговорил, стараясь елико возможно приблизиться к татарской речи.

— Господа,— сказал он,— есть одна черта у нашей молодежи, которая вызывает у меня и удивление и сожаление. В Европе, в Америке существует капитал. Капиталистический строй разделил народ на две группы. С одной стороны, появились миллиардеры, Ротшильды, с другой — на арену вышел класс рабочих... Так же, с одной стороны, помещики, захватившие в свои руки все земли, с другой — лишенные земли крестьяне... Если там возникла проблема земли, рабочая проблема, удивляться не приходится, там это естественно! А что у нас? Где у нас, у татар, капиталисты, где крупные помещики? Во имя религии, во имя нации народ наш должен объединиться. У нас нет никаких предпосылок к зарождению классовой розни. Но есть в мире болезнь подражания, мода, и наша молодежь, подвергаясь этой пагубной болезни...

Оратор не договорил: откуда-то из задних рядов раз-

дался пронзительный свист Герея Султана. Этот свист подхватил Фахрн, так и застрявший у выхода.

Но в первых рядах и в середине партера стали аплодировать Ахмеду Нурн-эфенде.

— Правильно! Правильно! Зачем прерываете? — послышалось оттуда.

Весь театр загудел от выкриков:

— Пускай говорит!..

— Довольно!..

Охрипший голос председателя и звонкий колокольчик после упорных усилий восстановили тишину в зале.

Ахмед Нури-эфенде еще долго тянул свою песню...

VI

ГЕРЕЙ

Фахри больше не стал его слушать. Тесня людей, помогая себе локтями, он пробился в фойе сквозь плотно забившую выход толпу н направился к ложе, где сидела Гэвхар.

Только схватился он за ручку двери, как чей-то негромкий, ио увереиный голос остаиовил его. Он огляиулся. К нему, твердо ступая, приближался человек в получеркесском-полутатарском костюме, с лицом, дочерна иссушениым солнцем. Узнав Герея Султана, Фахри радостно бросился навстречу: после неудачиой попытки спрятать у себя Булата Фахри все еще был в удручеином состоянии, и сейчас доверительное обращение Герея чрезвычайио обрадовало его. Он опять почувствовал твердую почву под ногами.

Герей Султаи приехал в Казань совсем недавно. И сразу же вокруг его имени пошли толки, пересуды... Одни называли его максималистом, другие — еще кем-то... Кажется, Даут Урманов с Хабибом Маисуровым даже старались привлечь Герея на свою сторону, но потом стали относиться к нему с осуждеиием. Как будто косо посматривали на иего и товарищ Булата, бывший учитель Усман Азаматов, и Акчулпанов.

Был Герей родом из-под Казани. Его дед, старый иико-лаевский служака, после двадцати пяти лет солдатчины, потеряв связь с деревией, остался в малеиьком городе, нанялся сторожем. Мать Герея всю молодость проработала там же на льиоткацких фабриках казанских баев. На од-

ной из этих фабрик и появился на свет Герей. Потом он переехал с родителями в Казань. Он рос в нужде, работал с восьми лет на заводах Алафузова и Крестовникова, перенося нещадные пинки и побои. Еще безусым юношей Герей попал в списки неблагонадежных, остался без работы и уехал вместе с другими татарскими рабочими в Баку. Там, на фабрике Тагиева, где он работал, вступил в партию большевиков. Дважды участвовал в экспроприациях. И темной ночью, когда арест, казалось, был неизбежен, сумел скрыться, выехал в Россию. По явке, данной на имя Булата, попал в казанскую организацию. Вскоре же на первом открытом митинге татарских рабочих он дал сокрушительный бой меньшевикам и эсерам и начал с той поры непрекращающуюся кампанию против них. До него татарская революционная молодежь вела большую работу по разоблачению иттифакистов [1]. Герей же, наряду с этим, возглавил наступление на меньшевиков и эсеров.

— «Иттифак» — это кадеты в чалмах и каляпушах [2]. А меньшевики с эсерами — левое ребро тех же самых иттифакистов, кадетов, буржуа. Разница лишь в словах, корень у них общий! — чеканил он.

Часть молодежи восторгалась резкостью суждений Герея Султанова, старалась подражать ему, а среди рабочих он как-то сразу стал своим.

Словно так и быть должно, он появился в организации как человек, которому надлежит руководить. Однако это порождало и обострения. Между членами организации что ни день вспыхивали пререкания.

Реалист Акчулпанов и Усман Азаматов вели активную пропагандистскую деятельность в рабочих кружках, были полезными людьми. Герей не посчитался с этим. Когда он впервые поставил вопрос о подготовке татарских рабочих и молодежи к вооруженному восстанию, о вооружении их, он заметил, как Усман и Акчулпанов, усмехнувшись, иронически взглянули на него, и гневно на них обрушился.

— Вы меньшевики,— заявил он им,— вас надо гнать вон, чтобы вы не путались в ногах партийной организации!

Усман работал уже давно. Его знали в партийном комитете, доверяли ему. И он не стерпел такого выпада Герея, сам накричал на него, назвав и дезорганизатором и нару-

[1] Иттифакисты — члены националистической партии «Союз мусульман».
[2] Каляпуш — тюбетейка.

шителем дисциплины. Дело начинало принимать серьезный оборот. Обе стороны, обвиняя друг друга, намеревались обратиться в партийный комитет. Тут вмешался Булат, и оба — и Герей и Усман — вняли ему, не дали разгореться распре.

Среди своих Усман был признан как один из самых образованных людей. В кружках, на митингах он вел глубокие теоретические споры с иттифакистами, писал статьи. Ему по душе была именно такая деятельность. Герей же Султанов не обладал красноречием, длинные доклады были ему просто не по плечу. Он выбрал себе иной путь на фронте революции, считал ее войной, кровавой, жестокой, непримиримой войной. Как в любой другой войне, так и в этой он видел необходимость крепко вооружиться против врага — против буржуазии, помещиков, их армии, жандармов. И был убежден, что узловой момент революционной деятельности — вооружение рабочих, организация боевых дружин, воспитание в этих дружинах закаленных бойцов-большевиков. Для всего этого требовались деньги, много денег — тысячи, миллионы. Добыть их можно лишь одним способом: захватывать правительственную почту, банки, поезда, отнимать золото силой, экспроприировать его. И Герей все силы отдавал на защиту в партии своей линии, на выполнение своих планов.

Кроме того, здесь, в Казани, его увлекло еще и другое. Татарские социал-демократы уже давно обратились к властям с просьбой разрешить им выпускать свою газету. Но там все тянули, находя то один, то другой предлог. Всякие «иттифаки» уже имели свои газеты, а им, социал-демократам, несмотря на то что они первыми подали ходатайство, кажется, и не намеревались разрешать. Возмущенный этим, Герей стал бредить тайной типографией. Он подружился с двумя татарскими наборщиками, и те стали ежедневно выносить из типографии полные карманы шрифтов. Один из них, семнадцатилетний Айдар, как-то прибежал к нему возбужденный, с сияющими от радости глазами.

— Герей-абы! [1] — воскликнул он.— Через два дня вынесу «бостон»!.. Готовь место!

Так к организации боевых дружин и захвату банков, почты, поездов прибавилось еще одно важное дело — тайная типография.

Уйдя с головой во все эти дела, Герей уже не замечал ни Акчулпанова, ни Усмана. Но когда вспоминал об их на-

[1] Абы — то же, что «абзы».

смешливом отношении к волнующим его задачам, отплевывался, называя их меньшевиками. Он старался оторвать от них Булата. Он полюбил его за острый язык, за умение резко выступать против врагов, за то, что дни и ночи отдавал фабрично-заводскому люду, варился в одном котле с рабочими. Пришлась Герею по душе и тактика Булата в дни октябрьских стачек. И все же к мыслям о нем примешивалась горечь. Чувствовал Герей, что Булат не войдет в дружину, не станет боевиком и не пойдет на экспроприацию. С тревогой думал он и о том, найдется ли у таких людей, как Булат, храбрости сколько нужно, чтобы с оружием в руках пойти в бой против войска... Но при всем этом среди татарских большевиков Булат оставался для него самым близким, самым надежным человеком и товарищем.

Герей иногда начинал подозрительно относиться ко всему партийному комитету, ругался, что там недооценивают экспроприацию. Булат долго разъяснял ему тактику партии в этом вопросе, убеждал, что партия не против экспроприации, но против самовольных выступлений, что все подобные акты должны совершаться по плану и с разрешения Центрального Комитета. Много раз твердил ему о дисциплине.

Герей в ответ смеялся:

— Не бойся, пожалуйста! Знаю. Знаю. Я солдат партии. Я не желаю нарушать дисциплину. Но хочу, чтобы партия поняла значение того, что меня волнует! — добавлял он веско.

От планов же своих он не отказывался. Советуясь с несколькими товарищами, которые руководили большевистской организацией города, продолжал свою работу по всем трем намеченным им самим линиям, ушел в это дело с головой. Он сумел зажечь своими идеями нескольких рабочих: Исрафилова, Ризвана Вахитова, Галимова, недавно пришедшего в партию, но уже подававшего большие надежды, сделал их верными своими последователями. Он пытался добиться по этим вопросам единого фронта в действиях двух организаций, ведь партия допускала это, и дважды встречался с эсером Даутом Урмановым.

— Нельзя всю жизнь жевать одну и ту же словесную кашу! Революция не победит, если в ответ на снаряды и пули Николая мы будем стрелять только из бумажных пулеметов!..— горячился он.

Но быстро понял тщетность своих усилий и, отбросив мечты о едином фронте, снова занялся своими боевиками

из русских и татарских рабочих. И разумеется, не оставлял надежды заполучить когда-нибудь в свою группу и Зарифа Булатова...

Фахри хоть и стороной, но слышал кое-что обо всех этих сложностях. До последнего времени из всех социалистов города он ставил себе в пример Булата. Но после того как появился этот широкоплечий, носивший получеркесскую-полутатарскую одежду рабочий человек с сухощавым лицом и твердой поступью, он стал с неослабным интересом присматриваться и к нему: хотел сблизиться с ним — и в то же время немного опасался его...

Вот потому-то и сейчас, когда Герей окликнул его, Фахри, не скрывая радости, несколько смущенный, бросился к нему. Однако в ту же минуту мелькнула трусливая мысль: «Как понять это?.. Уж не хочет ли он привлечь меня к участию в операции по захвату банка?.. Если так, соглашаться или нет?..»

Он не успел решить ничего. Герей потянул его в сторону и не допускающим возражений тоном сказал:

— Ты ищешь Гэвхар? Выбери потом удобный момент и возьми у нее спрятанные в их доме вещи. Булат поступает легкомысленно: нельзя доверять таким элементам. Все возьми: четыре адреса, три паспорта, один браунинг. Исполни сегодня же. Слышал? — И, повернувшись, быстрыми шагами прошел в зрительный зал, где снова поднялся шум.

VII

РЕВНОСТЬ

У Фахри словно гора свалилась с плеч. Он почувствовал холодную испарину на лбу. Хорошо, что Герей на опасное дело не позвал... А то что ответишь ему? Ведь попробуй откажись — всех собак на тебя навешает, а согласишься — недолго и пропасть! Беда, да и только... Легко отделался! Да и поручение все-таки приятное. Так, гляди, и протянется ниточка между ним и обеими девушками — Гэвхар и этой курсисткой Разией. А уж это одно чего-нибудь да стоит!..

Когда он вошел в ложу, с трибуны все еще лилась речь Ахмеда Нури-эфенде. Девушек, по-видимому, успели утомить бесконечные словопрения: они встретили Фахри приветливо и стали расспрашивать о последних событиях и сплетнях. Ширинская, коротко остриженная, стройная, кра-

сивая девушка, улыбаясь большими глазами, спросила по-русски:

— Это верно, Фахри? Говорят, что молодая жена Кадыр-бая Хаджер сбежала с тем смазливым шакирдом Джихангиром. Неужели правда?.. Не может быть! — И с еще более веселыми искорками в глазах добавила: — Габдрахман женится, слышали? На Нэфисэ. Но у него до сих пор не заживает щека, поэтому, кажется, свадьба задерживается... Что с нашим Даутом будет, ведь Нэфисэ — его первая любовь! — и рассмеялась.

Однако Фахри не стал распространяться обо всех этих слухах. Отделавшись короткими ответами, он подошел к Гэвхар и, наклонившись, едва слышно проговорил:

— Товарищ Гэвхар, я от Булата, у меня к вам серьезное дело. Если можно, выйдем на минуту!

Тонкие, красивые губы девушки дрогнули, сердито сжались, в глазах ее вспыхнули злые огоньки. Она повернула голову к Фахри и ответила:

— Нет! С поручениями Булата ко мне не обращайтесь! И слышать о нем не желаю, идите к его курносой Нине! — Гэвхар резко отвернулась.

Фахри стоял в замешательстве, не зная, как ему быть, что сказать. Разия Ширинская хотя и сидела откинувшись назад, чтобы не мешать секретному разговору, слышала все от начала до конца. Видя полную растерянность Фахри, она подвинула свой стул и, взяв Гэвхар под руку, повернула ее к себе.

— Милая, что ты горячишься? — спросила она с укоризной и в упор взглянула на подругу.— О чем ты говоришь?

Разия уже слышала краем уха про историю с обыском, но, зная замкнутый, скрытный характер Гэвхар, делала вид, что ей ничего не известно, и не заводила разговора. Теперь же, став свидетельницей неожиданной сцены, она не выдержала:

— Гэвхар, дорогая, не сердись. Я ведь все знаю. Ты напрасно винишь его. Нина же связана с Колей! Она только партийный товарищ Булата. Не глупи!

Гэвхар подалась к Разии всем корпусом и, откинув с мгновенно порозовевшего лица вуаль, схватила ее за руку и засыпала подругу взволнованными вопросами:

— Скажи, откуда ты знаешь?.. Кто тебе сообщил о том, что я попалась во время обыска?.. Откуда тебе известно, что Нина близка с Колей?..— И впилась взглядом в лицо Разии.

Легким движением головы курсистка отбросила назад короткие волосы и со снисходительной улыбкой ответила:

— Дорогая, как же мне не знать! Нина — моя подруга. Мы вместе окончили гимназию, вместе учились на курсах в Петербурге. Вместе же работали в кружках. Потом нас обеих выслали сюда, в родной наш город. Между нами нет никаких тайн... Нина сама обо всем мне рассказывала, и ты, пожалуйста, не устраивай сцен: Булат тут ни при чем...

Разия и сама когда-то относилась к Булату не без некоторого волнения. Но тот остался равнодушен к ней, им как-то очень быстро завладела Гэвхар. А Разия перенесла свои симпатии на другого — на Даута Урманова. И даже в политической деятельности связалась с группой Даута и Хабиба. Однако где-то в глубоких тайниках сердца она хранила и теплое чувство к Булату, и горькую обиду, потому, может быть, и любила при случае кольнуть его резким словом. Но когда Гэвхар так несправедливо стала говорить о Булате, Разия не стерпела, взяла его под защиту. А главное — она не могла дать в обиду некрасивую, но очень добрую и обаятельную Нину!..

Черные тучи над головой Гэвхар рассеялись. Она переводила широко раскрытые глаза с Фахри на Разию.

— Так вот оно что!.. Я же не знала...— говорила она, уже сияя радостной улыбкой. И вдруг вскочила: — Ты извини, Разия, мне надо сказать одно слово товарищу Фахри! — Захватив с собой ридикюль, вышла в фойе.

Фахри последовал за ней.

— Не в службу, а в дружбу, товарищ Фахри,— защебетала девушка,— расскажите обо всем Булату сами! Вы случайно оказались свидетелем моей глупой вспышки, что ж делать, не скрывайте, все-все расскажите!.. Только еще передайте ему, что на сердце у меня все-таки неспокойно... Пусть он как-нибудь сегодня же до двенадцати часов увидит меня! Иначе я опять обижусь на него... Ведь я для него не просто девушка, не барышня... а товарищ по общему делу, товарищ по борьбе... Но в то же время я для него и девушка... Понимаете?

Фахри чувствовал себя довольно неловко во всей этой истории. Ему не часто приходилось общаться с такими образованными, культурными девушками, и он просто не знал, в какой момент и какие слова он должен сказать, ему казалось, что все получится нескладно. Но когда девушка сама упомянула о политике, он набрался храбрости:

— Гэвхар-туташ, я ведь к вам пришел по делу, меня Булат послал. Потом Герей Султан... он видел меня здесь и велел забрать у вас некоторые вещи...

При последних его словах девушка опять резко изменилась, опять ее глаза, лицо вспыхнули гневом.

— О, от него можно ожидать! От Герея Султана всего можно ожидать!.. Да кто я, провокатор, что ли?.. Почему он не доверяет мне? Боже мой, откуда у этого Герея столько вражды ко мне!..— Голос Гэвхар задрожал от обиды.

Она раскрыла ридикюль, взглянув в продолговатое зеркальце, наскоро поправила волосы и шляпку и достала блокнот с тонким синим карандашиком.

— Нет, это позор!.. Такое недоверие!..— проговорила она с негодованием.

И тут же принялась писать письмо Булатову:

«Зарифчик мой! О трагедии с обыском тебе расскажет Фахри. Теперь он стал моим другом. Рассеялись все мои сомнения насчет Нины. Но одно мучит меня: почему вы мне не доверяете? Почему этот Герей Султан так враждебно относится ко мне? Или вы на меня смотрите лишь как на хорошенькую девушку, годную для мелких поручений? Ваше отношение глубоко оскорбляет меня. Скажи Герею: я ничего из вещей не отдам. Не отдам сегодня. Буду хранить у себя. Когда понадобится, передам, отнесу сама... Ну, пусть другие... А ты-то, Булат, должен понять меня!

Я уже говорила Фахри: хочу увидеться с тобой до двенадцати ночи. Не бойся. Ведь ты сорок раз убегал от жандармов. Не попадемся, место для встречи укажи сам. Жду, обижаясь, тоскуя, Зарифчик мой!..»

Кончив писать, Гэвхар не проставила ни месяца, ни дня и не подписала письма: так научил Булат. Сложив письмо пополам, она протянула его Фахри, но тут же вынула из блокнота две марки и запечатала ими письмо, как телеграмму.

— Прячу от ваших глаз,— шутливо улыбнулась она, передавая письмо.

Фахри, не задерживаясь больше, ушел из театра.

Гэвхар же, радуясь такому счастливому разрешению обуревавших ее тяжелых сомнений, вернулась в ложу.

Если ей удастся увидеть до ночи Булата, если она объяснится с ним относительно недоверия к ней некоторых товарищей, тогда душа ее обретет полный покой... Умиротворенная, готовая слушать всех ораторов подряд — и интересных и скучных,— она молча опустилась на стул рядом с Ширинской.

VIII

ГАБДУЛЛА-АБЗЫ

По всему ходу собрания чувствовалось, что в вопросе о выборах в думу муллы и кадетствующие интеллигенты объединятся: обе группы, конечно, споются, договорятся о равном участии — проведут несколько человек из мулл и несколько из адвокатов, кадетов, дворян-иттифакистов. Дело явно шло к тому.

Гэвхар сообразила это и заволновалась: «Где же наши?.. Булату нельзя показываться здесь, а у Герея Султана храбрости хватает лишь на вражду ко мне... А где Акчулпанов, Азамат, почему они не дадут бой?..»

Тревожные ее мысли прервал усталый голос председателя:

— Усман Азаматов!..

Герей Султан, который всегда выражал откровенную неприязнь к Усману, в таких обстоятельствах отдавал должное его качествам. Глядя на широкое, открытое лицо Азамата, светло-русые густые его усы, плотную фигуру в необычном для их среды, великолепном, как у буржуа, костюме, на его галстук, белоснежные манжеты, Герей Султан, ухмыляясь, подумал: «Вот когда они нужны!..» И чтобы лучше слышать, протиснулся сквозь стоявшую вдоль стены массу людей вперед...

Имя Усмана Азаматова вызвало в театре оживление: его речь ожидали с интересом. Ведь он считался одним из наиболее деятельных революционеров. Говорили, что Усман продал оставшийся ему в наследство от отца дом и внес несколько тысяч рублей в кассу партии. За большевистские взгляды его прогнали с должности учителя. Вдобавок ко всему, он был признан после Булата одним из самых подготовленных в политическом отношении революционеров. Славился он своими выступлениями и на татарском языке и на русском.

Он еще не начал говорить, а часть публики уже захлопала. Кто-то из противников свистел, горланил:

— Хватит, слыхали! Им конца не будет, красным болтунам!

Усман, не обращая ни на кого внимания, спокойно заговорил:

— Деревня голодает. Ей нужна земля. Голодает рабочий. Ему нужно повышение заработной платы. Весь трудовой народ придавлен непосильными налогами. Нужно

облегчить их. Весь бедный люд, все инородцы угнетены. Им нужна свобода. Чтобы получить все это, пролетариат вышел на бой, крестьянин поднялся против помещика. Всю страну захлестнула волна революции. Она вздымается все выше, разливается все шире! Самодержавие, которое узрело в этой вздыбленной волне свой конец, решило обмануть народ: одной рукой направило свою жандармерию, полицию, тюрьмы, палачей на удушение революции, а другой — протянуло бумажный манифест, объявило фальшивые свободы. Чтобы погасить народное волнение, сейчас хотят созвать думу. Под видом удовлетворения «нужд» всех классов заводят парламент... Но что даст эта дума? Ничего не даст, станет лишь игрушкой в руках бюрократии, станет опорой для подавления мощных выступлений пролетариата на революционном его пути, станет ловушкой, завесой для отвода глаз народа. Поэтому мы заявляем: дело тут не в думе. Дума ничего не даст. А если захочет дать, ее распустят. Она, как бревно, лежащее поперек пути, будет только помехой, такая дума не принесет облегчения ни пролетариату, ни крестьянам, не даст свободы угнетенным нациям. Дума нам не нужна, и незачем терять время на разглагольствования о выборах. Объявим думе бойкот! Революционный путь, наша борьба требуют...

Ему не дали договорить — затопали ногами, застучали стульями, поднялся свист, раздавались возгласы: «Долой!», «Лишите слова!..»

Герей, который сегодня был в восторге от выступления Усмана и все шептал про себя: «Молодец, джигит... Нашел точное место, куда кольнуть...» — вскипел гневом.

— Не мешайте оратору! Вы что, жандармы? На демонстрации жандармы Булату рот затыкали... А вы Азамату не даете высказаться! Что это такое! Пускай продолжает! — выкрикнул он с такой яростью, что по всему театру — в партере, в ложах, всюду — пронесся гул, публика стала с любопытством вглядываться в Герея Султана.

— Это еще кто?.. Говорит-то ведь по-татарски!..— слышались удивленные голоса.

С противоположной стороны к Герею двинулся полицейский агент. Он усердно прокладывал себе путь, но справа, у входа в зал, вдруг возник невообразимый гвалт.

— Нет!.. Сказал — войду, так войду!.. Сказал — войду, так войду!.. — хрипел чей-то пьяный голос.

И кто-то кричал по-русски:

— Держи! Не пускай!.. Откуда этот пьяный?..

Вокруг засуетились, шум еще более усилился. Из тол-

пы вырвался пьяный татарин в рваной фуражке, в потрепанном, грязном пиджаке, в разбитых лаптях и, словно кто толкнул его сзади, бегом пустился по узкому проходу между рядами партера прямо к сцене. Председатель растерялся: в зале уже не было никакого порядка, а пьяный добрался до сцены и, стуча кулаком по барьеру, стал кричать:

— Спасибо, брат!.. Спасибо!.. Кто вот говорил сейчас?.. Спасибо ему... Ну, скажите, кто я?.. Скажите, кто я?..

Неожиданное это происшествие выбило председателя из колеи. Бледный, он повернулся к секретарю и к другим сидевшим рядом с ним и, надрываясь, повторял:

— Где полиция?.. Это же позор!.. Где полиция?..

Пьяный между тем, даже не оборачиваясь к председателю, говорил свое:

— Ну, скажите, кто я?.. За недоимки продали последнюю мою лошаденку. В голод, как стали опухать все, не выдержал... чтобы спасти троих ребят и жену, продал свой надел... Без земли как прокормиться в деревне?.. Приехал в город... Три года жил впроголодь... А вот неделю тому назад выгнали с завода... Нету, говорят, работы. Куда теперь деваться?.. А здесь, я слышал, тоже против бедного народа болтали...

В этот момент появились полицейские и накинулись на него. Однако он не хотел сдаваться, все продолжал кричать.

— Прекрати! — Полицейские поволокли его прочь.

Людской поток уже успел забить проход в зале, полицейским пришлось с трудом прокладывать себе дорогу. Наконец им удалось вытолкать пьяного из зала. Но возбужденный говор долго не стихал: кто он, этот человек? Кто его подговорил? Многим не верилось, что он явился сюда сам: это красные переодели и выпустили кого-то из своих!..

Узнал его один лишь Даут: то был бедный татарин Абдул с их двора. Когда его прогнали с работы, он запил, продавая последнее, что у него оставалось.

После такой передряги интерес к собранию явно остыл. Люди о чем-то переговаривались, не слушали ораторов, а некоторые вообще помышляли уже убраться восвояси. Председатель умоляюще взывал:

— Господа, наберитесь терпения на десять минут! Я дам слово еще нескольким ораторам, а затем будем принимать решение! Спокойно, господа!..

Одни нехотя снова заняли свои места, другие продол-

жали пробираться к выходу. В это время секретарь объявил:

— Слово предоставляется господину Хабибу Мансурову!

Фамилия была незнакомая, и публику заинтересовало, кто будет выступать. На сцену, сверкая белизной воротника и манжет, поднялся молодой человек среднего роста, со смуглым, рябоватым лицом, одетый в новый костюм, в желтых штиблетах, в котелке.

— Господа,— начал он довольно солидно,— все общество с надеждой ожидает созыва думы. Каждый верит, что она принесет ему облегчение... Богачи ожидают снижения налогов на торговлю, рабочие — повышения заработной платы. Крестьяне надеются получить землю. А инородцы, вроде поляков, евреев, татар, ожидают решения их религиозно-национальных запросов, равенства, справедливости... Но, господа, сможет ли удовлетворить все эти ожидания избираемая подобным образом, так узко представленная дума? Не сможет, не станет, ничего она не даст! Предыдущий оратор призвал вас бойкотировать думу... Я тоже за бойкот...

Эти слова оратора потонули в гуле протестующих голосов. Со всех сторон неслись крики: «Не надо!», «Лишить его слова!..», «Не давайте говорить красному болтуну!»...

Этот молодой человек недавно был обвинен в покушении на директора учительской семинарии, где он учился. Полиция искала его. Только трудно ей было узнать в этом щеголе того самого юнца. Однако провокатор, тайный агент, старый учитель Ахмед по походке и голосу угадал, кто это, и немедля шепнул на ухо жандарму.

Заметное движение среди полицейских и жандармов ввергло председателя в страх: он почувствовал что-то неладное. И, стараясь перекричать гудящий, словно потревоженный улей, зал, попытался остановить оратора:

— Я отвечаю за свои действия! Лишаю вас слова! Прекратите...

Но Мансуров не слушал его, продолжал говорить. Публика бесновалась. Полицейские и жандармы полезли на сцену. Председатель зазвонил в колокольчик:

— Господа!.. Я закрываю собрание!..

На минуту все замерли: полиция окружала сцену. Многие были уверены, что Хабиба Мансурова схватят, и уже ожидали чрезвычайного события.

Но надежды их не оправдались. Мансуров как-то сумел незаметно выбраться из зала...

...Прибежав к себе на квартиру, он быстро переоделся и снова бросился в кромешную темноту ночной улицы.

IX

САРУДЖИ

Хабиб Мансуров, которого русские знали под кличкой Беглец, а татары называли Саруджи [1], поеживаясь от холода, вышел через маленькую калитку из городского сада, зорко, точно зверь, вырвавшийся из капкана, оглянулся по сторонам и зашагал в северном направлении.

В соломенной шляпе, в старом плаще, обутый в сильно поношенные сапоги с короткими голенищами, он шел, держа в одной руке узелок, в другой — железную палку.

Спустился на Николаевскую улицу и ускорил шаги: надо было уезжать с ночным трехчасовым поездом. Время приближалось к двум. Оставался всего один час. Нужно успеть еще забежать к Урманову... А тут, как назло, и дождь зачастил, и порывистый ветер бил прямо в грудь.

Обогнув два переулка на Николаевской, Мансуров вышел на Пушкинскую. Здесь свернул в узкий глухой переулок, где не было фонарей. Тьма там стояла кромешная. Ноги по щиколотку тонули в слякоти. Несколько раз он проваливался в какие-то ямы, за голенища сапог набилась грязь. И все равно надо было идти этим переулком: полицейские ближайших кварталов знали его в лицо, на освещенных улицах они задержат его... Только он подумал об этом, как ноги, будто сами по себе, отступили назад: впереди маячила черная фигура... Кажется, полицейский!.. Фу ты пропасть! Обыкновенный столб!.. А это?.. Да будь он проклят! Опять столб!..

«У труса в глазах двоится»,— усмехнулся Мансуров и, стараясь глубже запахнуть промокший до нитки плащ, чуть не бегом направился к Екатерининской улице.

Что будет, то будет, решил он, не все же полицейские знают его.

Он ни разу не был на квартире Урманова. Чтобы не сбиться с пути, стал вспоминать, как ему объяснили: по Успенской улице идти до пустыря на окраине... Войти во вторые ворота от угла, во двор с высокой березой... Посреди двора низкий красный дом.

Вот уже Успенская, и до пустыря осталось недалеко... Боясь опоздать к поезду, он ускорил шаг.

---

[1] Саруджи — беглец (*арабск.*).

Хабиб Мансуров был единственным сыном старого учителя Гумера, который после тридцати лет службы жил теперь на пенсии. В этом году Хабиб должен был окончить семинарию и тоже стать учителем. Однако начались волнения. В Москве, Петербурге нарастало революционное движение. Взрывались бомбы, брошенные в министров, губернаторов... В семинарии к некоторым учителям и надзирателям учащиеся относились с враждебностью, а на директора Иванова, заядлого реакционера, преданного сторонника жестокого режима, смотрели как на самого лютого зверя... Однажды в семинарии нашли прокламацию. В ней раскрывались темные, гнусные стороны жизни семинарии, директор Иванов был изображен на рисунке целующимся с полицейским... Пошли расследования, обыски. Ничего не обнаружили, но заподозрили известного своим бунтарским характером непокорного Хабиба, обвинили его в вольнодумстве. На следующий день — снова прокламация, снова карикатура: в этот раз директор предстал в облике доносчика и лакея у министра просвещения. Досталось также некоторым учителям и надзирателям. Эта прокламация вызвала новую бурю. Всю вину опять свалили на Мансурова и решили исключить его. Но он что-то не показывался в этот день. А вечером на директора Иванова, когда тот возвращался из церкви, было совершено покушение. Немедленно сообщили полиции, и хотя никто ничего не знал определенно, указали на Хабиба: только он-де повинен в этом. А в семинарии его и след простыл: как ушел днем, так больше не появлялся. Жандармерия учинила открытые и тайные розыски. Хабиб, изменив, елико возможно, свой облик, переменив имя, фамилию, паспорт, скрылся. Несколько месяцев он ночевал где придется, ел что попало, иногда голодал. Первоначальным его намерением было работать среди русских. Вскоре, однако, он уехал в деревню. Но задержался там недолго: вернулся в город и вот уже два месяца работал здесь. Хабиб решил войти в фабрично-заводскую среду, к татарам: с русскими и без него было кому работать. Но татарские рабочие как-то расхолодили его, к тому же Булатовы и Азаматовы уже успели организовать здесь кружки, широко пустили корни и все забрали в свои руки. Тогда с двумя небольшими своими кружками Хабиб подключился к шакирдам и татарским приказчикам. Законспирировался он удачно, полиция его не узнавала. Лишь несколько раз он едва не попался, столкнувшись лицом к лицу с учителем Ахмедом, который слыл личностью весьма темной. Говорили о нем,

что он доносчик и провокатор. Вдобавок между ним и отцом Хабиба еще в годы их молодости был спор из-за какой-то должности. С тех пор учитель Ахмед затаил злобу на весь род Мансуровых. До сих пор Хабибу удавалось увертываться из его лап. И сегодня, когда, казалось, уже поймали его, он с помощью товарищей смог выскочить из разбушевавшегося театра. Но полиция, жандармы теперь знают его в лицо и уж конечно пустятся разыскивать. Хабиб считал себя мастером запутывать следы, он так ловко умел провести преследователей, что шакирды восхищенно рассказывали об этом множество всяких историй и даже стали называть его «Саруджи»: это было прозвище героя известной арабской поэмы «Макамате Харири». Но как ни умел он прятаться, было ясно, что теперь нападут и на его след. Он узнал, что сегодня устроили обыск в доме его товарища, приказчика Шагиахмета, у которого он ночевал вчера. Значит, полиция взялась за них серьезно. Значит, не так-то просто будет замести следы. Пока Саруджи поедет в Яманташ, где, судя по слухам, начались крестьянские восстания. В комитет сообщили, что нужно послать туда людей. Двое русских товарищей уже выехали, из татар там не было еще никого. Вот он и торопился темной осенней ночью к поезду, чтобы ехать в Яманташ.

Когда он, дойдя до пустыря, вошел в покривившиеся ворота второго от угла дома, с краешка неба, обложенного тучами, словно улыбаясь мягким светом, выглянула луна. Дождь, ливший целые сутки, затопил ровный широкий двор водой, в ней отражалась сияющая луна. Неподалеку от ворот что-то белело. Это, сунув под крылья головы, спокойно спали два гуся. Дальше, в глубине, виднелся приземистый дом с облупившейся красной краской. Комната Даута Урманова — «преисподняя», как ее называли,— должна была находиться в подвале. Настороженно оглядываясь, Хабиб подошел к дому и спустился по шатким полусгнившим ступенькам почти на сажень вниз. И каменный настил там, внизу, у порога был залит водой. На покоробленной дощатой двери блестела железная скоба. Хабиб, как было условлено, стукнул в дверь четыре раза. Дверь не отворяли. А он уже совсем закоченел. И сама природа словно издевалась над ним. Старая береза, одиноко стоявшая посреди двора, жалобно шелестела еще не успевшими опасть последними листьями. Дувший с пустыря порывистый ветер гремел железом, пытаясь сорвать крышу, цеплялся за нее с яростной злобой и, не осилив, свистел и выл протяжно: «Ууу... ууу...» — кружил, бесновался между убо-

гих, развалившихся лачуг и снова налетал на крышу, снова с надрывным свистом хватался за железо и все не мог одолеть его. «Ууу... ууу...» — выл он злобно, свирепо и, гоня нависшие над городом тучи, уносился к далеким полям и лесам...

Расходившийся над кровлей ветер кидался и вниз, под укрытие лестницы, забирался под плащ Хабиба и, пронизав его тело насквозь, убегал. Хабиб нетерпеливо переступал с ноги на ногу, в сапогах хлюпало. Холодная вода будто просачивалась от кончиков пальцев в ступни и медленно-медленно взбиралась к щиколоткам, коленям, ознобом разливалась по жилам, бросала в неудержимую дрожь руки, ноги, спину — все тело.

— Что же не отпирают? Куда они провалились? — проворчал ночной гость и ударил несколько раз по двери мокрым, грязным сапогом, потом забарабанил изо всех сил кулаками.

За дверью наконец появились признаки жизни: какая-то женщина, едва волоча ноги, подошла и слабым, страдальческим голосом спросила:

— Кто там? Цельный день люди... Теперь уж и ночью... Кого вам надо-то?

Мансуров старался говорить спокойно:

— Мне Урманов нужен. Он здесь живет?

Ответа не последовало. Ноги так же бессильно зашаркали обратно в глубь квартиры. Гость опешил: не отперла?.. Неужели переехал? Или «перевезли»?..

Но в ту же минуту послышались другие шаги. Они были легки и по-мужски уверенны. Знакомый голос спросил:

— Это ты, Хабиб?

Дверь отворилась. За порогом со свечой в руке стоял стройный молодой человек в черной, стянутой ремнем косоворотке. Худощавое лицо его было бледно, темные глаза задумчивы, густые длинные волосы свисали на высокий лоб. Он взглянул на посиневшие губы Хабиба, на его рябоватое, съежившееся от холода лицо и заволновался:

— Ой, как ты замерз! Проходи скорее! — И, как бы извиняясь, добавил: — Тангатар передавал, что ты придешь... Я ждал, спать не ложился... да в проклятой лампе керосин весь вышел, я сидел в темноте и заснул... Долго заставили ждать?

— Порядочно,— ответил Хабиб, переступая порог.— И что это у тебя за бестолочь такая? Болеет она, что ли?

— Ты про старуху? Помирать собралась! Но очень

удобна для меня: глаза подслеповатые, и на ухо, кажется, туга... Здесь хоть фабрику бомб открывай...

Они прошли в кухню. Урманов со свечой, бросавшей слабый свет, шел впереди. В нос ударил какой-то тяжелый, кислый запах. Потолки здесь были низкие, воздух сырой, спертый. Недалеко от дверей громоздилась русская небеленая печь. Перед топкой, поваленное, лежало ведро с углем. Из-за ведра выглядывал потемневший от грязи медный самовар с оторванной ручкой. Слева стоял некрашеный деревянный стол, и чего только не было на нем: остатки еды, немытая посуда, картофельная кожура... На стене справа, подхваченный мочалом, висел глиняный умывальник. Здесь, на кухне, жила сама старуха. Днем возилась со своим хозяйством, а на ночь забиралась спать на печку.

Открыв дверь в глубине кухни, вошли в комнатку Урманова. Тут было не богаче. В углу висела большая, обсиженная мухами, изъеденная тараканами старая икона. Когда-то она сияла золоченым узором ризы, но потускнела, почернела от времени. Голубые в полоску обои вылиняли, закоптились, местами порвались, обнажив щели в бревнах с клочьями пакли. Почти всю переднюю стену занимала шаткая, готовая развалиться деревянная кровать, в углу стояли плохонький стол и две табуретки, рядом жался к стене убогий, скособоченный шкаф, заставленный, заложенный внутри и сверху газетами, русскими и татарскими книгами.

Изнемогавший от усталости Хабиб растянулся на кровати:

— Хоть бы разок выспаться!.. Да нельзя, надо спешить! — Он снова поднялся.— Есть у тебя чем горло промочить?

Урманов поставил свечу и стал собирать Хабибу ужин.

— Вода в самоваре еще теплая, вот хлеб, картошка, соль.

Хабиб круто посолил хлеб, картошку и принялся за еду, запивая ее почти остывшим чаем.

Даут между тем развернул узелок Хабиба, с удовольствием, даже с некоторым восхищением осмотрел браунинг. Хабиб уже доел все и, видимо желая стряхнуть одолевавшую его усталость, резко вскочил на ноги:

— Ну, здорово наелся! Ты все приготовил?

Даут притащил из кухни лежавший там за печкой сверток и начал раскладывать листовки.

— Вот,— сказал он,— «Что нужно крестьянам?» пятьдесят экземпляров. «Что даст дума?» неважно отпечата-

лась... «Голос рабочих» вовсе нельзя разобрать, чернила оказались бледные. Его лучше не бери...

У Мансурова на лбу вздулись жилы.

— Вот они, наши дела! — с горечью сказал он.— Даже печатать прокламации не имеем возможности... А Булатовы уже готовы выпускать газету. Ты знаешь, говорят, они недавно получили от партии тысячу рублей. Специально для газеты. Вчера я видел одного земляка. Ему как будто сам Булат рассказывал, что только жандармы вставляют им палки в колеса, заставили их несколько месяцев ходить за разрешением, и безрезультатно. Теперь, оказывается, еще раз подали прошение, вся остановка за этим. Вот ведь как действуют люди!..

Даут промолчал. Разговор перешел на другое. Хабиб негодовал:

— Сколько раз ставили вопрос в комитете! Шакирды сами предложили, сами жаждут выполнить... Я говорил, что нам нужно лишь помогать им, направлять, а потом достать им лошадей, чтобы они могли скрыться. И на это не решились пойти... Я поругался с ними и ушел...

Они задумали создать среди молодежи медресе тайную организацию «фидаистов». Подобно «дифагистам» Кавказа, фидаисты должны были начать бой против черных сил реакции прежде всего убить муфтия [1], за ним — опору властей Ишми-ишана [2], врага джадидов Вали-муллу Кышкарского. Дальше список расширялся, туда попали еще несколько крупных ишанов, ахунов, известных своей реакционностью и приверженностью к правительству. Чтобы привести в исполнение этот план, требовались оружие и деньги. Даут и Хабиб через русских товарищей поставили вопрос об этом в комитете своей партии, а там тянули, не могли прийти в какому-либо решению...

— Вчера заходили Джихангир и Баязит,— продолжал Хабиб,— они твердят одно: если им не помогут, они выступят самостоятельно. Не будет, мол, револьверов, ножи найдутся. Уверяют, что не остановятся на полпути.

Урманов тоже разгорячился:

— Что тут говорить! Ишаны и муллы произносят в мечетях речи против революции, во славу царя шествуют под сенью икон по улицам, а если среди революционеров увидят одного татарина, то кричат, что он опозорил весь мусульманский мир, предают его проклятию... Молодежь

[1] Муфтий — высшее духовное лицо, глава религиозного управления.

[2] Ишан — глава религиозной общины.

медресе рвется на подвиг, чтобы свалить эти столпы контрреволюции в татарском обществе, чтобы разрушить ее опору, а мы ничем не можем помочь им. Ведь это позор!..

Хабиб вдруг с сомнением взглянул на Урманова:

— А ты сам веришь, что из затеи шакирдов-фидаистов выйдет что-нибудь?

Урманов пожал плечами:

— Трудно сказать, но все равно нужно поддержать, нужно возглавить!..

Продолжая разговор, они вышли из дома.

X

ПИСЬМО

Ветер утих, небо прояснилось. Улыбаясь полным, сияющим ликом, плыла над землею луна.

Потревоженные шагами джигитов, гуси загоготали и зашлепали по луже к старой березе.

Только Даут с Хабибом вышли за ворота, как на мостовой замаячила какая-то тень. Кажется, это был человек, и двигался он прямо на них. Оба насторожились, но, присмотревшись, успокоились: походка у человека была вроде не как у полицейского, его сильно заносило из стороны в сторону.

Даут спешил досказать то, что занимало его:

— Как ты думаешь, сдержит свое слово Гариф, молодой бай, или нет? Ведь он обещал дать нам четыреста рублей, когда продаст свой дом в Бугульме... Да еще Хабибрахман ждет наследства в семьдесят тысяч. У него отец при смерти лежит. Он тоже обещал пятьсот рублей. Если получим хотя бы от одного из них, то сможем выпускать газету!..

Дауту не удалось договорить: человек, шатаясь и спотыкаясь, приблизился к ним. Вглядевшись получше, они узнали рабочего, который вечером проник в театр на татарское собрание и поднял там скандал.

Он и сейчас был сильно пьян, ноги едва держали его. Кажется, он и не заметил никого, даже не поднял головы. Размахивая замызганной, рваной фуражкой, ворча и ругаясь то по-русски, то по-татарски, вошел в ворота, повернул вправо от березы и, качаясь, спустился по лестнице в подвал. Урманов хотел было окликнуть его, но сдержался.

На вопрос Хабиба: «Кто это?» — Даут рассказал, что тот приехал из деревни. Зовут его Абдул — Габдулла. Работал чернорабочим на лесопильном заводе, недавно его прогнали с места, сейчас безработный и пристрастился к водке. Вчера только заходила его жена Хадича, просила написать письмо в деревню к родственникам, все плакала, рассказывала: «Сама, говорит, я больная, а ребят трое, мал мала меньше... В доме ни кусочка хлеба не осталось, и с фатеры гонют. Сам, говорит, придет напившись, бьет нас, последние тряпки все пропил. Осталось, говорит, нам с голоду помирать...»

В это время в конце улицы появились еще две тени. Шаг у них был твердый и быстрый. Издали казалось, что эти двое при шашках.

Хабиб пожал другу руку и не мешкая скрылся за углом. Даут поспешил вернуться к себе. Узелок Хабиба с браунингом он спрятал на кухне за печку, туда же сунул неудавшиеся прокламации.

Только собрался он укладываться в своей комнатке на кровать, как в дверь к нему шагнула старуха: видно, разбудил ее.

— Память у меня слабая, сынок, стара стала. Вот еще днем баба какая-то приносила,— сказала она, протягивая розовый продолговатый конверт.

При свете огарка Даут разорвал конверт и принялся читать письмо.

«Даут-абы!

Если у вас будет время, зайдите ко мне... после десяти часов вечера. Вы знаете Овражную улицу, высокую лестницу... Габдрахман опять прислал сваху. На этот раз за окончательным ответом. Отец и виду не подает, но, видимо, склонен отдать меня, если договорятся о калыме. Мне намерены сказать, когда все уже решится. Господи, будто скотину продают! Что меня ожидает? Что еще суждено мне пережить? Если найдете время, приходите обязательно, мне очень нужно поговорить с вами.

Н э ф и с э».

Письмо девушки, как и прежние ее письма, пробудило в душе Даута глубокую жалость. Его охватило смятение.

Красивая... умница... воспитанна и по-своему даже начитанна. Конечно, она должна бы быть счастлива и сама дать счастье мужу и детям. А вот приходится ей, бедняжке, дрожать за свою судьбу!

Было много срочных дел. Но, зная, что он все равно не сможет работать, что завтра непременно пойдет к Нэфисэ, Даут задул догоравшую свечу и лег. Сон к нему пришел беспокойный, полный тяжелых путаных сновидений.

XI

БАЯЗИТ-КАРИ

Рано утром Урманова разбудил ропот и ворчание старухи, стук в дверь. Вошел Баязит. Даут с удивлением заметил выражение какой-то отчаянной решимости на его аскетическом лице...

Они родились в одно время, вместе росли, вместе играли — и после долгих лет разлуки в этом году встретились снова. Баязит называл себя внепартийным революционером. При случае выполнял поручения Булатова и Азаматова. Заинтересовал его и Герей Султан.

«Хотелось бы и мне быть таким же стальным, да силы не хватает...» — говаривал он. А с Даутом его связывали нити, тянувшиеся из детства, сближали их и политические воззрения.

В минувшую бессонную ночь в голове Баязита зародилась одна ясная мысль, возник ясный план. И не советоваться он пришел, а поведать о том, что может излечить рану его сердца! Именно для этого, не поев, не попив, прибежал он с зарею к Дауту. Разбудив его и не сказав ничего в объяснение, заявил:

— Я дал себе твердое слово поехать в деревню и убить отца!

И письмо Нэфисэ и желание увидеться с ней — все вмиг выскочило из головы Даута. Надо сказать, он не был слишком уж поражен: ему всегда казалось, что Баязит может совершить нечто подобное. Услышав столь категорическое заявление, он подумал, что этого и следовало ожидать...

Не дав Дауту высказаться, Баязит с горечью в голосе добавил:

— Я не о наследстве думаю. И не цель освободить сестер, мучающихся под властью отца, движет мной! — Он боялся, что друг неправильно поймет его.— Он черным камнем застыл в моем сердце. Я не могу вздохнуть, он душит меня... Ты не поймешь этого... Но... пока я не вырву этот камень, мне не дышать, не вздохнуть...

Даут встал, умылся, приготовил гостю и себе чай.

— Сегодня я начал курить,— сказал Баязит.

Он достал из кармана папиросу, чиркнул спичкой и, окутавшись папиросным дымом, стал рассказывать о тяжелой своей судьбе, о том мучительном прошлом, которое толкнуло его к принятому сегодня решению...

XII

МОЛОДАЯ ЖИЗНЬ

Он с детства чувствует себя птицей, запертой в клетке, из которой не вырваться вовек. Шаловлив по натуре, боек. Красив и смышлен. Его сердце полно неясных порывов. Крылья грез хотят унести его куда-то, но чуть встрепенутся, их тотчас со всех сторон сжимают, давят железные прутья клетки. В девять лет его увозят в Каргалы, отдают в медресе, где учатся и живут пятьсот шакирдов, в медресе темное, отсталое, где властвует хазрет-фанатик.

Он сын ишана. В знак уважения к имени его отца ему отводят место во время занятий рядом с хальфэ. И вскоре же в самое сердце хрупкого, впечатлительного мальчика наносят первую рану: ползет гнусная сплетня, связавшая его имя с Халимом-хальфэ... Баязит готов от стыда живым броситься в огонь, он переживает страшные дни, но ничем не может смыть с себя грязную клевету.

Сваливается на него еще одно несчастье. Он не любит совершать намаз, не любит класть земные поклоны... Его начинают преследовать. Он не сдается, а если заставляют силой, совершает намаз без обязательного омовения. Подмечают и это. Доносят хазрету-наставнику. Как сыну крупного ишана, Баязиту дважды прощают грех. Но отец его, Джихан-ишан, присылает письмо всем наставникам и надзирателям, где пишет:

«Не жалейте! Если будет отлынивать от намаза, секите до крови розгами. Пусть не растет в пренебрежении к молитвам! Иначе не будет моего благословения. Не прощайте! Я потому и не учу его в своем медресе, чтобы он не мог нежиться возле матери, не получал потачек, соблюдал все угодные аллаху обряды!»

Глава медресе Вафа-хазрет и Джихан-ишан когда-то вместе учились в Бухаре, жили под одним кровом. Вафа-хазрет призывает Баязита к себе и пытается увещевать его добром, лаской. Чувствительный мальчик искренне хочет

быть послушным, старается прилежно относиться к намазам. Однако вынужденного усердия хватает ненадолго. При случае он снова увертывается, хитрит. Раз, другой закрывают на это глаза. Но в конце концов вспоминают наказ его отца. При полном сборе шакирдов раздевают его догола и руками самого дрянного мальчишки в медресе дают пятнадцать розог... И снова он не знает, куда скрыться от позора. Не спит ночами, мучительно переживая свое унижение, плачет до рассвета, уткнувшись лицом в подушку.

Но рубцы от розог заживают, позор забывается. И, улучив момент, мальчик снова уклоняется от намаза. Опять сбор шакирдов. Опять розги. Опять бессонные ночи, муки стыда и слезы до рассвета.

Наступает пост — ураза. После полной голодовки днем, вечером — еда до отвала, потом долгие часы молитвы в мечети. Для Баязита все это оказывается невыносимым испытанием. В мечеть он ходит, но, стоя на коленях, засыпает задолго до того, как служба окончится...

Он редкостно одарен. Шакирды зовут его «Вдохновенным», говорят, что сам пророк Ильяс дунул ему в рот и потому он без ученья знает все. И он в самом деле не пичкает себе голову зубрежкой, как другие, а, выйдя из класса, забрасывает учебники на полку и возится, шалит, все переворачивает вверх дном...

Славится он и голосом. В канун пятницы и в праздники, большие и малые, когда шакирды собираются отдохнуть или устраивают тайком свои вечера, Баязит становится признанным героем: ему лишь бы петь!

Он даже коран читает необычно красивым напевом. И ему уже в тринадцать лет доверяют читать коран в мечети после пятничных молебствий. Иногда его голос звучит так проникновенно, что старики со слезами на глазах обнимают, благодарят его.

Знаменитый в тех краях слепой кари [1], услышав его однажды, подзывает мальчика к себе и, погладив по голове, говорит:

— Береги себя, сынок, у тебя голос пророка Даута [2]. Не губи его. Я попрошу написать твоему отцу. Ты должен заучить коран, будешь моим преемником!

Совет приходится по душе Баязиту. Он не дожидается разрешения отца, преклоняет колени перед слепым стариком и, получив благословение, начинает заучивать коран с помощью лучшего ученика старца — Сафи-кари.

[1] Кари — человек, знающий наизусть коран, чтец корана.

[2] Даут — Давид.

Острый ум, юная память схватывают все на лету. Не проходит года, как Баязит уже знает коран наизусть. В рамазан[1] следующего года ему оказывают честь — из вечера в вечер во время торжественных предпраздничных богослужений читать в мечети вслух коран.

Однако и это не укрощает Баязита. Пусть мозг его вобрал в себя коран, пусть молящиеся в мечети сидят, отдавшись обаянию его напевного голоса,— он, невзирая ни на что, предается грехам, которые тяжко и назвать: в восьмой день святого рамазана среди бела дня его видят на окраине города с женщиной.

Слух об этом разносится по всему городу. Сообщают отцу.

Вне себя от гнева приезжает в медресе Джихан-ишан. Он не отвечает сыну на его приветствие, валит его на пол, созывает всех шакирдов, всех хальфэ и при них жестоко, в кровь избивает его.

XIII

МЕЧТА ШАКИРДА

После наказания Баязит поднимается и молча, без слез уходит. Больше он не возвращается.

В дни, когда он читал в мечети коран, его, молодого кари, приглашали на обеды к разговению, и получал он от хозяев и гостей щедрые даяния. Деньги, накопленные тогда, пришлись как нельзя более кстати. Какое-то время он проводит в разъездах между Казанью, Уфой, Оренбургом, а потом отправляется неведомо зачем в Сибирь. Побродив так, остается без денег. Ремесла у него никакого нет. Промучившись год, ближе к месяцу рамазану, он едет в Челябинск, поступает шакирдом в известное в том уезде медресе.

В мечети на пятничном молебствии после намаза звучным своим голосом читает суры[2] из корана на знаменитый египетский мотив и на мотивы Шахмирзы-кари, Бедрикари. Старцы изумляются.

— В жизни,— говорят они,— не слышали подобного голоса и напевов!.

[1] Рамазан — месяц поста — уразы.
[2] Сура — глава из корана.

Так он возвращает себе звание кари. Его удостаивают приглашения в почтенные дома. Несмотря на возмущение местных кари, чтение корана в мечети в благостный месяц поста рамазан поручают Баязиту...

В Челябинске он проводит всю зиму. У него заводятся деньги. Но он так ненавидит эту жизнь, что с первыми же признаками весны, когда некоторые шакирды начинают разъезжаться, убегает и отсюда. Опять проживает все деньги. Опять наступает полуголодное существование.

Чем только не пробует он заниматься! Поступает приказчиком в лавку. Поругавшись с баем, уходит оттуда. В далекой Сибири, на Байкале, нанимается возницей к строителям дороги. Работает табунщиком у торговцев, перегоняющих косяки лошадей, в холодные осенние дожди с заряженным ружьем в руках проводит ночи на коне. У него угоняют лошадей, и ему не выплачивают заработанных денег. Получает место на железной дороге. В это время начинается русско-японская война. Он хочет пойти на войну добровольцем. Но его — то ли из-за молодости, то ли из-за чего другого — в армию не берут.

Тем временем на просторах России поднимаются бурные волны. Начинается борьба против косности, против темной, душной, прогнившей жизни — за светлые, вольные дни. Рвется в бой сердце джигита. Он хочет ринуться в самую гущу схватки, громить проклятую старую жизнь! Он горит этим желанием. Но не знает, с чего начать, к кому пристать, какими путями вести борьбу.

Зарождается движение шакирдов. В ореоле исключительности, с какими-то обширными новыми программами, с новыми порядками возникает Медресе-и-исламийе. Надеясь, что Медресе-и-исламийе станет ступенью в будущее, Баязит едет туда. Но очень скоро понимает, что и там готовят слепых слуг религии, охотников за приношениями и даяниями, что это то же самое, только несколько прикрашенное, подновленное старое... И его вновь охватывает смятение: куда же идти, с кем искать дорогу?

Он получает письмо от сестры. Она со слезами пишет о том, что их отец Джихан-ишан жив и по-прежнему жесток, что вся семья страдает от него.

В тот же день, возвращаясь с митинга шакирдов, Баязит слышит голос муэдзина, призывающего с высоты минарета на молитву в мечеть. «Погоди, не изменились ли они хоть немного?» — думает он и, как был, без должного омовения входит в мечеть.

Соборная кафедра. На кафедре стоит старый хазрет в зеленом чапане, в белой чалме и читает проповедь.

— О верующие...— взывает он,— знайте, помните! Настали смутные времена, улицы дышат крамолой. Если кто свяжется с преступными крамольниками, если кто поддержит их, не будет тому прощения, черным пятном ляжет его грех на лик мусульманства всего мира, и на том свете предастся он вечным мукам ада. Возденьте к лицам руки для моленья не ладонями, как всегда, а тыльной стороной: испросим у аллаха проклятье на головы крамольников! Аминь! Аминь!..

Все молящиеся касаются лица тыльной стороной ладоней и кричат вслед за хазретом: «Аминь!..»

Давно не бывал Баязит в мечети. Он иногда говорил полушутя: «Я бы каждому, кто ратует за веру, за бога, всыпал розог...»

И сейчас от проклятья муллы у него мутится в голове. Ему кажется, что история отступила, время отодвинулось назад... В странном оцепенении он вместе с другими начинает совершать намаз, но когда все склоняются в земном поклоне, вскакивает и, прорвавшись сквозь ряды молящихся, убегает из мечети.

В эту ночь он не смыкает глаз. Обуревавшие его всю жизнь ненависть, протест как бы сплавляются воедино. Наутро он идет к Дауту Урманову.

— Я дал себе твердое слово поехать в деревню и убить отца! — Это и было тем решением, к которому он пришел после долгих, мучительных раздумий.

Сначала он не хотел вдаваться в объяснения, думал, что все понятно само собой, но потом ему показалось, что Даут не понял его, и, неожиданно даже для самого себя, он рассказал другу всю историю своей жизни.

Урманову могло прийти в голову, что им движет личная ненависть. Это испугало Баязита. Он нашел нужным рассказать и о других:

— Ты знаешь, не я один, многие живут одной мыслью. В Оренбурге, Троицке, Уфе, Астрахани... Только не знают, что делать, с чего начать. Если у нас организуются фидаисты, мы поможем и остальным.— И еще добавил: — Я страдал всю жизнь... всю жизнь душа была в тисках... Вот теперь, возможно, вздохну свободно. Так мне кажется, по крайней мере... Прощай. Я пойду.

XIV

ПЕРВЫЙ ШАГ

Они вышли вдвоем.

На углу, когда прощались, Даут Урманов сказал, взглянув прямо в глаза Баязиту:

— Что ж, туда им и дорога! Долго морочили эти муллы да ишаны головы народу. Если они призывают на нас проклятья, готовят в мечетях против нас армию, у нас найдутся другие средства. Ну, в добрый час! Что смогу, все сделаю... Организуй фидаистов! А старика своего можешь прикончить...

Расставшись с ним, Баязит прошелся раза два по городскому саду и отправился в Медресе-и-исламийе к Джихангиру.

Этих юношей связывало общее стремление разрушить старый мир, оба были сторонниками самых крайних, самых решительных мер в борьбе. Но они до сих пор не могли ясно определить свою партийную принадлежность. В некоторых случаях называли себя революционерами вне партии, в других — национальными социалистами или беспартийными социалистами. Булат одно время пытался перетянуть их на свою сторону. «Беспартийный революционер — значит недозрелый социалист, а вам уж пора бы созреть»,— говорил он как бы в шутку. Однако оба юноши еще не могли осилить русскую политическую литературу, а в брошюрах, появлявшихся на татарском языке, видимо, не находили достаточной пищи для души... Начали было посещать политические кружки Булата и Даута, но обе группы подверглись преследованиям жандармерии, так что кружки не успели повлиять на них. Так они и продолжали носиться со своими стремлениями отстоять революцию, бороться против косности, угнетения, притеснений, но, разумеется, в душе они были близки к Дауту... Хотя их первым конкретным делом были выступления в медресе, развенчание мулл, участие в демонстрациях, митингах становилось серьезной школой.

Сейчас они зажглись идеей создания организации фидаистов.

Найдя в медресе Джихангира, Баязит рассказал ему о своем намерении. Два юных революционера заперлись в комнате, и в течение семи непрерывных часов там создавались тысячи разных планов, планировались невероятные

схватки, намечались великие подвиги... Но вдруг в соседнем зале начали бить часы.

Джихангир вздрогнул, словно пробудился от сна, и с дрожью в голосе стал отсчитывать удары: девять, десять, раздался еще один...

— Одиннадцать часов! Я пропал. Ровно в десять мне надо было быть на углу возле сада!..— вскрикнул он и выскочил из медресе.

Баязит даже не счел нужным спросить, куда так торопится Джихангир, он знал, что у его красивого приятеля бесконечные романы с какими-то девушками и молодыми женщинами. Дошла до него и последняя сплетня — о Джихангире и молодой жене Кадыр-бая Хаджер. Все это мало занимало Баязита. Увлеченный совсем другими мыслями, он и не заметил, как добрался до своего жилища.

Он очень устал, проголодался. А дома и перекусить не нашлось ничего.

Они вдвоем с товарищем, который бросил медресе, снимали эту комнату за два рубля. Товарищ по вечерам ходил брать уроки русского языка — собирался сдавать экзамен на учителя. Наверное, он не вернулся еще с занятий: не было видно его учебников, обычно лежавших на столе.

Баязит разделся не спеша и, погасив маленькую тусклую лампу, растянулся на заскрипевшей под ним древней кровати.

Спать не хотелось, в голове роились грандиозные планы... Что это?.. Кто там? В наружную дверь вошли несколько человек, на шум выскочила хозяйка. Кого они спрашивают? Кажется, назвали Баязита Сафарова? Кто это такие? Разговаривают по-русски... Вот прошли через зал и дернули ручку двери, забарабанили к нему в дверь.

— Я раздет, подождите хоть, пока брюки надену! — немного растерявшись, крикнул Баязит.

— Мы не в гости пришли... Отворяй скорее, а то взломаем дверь! — грубо приказали ему.

Баязит вскочил с постели и начал искать в темноте одежду. От волнения у него все падало из рук. А там, вероятно, заподозрили, что он хочет спрятать что-нибудь: кто-то просунул в дверную щель ножны сабли и пытался сорвать крючок.

Баязит второпях надел задом наперед брюки, измучился, пока снимал их, и, так и не справившись ни с чем, набросил на себя бешмет и откинул дверной крючок. В комнату ввалились пристав, околоточный, двое городовых. За

ними шмыгнули двое понятых из соседей — татарин портной и русский лавочник.

Баязита не волновали ни обыск, ни возможный арест, но он впервые в жизни столкнулся лицом к лицу с русским начальством, с полицейскими, и его охватила странная оторопь. Он не думал о наказании, но боялся, как бы не запятнать свою революционную честь, внушал себе, что надо суметь достойно ответить на вопросы, не напутать. Он побледнел, у него затряслись руки и ноги...

Пристав, как только вошел, осветил фонарем бедную комнату, где, кроме кровати, стола и двух табуреток, ничего не было, и недоверчиво уставился на Баязита, как бы спрашивая у него: где же ты прячешь здесь недозволенные вещи?

— Ты Баязит Сафаров? Мы пришли с обыском. Давай показывай вещи. Где оружие, прокламации где? Вы же здесь печатаете их! — сказал он уверенно.

Даже ордер не стал предъявлять — пусть, мол, попросит сам. Баязит когда-то слышал об этих правилах, но сейчас ему и в голову не пришло потребовать у пристава ордер...

Пристав придвинул к столу расшатанную табуретку, уселся и стал допрашивать.

Затем принялся рыться в бумагах, в книгах. Набрали пять узлов. Нашли оставшиеся нераспространенными двенадцать экземпляров прокламаций, отпечатанных вчера, печатную доску и синие чернила. Заполняя протокол, пристав все внимание сосредоточил на прокламациях.

— Ты,— говорил он, сверля Баязита глазами,— мелкая сошка. Не губи себя. Нам нужны другие. Говори правду: кто передал тебе это, кто здесь печатал?

Баязит с удивительной готовностью, даже с радостью принял все на себя, только на себя.

— Кто мне может передать? Я сам революционер! Краску готовлю сам, сам пишу прокламации, и печатаю, и распространяю сам! — отвечал он, торопясь и немного волнуясь.

Страшное теперь осталось позади. Для него было важно не сробеть, четко, верно ответить на первые вопросы. А дальше он уже сможет держаться уверенно, не боясь, как человек опытный.

И он спокойно подписал вслед за понятыми протокол.

Однако психология таких молодых людей, их откровенная резкая прямота были достаточно знакомы приставу. Он

усмехнулся про себя: «Ничего, у нас ты запоешь по-другому!..»

Баязита увели в участок. А на следующий день, продержав его полдня в охранке, измучив путаными, коварными вопросами, отправили в городскую тюрьму — в отделение для политических.

Там его посадили в четвертую одиночную камеру.

XV

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ

Хадичэ, жена пьяницы Абду́ла, ходила в дом, где жил Баязит, выполнять всякие мелкие работы, по субботам мыла полы. Когда к Баязиту пришли с обыском, она была там и вместе с хозяйкой, замирая от ужаса и жалости, наблюдала за всем из зала. Обыск кончился. Баязита увели, Хадичэ помчалась домой. Но мужа ее не оказалось дома, а ей не терпелось рассказать кому-нибудь о бедном шакирде.

Она выбежала во двор и, увидев в окошке Урманова свет, пробралась, вызвав сокрушенные стенания больной старухи, в его «преисподнюю». Даут, хотя час был поздний, одевался, собираясь куда-то. Появление в такое время взбудораженной, расстроенной чем-то Хадичэ удивило его, но, взглянув на выбившиеся из-под платка всклокоченные волосы, он подумал, что бедная женщина, наверное, подралась с мужем...

— Что случилось, джинги? [1] Ведь поздно уже? Я должен уходить сейчас.

Ему надо было идти к Нэфисэ, которая вчера письмом вызвала его, но он ничем не выразил своей досады. Да Хадичэ и не в состоянии была заметить что-либо.

— Ты сидишь тут...— закричала она,— а товарища твоего в острог повели!.. Ой, пропал, бедненький!.. Славный такой джигит был!..

Урманов понял только одно: кого-то опять схватили полицейские. Он нетерпеливо перебил:

— Говори толком, джинги, кто пропал?

Хадичэ продолжала дрожащим от волнения голосом:

[1] **Джинги** — жена старшего родственника. Так иногда обращаются вообще к замужней женщине.

— Уж очень был славный! Мужу моему рубашку свою дал! Меньшенькой девочке, бывало, всегда денежку в руку сунет... Что с ним будет?.. Говорят, нынче их вешают! Неужто и Баязита повесят?.. Господи, зачем надо было связываться с ними!.. Нашим, мусульманам-то, зачем связываться?.. Ведь вот твоего дружка Ягура повесили, говорят. Еще как тебя не повесили, вы же с ним в одной комнате жили!.. Аллах вас спаси, только зачем мусульманам пустяками всякими заниматься, себя губить!

Урманов подал ей стакан воды, сказал что-то насчет мужа, детей, и женщина немного успокоилась, убрала волосы, выбившиеся на поблекшее, болезненно-желтое лицо, перевязала платок. Речь ее потекла более складно:

— ...Душа у меня изныла, пока стояла я там за дверьми... Ведь губит же человек сам себя! Полиция у него спрашивает: это, мол, что? У кого взял? Кто тебе принес?.. А Баязит смотрит на него эдак с усмешкой и отвечает: у кого мне взять! Мое, говорит, все... А у меня душа в пятки уходит. Ну, думаю, что тебе стоит сказать: нашел, мол, или, дескать, дал такой-то, чем признаваться, что сделал сам... Сам свою голову сложил, а я чуть с ума не сошла... Нашли много бумаги, исписанной синими чернилами. Пристав смотрит ему прямо в глаза, спрашивает: что такое? Где взял?.. А тот все на своем стоит: мое, да и только... Вот вытаскивают у него из-под кровати клей, накатанный на белой жести. Это, говорит, что? Это, отвечает... уж и не выговорю, как он сказал,— я сам сделал, чтобы печатать... Так прямо и выложил! Коробку нашли за печкой. Там какие-то маленькие штучки, свинцовые, что ли. У того глаза вылупились, раскипятился. Баязит на него и не смотрит, а сам вроде бы растерялся: зачем, говорит, спрашиваете? Видите же сами, что такое. Книгу, говорит, печатать собирался... Просто беда! Собрали вещи, записали. Несколько узлов там будет, а самого, как арестанта, прямо в острог повели... Господи, что с ним будет?.. Не повесят ли?.. И зачем ему надо было впутываться в такие дела?.. Правду-то зачем выкладывает? Русский-то ведь не знает никого, взял бы и соврал! Языка, что ли, лишился бы?.. Сам себя погубил, несчастный мой! Уж такой славный был джигит, дочка моя души в нем не чаяла... Не повесят ли беднягу?!

Даут чувствовал, что он уже опаздывает, и заторопился.

— Не волнуйся зря. Не повесят. Скоро выпустят. Вот я завтра с утра пойду в тюрьму, узнаю, как у него дела... И тебе расскажу...— уговаривал он Хадичэ, выпроваживая ее.

XVI

НЭФИСЭ

Ночь была темная, но идти по давно знакомым улицам было не так уж трудно. Вот Овражная... Вот высокая лестница. На нижней ступеньке виднелась какая-то тень.

Даут подошел ближе. Луч света, протянувшийся из окна дома напротив, освещал женскую фигуру в белом платье, закутанную в красную шаль. Даут негромко окликнул:

— Нэфисэ, это ты?

В ответ раздался сдержанный, немного смущенный голос:

— О аллах! Разве придет Нэфисэ сюда посреди ночи! Это я — Зухрэ. Не узнал даже! Мужчины уж всегда так!

Зухрэ была мачехой Нэфисэ. Еще совсем молодая сама, она часто выполняла роль посланницы между девушкой и Даутом.

— Я,— сказала она,— пойду отнесу кое-что Фахри-джинги... Старик наш поехал на базар в Алмалы, вернется только завтра... Дети спят... Нэфисэ одна в доме, иди, она заждалась тебя... Ведь Габдрахман опять сваху прислал...

Темными переулками, мимо старых деревянных домишек, где жили мелкие торговцы с толкучки, Даут пробрался к угловому двухэтажному дому. Наверху в одном окне горит свет, занавеска спущена. Это ее комната. Комната, где они столькс раз встречались, таясь от недобрых взглядов... Даут осторожно отворил калитку, на цыпочках поднялся по темной лестнице на второй этаж, тихонько постучал в дверь.

Послышались легкие шаги. Дверь бесшумно распахнулась, и он увидел Нэфисэ, державшую в руке высокую лампу.

Сегодня Даут шел сюда только по велению долга: чтобы вместе поискать какой-нибудь выход, чем-нибудь облегчить положение Нэфисэ, и думал, что эта встреча, наверное, будет последней... Но когда в глухой ночной тиши перед ним появилась она, в его сердце опять всколыхнулись прежние чувства. Нэфисэ была так хороша сейчас! Голубое, со множеством оборок платье красиво облегало ее невысокую стройную фигуру. Маленький жемчужный калфак[1], слегка сдвинутый на лоб, точно весенний нежный цве-

[1] **Калфак** — маленькая, вышитая жемчугом или бисером шапочка, которую прикалывали к волосам.

ток, украшал каштановые волосы. Но темные, обычно улыбавшиеся ему глаза словно застыли в каком-то недоумении, словно погрузились в тяжелую думу. Могло показаться, что это не живое существо, а образ, навеянный лунным сиянием.

Увидев джигита, которого ожидала в смятении, не зная, придет он или нет, девушка преобразилась, на бледных щеках заиграла краска. Она готова была вскрикнуть: «Я так ждала тебя!..»

Однако губы произнесли другое:

— Боже, я не узнала вас! Вы в такой высокой папахе!..— Оставив лампу на подоконнике, Нэфисэ протянула Дауту горячую тонкую руку.

Она умела скрывать свои чувства. И все же сейчас не выдержала, не отнимая руки, сама прижалась к груди Даута. Стосковавшиеся их губы будто опалило жаром...

Стараясь не шуметь, они прошли мимо спящих детей в комнату Нэфисэ.

Это была комната девушки, выросшей в средней татарской семье и сумевшей немного приобщиться к новому. Правда, маленькое окно, как во всех строгих домах, было плотно зашторено, чтобы юная хозяйка не любопытничала, не переглядывалась с проходившими по улицам мужчинами. Но на пододвинутом к окну столике рядом с зеркалом, флаконами духов стояла чернильница, лежали ручки, несколько открыток, стопка книг.

Войдя, Нэфисэ осторожно поставила лампу на стол и тревожно взглянула Дауту в глаза:

— Это правда, что повесили одного вашего товарища?..

— Еще неизвестно,— ответил Даут и взял ее за руки.— Нэфисэ, дорогая, ведь очень поздний час... Я зашел на одну минутку: днем не вырваться, да и люди могут увидеть... Расскажи, что у тебя стряслось...

Девушка склонилась к нему и сказала дрогнувшим голосом:

— В письме я писала... Габдрахман опять сваху прислал. Папа мне и виду не подает. Но стороной я узнала, что он не прочь выдать, если сойдутся на калыме... Господи, точно скот ворованный продают, крадучись!..— У нее захватило дыхание, она отвернулась, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. Потом снова заговорила: — Скажите, пожалуйста: что он собой представляет? В эти дни, я вижу, он часто по нашей улице проходит. Как идет мимо нас, так на мое окно и уставится... А что с ним, почему щека у него перевязана? Жена сапожника — они внизу под

нами живут — передавала, что у него лицо разъела золотуха: никогда, говорит, не поправится, потому и не расстается с платком...

Даут не мог не рассмеяться:

— Удивительно! Почему это вдруг золотуха разъела?.. Да он здоровей здорового. Просто двое парней схватили его в темном переулке, избили: почему-де с красными путаешься, мусульман позоришь... Вот у него щека и не зажила. Пустяки все!

Нэфисэ затеяла разговор о Габдрахмане вовсе не потому, что он ее интересовал хоть в какой-то степени: она хотела заставить Даута высказать наконец самое для нее важное... Поэтому она продолжала:

— Не знаешь, чему и верить... Одни рассказывают, что он очень хороший приказчик, получает в месяц сто рублей, одинокий, что у него только старуха мать, и та не ведьма, как другие свекрови... А другие пугают, будто его за безделье прогнали со службы, будто голодает он... Я совсем растерялась, у меня голова разламывается от дум. Хоть вы скажите мне правду! — и она подняла на Даута умоляющий взгляд.

Даут едва мог совладать со своими чувствами. Он прекрасно понимал, почему Нэфисэ слала ему письмо за письмом, почему позвала его к себе, почему так упорно расспрашивала о Габдрахмане, каких слов ждет от него... Но он не мог ей сказать того, чего она с тайной надеждой ожидала!

Ведь ей было нужно услышать: «Моя милая Нэфисэ! Брось этих Габдрахманов! Мы любим друг друга и обойдемся без согласия твоего отца. Уйдем скорее из этого дома! Что бы ни ожидало нас, будем вместе!..» И она забыла бы все на свете — и отца-самодура, и мачеху; бросив все, в одном этом платье она ушла бы с ним, пошла навстречу любым жизненным невзгодам.

Но Даут не сказал ей этих слов.

— Я очень хорошо знаю Габдрахмана,— сказал он.— Крепкий джигит. Раньше он служил у одного еврея. Теперь поступил к Кадыр-баю. Получает сорок рублей. Бай обещал ему, если будет прилежен и женится, прибавить еще десять рублей... Все это мне точно известно!

Девушка вздрогнула. Но она все еще пыталась плыть по течению начатого разговора, боясь тайных его глубин. Только в голосе уже слышались нотки обиды.

— Был бы отец человеком... Ведь к нему нельзя подступиться! Слова не даст вымолвить, оборвет: оставь, ска-

жет, девушки не должны вмешиваться в такие дела, молчи, я сам знаю, как поступить... Вот ведь они уже договариваются о калыме! Ведь он одного боится: боится, что убегу с тобой... Поэтому и торопится, готов меня отдать за кого угодно, лишь бы побольше калым выторговать. Он тут рассуждал как-то: кто, говорит, женится или выходит замуж по любви, тот обрекает себя на беду. Вон, говорит, старик Гумер выдал свою единственную дочку по ее охоте за солдата Шарафи, сына хромого Герея, никого, говорит, не послушал, свое гнул: кто, мол, хочет, пускай хоть змеиное мясо ест. Коли люб он ей самой, мне, мол, все равно. А что, говорит, получилось? Живут сейчас хуже собак...

Девушка знала, что удерживает Даута. Он был из тех молодых людей, которые, став на путь революции, избегали жениться, строить семью, воспитывать детей: семью они уподобляли птичьему гнезду... Все это, дескать, связывает по рукам и ногам, тянет в мещанское болото, уводит с пути революции, которой они твердо решили посвятить свою жизнь.

Мысли об этом давно угнетали девушку, и даже посоветоваться ей было не с кем: отец — своенравный, отсталый старик, у него только калым да свадьба на уме, мачеха слишком занята своими любовными похождениями, она и Нэфисэ помогала встречаться с любимым джигитом из страха, что та выдаст ее... Ей ли было разбираться в противоречиях между семьей и революционным долгом! Да что Зухрэ, Нэфисэ сама не понимала — почему же так? Ну, предположим, Даут женится, возьмет ее замуж. Почему она должна превратиться в камень на его шее?.. Не могла она понять этого. «Видно, необразованна я,— упрекала она себя,— никак мне не сообразить... Наверное, на мое несчастье случилось все это... Боже, зачем я полюбила?! Зачем только полюбила?.. Не полюби я, было бы на душе у меня спокойно! Но... какой же тогда смысл жить?..»

И сейчас терзали девушку эти же горькие мысли, хотя говорила она совсем о другом.

— Я не пойму тебя,— удивленно и даже с укоризной отвечал ей Даут,— вот тут лежат твои книги... Ты же всетаки не скрываешься, подобно другим, под чадрой... Читаешь, любишь литературу... И знаешь, что отец не имеет права продавать тебя! Так почему же не поговоришь с отцом прямо, открыто?.. По всей России идет борьба против царя, и молодежь поднялась... а ты не можешь с хромым отцом объясниться...

Смущенная Нэфисэ откровенно призналась:

— Да, не могу!.. Когда я одна, во мне все кипит, в голове накапливается столько доводов, слова, кажется, сами так и потекут. Но стоит мне очутиться лицом к лицу с отцом, как мысли начинают путаться, в голове туман, исчезают все приготовленные фразы... А уж если он крикнет, топнет ногой, кровь стынет в жилах... Да и какая польза от смелости: он не очень-то даст тебе распеться, скажешь ему слово наперекор — глаза у него кровью нальются, жилы на висках вздуются, рычит: «Не лезь в мои дела!» Коли не остановишься, бьет чем попало, до синяков... Может выгнать из дому, как собаку...

Нэфисэ умолкла, чтобы перевести дыхание. Потом, немного успокоившись, продолжала:

— Под нами сапожник живет. Пьянчуга ужасный. Но жена у него добрая женщина и веселая. Устаешь целыми днями одна дома сидеть: в город не пускают, в сад тоже. Я и подружилась с ней. Недавно сидела я у них, вдруг дети заволновались: «Апа!.. Апа![1] Скорее!.. Отец идет...» Выбежала я, а он уже стоит передо мной. Потемнел от злости, глаза красные. На лице такая ярость, что и узнать его нельзя. Страшно так закричал: «Чего тебе надо там? А?.. Чего тебе надо?.. Живешь на всем готовом, сыта, одета. Чего тебе не хватает? Что ты там потеряла, скажи?.. Джигитов высматривать ходишь к ним, о джигитах судачите, бесстыжие, проклятье на вас!..» Схватил меня за косы, потащил наверх и стал стегать ремнем. Дети заплакали, мама Зухрэ хотела остановить его, он полоснул ее ремнем прямо по лицу... Так избил он меня, живого места не оставил, и сейчас еще видны следы...— Нэфисэ показала кровоподтеки на шее и на руках.— По-своему он даже любит меня... Раньше ведь не бил так. Дела у него сейчас ухудшились. Из двух лавок одну пришлось закрыть. Да и сплетни насчет Зухрэ его ожесточили, совсем характер испортился... Но удивительно: после того как изобьет меня, на следующий день становится другим, не знает, чем меня побаловать,— приносит то, что прежде и выпросить не могла, разговаривает ласково, не сердится, если я заступлюсь за детей или маму Зухрэ, бывает, целую неделю ходит как шелковый... Потом опять что-нибудь ему не по нраву, и опять стегает ремнем...

В зале захрипели часы, раздалось несколько глухих ударов. Кто-то из детей проснулся:

---

[1] Апа — обращение к старшей сестре, тете, вообще к старшей по возрасту девушке, женщине.

— Мама, пить!.. Мама, пить!..

Нэфисэ прижала палец к губам.

Голосок затих.

— Вот какая у нас жизнь, Даут-абы! — И вдруг Нэфисэ прижалась к Дауту, уронила голову ему на грудь.

Даут терял волю. Запах духов, исходивший от волос, от платья Нэфисэ, туманил ему голову. Нэфисэ вся пылала, она подняла на него глаза, опьяненные любовью. Джигит обхватил ее сильными, жаркими руками, поднял и замер... рассудок уже отступил, вот-вот должно было случиться непоправимое...

— Апа... воды! — снова послышался детский голосок. Эта маленькая помощь, так вовремя пришедшая со стороны, сразу отрезвила Даута. Он бережно опустил обессилевшую Нэфисэ на кровать и, склонившись над нею, схватившись за голову, чужим, каким-то прерывистым голосом проговорил:

— Что я делаю? Я же гублю тебя!..

Нэфисэ приоткрыла глаза и, вялой рукой погладив его горячий лоб, откинулась на подушку.

— Иди, Даут-абы...— сказала она.— И перед мамой Зухрэ неудобно... Да и дела тебя ждут завтра... Много дел...— В голосе ее звучали спокойствие и безнадежность.

Даут целовал ее руки, она приподнялась, обняла его за шею, приникла к его пересохшим губам в долгом поцелуе — и снова упала на подушку. Не встала проводить его.

Когда позже к ней в комнату вошла Зухрэ, Нэфисэ лежала неподвижно, лицо ее было мокро от слез.

XVII

КОГДА ВЫ НАПИСАЛИ ЭТО?

Вернувшись домой, Даут долго мерил шагами свою комнату.

Потом сел за стол.

«Нэфисэ моя! Прости меня! Надеюсь, ты не лишишь меня своей дружбы. Желаю тебе много счастья. Хочу видеть светлыми все твои дни! Пока ничего больше не могу сказать тебе...» — написал он.

Утром он вложил письмо в конверт и сунул в карман.

У Баязита-кари, кроме Даута, близких в городе не было. Чужих к нему не пустят. А разведать, в чем дело, каково его положение, было необходимо. Возможно, ему срочно

понадобится что-нибудь... Даут отправился в городскую тюрьму.

Однако увидеться с заключенным было не так-то просто.

— Сейчас поздно, приходите завтра,— ответили Дауту.

На следующий день тоже не пустили:

— У нас для свиданий с заключенными выделены два дня в неделю. Тогда и придете.

Не отворились для него двери и в эти дни.

— Нужно особое разрешение,— коротко объяснили ему.

Даут в недоумении обратился к адвокату Соломонову, который бесплатно защищал политических. Тот приветливо встретил его, выслушал всю историю и пришел к такому выводу:

— Если все происходило именно так, как передавала вам та женщина, его ожидает крепость или Сибирь.

Пока думали, каким образом подступиться к этому делу, выяснилось нечто непредвиденное. У Герея Султана Кавказского, оказывается, неведомо через кого была налажена связь с тюрьмой. По этому каналу Джихангиру пришло от Баязита письмо. Было оно мрачное: «У меня за неделю дважды горлом шла кровь. Страдаю бессонницей. Мучаюсь ночи напролет...»

Даут снова побежал к Соломонову:

— Нельзя ли, пока ведется дознание, взять его под залог? У него скверное здоровье, если будет так продолжаться, он погибнет!

Но ничего утешительного в ответ не услышал.

— Если слова той женщины соответствуют действительности,— сказал адвокат,— ваш подопечный представил себя опасным преступником. Таких под залог не выпускают.

Но затем в этом сложном деле произошел еще один неожиданный поворот: Баязита согласились выпустить из тюрьмы до рассмотрения его дела под залог в шестьсот рублей.

Теперь вся остановка была за деньгами.

После того как Баязит-кари, опозоренный, избитый, бежал из медресе, всякая связь между ним и отцом порвалась. И все же Даут подумал, что печальное положение единственного сына может смягчить сердце старика, и послал Джихан-ишану телеграмму: «Баязит опасно болен, иной возможности достать денег нет, спасите сына».

И эта телеграмма и последовавшая за ней остались без ответа. Когда Даут отправил третью, оплатив ответ в десять слов, старый ишан ответил четырьмя словами:

«У меня нет сына».

Надежда на ишана была потеряна, и Урманов решил попытать счастья у либералов. Был в городе молодой бай Шакир Салихов. «Я не против красных,— говаривал он часто.— Я сам — скрытый социалист и, ежели настанет социализм, собственными руками раздам свое богатство беднякам!» Замолвили словечко ему. Но он сразу отмахнулся. Хотели было усовестить его: «Зря ты, мол, жмешься, ведь эти шестьсот ты за вечер в кафешантане прокутишь!» Уговоры не возымели действия. Молодой бай испуганно оглядывался на окно.

— Еще и меня запутаете в ваши грехи!..— бормотал он.

Даут совсем было приуныл. Но помощь пришла — и оттуда, откуда ее совсем не ждали.

У крупнейшего в городе богача Кадыр-бая был сын, по имени Юсуфджан. С этим джигитом, который, не в пример другим байским сынкам, имел пристрастие к образованию, Даут учился вместе в старометодном медресе. Многие годы они провели там, дружа, иногда вздоря, оба слыли горячими спорщиками на богословских диспутах. В последнее же время между ними наступил полный разлад: они не виделись, не встречались, стали врагами...

И вот, когда Даут, вернувшись с пустыми руками от Салихова, сидел у себя, не зная, что еще предпринять, к нему, в его «преисподнюю», явился тот самый Юсуфджан и сказал прямо:

— Я слышал, что Баязит исходит кровью. Вы, оказывается, не нашли денег, чтобы взять его под залог. Я дам эти шестьсот рублей.

Урманов не поверил в добрые намерения Юсуфджана, но все же постарался быть с ним возможно любезнее и на предложение его согласился, чтобы выручить Баязита.

На следующее утро в одиннадцать часов он поспешил с радостной вестью в городскую тюрьму. Когда он ждал, чтобы его впустили, ворота раскрылись, и он увидел, как двое жандармов ведут через весь двор — из огромного каменного корпуса в контору — сильно исхудавшего, обросшего черной бородой и усами Баязита...

Даут попытался проскользнуть во двор.

— Вон моего родственника ведут! У меня одно слово к нему...— взмолился он.

Но часовые вытолкали его. Тогда он достал из кармана листок бумаги, карандаш и написал Баязиту записку на русском языке — о том, что шестьсот рублей достали, что, может быть, удастся освободить его до суда.

Однако записка пошла сначала к начальнику тюрьмы, от него — к прокурору, потом ее подшили к «делу»... К заключенному она так и не попала.

Не слышал Баязит и голоса Даута, окликнувшего его из ворот...

Через помещение конторы Баязита провели в какой-то кабинет.

...Первый раз допрос происходил во время обыска в его комнате. Затем с полчаса мытарили вопросами в участке. Оттуда привели в жандармерию, и там четыре часа подряд его допрашивал жандармский офицер Филиппов. Чего только он не выпытывал у него! И как выпытывал: оборачивался то другом, то врагом, запугивал Сибирью, крепостью, всячески обыгрывал ужасы виселицы... Баязит точно так же, как и во время обыска при Хадичэ-джиинги, ясно и твердо ответил на несколько вопросов, а на остальные, глядя прямо в серые глаза офицера, бросал:

— Не знаю... Не знаю... Не видел... Не слышал... Не имею понятия!

Жандармам этот вспыльчивый юноша с открытым взглядом показался человеком глубоко подозрительным, имеющим большие партийные связи. Поэтому решили: пусть недели две посидит под замком в сырой тесной тюремной камере, пусть помучится: потом, мол, заговорит иначе! И вот почти две недели его держали без допроса.

А в эту ночь опять было произведено много арестов, получены много новых материалов. Среди них оказались и такие, которые основательно компрометировали Баязита...

Жандармский полковник Герасимов применял иногда в своей деятельности и методы Зубатова. Особенно любил он ласковым словом, добрым внушением вызывать на откровенность молодых заключенных, которые попались впервые. Несмотря на чрезмерную усталость после проведенных без сна ночей, он велел привести к нему Баязита.

Баязит давно слышал о пытках, истязаниях, которым подвергают заключенных в тюрьме, чтобы заставить их дать показания, что им надрезают кожу на пятках и засыпают раны солью, вырывают волосы, ногти... Он готовился к этому, давал себе клятву вынести любые пытки, но не произнести лишнего слова, не выдать никого, не предать революцию! Когда его вызвали в контору, перед его мысленным взором сразу встали все эти ужасы, он шел, и у него дрожали колени, но еще и еще раз он клялся в душе: пусть истязают, выламывают руки, ноги, он не скажет ничего такого, что может нанести кому-то вред!.. «Не говорить! Не

говорить! Не говорить! Не говорить!» — твердил он про себя и, все же боясь, что не выдержат нервы, взывал к своему сердцу, рассудку, моля о силе, о твердости духа.

Так, в надежде, в муках, в страхе, вошел он в просторный кабинет. В кабинете никого не оказалось. Лишь с белой стены таращил глаза на вошедшего царь Николай. Рядом с ним по одну сторону стояла царица, по другую — их дочери. Посредине кабинета громоздился большой дорогой стол под черным сукном. На столе поблескивали графин с водой, стакан и пепельница. Больше ничего. Пока заключенный оглядывал стол и царя Николая, отворилась боковая дверь, и в нее бодрым шагом вошел старый жандармский полковник. Баязит впился в него глазами. Но в его облике не было ничего страшного, звериного. Наоборот, седые волосы и борода, открытое приветливое лицо делали его похожим на доброго, симпатичного старика.

Герасимов приказал охране выйти и мягко обратился к Баязиту:

— Садитесь вот сюда!.. Я вызвал вас минут на пять, на десять, хочу спросить кое о чем... Ведь вы сын известного ишана. Из уважения к вашему отцу ваши товарищи на воле хотят взять вас под залог. У вас, оказывается, кровь пошла горлом, а наш тюремный доктор Ефим Серафимович любит выпить и невнимателен, поэтому я распорядился, чтобы к вам пригласили другого специалиста... Вы курите, пожалуйста! — Он подвинул портсигар, спички, закурил сам и, не сводя взгляда с заключенного, уселся напротив, в глубокое кресло под портретом царя Николая.

Баязит сконфузился, в растерянности протянул дрожащую руку к портсигару, раскрыл его, захлопнул снова, потом все же взял папиросу, неумело зажег ее и затянулся. Но дым не вышел через нос, как ему хотелось, он поперхнулся и, покраснев, положил горящую папиросу прямо на стол. Увидев, что задымилось сукно, быстро схватил ее, смял и сунул в карман. Только тут он обратил внимание на стоявшую перед ним пепельницу и переложил окурок в нее. Все это произошло в течение нескольких секунд. Герасимов с чрезвычайным интересом следил за откровенным проявлением растерянности молодого заключенного.

Он вытащил из портфеля несколько бумаг и, как нечто самое обыкновенное, протянул одну из них Баязиту.

— Когда вы написали это? — спросил он, пристально глядя на него.

У Баязита потемнело в глазах: перед ним лежала отпечатанная синими чернилами прокламация. Каждая буква

в ней была отлично знакома Баязиту. Она была написана по-татарски его ясным почерком и размножена им на гектографе. Строки, слова — все завертелось, запрыгало перед его затуманенным взором.

...Как-то шли они с Джихангиром по улице и встретили Герея.

— Вот что, братишки,— сказал он им,— есть для вас работа!

Обрадованные тем, что им поручают какое-то дело, они стали дожидаться Герея в саду. Он сходил куда-то, потом посидел с ними на скамейке, будто курил папиросу, и незаметно сунул в карман Баязита листок бумаги.

— Чтобы четко получилось! — предупредил Герей.— Напечатайте как следует! Не меньше ста штук. Если плохо выйдет, отпечатаем еще раз.

Они заперлись в комнате, завесили бешметом окно и две ночи подряд сидели над прокламацией. Из ста десяти листков только семь оказались испорченными, остальные сто три были отпечатаны удивительно четко, красиво...

Прокламация, которую ему протянул Герасимов, была одной из этих ста трех.

Допрашивая молодых, Герасимов особое значение придавал моменту психологическому. Он увидел, что заключенный задрожал, но потом как будто успокоился,— а это было уже невыгодно для ведения допроса,— и, не дожидаясь ответа, выложил еще одну бумагу, исписанную карандашом. Все так же впиваясь в юношу глазами, спросил:

— Вы вот с этого переписывали? Это почерк Булатова?

Сомневаться и тут не приходилось: это был тот самый листок бумаги, который Герей сунул в карман Баязиту в городском саду. Листок, торопливо исписанный рукою Булата. Буквы, слова — все булатовское: ведь Баязиту и Джихангиру не раз случалось переписывать и размножать прокламации, написанные его рукой. Это была лишь одной из многих.

— Можно? — спросил Баязит, протягивая руку к портсигару. Он закурил снова. Во рту стало противно, но он все равно втягивал в себя дым, чтобы заняться чем-нибудь, чтобы хоть на время избавиться от взгляда, который, казалось, вытягивал из него тайны.

Полковник повторил вопрос. Баязит отверг оба предположения:

— Не знаю, эту прокламацию я не печатал. Не переписывал. Не моя работа... Не имею понятия, чьей рукой написана эта бумага. Почерк Булата мне незнаком.

А в душе поразился: откуда жандармы знают столько?! Откуда им все известно? Он слышал об охранке, о внутренней ее агентуре, о сыщиках-филерах. Но даже не представлял себе, что они могут до такой степени глубоко проникнуть в их среду... Надо все восстановить в памяти: написал Булат, Герей передал им, они печатали. Распространили сто три листовки... А куда же дели этот самый оригинал, написанный карандашом? Кажется, потеряли... Значит, каким-то образом жандармы заполучили его... Но как они узнали, что написал это Булат? Как догадались, что именно он, Баязит, переписывал прокламацию?..

Словно разрешая недоумения заключенного, полковник вытянул из портфеля третью бумагу.

Это была записка, написанная Баязитом в тюрьме и тайно переправленная Джихангиру. Даже эта записка через чьи-то руки вернулась сюда!.. Кто же предает?.. Неужели продался Герей Султан?.. Или Джихангир, или Урманов оказались провокаторами?.. Может быть, кто-то влез в самую душу к ним, прикидывается другом, а сам работает в охранке?

Его взбудораженные мысли прервал вопрос:

— Это ваша записка?

Отказываться было бесполезнс

— Моя,— подтвердил Баязит.

— В таком случае сравните почерк: разве не схожи ваша записка и прокламация? Я татарского языка не знаю, но научная экспертиза установила, что оба эти документа написаны одной рукой, вашей рукой написаны... А теперь взгляните сюда! — На столе появилось еще одно письмо.— Вот письмо Булатова к сестре и матери... А вот оригинал прокламации, которую вам передал Герей Султанов... Не одна ли и та же рука?.. Экспертиза считает, что одна... Скрывая совершенно очевидные вещи, вы лишь подрываете доверие к себе. Мне бы не хотелось губить вас. Вы сын уважаемого человека... Вас эти Булатовы и Султановы сбивают с пути. Будьте со мной откровенны, и я постараюсь облегчить вашу участь... Не верьте наветам ваших главарей: они всех жандармов изображают хищными зверями. А наша задача — добиваться истины. О том, что делается в вашей среде, мы и так знаем по многим поступающим к нам материалам. И все же мне надо кое-что уточнить. Отвечайте мне прямо и правдиво! — Полковник поднялся, зашагал по кабинету.

Сначала, как о чем-то маловажном, Герасимов вспомнил о пьянице Абдуле, который учинил скандал на под-

готовительном собрании мусульман перед выборами в думу.

— Кто он, умышленно он разыграл сцену или в самом деле был пьян?

Баязит рассмеялся:

— Наверное, был пьян. Кто бы стал возиться с ним?

Не задерживаясь на этом, жандарм перешел к Гэвхар:

— Вот ваши социалистки ратуют за то, чтобы мужья и жены стали общими.— Он гадко ухмыльнулся.— А когда дело дошло до Булатова, как сцепились Нина с Гэвхар!..

Этому Баязит-кари немало удивился: хотя он и встречался с обеими девушками, выполняя разного рода поручения, но о раздоре между ними до сих пор не слыхал.

Он было тем и решил отделаться, сказав, что ничего об этой ссоре не слышал, не знает. Однако Герасимов опять усмехнулся с издевкой:

— Ах, так?.. А вот мы все знаем. Во время обыска из рук самой Гэвхар взяли ее гневное письмо к Булатову. Не менее интересно и то письмо, которое она написала Булатову из театра, когда узнала от Ширинской, что Нина сожительствует с Колей. Как видите, нам известно все. Поэтому не думайте, что обойдете меня ложью. Я на первом же слове поймаю вас...

Баязит мог ожидать от охранки чего угодно, но ему и в голову не приходило, что она доходит до того, что следит за распрями двух ревнивых девушек... Он старался ограничиться несложными ответами на вопросы жандарма. История с двенадцатью приказчиками, бросившими работу у Кадыр-бая, уже появилась в газетах. Утаивать тут было нечего, и он рассказал о ней со всеми подробностями. Сообщил и о бойкоте, объявленном Кадыр-баю, и о том, что бай подсылал к Фахри людей, обещал выполнить требования приказчика, лишь бы те вернулись к нему.

Трудно было сразу сообразить, о чем можно говорить и о чем нельзя. Поэтому Баязит и касался фактов, получивших огласку, об остальном же умалчивал.

Старый жандарм, видно, устал шагать, он снова уселся в кресло.

— Ну, я и сам устал и вас утомил. Еще несколько слов, и отпущу вас.

Он наклонился к столу и как-то очень просто спросил:

— А почему эти красные никак не выпустят свою татарскую газету? Булатов и Азаматов взялись было за нее на второй же день после манифеста... Ведь их партия даже тысячу рублей им обещала... Или это обещание так на

словах и осталось? Еще и Урманов с Мансуровым... Говорят, два глупых молодых бая хотят дать им деньги. Но и этой газеты тоже не видно. Может, не ладят между собой?.. А ведь Булатов совсем недавно на рабочем кружке кричал, выпятив грудь, хвастал: мол, жандармы пытаются отрубить нам язык, да не выйдет, мол, это... если где-нибудь и удастся им прижать нас, мы, мол, в десяти местах пробьемся! Не так ли?

Баязит не знал, что сказать. О том, что группа Булата собирается выпустить газету, он слышал лишь краем уха и далеко не из первых уст. Признаваться в этом жандарму он счел неудобным и ответил коротко:

— Не знаю, не слышал.

Жандарм пристально взглянул на него:

— Ладно. Ну, а что скажете насчет шакирдских бунтов? Кто их подстрекает? Там те же Булатовы и Азаматовы разжигают подпольный огонь?.. Вы же шакирд, говорите правду!

Баязит не стал отнекиваться. Рассказал о шакирдском движении, но представил его как выступление против мулл, против отжившей схоластики и ни слова не сказал о политических, революционных веяниях.

Сдерживавший себя до сих пор жандарм вскочил и крикнул в ярости:

— Зачем лжете?.. Вот у меня тайные газеты шакирдов, их переводы!..— Он вынул из портфеля кучу бумаг.— Это что?.. «Бога, царя, муллу — всех вздернуть на одной веревке». Печатать подобные стихи — не революция, по-вашему?.. Так уж вы и не ведаете ничего о бунте, готовом вспыхнуть не сегодня-завтра в Медресе-и-исламийе? Ведь во главе бунта стоит ваш друг Джихангир!.. Ладно, оставим и это!.. Что собой представляет шакирдская организация фидаистов, к которой причастны вы сами? Разве в ней не те же красные шакирды, вступающие в борьбу против бога, царя и мулл?.. Из-за вашей молодости я отнесся к вам как к близкому человеку... а вы стараетесь все скрыть... К чему стремятся красные? Они топчут бога, веру, евангелие, коран. Покушаются на государство, на семью, на собственность. Хотят сделать общими жен, мужей. Намереваются «вздернуть на одной веревке бога, царя, муллу». Для этого создают партию. Для этого организуют тайные типографии, сеют в народе смуту, раскалывают народ, деля его на так называемых буржуа и пролетариев. Для этого собирают тайно оружие, призывают к вооруженному восстанию, их цель — потопить мир в море крови... Все это — происки

жидов, а вы-то что путаетесь? Я люблю татар. Они — хороший, крепкий в своем единстве народ. «Сначала бог, потом царь!» — это для них всегда было свято. Теперь же шайка беспутных красных, вроде молокососов Булатовых, пытается совратить добросердечный, преданный царю, религиозный, здравомыслящий татарский народ... А вы верите их россказням! Заводите беспорядки со всякими вашими шакирдскими бунтами, фидаистами... Вам-то что нужно?..

Гневный поток жандармского красноречия только придал Баязиту твердости. Слова старого полковника как будто помогли ему увидеть в еще более определенном, ясном свете избранный им путь борьбы. Сейчас он уже без всяких сомнений чувствовал себя воином, попавшим в руки врагов, героем-солдатом, и это вселило в него новые силы, новые надежды. Он уже был полон задора, ему хотелось резко ответить этому жандарму: «Зачем вы тратите время на меня? Я же не мальчишка, чтобы поддаться вашим мелким уловкам! Да, я считаю необходимым «вздернуть на одной веревке бога, царя и муллу»! Довольно. Вот я весь перед вами. Не тяните душу! Если вам надо — расстреляйте, я готов!» Но сдержался: за эти три-четыре часа мучительного допроса он повзрослел на несколько лет. Если бы жандарм заговорил с ним сейчас прежним отеческим тоном, Баязит оборвал бы его, крикнув: «Хватит, меня не обманешь!»

Однако Герасимов, немало видавший такого за тридцать лет службы, заметил и эту перемену в психологии заключенного. Позвонил в колокольчик. Вошла стража и увела Баязита.

В одной из боковых комнат сфотографировали его лицо, сняли отпечатки пальцев. Сделали снимок во весь рост. И опять отвели в ту же, четвертую камеру. И опять за его спиной щелкнул замок на железной двери.

XVIII

ЧЕРЕЗ СТЕНУ

Высокая, узкая камера. Баязит, один в четырех сырых каменных стенах, быстрыми, торопливыми шагами пересекал ее из конца в конец... Однажды в детстве он был поражен, увидев в зоологическом саду, как мечется огромный медведь в тесной своей клетке. Он хорошо понял его теперь: точно таким же показался он сам себе.

Высоко над головой, будто подвешенный к стене фонарь,

светилось маленькое окошко, забранное решеткой. И все же виднелся там кусок вольного, ясного неба. Легкие снежнобелые облака неслись к северу. Зачем они торопятся, куда? Кто их гонит? Наверное, поднялся ветер, он и гонит, потому и спешат они, несутся вдаль... Баязит все еще не мог прийти в себя после измотавшего его допроса, останавливался, смотрел почти бездумно в окошко и снова принимался шагать.

Перед его глазами — просторный кабинет с массивным столом, на стене царь Николай, по одну сторону — царица, по другую — их дочери. Под портретом, опустившись в глубокое кресло, сидит старый жандармский полковник. У него явно ревматические ноги. Иногда он с легким стоном поглаживает их. На лице — усталость, глаза то спокойны, то загораются. Он только что был мягкосердечным отцом и тут же превратился в грозного хищника, в палача, готового схватить жертву за глотку, в ястреба, собравшегося растерзать свою добычу...

Ничего!.. Хотя Баязит вошел туда со страхом, уходил он с гордо поднятой головой. Нет, он не проронил ни слова, которое могло бы опорочить имя заключенного-революционера...

Он прислушался: что случилось?.. В коридоре раздался какой-то металлически звякающий топот. Пока он раздумывал, что бы это могло быть, железные подковы застучали совсем рядом. Вот загремел замок, тяжело лязгнули засовы, и дверь распахнулась. В камеру ввалились солдаты в огромных сапогах, в серых шинелях. Молча они накинулись на Баязита. Обшарили его, вывернули карманы, бесстыдно прощупали все его тело, заставили снять ботинки, искали что-то между пальцами, швырнули, прислушиваясь, ботинки об пол, потом пробовали отодрать подметки, каблуки. Один полез ему пальцем в уши, осмотрел ноздри, сунулся, раздирая челюсти, ему в рот.

— Ничего нет! — сказал солдат и, как столб, застыл посредине камеры.

Другие тем временем копались в постели Баязита, переворачивали, трясли жиденький соломенный матрац, подушку. Взяв хлеб с полочки, вделанной в мокрый, заплесневелый угол, искрошили его весь, но и там не нашли ничего. Одно лишь обнаружили: в долгие, тягостные тюремные дни, от нечего делать, не зная, как убить время, Баязит слепил из сырого хлебного мякиша шахматные фигурки, чтобы играть хоть одному, углем разлиновал на клетки носовой платок...

— Что это значит? Как смеешь обращаться так с казенным хлебом? — закричал один, наступая на Баязита.

У Баязита вскипела кровь, в глазах потемнело. Он еле сдержался, чтобы не броситься с кулаками на этих животных, надругавшихся над ним.

— Баловать с хлебом не полагается... В наказание сутки останешься без пайка! — объявил надзиратель.

Тюремщики ушли из камеры.

«Не дадут хлеба, и не надо!.. За сутки человек не умирает от голода! Но как осмыслить все это?..— думал Баязит.— Какие-то тупые существа вламываются к тебе и уходят, унизив, растоптав твое достоинство... Что я — скотина, которую вывели на базар?..»

Его внимание привлек слабый стук в стену. Баязит из предосторожности подошел к двери, прислушался, потом, вернувшись туда, где стук слышен был яснее всего, приник ухом к стене...

Видимо, что-то мешало там: постучали несколько раз и перестали... Стукнули еще раза два и опять перестали...

Но вот застучали быстро-быстро.

«Большие события...» — понял Баязит.

Спустя немного он с трудом разобрал:

— От Петербургского Совета рабочих депутатов приехал Разин...

Но в этот самый момент в замке со скрежетом повернулся ключ. Баязит едва успел отскочить от стены. С железным грохотом растворилась тяжелая дверь, и на пороге показалась громадная фигура надзирателя Иванова.

— Сафаров, оправиться! — приказал он.

Баязит, брезгливо морщась, поднял провонявшую насквозь парашу, которая стояла возле двери, и вышел. Уборная помещалась в конце длинного коридора. Взволнованный всеми событиями, раздраженный тем, что ему не дали дослушать важную, по-видимому, новость, Баязит в рассеянности поставил парашу близко к умывальнику. Лицо надзирателя, не спускавшего с него глаз, побагровело.

— Ах ты, татарин гололобый!.. Я сколько раз тебе говорил: не смей там ставить!..

Баязит потерял самообладание.

— Что ты кричишь?! — взорвался он.— Спокойно не можешь сказать?.. Скотина я тебе, что ли?!

В соседних камерах, где сидели политические заключенные, видимо, слышали их. Оттуда заколотили в дверь. Поднялся шум. Надзиратель рассвирепел.

— Молчать, сволочи! — заорал он на весь коридор.— Бунтовать вздумали?..

В шум, гам вдруг ворвался истошный голос из девятой камеры, где сидел молодой еврей, тоже политический. Стуча кулаками по железу двери, заключенный надрывался:

— Почему не выводишь меня в уборную?.. Открывай скорее!..

Надзиратель люто ненавидел его. Он только и ожидал повода, чтобы придраться к этому еврею. Теперь, когда подвернулся случай, он возликовал. Позабыв о Баязите, бросился к девятой камере:

— Ах, вот как!.. Бунт поднимаешь?! — И стал осыпать заключенного отборной руганью, поминая и родителей его, и отдаленных предков, и веру, и пророка...

Двери остальных камер снова загрохотали под ударами. Весь коридор выражал свой протест, содрогался от криков возмущения, но надзиратель не обращал больше ни на кого внимания.

Появился помощник начальника тюрьмы. Надзиратель, рапортуя ему, не упомянул ему уже ни о Баязите, ни о других:

— Ваше высокоблагородие... вот тут один заключенный нарушает порядок... бунтует...

Заключенного Ицковича отправили на пять суток в карцер.

После этого злоба Иванова улеглась, он даже подошел к двери Баязита, вернувшегося в свою камеру, и, открыв глазок, сказал, ухмыляясь:

— Ну, Сафаров, твое счастье! Выручил тебя жид!

Баязиту хотелось одного: чтобы он убрался скорее. Ведь из соседней камеры начали опять выстукивать...

Надзиратель с шумом закрыл глазок. Его грузные шаги удалились в конец коридора и заглохли.

Баязит стукнул в стену два раза: это означало, что он слушает. Но оттуда почему-то не отвечали.

...О том, что камеры таким способом сообщаются друг с другом, Баязит слышал еще до того, как переступил порог тюрьмы. Но он не знал «азбуки» стуков. В первый же вечер к нему постучали из обеих соседних камер. Понять, что ему передают, и ответить он не мог. Как было научиться, у кого? Поместили его в одиночку. Еду, воду передавали в дверное окошко. Правда, ежедневно выводили на полчаса во двор, окруженный высокой каменной стеной. Да ведь и туда приходилось идти под стражей, прогуливаться под

ее зоркими взглядами, возвращаться снова под стражей. С кем бы ни встретился, все равно не вымолвишь и слова. Больше недели Баязит провел в таком гнетущем одиночестве.

В тюрьме было три корпуса. В одном помещались уголовники. В новом, кирпичном корпусе в обоих этажах сидели только политические. Разносить им пищу посылали уголовников. Коридор Баязита обслуживал вор-молдаванин из Бессарабии. Этот невысокого роста красивый парень ни слова не понимал по-русски. Баязит как-то улучил момент и попытался заговорить с парнем. Тот не ответил. Сверкнув синеватыми глазами, засмеялся и покачал светловолосой головой: не понимаю, дескать. Вскоре они подружились, хотя добрая улыбка была единственным средством их общения друг с другом. Однажды, когда Баязит, удрученный бездеятельностью, не зная, как дотянуть до конца день, похожий на все другие тюремные дни, шагал по своей камере, отворилось окошко в железной двери, сперва появился котелок со щами, потом чашка с прокисшей гречневой кашей, а затем показалось молодое, красивое лицо его приятеля-вора. Сегодня он улыбался еще приветливее, чем обычно. На лице его была написана радость, глаза сияли. Он постарался втиснуть, насколько мог, голову в окошко и широко раскрыл рот: под языком у него лежала маленькая, сложенная вчетверо бумажка. Баязит схватил ее, кинулся к приделанному к стене железному столику, где уже стояли щи и каша, и, усевшись спиной к двери, низко нагнулся над едой. Он разворачивал бумажку, дрожа от волнения. Он был уверен, что это записка от Джихангира, что Джихангир передает ему какую-то весть... Но, развернув квадратный листочек, растерялся: это была не записка, а что-то другое!

И Баязит сердцем почувствовал: это и есть то, что ему так нужно! Азбука! Та самая азбука...

У него тряслись руки, колотилось сердце. Он то вскакивал, то садился, снова и снова вглядываясь в бумажку. И наконец понял. Буквы были размещены в этой азбуке так:

	1	2	3	4	5
1	а	б	в	г	д
2	е	ж	з	и	к
3	л	м	н	о	п
4	р	с	т	у	ф
5	х	ц	ч	ш	щ
6	э	ю	я		

Тот час, когда он получил азбуку и разобрался в ней, показался Баязиту самым счастливым в его жизни. Он забыл о еде, даже не прикоснулся к ней. Сидел над бумажкой и пытался заучить азбуку. Он вспомнил, как стучали к нему соседи: стук был не обычный, после нескольких ударов останавливались ненадолго, делали небольшую паузу... Тут же он попробовал, тихо выстукивая по столу, разговаривать сам с собою по-русски. Например: «Ты кто?..» Вот буква «т» — третья в четвертом ряду. Так... Сперва четыре удара. Это означает ряд. Так... Поскольку в четвертом ряду эта буква третья, еще три удара. Между четырьмя ударами и тремя — маленькая пауза. Значит, товарищ из соседней камеры понимает, что первая буква слова, которое ты хочешь ему передать,— «т»... А теперь «ы». Но ее нет в алфавите! Как же это?.. А! Все в порядке... Алфавит сокращенный. Схожие по звучанию буквы объединяются, вместо «ы» надо передать «и». Она — четвертая во втором ряду. Надо стукнуть два раза, сделать паузу и потом — еще четыре раза. Твой товарищ слушает и догадывается, что сказано «ти». Ну, ладно, все равно... Так же передается «кто». Буква «к» — во втором ряду пятая. Следовательно, стучать 2 + 5; 4 + 3 означает «т»; «о» — в третьем ряду четвертая буква,— значит, стучать 3 + 4 раза. Выходит, если стучать 4 + 3, 2 + 4, 2 + 5, 4 + 3, 3 + 4,— мозг твоего товарища воспринимает это как «Ты кто?».

Баязит весь взмок от пота. Первое слово он выстукивал на столе минут пятнадцать,— получилось... Он вскочил и решил тотчас же начать разговор с соседом. Но тут опять отворилось дверное окошко, и к нему в камеру заглянул молдаванин. Взглядом он спросил, понял ли Баязит? Тут уж Баязит не выдержал: хотя из коридора доносился густой голос надзирателя Иванова, ругавшего кого-то, он несколько раз крепко пожал руку странному своему приятелю. Увидав на столике нетронутый обед, молдаванин удивился и знаками спросил: «Почему не ел?» Баязит отдал ему обратно свой обед и весело махнул рукой, как бы говоря: «Да я сыт и без еды!..» Он чуть не плакал от радости...

Так выучил Баязит тюремную азбуку. Сначала, прежде чем выстукивать какую-нибудь букву, он заглядывал в бумажку. Но уже скоро запомнил все наизусть. А через некоторое время пальцы уже сами по себе, механически, выстукивали нужные буквы. Позже он так же легко стал понимать передающую сторону, научился по первым же словам схватывать всю фразу и прерывал товарища из соседней камеры двукратным стуком, означавшим, что ему все

ясио,— и тот переходил к следующей фразе. Постепеиио заключеииые так иаловчились, что, перестукиваясь через стену, поиимали друг друга как в обычиой беседе.

Теперь у Баязита было такое ощущение, словно ои обрел свободу... Словио от одного мановения его руки исчезали камениые стены, железная дверь, вооруженная стража... Разве ие было свободой то, что он разговаривал с соседями о чем угодио!.. Одно лишь было опасно: если тюремщики узнают, что ты перестукиваешься, по первому разу ограничатся крепким виушеиием, а по второму — посадят на несколько дней в мокрый, затхлый, полиый клопов карцер иа один хлеб и воду. Поэтому сосед предупреждал:

— Сафаров, ты совсем не остерегаешься, смотри, попадешь в карцер!..

Уже первые слова той передачи, которая была прерваиа из-за надзирателя Иваиова, затеявшего историю с Ицковичем, захватили виимаиие Баязита. Поэтому ои, как только вериулся в камеру, дал зиать, что он здесь, и сиова приложил ухо к стеие.

Послышались тихие удары пальцем. Баязит с первых же букв догадывался, какое это слово, и двойиым стуком давал соседу понять, что можио передавать дальше. Сегодня их беседа протекала удивительио живо, у Баязита создавалось впечатление, будто ои слушает целый доклад.

Одиако чем больше новостей вбирал он в себя, тем все больше бледнел, под конец его иачала пробирать дрожь... А когда разговор прервался, ои машинальио встал и, обуреваемый тяжелыми мыслями, снова заметался по камере, мысленно восстанавливая весь разговор.

Что же он сказал?.. У Гэвхар был обыск... У нее хранились два браунинга, четыре адреса, три паспорта... Все забрали... Герей Султан вместе с татарскими наборщиками организовал тайиую типографию, недавио они выпустили первые печатные листовки. Тайная типография тоже попала в руки жандармов...

XIX

ГЛУХАЯ БАБКА

А произошло вот что.

После обыска Гэвхар прибежала к Булату и, плача, заявила: «Все это дело рук Шахвалиева, который считался вожаком у красных приказчиков!.. Он объясиился мне в

любви, я отвергла его, возникла ссора, и он от обиды, из ревности донес обо всем охранке... Надо уничтожить эту собаку! Пусть партия поручит мне, я сама расправлюсь с ним...»

Булат был вынужден выйти переодетым из своего тайного убежища, чтобы встретиться с Гереем Султаном и рассказать ему всю историю: он считал необходимым поставить вопрос о Шахвалиеве на комитете партии, создать комиссию по проверке и, если понадобится, вынести приговор...

Герей Султан молча выслушал его и ушел.

Ни с кем не посоветовавшись, Герей сунул за голенище финский нож и отправился на квартиру к Шахвалиеву. Того не оказалось дома, и неизвестно было, когда он возвратится. Герей остался ждать.

Прошел час, другой, третий... Шахвалиев явился, лишь когда наступили сумерки. Вошел, ступая осторожно, как кошка. Отпирая дверь, хозяйка успела его предупредить: «Какой-то человек ожидает, не уходит...» Шахвалиев встревожился. А когда он увидел темного как туча Герея, оторопел.

Герей поначалу стал его расспрашивать о всякой всячине. Потом неожиданно, с презрительной усмешкой бросил:

— Ты что, шуры-муры завел с Гэвхар?..— и деланно расхохотался.

У Шахвалиева бешено заколотилось сердце, губы задрожали. Он почувствовал, к чему клонится дело, стал поглядывать то на дверь, то на окно. Герею, пристально наблюдавшему за Шахвалиевым, эти тревожные взгляды раскрыли все. Привело его сюда подозрение, он еще колебался. Растерянность же Шахвалиева сразу уничтожила все сомнения. «Провокатор»,— решил Герей.

— Вот удивительно!.. Зачем тебе понадобилось знать, с кем я затеваю шуры-муры?.. Или ты принял на себя роль муллы — блюстителя нравов и морали?..— говорил Шахвалиев, еще стараясь бодриться, но постепенно отступая к двери.

Герей Султан, вытащив из-за голенища нож, бросился наперерез. Шахвалиев успел увернуться от удара, метнулся к окну, с маху выбил стекло и прыгнул на улицу.

С тяжелой вестью отправился Герей Султан в комитет. А там его встретили не менее потрясающим известием: дом, в котором должно было состояться сегодня заседание коми-

тета, оцепили конные жандармы. На улице приостановили всякое движение. Из дома не выпускают никого...

За последнее время в городе начались крупные забастовки. Теперь не только металлисты, возглавившие движение, но и железнодорожники, полиграфисты, грузчики, телефонисты, приказчики, текстильщики — все встали в ряды армии стачечников. Вначале их требования были исключительно экономическими, но вот уже третий день, как стачка приняла открытый, решительный политический характер. Город кипел, бурлил митингами, демонстрациями. На похоронах убитого черносотенцами рабочего-большевика Филимонова под красными знаменами шли бесконечные массы людей. Волны народа, потоки демонстрантов залили все улицы.

Татарские рабочие — люди невысокой в основном квалификации, политически недостаточно зрелые и в большинстве своем не порвавшие с деревней,— сначала вызывали некоторое беспокойство в партийном комитете. Были сомнения: как бы они не отступили, не стали штрейкбрехерами. Поэтому и в кружках и на массовках прежде всего стремились усилить деятельность среди рабочих-татар. Члены комитета с митинга спешили в кружок, из кружка — на завод, оттуда — на массовку...

Герей дни и ночи пропадал на заводах. Галимов, который только шесть месяцев тому назад вошел в кружок, стал теперь первым активистом. Исрафилов и Вахитов также были опорой партийного комитета в татарской рабочей массе. И все же в комитете тревожились.

Последние события, правда, показали, что тревоги были излишними: в широких общих выступлениях, когда весь класс поднимался на великую борьбу, татарские рабочие ни в чем не отличались от своих русских товарищей. В массовках, которые тайно проводились где-нибудь на лесных полянах, в забастовках, на митингах и демонстрациях, когда разгорались стычки с полицией и войсками, они шли рядом, рука об руку с русскими рабочими, вместе боролись, вместе сражались.

Однако, выступая плечом к плечу с русскими товарищами в борьбе на общем фронте, татарские рабочие отставали, проявляли некоторую скованность, когда дело касалось выдвижения людей из своей среды в партийный актив... Булат несколько раз ставил об этом вопрос в комитете. Пытался найти причину. Он решил воспользоваться приездом представителей большевистского центра Разина и Саммера и поговорить об этом на заседании комитета в их

присутствии, и если приезжие товарищи сочтут возможным, ясно все сформулировать, изложить в форме доклада, послать доклад через них в Центральный Комитет. Вот почему и Булат и Герей ожидали сегодняшнего заседания с особенно острым нетерпением...

О предстоящем заседании, хотя и не со всеми подробностями, но с указанием приблизительного состава его участников, было донесено в охранку сразу двумя агентами, ничего не знавшими друг о друге. Эти донесения имели для полковника Герасимова важнейшее значение: он получил из Петербурга срочную шифрованную телеграмму о том, когда и как выехали Разин и Саммер, с какими они едут заданиями. Перечисляя поручения, возложенные большевистским центром на Разина и Саммера, департамент уведомлял, что первое из них — возглавить стачечное движение, и сообщал о разработанном большевиками плане перевода всеобщей стачки в вооруженное восстание. Телеграмма сообщала также о существовании в городе тайного склада оружия, фабрики бомб и динамита, где орудуют несколько рабочих, и среди них — один татарин. Департамент приказывал захватить без промедления склад и фабрику со всеми людьми. В связи с этим предписывалось ни на минуту не выпускать из поля зрения Саммера, которому поручено заняться делами вооружения.

Инструкция департамента открыла Герасимову, собственно говоря, мало нового. Он уже знал, когда, под какими фамилиями приехали и где остановились Разин с Саммером. Правда, он до сих пор не мог напасть на след тайного склада-фабрики и не добрался еще до сути одного анонимного письма: с требованием десяти тысяч за раскрытие тайны... Если ему удастся сегодня накрыть на месте комитет со всеми Разиными, Булатовыми, Саммером, Колей — Николаем Кадомсовым — и другими, то в его руках может оказаться и нить, которая приведет к тайному складу и фабрике оружия! Ну, а уж ежели не получится так, придется купить за десять тысяч автора письма...

Дождь лил двое суток. Воздух был пропитан сыростью. Ноги старого полковника не отпускала острая ревматическая боль. Обычно сам он и в хорошую-то погоду не ходил на обыски и аресты. Но тут нарушил и это свое неизменное правило и про ноющую боль в ногах позабыл... Велел оседлать любимого вороного коня, вызвал большой отряд и, заранее известив войсковой штаб, повел отряд к дому, где в этот час в полном составе, с представителями большевистского центра должен был собраться партийный комитет.

Дом сразу оцепили. В такое время — Герасимов знал это — могли встретить бомбой, оружием... Пропустив из предосторожности вперед филеров, не снимая руки с заряженного маузера, полковник кинулся в дом за ними.

Хозяева чуть не умерли со страху. Ни о чем их не спрашивая, полковник твердой поступью прямо прошел в комнату, где, по его предположению, шло заседание. Но, шагнув в распахнутую филерами дверь, он остановился как вкопанный: в комнате не было никого, кроме старухи татарки, которая сидела в углу, перебирая в руках четки...

То ли бабка прикидывалась, то ли в самом деле была глухой, но на все вопросы она только переводила растерянный взгляд с одного лица на другое. После долгих окриков, кажется, что-то дошло до нее. Она ответила:

— Не знай, не знай...

Герасимов побагровел до ушей, изругал про себя последними словами охранку, ее начальника, агентов... Однако он еще не мог поверить, что так глупо провалился. Заставил обыскать комнату. Но, кроме клочка разорванной записки Булатова о массовой борьбе и воспитании актива среди татарских рабочих, ничего не нашли. В поисках потайной двери Герасимов своими руками обшарил стены. Он приказал слазить в подвал, перерыть, перекопать землю... Потыкал шашкой в потолок. Ничего не обнаружив в комнате, обыскал и весь дом, чердак, дровяной сарай... Все оказалось бесплодным. Он безмерно устал. У него отчаянно заныли ноги.

— Болваны, сволочи! Дармоеды! Нужно драть их всех как собак, этих сволочей!..— честил он охранку и ее агентов.

Потом опять привязался к бабке с четками. Допытывался у русских хозяев, не прикидывается ли она. Но те сказали:

— В самом деле глухая. И ни слова не понимает по-русски.

Комната эта была снята на имя рабочего Вахитова. Бабку же по просьбе Булата наняла в татарской слободе Хадичэ-джинги. Кто бы ни заходил, что бы там ни делалось, бабка ничего не слышала. И не видела: прибиралась, ставила самовар, варила обед Вахитову с Исрафиловым, а до остального ей не было дела.

Однако напрасно Герасимов так гневно поносил охранку. Донесения были верные: расширенное заседание комитета намечалось провести именно здесь. Кроме представи-

телей центра сюда были приглашены товарищи из литературной группы, районные заводские организаторы...

Но Галимов заметил, как с утра шныряли по улице и вокруг дома филеры, и сообщил секретарю. Тогда Разин посоветовал перенести и время и место сбора. Каждого, кто был приглашен, предупредили. Вот этого охранка действительно не успела разнюхать.

Так рухнули планы многоопытного старого жандарма.

Возвратясь в свой кабинет, он только было занялся розыском виновных в провале его операции, как тревожно зазвонил телефон. Герасимов сначала не мог расслышать, потом долго не понимал, о чем говорят. Ему повторили снова:

— У заводских ворот силой задерживают выходящих после смены рабочих. Пришли с красными знаменами. Ораторы призывают перевести стачечное движение в вооруженное восстание. Все атаманы здесь...

Мозг полковника словно бы опалило огнем. Словно перед глазами вспыхнуло всепожирающее пламя... Но это длилось всего секунду. В ту огненную, яростную секунду зародился план решительных действий. Герасимов почел необходимым, не ожидая приказа свыше, положить конец опасной тактике, которая тянулась со времени объявления манифеста до этих последних минут. Будто был он не стариком, а прежним молодым, полным сил офицером, молодцевато вскочил на вороного и — не для борьбы, не для битвы, а чтобы давить, громить, уничтожать, топтать конскими копытами! — поскакал впереди отряда в рабочую слободу, к заводу, который издали, взметая в небо клубы дыма, грозным ревом звал город на последний бой...

XX

ДЕД СЭФЭР

У текстильщика Галимова жил, снимая угол, дед Сэфэр. Года два тому назад, оставшись без земли, приехал он в город и через рабочих-земляков устроился на завод сторожем. Человек он был весьма религиозный. До хрипоты в горле ругался с теми, кто задевал при нем царя, муфтия или муллу. Когда в комнатушке Галимова проходили занятия политического кружка, дед особенно придирался к Булату: не любил он, когда тот всяческими непотребными словами обзывал иттифакистов, людей из «Союза мусуль-

ман»: «кадеты в чалмах и каляпушках» или еще как-нибудь в таком же роде...

— Ну что вы делаете, джигиты?.. Ни аллаха не признаете, ни муллу. И царя для вас нет, и бая нет. Ни религии, ни рая, ни ада... Даже муфтия... Русским дозволяется, а почему у мусульман не может быть своей партии? Что же это такое, джигиты?.. Да ведь вы, можно сказать, портки с нас стягиваете, догола раздеваете!..— выговаривал им дед.

Но не пропускал ни одного сборища, ходил на все собрания и демонстрации. Начнется где-нибудь волнение, старик тут как тут: где, мол, люди, там и я. Нахлобучит на голову шапку и не отстает от своих земляков-рабочих...

Из заводских ворот тучей повалили черные от копоти и сажи люди в промасленной одежде. На призывный вой сирены из убогих домишек слободы выскакивали, бежали по грязным улицам, узким переулкам рабочие, не занятые в смене, за ними — бабы, девки, старухи. С гиком мчались, надеясь на забаву, ребятишки. Поток подхватил и деда Сэфэра.

У самых ворот старик столкнулся с Булатом и, то ли в шутку, то ли издеваясь, крикнул:

— Смотри-ка! Неужто тебя до сих пор не поймали?..

Булат, не узнавая, в упор взглянул на него: «Не переодетый ли шпик этот старый леший?..» Но, разглядев, засмеялся:

— А, это ты, дед Сэфэр! Не узнал тебя... Вот и хорошо, что пришел. Не разделяй людей на русских и татар. Всем вместе, рука об руку надо идти на врага! Верно, дед Сэфэр?..

Булат хотел добавить еще что-то, но к нему подбежал один из боевиков Герея Султана — Исрафилов.

— Ты что время попусту теряешь, Булат! — взволнованно вскричал он.— Не видишь разве, что творится? Тут басням деда Сэфэра конца не будет!..

Заводской двор, все пространство вдоль корпусов, ближние улицы и перекрестки уже заполнились рабочими. Кто-то громко бросил в бурлящую толпу:

— Товарищи!

Невозможно было увидеть, кто и откуда говорит. Требовалось срочно соорудить какие-нибудь подмостки для ораторов. Коля с Исрафиловым стали подкатывать бочки, сваленные возле заводских ворот. На помощь поспешили другие. В воротах, прямо посредине, поставили рядом две большие бочки, на них подняли третью, поменьше. Такие же сооруженные наспех трибуны возникли еще в двух ме-

стах. Речи ораторов издали понять было трудно, но с одной из трибун разносился над головами людей сильный грудной голос Разина, с другой говорил Саммер.

Среди рабочих, сгрудившихся у ворот, большинство было татар — в бешметах и круглых шапках. Установив бочки, Николай Кадомсов огляделся вокруг, спросил у Исрафилова:

— Где же Булат?.. Чего он ждет? Здесь на татарском надо выступать!

С помощью двух товарищей Зариф взобрался на бочку и, распрямив худощавый свой стан, обратился к толпе:

— Товарищи! Настали решающие минуты революционной борьбы! Враг, отступивший после оглашения манифеста семнадцатого октября, снова атакует нас. Собрав последние силы, душит пролетариат жандармерией, полицией, армией, руками палачей. Товарищи! Теперь, в эти решительные минуты, мы уже не можем ограничиваться в нашей борьбе одними забастовками, демонстрациями. Перед нами последний, единственный путь: вооруженное наступление на врага, всеобщее, всероссийское вооруженное восстание! Каждый рабочий должен вооружиться, готовиться...

В это время на дороге, ведущей из города, показалась мчащаяся к заводу конница. Многие рабочие узнали летящего впереди вороного коня...

Нервы Исрафилова, который не спал уже несколько ночей, напряглись до предела. Он впился глазами в белую звездочку на лбу стремительно приближавшегося вороного, рука стиснула наган,— когда был солдатом, он считался метким стрелком, даже брал призы за стрельбу. Пальцы уже нащупали курок. Казалось, и фуражка с синим околышем и кокардой, и белая звездочка на лбу вороного красавца ожидали его пули, только затем и спешили сюда... Он уже хотел выстрелить, как стоявший рядом с ним дед Сэфэр завопил точно помешанный:

— Братцы! Пропали!.. На нас идут!..

За ту секунду, когда Исрафилов невольно обернулся на отчаянный вопль старика, белая звездочка и фуражка с кокардой уже исчезли: отряд свернул в сторону.

Проскакав переулком, конники появились перед возбужденной толпой с другой стороны. Донесся густой, зычный голос полковника:

— Разойдись!.. Разойдись!.. Разойдись!.. Иначе прикажу открыть огонь!

Жандармы вместе с подоспевшим казачьим эскадроном врезались в людскую гущу и принялись хлестать нагайками

направо и налево. Детвора, бабы подняли истошный визг, плач, кинулись бежать. Некоторые рабочие, которые впервые попали в такую переделку, жались к стенам, прятались за ограду. На площади началась невообразимая давка. Вертевшиеся тут с самого начала филеры, переодетые жандармы продирались к самодельным трибунам, хватали организаторов митинга, ораторов...

Но народ не расходился. Рабочие, особенно отряды боевиков, не теряя времени, готовились к отпору — катили, громоздили вдоль заборов бочки, потом сорвали ворота и подперли ими свое сооружение. Укрывшись за баррикадой от первых залпов, они открыли ответный огонь.

Дед Сэфэр совсем потерял голову. Как курица, он метался от одних к другим.

— Дети!.. Дети!.. Что вы делаете?! Лэхэвлэ вэ лэ куэте илля билляхи газим...[1] О аллах, защити сам правоверных мусульман! — бормотал он, пытаясь заслонить руками голову от сновавших вокруг пуль.

Но суждено было, видно, в тот час оборваться его жизни: дед уже пробирался за бочки, хотел спрятаться за Галимовым — да вдруг выпрямился, раза три как-то странно вздохнул и, взметнув руки к небу, грохнулся, словно срубленное под корень дерево, на землю... Недалеко от него лежала за баррикадой жена Галимова. Увидев, как повалился дед Сэфэр, она, не обращая внимания на свистевшие пули, выбралась из укрытия, склонилась над стариком, расстегнула ворот его рубахи. «Кажется, дух захватило»,— подумала она и приложила руку к его губам, к сердцу. Дыхания не было. И сердце не билось. Не было видно ни раны, ни крови. Что бы это значило?..

Исрафилов тревожно крикнул:

— Оставь его! Что уж с ним возиться теперь! Не видишь разве: нажимают!..

— Вот глупый! Скажет тоже! Что он, собака? Бросать его на улице?.. Человек же! — проговорила женщина, оттаскивая старика подальше, за корпуса.

Там осмотрела его спокойнее. Сердце явно остановилось. Не было никаких признаков жизни. Но что все-таки случилось?.. В конце концов она обнаружила на его затылке, под волосами, две запекшиеся капли крови и пробитую кость.

Подхватив убитого под мышки, потащила его домой — а все твердила, теперь уже стараясь, наверно, оправдать то, что сама уходила с площади:

---

[1] Молитва на арабском языке.

— Не собака же... Бросать его на улице...

В помощь жандармам и казачьему эскадрону из города прислали еще стрелковую роту. Вся эта сила за полтора часа сломила сопротивление рабочих. Правда, получил ранение один казак, были убиты двое жандармов, какому-то полицейскому проломили камнем голову, но полковник Герасимов не посчитал эти жертвы большим уроном. «Погибли за родину, за веру и святую церковь, за государя!» — утешал он себя...

Душу ему жгло другое: подняли такой шум, учинили разгром, пролили кровь, убили четырех рабочих, человек сорок забрали, а главного не добились — Разин и Саммер ускользнули! В департаменте наверняка скажут: «Рохля этот Герасимов, такую упустил возможность, старый дурак!..» А что мог он поделать?!

Николай Кадомсов ничего не успел узнать о судьбе товарищей: его схватили и вместе с остальными арестованными отправили в полицейский участок. На следующий день повели в охранку снимать допрос. Оттуда переправили прямо в тюрьму.

Николай, еще будучи на воле, установил связь с заключенной Зоей Горбатовой. Теперь, промучившись напрасно два дня, лишь к концу третьих суток он смог протянуть нить к женскому отделению тюрьмы. И сразу получил от Горбатовой важное известие. Девушка передала:

— Молдаванин, который разносит вам пищу,— наш человек.

Прошло еще двое суток. Из одиночки Николая перевели во вторую от угла камеру, где сидело четверо.

Один из них сразу, как только Николай вошел, спросил:

— Слушай, у тебя нет знакомого по имени Баязит?..

Коля бросился к нему:

— Что?.. Он здесь?..

— Не знаю, он ли. Трудно сказать. Два дня кто-то стучал, спрашивал про тебя, назвал себя Баязитом. Вот переговоришь сам, только погоди, пусть надзиратель пройдет в тот конец.

Да, в соседней камере сидел Баязит!.. Кадомсов, долго перестукиваясь с ним, сообщил о воскресном событии. О Булате сам не знал ничего точно. Только уже здесь дошли до него разные слухи: якобы схватили Булата, избили до увечий... Другие слышали, будто Булат попался и его застрелили «при попытке к бегству»...

XXI

НОЧНОЙ БРЕД

Весть о том, что произошло в воскресенье, тревога за Булата взбудоражили Баязита. Наступил вечер. Стемнело, тюрьма погрузилась в глубокую тишину. А Баязит, словно зверь в клетке, метался от окошка к двери, от двери к окошку...

Пробило девять часов. Открылся глазок в двери. Раздался окрик:

— Сафаров, ты что меряешь камеру? Ложись!

— Я не хочу спать! — ответил Баязит, не останавливаясь.

В голосе надзирателя появились злобные нотки:

— Ты чего, в карцер просишься?..

Баязит не ответил.

— Слышишь или нет? Что я тебе сказал!

Пришлось подчиниться. Баязит повалился на железную койку с жиденьким соломенным матрацем, натянул на горевшее как в лихорадке тело ветхое холщовое одеяло.

...Темная ночь. Земля окутана могильным безмолвием. Вдруг налетел буйный ветер. Заскрипели, застонали старые деревья в огромном саду. Взвихрилась пыль. Могучее вековое дерево, широко раскинув тяжелые ветви, вступило в единоборство с ветром. Разъяренный шквал вздыбился, закружил столб пыли, обхватил старое дерево, качнул его раз, два... на третий раз вырвал с корнем, отбросил прочь. В страхе, что его придавит сокрушенным бурей деревом, Баязит хотел спрятаться в полуразрушенной сторожке, но не успел он двинуться с места, как оглушительно загрохотал гром, зловеще заполыхали молнии — белые, синие вспышки осветили небо, землю, потоками хлынул ливень. Не зная, как спастись, Баязит, стараясь увернуться от мечущихся вокруг него огненных стрел, бежит к сторожке. Но оттуда, заливаясь слезами, выходят три женщины. Две совершенно обнаженные, одну едва прикрывают лохмотья... Следом за ними появляется старик мулла в огромной чалме и в чапане. В одной руке у него — длинный посох, другой он крепко держит женщин за косы и, пиная ногами, гонит их куда-то. Женщины надрывно плачут, молят о помощи. Баязит не может шелохнуться: ведь один из плачущих голосов... нет, все эти голоса ему знакомы, очень знакомы!.. Он рванулся к несчастным женщинам, всмотрелся в их

лица и закричал от ужаса: вон та, истерзанная, в отрепьях,— его мать, а те, помоложе,— его сестры Саджидэ и Сабира... Старик же, избивающий их, вдруг принял облик Джихан-ишана, его родного отца! Баязит узнал его чалму и чапан. Вся опухшая от слез и побоев Сабира в отчаянье протягивает Баязиту руки:

— Брат! Спаси!.. Он убьет нас!..

— Мало тебе, что меня погубил, теперь взялся за мать и сестер!..— дико вскрикивает Баязит и бросается на старика...

Однако в то же мгновение куда-то исчезают и сад, и сторожка, и все те, кого он только что видел... Баязит среди черных камней и дремучих лесов Сибири, на дне сырой траншеи. Голова его наполовину обрита, одет он в какое-то подобие рваной солдатской шинели, ноги закованы в кандалы. Рядом — еще двое, такие же обритые, как и он, в таких же черных рваных шинелях, тоже в кандалах. Оба они хранят глубокое молчание. Лица у них мрачные, застывшие, взгляд тяжелый. Едва волоча грузные цепи на ногах, они с грохотом ворочают камни. Немного выше стоят, следят за ними, не отрывая глаз, несколько человек в военных фуражках, с винтовками и пиками в руках. По обеим сторонам траншеи двумя высокими грядами тянутся горы. На вершинах гор мечется ветер — то сгоняет облака в пушистую гряду, то разгоняет, рассеивает их. Вот прояснилось небо, только нет на нем солнца, нет ни луны, ни звезд. День ли то, ночь ли, утро или вечер — трудно догадаться... Баязит бросает недоуменный взгляд на горы, на небо и, взяв длинный лом, тоже принимается ворочать камни. Груда камней дрогнула, заколебалась. Кто-то кричит сверху:

— Осторожнее, ты!.. Как бы самого не придавило!..

Не успел тот досказать, как огромная глыба покачнулась. Вот-вот она обрушится и раздавит Баязита...

— Пропадешь! Беги!..— опять предостерегает кто-то.

А те, закованные в кандалы, мрачные люди, неторопливо оглядываются и, точно немые, вскинув на него глаза, так же молча снова принимаются за свою работу. Глыба сорвалась, она катится прямо на Баязита! Еще немного — и он останется под ней... Собрав все силы, он пытается отскочить в сторону, но не может даже шевельнуться: словно кто-то крепко схватил и удерживает его... Темные лица людей в кандалах потемнели еще больше. Но по-прежнему эти

люди не произносят ни слова. Баязит в смертельном ужасе делает еще одно усилие, чтобы стронуться с места... Все тщетно!.. Но глыба пронеслась мимо. Один из вооруженных людей наверху разражается бранью... Вдруг где-то захлопали винтовочные выстрелы. Начинается перестрелка... Баязит пробует выбраться из траншеи. Сорвавшись, он летит на дно, вскрикивает и... просыпается.

Он лежит в своей камере, на железной койке. Все вокруг тает в полумраке. Скупой свет ночника чуть освещает камеру. Баязит не сразу мог сообразить, что сон, что явь: ведь где-то стреляют?.. Вот еще выстрелы... Кто-то кричит... Опять стреляют...

В коридоре суматоха, ругань. Кто-то бежал или душат кого?.. В соседней камере проснулись и забарабанили кулаками в дверь. А если это пожар?! И все заключенные погибнут, запертые в камерах?! Баязит в смятении вскочил, подбежал к двери и с силой толкнул заслонку глазка. Видимо, не крепко было закрыто — заслонка отскочила. Баязит жадно прильнул к глазку... Но в коридоре тоже стоял полумрак, ничего не было видно. Вдруг стрелой промчался мимо тот воришка-молдаванин, что разносил еду... Выстрелы еще были слышны, только, кажется, они отдалялись. Иногда их треск прерывался криком, сигналами тревоги... Что бы все это значило?

Вот с лестницы, ведущей снизу в коридор, донеслись торопливые шаги. Переговариваясь друг с другом, по лестнице взбегали какие-те люди.

Конечно, произошло что-то серьезное: жандармский ротмистр Николаев, тюремный начальник Петров, его помощник Иргазов, множество надзирателей забили весь коридор... Одну за другой отворяли они тяжелые двери камер. Ничего не спрашивая, опять захлопывали двери, громыхали замками. В коридоре было восемнадцать камер. Четыре из них — такие же тесные, как камера Баязита,— для одиночных заключенных. Остальные попросторней. В них помещали по пять, по шесть человек. В южной части находилась камера, где в обычное время сидело человек двенадцать, а в эту революционную пору там набиралось и до тридцати. Баязит не отходил от двери и слышал, как нежданные ночные пришельцы проверили, обшарили все общие камеры — одиночников легко было увидеть в глазок — и спустились по лестнице.

ХХII

ЗВЕЗДЫ

Новый надзиратель Безобразов с первых же шагов взялся за дело с безмерной строгостью. Стоило Баязиту, хотя бы со всеми предосторожностями, стукнуть в стену к соседу справа или слева, Безобразов моментально оказывался у двери и раздраженно кричал своим визгливым голосом:

— Захвачу еще раз — получишь карцер!

Заключенные не могли ни спросить, ни узнать ничего. Так, в полной безвестности, встретили они утро, день. Молдаванин что-то не показывался нынче, завтрак и обед вместо него разносил какой-то солдат. Баязит строил самые разные предположения, но ни до чего определенного додуматься не смог. Сутки прошли в тяжелых сомнениях. Вот опять наступил вечер, опять ровно в девять часов заставили всех заключенных улечься в постели. В тюрьме водворилась тишина.

Нигде не было слышно ни звука. Лишь надзиратель Безобразов расхаживал без устали по коридору и, открывая то и дело смотровые глазки на дверях камер, оглядывал кровати.

Где-то в городе начали бить часы. Баязит считал удары: одиннадцать... двенадцать... Он все не смыкал глаз. Все лежал, прислушиваясь к тягостному безмолвию, царившему в тюрьме. В камере было темно, но на воле ясное синее небо сверкало бесчисленными звездами. В маленькое окошко под потолком камеры виднелся только кусочек этого сияющего неба. И только пять звездочек заглядывали оттуда в камеру, беспрестанно мигая — бледнея, словно собираясь погаснуть, и снова загораясь. Баязит долго смотрел на них. Но что это?.. К одной из звезд, к той, которая была в середине, вдруг протянулось что-то вроде нитки... Нитка тянулась откуда-то сверху, и конец ее был завязан большим узлом. Вот она покачнулась — узелок почти совсем заслонил звезду. Потом поползла вверх, снова опустилась... Или затеяла игру звезда со звездой, или так уж привиделось Баязиту... Но вот нитка остановилась, повисла без движения. Еще поднялась, еще опустилась... У Баязита не осталось сомнений... Он забыл даже о надзирателе Безобразове, который ежеминутно приникал к глазку: что будет, то будет! Карцер так карцер, Сибирь так Сибирь, палач так палач. Нельзя же трусить до такой степени! Баязит попытался передвинуть койку, не вставая, упираясь руками в пол, но

у него недостало сил. Тогда он вскочил на ноги и, схватив койку, переставил ее к окошку, с быстротою молнии поднялся на перекладину изголовья. Просунув руку сквозь решетку, поймал привязанный к нитке бумажный комочек, оторвал его и запихнул в рот... Едва он успел соскочить и водворить койку на прежнее место, надзиратель щелкнул задвижкой глазка:

— Приказа не знаешь? Что ночью прогуливаешься?

Баязит не растерялся: подхватил обеими руками брюки, подошел к стоявшей у выхода параше. Надзиратель успокоился и отправился дальше по коридору, останавливаясь для порядка то у одной, то у другой камеры.

Весь дрожа от возбуждения, радуясь своей храбрости, Баязит снова улегся. Ночник горел очень слабо, и сколько Баязит ни напрягал зрение, прочитать записку не сумел. Он то разворачивал бумажку, то, услышав приближение надзирателя, снова засовывал ее в рот. Так промучился до утра.

Но вот наконец засветило солнце. Проникая сквозь решетки окна, заскользили по стене камеры неяркие его лучи. Теперь Баязит, хоть и с оглядкой, смог прочесть записку.

Товарищи сообщали в ней потрясающую новость.

В тюрьме давно уже зрел план побега. Дважды, когда дело уже доводилось почти до завершения, его раскрывали. Однако никакие наказания не остановили людей. Минувшей ночью бежало двадцать восемь товарищей! Стража подняла тревогу, пустилась в погоню за беглецами, двое попали под пули. Это потеря, тяжелая потеря, но ведь без жертв борьбы не бывает... Более же всего Баязита поразило то, что вместе с другими бежали и представлявшийся лютым злодеем надзиратель Иванов и вор-молдаванин! Оказывается, они оба весь год получали по пятьдесят рублей в месяц от партии, постепенно сблизились с людьми и, увлекшись сами, решили не отставать от новых друзей... Сперва в плане побега значилось восемнадцать человек, а в последний день включили еще десять большевиков из тех, что были схвачены совсем недавно, во время стычки на заводском митинге.

Весь этот день Баязит провел в необычайном волнении. Кто же они — эти первые восемнадцать человек?.. Не было ли среди десяти большевиков последней группы знакомых ему татар?.. Товарищ, с которым каким-то чудом удалось перестучаться в стенку, так и не смог сказать точно, взяли Булата или нет... Если взяли, бежал ли он тоже?.. А погибшие?.. Кто они?..

Удручала невозможность общения с соседями. Необхо-

димо было передать им о радостном событии и узнать, нет ли новых известий о Булате. Двое суток показались долгими, как целая жизнь...

На третий день часов в десять утра, отворив дверь камеры, его позвал Безобразов:

— Сафаров Баязит, проворней. На свидание! Невеста ожидает!

— Ты что, издеваешься? — сердито откликнулся Баязит.

Тот и в самом деле подшутил над ним: Баязита повели не на свидание, а в тюремную баню.

Надо сказать, он соскучился по бане и намылся теперь вдоволь. А тут еще опять молоденький уголовник — один из тех, через которых Герей Султан держал связь с тюрьмой,— разыскал Баязита и незаметно сунул ему бумажку. Это была весточка от Джихангира.

О себе Джихангир написал немного: «Жизнь кипит. Сегодня в Медресе-и-исламийе все перевернем вверх дном. Если не удовлетворят наших требований, мы — двести шакирдов — разнесем это сгнившее воронье гнездо! Дела, брат, замечательны. Только жаль — тебя нет!»

Дальше, внизу, после слов: «Верь написанному» — Джихангир писал, пытаясь подбодрить его: «Тебя, наверное, мучит полная оторванность от внешнего мира. Старайся держать себя в руках. Не горячись, не принимай каждый пустяк близко к сердцу».

Затем коротко сообщал о Булате и Герее. События, оказывается, развернулись так: когда на митинге возле завода началось столкновение, двое жандармов схватили Булата. Однако до полицейского участка в тот момент дело не дошло. Рабочие — Галимов, Вали Хуснутдинов, Исрафилов — сцепились с этими жандармами, их окружило еще много других товарищей. Галимов и Исрафилов, воспользовавшись всеобщей свалкой, вывели Булата из толпы и спрятали в одном из соседних домов, у знакомого портного. Однако филеры пронюхали об этом. Всю округу оцепили, устроили облаву. Булата нашли и тотчас отправили в тюрьму. Герей же Султан был одним из четырех организаторов побега из тюрьмы. Он едва не попался сам, спасся лишь с помощью одной старухи армянки. Но на след его уже напали. Это подтверждают многие факты. Чтобы замести следы, ему предложили временно уехать из города. Изменив свою внешность, Герей Султан уехал на Урал — в Екатеринбург, с явкой к Семенову. Он получил приказ работать пока в боевой дружине Семенова.

Прочитав все это, придя немного в себя, Баязит догово-

рился с уголовником относительно передачи письма на волю...

Усердия новому надзирателю Безобразову хватило ненадолго. Он устал от постоянной ходьбы, ему надоело каждую минуту подглядывать в дверные глазки. Теперь он частенько сидел в конце коридора на табуретке и клевал носом. В камерах возобновились переговоры-перестукивания, и Баязит через соседей наладил постоянную связь с Булатом, а с его помощью нашел путь к людям Герея и переслал Джихангиру письмо.

«Скверно со здоровьем,— писал он.— На днях опять шла горлом кровь. Неужели хлопоты об освобождении под залог приостановились? Делаете ли что-нибудь для меня? Я слышал тут, что сын Кадыр-бая Юсуфджан хотел дать шестьсот рублей... Мне во что бы то ни стало надо скорее выбираться отсюда, иначе дела мои кончатся плохо. Почему не принимаете мер?..»

XXIII

А ПОЛИЦИЯ ДЛЯ ЧЕГО?

Из медресе решили выгнать двенадцать шакирдов, которые подняли бунт, боролись против установившихся там порядков. Шакирды, однако, твердо вознамерились не подчиняться, противопоставили свои, по их мнению, юридические доводы: хазрет-наставник не является хозяином медресе; здание медресе — вакуфное[1]; какое право имеет хазрет изгонять молодежь нации из медресе, которое, как вакуфное, принадлежит приходу? Мы, заявили они, не уйдем, несмотря ни на какое давление. Когда слух об этом дошел до Кадыр-бая, дававшего деньги на содержание медресе, он якобы сказал:

— Как это не уйдут?.. А полиция для чего? Коли станут упираться, тюрьма не так уж далеко!..

Его слова Юсуфджан передал Фахри, тот — Габдрахману, а уж там все дошло до Тангатарова и Нигмата-кази.

Джихангир прямо-таки взбесился.

— Ах, так?! Полицию хочет призвать?..— расшумелся он.— В таком случае мы разнесем медресе!..

[1] **Вакуфное** — пожертвованное кем-либо приходу.

Сегодня состоялось заиятие политического кружка. Разия Шириуская два с половиной часа рассказывала о Великой французской революции. Джихангир внимательио слушал ее и все услышаиное свел к тому, что необходимо воинствующе выступить против попечителей медресе, которые пытаются запугать их полицией и тюрьмой. Он горячо говорил об этом и выходившему вместе с ним с занятий Наджибу Кемалу.

— Если дело обернется таким образом,—закончил он,— мы разгромим медресе! Верно?

Наджиб Кемал, который был старше, ответил лишь спокойной улыбкой. «Разгромишь медресе или не разгромишь, что от этого изменится!» — думал он про себя.

Мысли Джихангира перескочили на Баязита: все-таки следовало бы с кем-нибудь потолковать о нем, взять у Юсуфджана обещанные им шестьсот рублей и поторопить с освобождением больного друга под залог.

Но тут Джихангиру встретился Тангатаров. Его форменная гимназическая куртка совершенно износилась, брюки на коленях продрались. Протягивая Джихангиру руку, он сказал:

— Выгнали ведь, брат, остался на улице...

Джихаигира это иисколько не удивило: в гимназии «неблагонадежиость» Тангатарова была известна.

Опасаясь дурного влияиия на товарищей, его уже давно намеревались исключить. Директор терпел его лишь из-за близкого зиакомства с его бабушкой Мэрьям-бикэ [1]. Но вчера под подушкой у Тангатарова обиаружили прокламацию и — что переполнило меру всякого терпения! — застигли его, когда он в паисионе гимназии делал доклад на политическом кружке... Сегодня его исключили.

Сам Таигатаров относился к этому довольно спокойно.

— Пусть выгоняют! Мие что!.. Стать адвокатом и обманывать людей не собираюсь... Ради того, чтобы зацепиться в гимназии, предавать свои убеждения не могу. Жизнь вокруг бурлит. Разгорается бой против самодержавия, против буржуазии. Было бы гнусным эгоизмом обособиться от всего ради диплома, ради учения. Я иду в революцию...— торжественно закончил он.

Тангатаров обрадовался Джихангиру и с жаром рассказал: скоро, мол, должны провести литературный вечер. Настоящий, большой вечер! Половину сбора решили передать заключенным. Он, Тангатаров, взял на себя официальную

[1] Б и к э — женщина из знатной или богатой семьи.

сторону дела. Общество приказчиков бесплатно предоставит свой зал, шакирды, гимназисты — все готовы принять участие в вечере. Среди приказчиков организуется оркестр мандолинистов. Один шакирд-башкир споет «Ашказар»[1]... Только вот получить разрешение на проведение такого вечера будет немного сложнее. Сам-то вечер возражений не вызывает. Но власти категорически против передачи денег политическим заключенным. Придется, вероятно, что-нибудь придумать для отвода глаз...

На углу улицы они расстались.

В медресе сегодня ожидалось грандиозное собрание. Шакирды и попечители готовились к бою. Достав из нагрудного кармана большие серебряные часы, которые взял ненадолго у одного приятеля, Джихангир увидел, что времени у него осталось в обрез, и побежал в городской сад. Рывком толкнув калитку, он чуть не налетел на выходившего из сада человека.

Перед Джихангиром стоял Даут Урманов и удивленно, во все глаза смотрел на него:

— Постой, как это понять? В Медресе-и-исламийе, того и гляди, все вверх дном перевернется, ты же — один из тех, кто стоит во главе движения,— в самый решительный момент будешь разгуливать по саду?..

Джихангир бросил взгляд в дальний конец сада и тоном, говорящим о том, что ему некогда пускаться в объяснения, ответил:

— Пожалуйста, не задерживай! Через десять минут я буду в медресе...— И опять повторил: — Не мешайся, в медресе я мигом доберусь. Скрывать от тебя не собираюсь, я жду Хаджер. Ее муж сейчас отправится в медресе вершить над нами суд, а Хаджер тем временем или сама придет ко мне, или пришлет служанку с письмом!..

На улице, тянувшейся вдоль садовой ограды, показалась женщина. Джихангир настороженно, точно человек, вынужденный таиться от всего мира, взглянул на нее и вошел в сад. Теперь он уже пристально следил за ее приближением. Потом обернулся к Урманову, шепот его был по́лон страха и мольбы.

— Отвяжись, пожалуйста! Ведь знаешь, какие у меня с ней отношения!..

Женщина отворила боковую калитку и быстро пошла в правый, густо заросший угол сада.

[1] «Ашказар» — башкирская народная песня.

XXIV

МОЛОДЕЖЬ МЕДРЕСЕ

Трехэтажное, большое каменное здание, обращенное фасадом на юг, еще издали сияло всеми своими окнами. Оно было освещено ярко, как в день рождения царя, в дни торжеств, по каким-нибудь исключительным случаям.

А внутри, словно то был завод, фабрика или огромный растревоженный улей, стоял неумолчный гул. По широким ступенькам каменной лестницы напротив ворот взбегали наперегонки шакирды, распахивали высокие двустворчатые двери... Их встречал худой, неказистый швейцар в фуражке с желтым околышем, в татарском казакине, в ичигах с кявушами, приветливо говорил:

— Как живете? В добром ли все здоровье? — и снова закрывал за ними двери на скрипучих тугих петлях.

Верхний этаж медресе был отведен под классы, учебные комнаты. На втором были спальни, тесно заставленные проржавленными койками. А внизу в одной половине помещались кухня, дровяной склад, в другой — столовая с длинными некрашеными, непокрытыми столами.

Все этажи сегодня бурлили, волновались. Во всех комнатах шумели, кричали.

Болезненно желтые лица, впалые щеки, ввалившиеся глаза... Кто в казакинах, бешметах, кто в подпоясанных ремнями косоворотках, в фуражках. Волосы у многих, наперекор правилам шариата, не сбриты, отпущены... Сегодня все это бедное, полуголодное шакирдское племя напоминало рабочих в заводских корпусах перед прекращением работы, солдат в казармах перед кличем, призывающим к бунту. То и дело сбиваясь в кучу, споря, ругаясь, они, словно поток, подхлестываемый ветром, устремлялись из комнат в коридор, оттуда по лестнице вниз, потом опять вверх, в коридор, в комнаты... И над ними, как гул таежной бури, поднимался глухой шум.

Заметив только что появившегося Наджиба Кемала, несколько юных шакирдов в плохоньких одеждах, таких же худых и бледных, как остальные, и с таким же боевым задором в горящих глазах, отделились от всех, пошли ему навстречу.

— Ну, товарищи! Что нового? Крепко деретесь? — спросил он чуть насмешливо.

Юноши сначала несколько смущались, чувствовали себя стесненно, но вскоре разговорились и, уже перебивая друг

друга, стали рассказывать, как произошло столкновение шакирдов с правлением в медресе. Они осыпали бранными словами самого хазрет-наставника. Баев, пытавшихся распоряжаться судьбой медресе, презрительно называли толстобрюхими буржуями.

Сулейман Сейфуллин так и отрубил:

— Мы пришли сюда, бросив кадимистские медресе. Если и здесь нас ожидает тот же гнет, дадим отпор, все сокрушим!..— Вдруг он что-то вспомнил и, бросив на ходу:— Я сейчас, товарищи! — опрометью сбежал на второй этаж.

Загроможденная до предела двухъярусными железными койками, спальная комната напоминала помещение четвертого класса на старых пароходах. Углы комнаты потемнели от сырости, подоконники заплесневели, воздух был тяжелый. Запахи пота, гнилой картошки — все смешалось здесь, и смрадный дух, казалось, пропитал стены.

Отворяя дверь, Сулейман услышал тихую мелодию. Играли что-то похожее на мотив любимой шакирдами новой песни «Сада». На одной из коек, покрытой рваным одеялом, сидел, слегка облокотившись на засаленную подушку, мальчик лет пятнадцати со странно лучистыми глазами на изможденном лице и играл на скрипке.

Сулейман рассмеялся:

— Тебе полная воля, Камиль, а?.. И надзиратель не привязывается?

На измученном детском лице шакирда появилась мягкая улыбка. Он сдержанно ответил:

— Ну кто теперь станет у них спрашиваться? Не то время, чтобы бояться хальфэ! Самое большое, что они сделают,— прогонят из медресе... Все равно здесь мне...

В это время наверху зазвонил колокольчик.

— Пойдем,— позвал шакирда Сулейман,— там, кажется, начинают собрание. Бежим!

Камиль бросил скрипку и выскочил вслед за Сулейманом.

Длинный коридор, где еще недавно все кипело, где беспрестанно сновали взад и вперед шакирды, был совершенно пуст, а на чугунной лестнице виднелся уже только хвост стремительно, в едином порыве несшегося вверх людского потока.

Эти двое припустились вслед за всеми.

Вливаясь волна за волной, шакирды до отказа заполнили большой зал на третьем этаже, предназначенный для всякого рода торжественных собраний. Приток людей не прекращался, шакирды продолжали протискиваться в пере-

полненный зал. Здесь уже негде было иголке упасть, становилось нечем дышать, но шакирды, проведшие всю свою жизнь в душных помещениях, ничего не замечали. Лица их становились все оживленнее, всегда тусклые, словно угасшие глаза ярко горели.

Кто-то сзади крикнул:

— Народ весь собрался! Пора бы начинать!

К стене зала был плотно придвинут стол с бумагой и чернилами. С одной стороны стола стояла табуретка, с другой — стул. К столу подошел высокий, красивый юноша со смуглым выразительным лицом. Над верхней его губой чернела полоска только недавно пробившихся усов, из-под каляпуша выбивались густые волосы.

Это был тот самый Джихангир, который незадолго до собрания, спеша к своей возлюбленной Хаджер, натолкнулся у городского сада на Даута Урманова.

— Товарищи шакирды! Как вам известно, сегодня истек срок переданных нами правлению требований! — начал он.

Голос его сперва звучал не совсем уверенно, руки и ноги дрожали, но он быстро справился с собой, обрел обычную свою смелость и бойкость.

Годы, проведенные сначала в косной, невежественной семье, потом в медресе, накладывают на шакирдов как бы каторжное клеймо. Радостные, озорные, румяные мальчики, переступив порог медресе, через несколько лет сгибаются, точно под тяжестью груза, их лица, как у тюремных заключенных, годами не видящих солнца, лишенных свежего воздуха, покрываются землистой бледностью, в глазах затаиваются тени смерти. Всеми ими овладевают робость, равнодушие, безнадежность. Они становятся воплощенным в человеческом образе страданием.

Детство и отрочество Джихангира прошли в несколько других условиях. Был он в семье последышем. Жила семья безбедно, хотя его отец мишар Гибай, переехавший из других краев в Челябинский уезд и осевший в большой промысловой деревне, погиб в турецкую войну. Потеряв мужа, старуха Фаризэ стала почему-то особо выделять среди своих детей меньшего — Джихангира. Баловала, нежила его, мальчика обошли тычки да оплеухи, вечно сыпавшиеся на других. Вначале он учился вместе с Даутом в кадимистском медресе, где голой схоластикой изрядно высушивали мозги. Но и там он не очень мучился: бедность, голод, холод, необходимость существовать за счет подаяний — все то, что так угнетало большинство шакирдов, не коснулось Джихангира. Много ли, мало ли, но ему постоянно привозили

харчи из деревни. А летом, возвращаясь домой на побывку, он, освобожденный от хозяйственных забот, лежавших на старших братьях и сестрах, почти все время предавался забавам. Да и зимой в медресе он не слишком увлекался учением. Самолюбивый, всегда желавший первенствовать, он спасался от позорных провалов только благодаря своим способностям. Уроки учил он лишь настолько, чтобы можно было ответить, а потом носился сломя голову по всему медресе. И даже став старше, он не находил, как некоторые шакирды, удовольствия в том, чтобы просиживать долгие ночи над толкованием и комментариями корана ради глубокого познания богословской «мудрости»...

Джихангир был человеком легким, смелым, его натура требовала деятельности. Когда, оставив кадимистское медресе, он приехал в Медресе-и-исламийе, считавшееся наиболее прогрессивным, то занялся и здесь не столько учением, сколько разными собраниями, с головой ушел в борьбу против рутины. Поэтому он и не сгорбился преждевременно, вроде большинства его соучеников, лицо его не утратило живых красок, глаза не затуманило кладбищенской покорностью. Был он, как очень немногие среди шакирдов, весел, непринужден, смел, воинствен. Начинались ли где волнения, возникали стычки — Джихангир всегда выступал в первых рядах. Заденут ли внутренние и внешние распорядки, режим медресе, баев-попечителей, хазретов,— он мгновенно вспыхивал. Всегда он был в самом левом крыле, всегда рвался в самый огонь битвы. Эти черты характера сблизили его с Баязитом-кари. Если старшие шакирды, готовящиеся вскоре стать муллами и хальфэ, называли Джихангира невеждой и «красным болтуном», вся молодежь медресе, вся поднявшая голос протеста демократическая прослойка не чаяли в нем души.

И сегодня не по какому-либо официальному праву, а в силу сложившегося к нему отношения большинства товарищей Джихангир выступил на собрании с первым словом, и это воспринялось всеми как должное.

Он говорил, подбадриваемый устремленными на него горящими взорами, и голос его звучал все более уверенно и звонко:

— Товарищи! Неделю тому назад мы подали петицию. Под ней подписались сто пятьдесят шакирдов. Мы предъявили ультиматум: даем неделю сроку. Если за это время наши условия не будут приняты, бросаем занятия!.. Сегодня срок истек. Правление же медресе и не пошевелилось. Чего же мы требовали, товарищи? Мы требовали реформы:

введения полного курса русского языка, широкого изучения светских наук, увольнения двух тупых, невежественных хальфэ, смещения грубого, жестокого надзирателя, разрешения на шакирдские собрания, включения представителей шакирдов в правление медресе. Вот все, чего просили шакирды... А какой получили ответ? Вон там, в канцелярии, сейчас заседают толстопузые баи-попечители вместе с нашими хальфэ и хазретом. Я прослышал, что они вершат там суд: исключают двенадцать шакирдов! А если эти шакирды откажутся покинуть медресе, будет призвана полиция... Так обстоит дело, товарищи. Нас душили до сих пор и будут душить всегда... Перед нами один путь: объединиться, сплотиться воедино и быть готовыми драться до последней капли крови против хальфэ и хазретов, против баев, которые смотрят на наше медресе как на свою лавочку... Да здравствует реформа! Да здравствуют татарские шакирды! Долой буржуев-баев, долой хазретов! — закончил Джихангир.

— Да здравствует!.. Да здравствует!..— подхватили в зале.

Аплодировали долго и шумно.

Но вот аплодисменты несколько стихли. Поправляя выбившиеся из-под каляпуша волосы и всматриваясь в битком набитый зал, Джихангир собрался сказать еще что-то, но шакирды задвигались, зашумели, послышались выкрики тех, кто хотел выступить...

— Погодите, товарищи! — остановил разбушевавшихся шакирдов твердый голос Джихангира.— Это что? Деревенская сходка? Или организованное собрание? Так нельзя, надо выбрать председателя!

Со всех сторон, из всех углов посыпались предложения. Словно бы навстречу друг другу, неслись имена и фамилии. Выкрикнули Джихангира. Кто-то назвал Сейфуллина, но другой возглас отклонил:

— Он не годится, горяч слишком!..

Помянули было Наджиба Кемала, но тут же отвергли и его: сказали, что он байский, хазретовский лизоблюд...

— Товарищи! — вмешался опять Джихангир.— Выберем Нигмата-кази! Он сумеет, у него и твердости хватит, и не лизоблюд он!..

Предложение многим пришлось по душе.

— Давайте Нигмата-кази!.. Нигмата-кази выберем! — раздавалось отовсюду.

Несколько человек пытались еще раз назвать Наджиба Кемала, но в общем гуле голосов их уже не было слышно.

Тут поднялся и стал возле Джихангира плечистый, рослый шакирд, лет тридцати, с густыми усами на крупном рябоватом лице. Этот, не в пример прочим, крепкий, здоровый человек был Нигмат-кази.

Завершив курс обучения в старом, кадимистском медресе, он лет пять был там кази, и даже слишком суровым кази. С той поры и осталась за ним кличка «кази». В Медресе-и-исламийе, как и везде, старшие шакирды отличались особой почтительностью к хальфэ, хазретам и попечителям. Нигмат-кази, однако, повел себя здесь иначе — присоединился к шакирдскому движению.

— Дурной конь с жеребятами скачет! — издевались над ним однокурсники.

Но Нигмата-кази это мало трогало. Ненависть одних вполне возмещалась любовью других: шакирды средних и младших классов видели в нем вожака, борца, верного товарища.

Не торопясь Нигмат-кази подошел к столу и сказал:

— Председатель есть, теперь нужен секретарь. Кого выберем?

Снова посыпались имена, фамилии, снова все заговорили разом. Среди многих других предлагали выбрать тех же Джихангира, Наджиба Кемала, Сулеймана Сейфуллина. Но они решительно отказались. Недалеко от них сидел башкир Вали, шакирд с длинными, тонкими усами. Он не то что секретарствовать на собрании, даже уроки записывать не любил. Но когда Сейфуллин в шутку назвал его имя, вдруг все собрание стало за него...

— Да не люблю я, товарищи, и не умею! — отнекивался Вали.

Его не захотели и слушать — толкнули к столу, усадили, сунули в руки перо.

— Да разве от татар отделаешься!..— засмеялся он и взялся за протокол.

XXV

НИГМАТ-КАЗИ

Позвонив в колокольчик, председатель успокоил зал и заговорил, как уже привыкли к этому в шакирдском мире, перемешивая свою речь множеством арабских слов:

— Товарищи, современники! Я старше вас всех. И, вероятно, поэтому позволяю себе думать, что ни один шакирд

не может с такой глубокой радостью, как я, осознать историческое значение нынешних волнений... Прежде, в кадимистском медресе, участвуя в богословских диспутах, я снискал себе славу знаменитого муназыра [1]. Тогда шакирды все свое время проводили в грызне друг с другом, под видом диспутов устраивали взаимные перебранки, целые побоища. Но время оказалось сильнее всего. Как ни пытались хазреты противиться, сколько ни старались преградить путь новому слову, держа на глухом запоре и окна и двери, революция проникла в медресе! Настал беспримерный в истории медресе момент, товарищи... Мы должны ценить это. Большое это счастье, удивительно большие перемены, товарищи!.. Не я один, многие были в старых медресе муназырами, пишкадемами, готовились к званию хальфэ. Время, однако, омыло нас, очистило. Мы отряхнули с себя прежнюю дикость... Свидетельство тому сегодняшнее наше собрание... Хотят выгнать из медресе двенадцать шакирдов. Если откажемся, обратятся за помощью к полиции, жандармам, угрожают, что, если станем сопротивляться, сломят нас тюрьмой. Были бы мы сейчас в кадимистском медресе, все до одного радовались бы несчастью двенадцати, смеялись, издевались бы над ними. Но сегодня татарский шакирд иной, он — человек, он — деятель нации!.. Он уже понимает, где правда, в ком человечность... Да! Понимает и разбирается, что представляют собой его двенадцать товарищей... В чем же их, и моя в том числе, вина? За какие грехи изгоняют нас? Почему Кадыр-бай и Гали-хазрет готовы призвать полицию?!

— Вы — наша опора!.. Наша гордость!.. — раздались возгласы с мест.

— Мы виновны лишь в одном: в том, что поднялись на защиту притесненного шакирдства, против невежественного, реакционного правления. И мы верим: с нами будут все шакирды, все наши товарищи!.. Я сам пять лет был кази в кадимистском медресе. Меня считали справедливым, но беспощадным. Каких способных, умных джигитов за смелые пререкания с наставниками выгоняли тогда из медресе по моему настоянию!.. Когда вспоминаю про то, кровь бросается в голову, застилает глаза. Я готов на коленях молить их о прощении... Но это уже прошлое. Прошлое не только мое, но и всего татарского народа... Оно не вернется... Сегодняшние шакирды, обновленная молодежь медресе, ушли от недавней той дикой поры на тысячу верст! Се-

[1] Муназыр — диспутант.

годня мы называем друг друга словом «товарищ»! Оно должно лечь в основу наших отношений. И то, что происходит здесь сейчас, доказывает, что мы поняли великое чувство товарищества. Да, поняли! Не просто товарищество, а товарищество в помыслах, в идеалах, а это самое главное! Итак, история будет за нас!.. Теперь перехожу к основной задаче... Товарищи, мы просили реформы. Просили новых учебных программ для медресе. Просили знаний. Сейчас готовятся изгнать тех, кто был во главе движения. Знаете ли вы, что там, в канцелярии, собрались крупные и мелкие баи, крупные и мелкие хальфэ? Там судят нас... Я верю: мы не сдадимся!..

Зал опять взорвался криками:

— Нет, не сдадимся!.. Будем драться до последней капли крови!..

Густой голос Нигмата-кази заставил всех притихнуть.

— Мы желаем,— продолжал говорить он,— пробиться к свету! И боремся с черными силами, которые пытаются мешать нам...

...Шакирдское движение, конечно, было вызвано недовольством молодежи существующими медресе — и кадимистскими и джадидскими [1], как в Медресе-и-исламийе. Это было главное. Но толчком к взрыву шакирдского гнева в Медресе-и-исламийе послужило одно событие, имевшее даже несколько комический характер... Был там хальфэ Карим Гайфи. Он получил образование в Стамбуле во времена султана Гамида. Его называли ученым. Шакирды же ненавидели Карима Гайфи за его деспотический характер и презрительное отношение к ним. Однажды хальфэ услышал в коридоре пение «Марсельезы» и с бранью бросился на шакирдов. Джихангир, который был среди них, не стерпел и ответил ему:

— Вы — хальфэ, ваше дело — учить. Подслушивать и привязываться к шакирдам со всякими обвинениями вам не пристало, это функция жандармская, на то есть надзиратель!

Карим Гайфи вскипел, заорал на него:

— Это не дом для митингов, а дом науки! Здесь не место тем, кто сеет смуту среди шакирдов, распевая политические песни! Я добьюсь, чтобы вас выгнали из медресе!..

[1] Здесь речь идет о медресе, в которых вводились некоторые реформы.

Тут уж Джихангир разошелся.

— Нашли чем пугать! — заявил он.— И вам и вашему медресе одна цена: копейка!

Дело принимало серьезный оборот. Началась словесная перепалка, вмешались и другие шакирды... Они тоже стали пререкаться с Каримом Гайфи, кто-то в лицо назвал его не то «стамбульским фруктом», не то «султангамидовской ягодкой»... Карим Гайфи побагровел, затрясся от злости и, крикнув, что он поставит на правлении вопрос об исключении бунтовщиков, убежал в химический кабинет... Когда через какое-то время хальфэ толкнулся в дверь, она оказалась запертой. Хальфэ принялся стучать, колотить в дверь кулаками. А шакирды стояли в коридоре и хохотали. Нашлись, правда, такие, которые хотели помочь ему, да они никак не могли подобрать ключ... Карим Гайфи просто исходил криком.

— Не могу больше!..— вопил он.— Я задохнусь здесь!..

Чтобы выпустить его, пришлось сорвать двери с петель. Он весь побелел, еле на ногах держался.

Отвезли его домой на лошадях. Несколько дней Карим Гайфи не мог ходить на занятия. Зато исписал кипу бумаги — расписал там и быль и небылицу — и отправил свои послания в правление медресе и в попечительство. Во всем обвинял «негодяев Баязита-кари, Джихангира, Сейфуллина». Требовал «немедленного изъятия из шакирдской среды Джихангира».

Началось расследование. Выяснилось, что Сейфуллин тогда лежал больной, Баязит, который жил на частной квартире, вообще редко показывался в медресе, а потом попал в тюрьму... Потянули к ответу Джихангира. Он не стал отрицать, что вступил в перебранку с хальфэ, но остальное отверг.

— Комнату не запирал,— твердо сказал он,— и куда девался ключ, не знаю.

Правление медресе решило передать это дело в попечительство — баям, которые поддерживали медресе деньгами.

А в медресе в тот вечер распространялись тайно оттиснутые газеты «Молния», «Шило», «Знамя шакирда», «Штык»... В них зло, едко высмеивали Карима Гайфи. Правление серьезно заинтересовалось этим и в результате установило, что печатали газеты двое шакирдов, живущих вне медресе. На четверых пало подозрение, что они авторы статей о Кариме Гайфи. Во время разбора происшествия присутствовал на правлении посланный шакирдами Сейфуллин. Его тоже осудили: за то, что он якобы вызывающе вел

себя на самом правлении, покинул заседание и занялся подстрекательством шакирдов, представив им в ложном свете решение правления... Нашлись еще трое, которые будто бы занимались не учением, а политикой: организовали тайные политические кружки, приводили на эти кружки Булата, распевали «Марсельезу»... Первым же и главным преступником, зачинщиком всех бед, разумеется, сочли Джихангира. А еще одного шакирда обвинили в том, что он собирался научить своих товарищей делать бомбы!.. Так и порешили исключить двенадцать шакирдов из медресе.

Когда весть об этом дошла до шакирдов, те развили бешеную деятельность. Организовали «Комитет защиты», в который избрали шесть действительных членов и еще четверых представителей. Комитет заседал всю ночь. Наутро пригласили в комитет по двое делегатов от старших, средних и подготовительных классов, обсуждали вопрос о путях борьбы с правлением. Все пришли к единому мнению: борьбу не прекращать, развивать наступление, добиваясь реформы! Тут же начали сбор подписей под клятвенное обязательство: «Буду бороться до последней капли крови, до последнего дыхания, чтобы не допустить исключения из медресе моих товарищей, виновных лишь в требовании реформы!»

Атмосфера в медресе накалилась до предела. Даже младшие ученики, которых не хотели вмешивать в дела взрослых, слезно упрашивали взять и у них подписи. «Мы тоже с вами! Мы не хотим отставать от вас!» — уверяли они. Только человек десять из старших шакирдов остались в стороне: они скоро уже заканчивали медресе, готовились получить дипломы — одни надеялись остаться здесь же, другие мечтали стать муллами и попасть при помощи правления в богатые приходы... «Рабами желудка» прозвали их шакирды, встретившие решение комитета с огромным воодушевлением. Многие из них, подписывая обязательство, добавляли от себя: «Да будет жертвой моя жизнь»...

В каком же душевном напряжении, с каким впервые осознанным чувством единства сидели сейчас все эти шакирды, слушая своего старшего товарища!

Нигмат-кази уже заканчивал речь.

— В том конце коридора,— говорил он,— заседают правление медресе и попечители. Кадыр-бай угрожает нам полицией и тюрьмой. И это могут быть не просто слова... Так будьте же, товарищи, преданными общему делу до конца, будьте готовы к героическому сопротивлению, к суровой борьбе!..

Последние слова Нигмата-кази потонули в бурном взрыве аплодисментов. Долгие, неистовые рукоплескания гулко отдавались не только в зале и коридоре, но и во всем медресе.

Испугавшись шума, прибежал из канцелярии надзиратель, заглянул в зал, но его встретили таким свистом и гоготом, что он поскорее захлопнул дверь.

XXVI

«ВСТАЛА НОВАЯ ЗАРЯ...»

В нараставшем гомоне раздался голос председателя:

— Сулейман Сейфуллин!

Из последних рядов поднялся худой шакирд в сильно поношенной тужурке, вскочил на подоконник. С изнуренного, отливающего темной желтизной лица его смотрели удивительно яркие, горящие глаза.

— До чего же нам плохо, товарищи!..—начал он какимто звенящим, надрывным криком.

Его сумбурные, но полные страстного отчаяния, проклятий, гнева слова будто опалили огнем все собрание. Он говорил о своем детстве, о том, как с семилетнего возраста задыхался в мрачных стенах медресе.

— Я хотел знания получить, стать человеком, служить народу. Чтобы учиться зимой, летом рубил лес, гонял плоты, на ярмарках работал в харчевне половым. До туркестанских кишлаков добирался, чтобы заработать немного денег. Только полиция выпроводила меня оттуда: подстрекатель, мол, ты татарский!.. Эх, товарищи, сколько же еще можно терпеть?.. Вот напросились мы сюда, люди говорили: лучшее медресе! А здесь то же самое — теснота, вонь, смрад, невежественные хальфэ... Есть нечего, хорошо, коли перепадет картофельная бурда и кусок сырого ржаного хлеба! Посмотрите на нас — пожелтели все, чахотку да горбы наживаем, в могилу раньше всех сроков тянемся... Эх, товарищи, молодость-то наша где?.. Где знания?.. Где она — светлая жизнь?.. А будущее что сулит нам? Становись муллой, хорони, читай заупокойные молитвы, радуйся подачкам прихожан!.. Есть ли на земле молодость горше молодости татарского шакирда?.. До каких пор будут притеснять нас? Скажите, товарищи, до каких пор будем терпеть?..

Он не мог говорить дальше. У него перехватило дыхание, не было сил сдержать подступившие к горлу слезы.

Волнение его передалось всему залу. Шакирды в исступлении вскочили на ноги, бурно и долго хлопали ему и кричали: «Верно!.. Правильно!..»

После Сулеймана Сейфуллина выступило еще несколько шакирдов. И они с юной горячностью выражали свое возмущение режимом медресе, хальфэ, баями, называли их кровопийцами, деспотами, тиранами...

— Нас притесняли, угнетали, но уже пора нам проснуться, нельзя больше сидеть и ждать. Восстань, татарский шакирд, иди под знаменем реформы в бой!..— говорили они.

Среди пылких этих речей холодом льда повеяло от выступления Наджиба Кемала. Высокий, в черном шелковом каляпуше, надетом на коротко остриженную голову, в черном долгополом казакине с чуть выпущенным у шеи белым воротником, он говорил спокойно. Сначала слушали его как будто внимательно. Но прошло немного времени, как стали раздаваться протестующие возгласы:

— Не нужно!..

— Пусть замолчит!

— Долой!..

— Предатель!..

Поднялась буря негодования, и Нигмату-кази пришлось долго звонить в колокольчик, увещевать собрание, чтобы дали Наджибу Кемалу высказаться.

— Товарищи, вы меня неправильно поняли,— заговорил тот снова.— Я и не собираюсь утверждать, что положение татарского шакирда хорошее. Я не против реформы и не могу сказать, что нет изъянов в программе. Просто я говорю: тот, кому не нравится, может уходить... Пускай учится по-русски, поступает в русскую, европейскую школу!.. Но такие, как вот сейчас, нападки на правление я считаю смехотворными. Ну как можно называть хальфэ деспотами, кровопийцами, тиранами?.. Верно, они невежды... Только уж никак не деспоты и не кровопийцы... Потому что в их руках нет никакой силы, никакой власти, они сами жалкие!.. И весь этот шум с призывом идти против них «в бой под знаменем реформы» я считаю ребячеством, глупостью. По-моему, бороться против...

Нет, это было уже слишком! Ярости шакирдов не было предела. Они кричали, свистели, топали ногами. Наджиб Кемал махнул с безразличным видом рукой и уселся обратно на свое место.

Теперь каждый просивший слова шакирд с еще большим жаром клеймил правление, проклинал свою судьбу и призывал объединиться для борьбы.

Собрание подошло к концу, но возбуждение не спадало. Шакирды переговаривались друг с другом, кричали... В задних рядах кто-то запел песню «Сада»:

Свет надежды нам даря,
Встала новая заря.
Эй, шакирд, вставай, не мешкай,—
Пробажденья час настал!..[1]

К нему присоединялось все больше голосов. Вскоре пел уже весь зал.

Шакирд Сахиб, прославившийся в медресе своим голосом, сочинил недавно стихи на мотив «Польского марша». Их знал на память чуть ли не каждый шакирд. И когда после «Первой сады» послышались слова его песни, зал бурно подхватил. Песня взмыла, наполняя гневным своим напевом зал, коридоры, и уже не нашлось бы силы, которая могла бы сдержать ее. Вместе с песней буйным весенним потоком выплеснулась в коридор толпа шакирдов и с ревом, с гиканьем устремилась к канцелярии.

Канцелярия была заперта изнутри. Сулейман Сейфуллин схватился за ручку, рванул дверь к себе, она не поддалась... Но это нисколько не охладило шакирдов. Теснясь у двери, они запели еще громче. Еще больший вызов гремел в словах:

Ужели мой народ навеки
терпеть бесправье осужден?
Ужель не сбудутся надежды,
надежды, что лелеял он?
Нет радости, и правда скрылась,
не грянул громовой раскат.
Но ты вставай, иди на битву,
мой угнетенный бедный брат!
Но ты вставай, иди на битву,
мой угнетенный бедный брат!..

XXVII

МЕСТО БОИШЬСЯ ПОТЕРЯТЬ?

От дикого шума, потрясавшего медресе, в канцелярии оторопело примолкли.

Глава медресе — мюдаррис Гали-хазрет — отпер дверь и выскочил в коридор. Губы у него побелели, глаза горели огнем, лицо выражало и гнев и страх.

---

[1] Стихи и песни переведены В. Ганиевым.

— Скажите, скажите, ради аллаха! Что случилось? Что вам нужно? — раздраженно обратился он к горланившим у самой двери юнцам.

Из толпы бросили:

— Что нам нужно? Ответ нужен!.. Срок ультиматума истек!

Поворачиваясь то к одному, то к другому шакирду, мюдаррис стал уговаривать их:

— Почему же вы подняли такой шум, раскричались так? Ведь полиция может прибежать, закроют из-за вас медресе!..

— Пусть закрывают! — ответил тот же резкий голос.— Провались оно, твое медресе!.. Или боишься место потерять?..

Лицо Гали-хазрета покрылось мертвенной бледностью: ведь двадцать лет жизни отдал науке!.. В России окончил Казанское, потом Кышкарское медресе... С татарским торговым караваном отправился в Азию и семь лет провел над книгами в узкой келье медресе Бухары... Не довольствуясь этим, решил продолжить образование — учился в Мекке, Медине, затем в Стамбуле, в Каире... Он всей душой возненавидел старые кадимистские медресе и, вернувшись в Россию, задался целью создать новометодные медресе, по типу стамбульских и каирских. Он начал на пустом месте... С помощью татарских либеральных буржуа добился постройки обширного здания, как нищий ходил по домам, выклянчивал на это деньги. Пригласил хальфэ, получивших образование в Стамбуле, Каире. Изменил методику курса богословия, арабского языка. Кроме изучения корана с его толкованиями, хадисов, арабской филологии, ввел математику, естествознание, татарский язык и начальное обучение русскому языку. Он не хотел, чтобы шакирды были бессловесными существами, не противился развитию у них критических взглядов, мирился даже с их грубостями... И то, что услышал он сейчас, наполнило его душу горькой обидой, как бы перечеркнуло дело всей его жизни... «Место боишься потерять?..» И кто сказал это: шакирд, которого он воспитывал долгие годы, его собственный ученик!.. Вот награда!.. Для того чтобы услышать такое, он трудился, не щадя себя, удлинняя дни ночами?!

У хазрета закружилась голова, но он крепился и только спросил, потрясенный:

— Что вы сказали?.. Кто?.. Кто сказал мне эти слова?..

Расталкивая сгрудившихся шакирдов, вышел вперед Джихангир.

— Ну и что? — вызывающе произнес ои.— Кто бы ии сказал, теперь не время допытываться до этого! Мы ждем от вас ответа! Срок, указаииый в петиции, истек. Вот иа это что скажете?.. Мы хотим услышать ответ!

И, обериувшись, яростно бросил в бурлящую толпу шакирдов:

— Вы что стоите, товарищи?! За подаяиием, что ли, пришли сюда? Что прикусили языки? Почему молчите?!

Страсти опять разгорелись, опять все пришло в движеиие. Сулеймаи Сейфуллии произнес еще одиу пламеииую речь об угиетеиии шакирдов, о тираиии правлеиия, призывал отстоять приговореииых к исключению товарищей.

Гали-хазрет уже подавил свое волиеиие. Все еще бледиый, ои уже спокойио проговорил:

— Никто не угиетает, иикто ие исключает... Мы собрались, чтобы разобраться. Если ие виоваты, исключеиы ие будут. Только, ради аллаха, возьмите себя в руки... не шумите... Ваш крик привлечет полицию, закроют медресе!..

— Нет уж, мы достаточио ждали!.. Все обещаиия оказались пустыми...— иачали было кипятиться шакирды.

Но Нигмат-кази умиротворяюще заявил:

— Товарищи, от того, что подождем малость, беды ие будет!

В коридоре вроде поутихло иемиого.

XXVIII

ДЖИХАНГИР И СУЛЕЙМАН СЕЙФУЛЛИН

Правлеиие, видио, решило воспользоваться этим момеитом: стали по одиому вызывать в каицелярию обвииеиных шакирдов для объясиеиий.

Первым выкликнули Джихаигира. Но ои громко, чтобы слышали сидевшие в каицелярии, отказался:

— Нет. Я считаю иедостойиым для себя держать ответ перед иими!

С негодоваиием отвернулся и Сулейман Сейфуллии. Нигмат-кази хоть и вошел, посмеиваясь, в каицелярию, большой радости никому там ие доставил.

— Я счел иеудобным ие входить, когда приглашают. Но отвечать на вопросы ие собираюсь. Если изволите выйти к шакирдам и открыто спросить при всех, тогда, может, и скажу несколько слов,— заявил ои.

Видя, что этот путь ие дает ожидаемых результатов, Га-

ли-хазрет — как человек быстрой мысли — тут же нашел новый ход:

— Вопрос стоит так: мы делаем все, что возможно. Нельзя допускать развала медресе. У меня у самого душа болит при мысли, что надо исключать вас, двенадцать шакирдов... Вы скажите всем: пусть просят извинения, дайте письменное обязательство, что впредь не позволите себе выходить из рамок устава правления. На таких условиях мы согласимся никого не исключать.

— У меня нет общего языка с вами,— вспылил Нигмат-кази и уже шагнул было к двери, но обернулся и спросил: — А что это за извинение?.. В чем извиняться?.. В каких каяться грехах?.. Революция никогда не извинялась перед силами старого порядка! Шакирдское движение — это тоже революция своего рода,— отрезал он и, не дожидаясь ответа, вышел из канцелярии.

В коридоре его кольцом окружили шакирды:

— Что у тебя спрашивали?.. Ты что ответил?..

Когда Нигмат-кази передал содержание разговора, они снова распалились, понеслись выкрики:

— Да здравствуют татарские шакирды!..

Каждого, кого вызывали в правление, напутствовали:

— Не бойся!.. Прощения не проси!..

— За тебя стоят сотни шакирдов!..

На какое-то время в коридоре воцарилось спокойствие. Но вот распахнулась дверь, и из канцелярии медленным, важным шагом вышел надзиратель:

— Джихангир и Сулейман Сейфуллин пренебрегли приглашением правления. Их вызывают вторично. Если откажутся и на этот раз, правление медресе будет вынуждено исключить их из состава своих шакирдов. Войдете или нет? — торжественно спросил он.

Джихангир, который стоял тут же рядом, презрительно бросил:

— Иди скажи: какое бы ни вынесли решение, я считаю для себя позором держать перед ними ответ!

Дверь в канцелярию была открыта: из коридора доносилось туда каждое слово...

Когда надзиратель удалился, чтобы сообщить о его ответе, Джихангир повернулся к шакирдам:

— Товарищи!.. Настали последние минуты!.. Есть в нас живая душа или нет?.. Есть ли у нас честь, чтобы не склониться перед невежественными учителями и отъевшимися баями?.. Есть ли у нас мужество, чтобы отстоять свои желания?.. Так чего мы ждем?!

Глаза Джихангира налились кровью, он задыхался от ярости. Его слова упали в толпу, будто разметавшиеся искры огня, и вновь воспламенили шакирдов. В гуле возмущения порывистая поднялась песня:

Свет надежды нам даря,
Встала новая заря.
Эй, шакирд, вставай, не мешкай,—
Пробужденья час настал!..

От мощи подхватившая ее голосов задрожали стены. Песня налетела грозным шквалом. Страх тех, кто сидел в канцелярии, кажется, достиг предела. В дверях снова показался Гали-хазрет с распахнутыми полами джуббе[1] и с горячностью кинулся в глубь шакирдской волны. Казалось, он уже видел надвигающуюся катастрофу,— столько ужаса и муки было в его речи, обращенной к шакирдам.

— Нация нуждается в таких, как эта, новометодных медресе...— говорил он, пытаясь доказать, что правление делает все возможное и готово вводить в жизнь медресе еще и еще нововведения, конечно, в пределах разумного.

— Все ложь,— прервал его какой-то шакирд,— все для отвода глаз говорится!

Опять прямо в сердце кольнули Гали-хазрета.

— Кто говорит это?.. Кто?.. Ведь ты еще ребенок! И рассуждаешь по-детски! Дайте мне несколько миллионов рублей! Я создам здесь вторую Сорбонну! Вы все жалуетесь, упрекаете: то вам нужно, это нужно! Вы, мол, голодаете. После медресе, мол, ни на что не годитесь... Русских приводите в пример и ругаетесь: почему у нас нет того, что есть у них?.. Я и сам все вижу, все знаю. Мы делаем все, что нам доступно. Но откуда взять то, чего нет? Где просторные помещения для медресе? Где хорошие педагоги? Где хорошие учебники? Где средства на учебные пособия? Деньги где? Откуда я возьму то, чего никогда не было у татар?.. С неба ничто не упадет! А вы только и знаете, что хулите правление, во всем вините правление, подстрекаете к бунту против нас. Это неверный путь. Вы не рабочие, а мы не фабриканты. Здесь и хальфэ и шакирды должны идти вместе, рука об руку, помогая друг другу... Вы же заладили одно: хальфэ вас угнетают, правление угнетает — и призываете к беспорядкам!..

---

[1] Джуббе — длинное, легкое, типа халата, одеяние духовного лица.

Гали-хазрет считался красноречивым человеком, речи его обычно нравились шакирдам. Но в последние дни его не хотели и слушать. Даже постоянные подпевалы правления — несколько великовозрастных шакирдов — словно дьяволы, испугавшиеся молний, запрятались куда-то.

Лишь один из них, Михран, несмело захлопал из-за чьей-то спины в ладоши и выкрикнул:

— Правильно!.. Очень правильно!..— Но его одинокие хлопки и возгласы потонули во взрыве негодования остальных шакирдов.

Нигмат-кази тем временем взгромоздился на стул, чтобы ответить мюдаррису.

— Здесь,— сказал он,— совершается большая историческая ошибка! Татарская молодежь, которой должно готовиться жить в двадцатом веке, оказывается замурованной в духовные училища. Здесь отравляют молодое поколение старой и новой схоластикой, старой и новой дребеденью, старой и новой чепухой! Все молодое поколение оказывается пригодным лишь к тому, чтобы стать муллой, собирать приношения, хоронить покойников, и ни к чему другому... Революция, охватившая всю Россию, пробудила и татарские медресе. Татарский шакирд начал бороться за реформы. Как и бастующие пролетарии, шакирды десятками, сотнями бросают учебу, покидают медресе... Мы тоже говорим, что бросим медресе, и мы выполним свое слово! Будет ли польза для нас самих от того, что мы оставим медресе, это не важно. Но наш уход, борьба шакирдов явится протестом против той исторической ошибки, о которой я говорил, заставит задуматься все татарское общество!.. И сегодня здесь мы выступаем не только против нашего правления, не против самого Гали-хазрета, а против веками укоренившегося мракобесия, против исторических ошибок... Это наш протест!..

Мгновенно загорающийся Сулейман Сейфуллин и тут не выдержал — вскочил, как и Нигмат-кази, на стул и, обводя товарищей пылающим взором, крикнул:

— Не раз давали нам обещания!.. Не раз обводили вокруг пальца! Неужели и сегодня поддадимся обману? Поверим толстопузым баям и невеждам хальфэ?.. Нет, больше мы им не верим!.. Одно нам осталось: объединиться и броситься в бой!..

Он еще не закончил, как Сахиб, а за ним и вся волнующаяся масса шакирдов запели «Марсельезу»...

XXIX

НЕ ДУРИТЕ!

В эту минуту в дверях неожиданно показался сам Кадыр-бай.

Он был в суконной, на лисьем меху шубе с выдровым воротником, в низко надвинутой каракулевой шапке, в валяных ботах, надетых на лаковые ичиги. Борода, окаймлявшая здоровое, румяное лицо, была сильно тронута сединой, глаза смотрели с неприязнью и осуждением. Он спокойно перешагнул порог и, остановив взгляд на возбужденных лицах шакирдов, тихо произнес:

— Это что за крики? Что за самовольство! Что вам тут понадобилось?

Все замолкли, застыли на своих местах. Только Джихангир подошел к висевшему в раме под стеклом уставу медресе и решительно заявил:

— Что может нам понадобиться! Мы еще неделю тому назад подали вам бумагу... Теперь нам ответ нужен, реформа нужна!

Кадыр-бай, опираясь на палку, грузно повернулся к нему и с укоризной, будто выговаривал несмышленому ребенку, сказал:

— Не дурите! Разве так требуют реформу? Неужто ваши хальфэ не знают, что вам нужно? Выходит, яйца курицу учат? Не дурите!.. Идите, расходитесь! Как же это можно! Ни почтения к наставникам, ни уважения, срам-то какой! Рабочие, что ли, вы — бастовать... Я пойду, Галихазрет, и вот мое последнее слово: двенадцать тех болванов сегодня же, не откладывая ни на час, гоните из медресе! Нам такие безбожники, ветрогоны не нужны. На них, неблагодарных, жалко и копейку тратить!..

Но не успел Кадыр-бай сделать и двух шагов, как взъерошенный Джихангир вскочил на стул и, тыча пальцем в устав, крикнул запальчиво:

— Товарищи татарские шакирды! Видели, слышали?.. Выполняются наши условия? Нет, не выполняются. Все обещания оказались пустыми. Осталась та же, прежняя, программа. А нас выгоняют в угоду баю! За какие грехи, за какие преступления гонят нас из медресе? Товарищи, где же честь, где мужество ваше?.. Значит, так и подчинимся им?..

В коридоре, в зале, в классах — всюду поднялся гвалт, гам сотен голосов. Со всех сторон неслось:

— Бросим все...
— Восстань...
— Шагай вперед...

В этом несусветном гуле Джихангир и Сулейман Сейфуллин сорвали со стены устав в золоченой раме и швырнули его в лестничный пролет, на каменный пол вестибюля. Звон разбитого вдребезги стекла, треск рамы еще сильнее подхлестнули шакирдскую волну. Одни во всю глотку тянули: «Бросим все...», другие — «Сада», кто-то вопил: «Бей, ломай! Пропади все пропадом!..» Еще не отзвенели внизу стеклянные брызги, как наверху в двух подготовительных классах стали ломать стулья, выбивать окна... Где-то звонко лопнули лампы...

Баи, хальфэ в смятении высыпали в коридор. Что это? Светопреставление? Рушится мир?.. Точно разбушевалось море и настала последняя, трагическая минута гибели корабля, тщетно борющегося с волнами. Так, во всяком случае, казалось Гали-хазрету.

А на лицах шакирдов, в их глазах, в поющих, спорящих, орущих голосах — во всем их неистовстве было что-то похожее на торжество воинов, которые после долгой кровавой битвы и многих жертв вот сейчас только завоевали большой город! Словно всем их невзгодам наступил конец, словно, швырнув на пол старый устав в золоченой раме, они сбросили с себя вековечное проклятье, словно навсегда освободились от душившей их, несшей им одни несчастья старой, мрачной жизни и вступили в новый, светлый, свободный день,— такое бурное ликование охватило шакирдов в этот миг.

Но ненадолго... Настежь отворились внизу двери, хрустнули стеклянные крошки под сапогами — вошел жандармский ротмистр, в шинели, с шашкой на боку, и, как бы не понимая ничего, огляделся по сторонам:

— Что такое? Что за бунт?..

Вот показались еще жандармы, полицейские, солдаты. Как будто их и в самом деле ожидало столкновение с бунтовщиками, они поднимались по чугунной лестнице за ротмистром, держа винтовки наперевес.

Наверху, словно облили всех ледяной водой, наступила полная тишина. Вспышки как и не бывало, все сникло. Гали-хазрет немного растерялся, но потом взял себя в руки и пошел навстречу ротмистру, который уже взбегал, звеня шпорами, на третий этаж.

— Не удивляйтесь,— с натянутой улыбкой проговорил

хазрет на ломаном русском языке,— тут просто недоразумение между нами!

А Кадыр-бай, так и не успевший уйти, стоял оторопело и не мог сообразить, что происходит. При виде бая на лице ротмистра выразилось еще большее изумление. Стягивая перчатку, он подошел прямо к нему.

— Как вы сюда попали, Кадыр Хайретдинович? — спросил он и добавил: — Прошу прощения! По указанию свыше должен произвести обыск в медресе!

Бай, как бы говоря: «Мне все равно!» — махнул рукой и стал спускаться по лестнице.

За ним тронулись и остальные баи-попечители.

Первой мыслью ротмистра было остановить их, но внушительная фигура шедшего впереди Кадыр-бая заставила его передумать. В конце концов, все это были известные, знакомые ему люди.

Ротмистр предъявил Гали-хазрету ордер на обыск.

XXX

ОБЫСК

Здание медресе со всех сторон окружил казачий отряд. У каждой двери стали по два вооруженных солдата. Они никого не впускали и не выпускали из медресе.

Прослышав о таком ужасном происшествии, начала стекаться к медресе мусульманская братия. Улицу, перекрестки, все соседние дворы вмиг забили напуганные и вместе с тем охваченные любопытством татары...

Ротмистр решительно вел свое дело. Прежде всего он запер в канцелярии Гали-хазрета, надзирателя, всех хальфэ и поставил у двери охрану. Под такой же охраной оказались загнанные в комнаты шакирды. Затем ротмистр приступил к обыску.

Начали с того, что перерыли все в партах. Отложили в сторону тетради и книги без визы русского цензора. Все это связали в большие свертки, узлы. А там принялись за самих шакирдов: выворачивали карманы, шарили под рубахами, в брюках, в ичигах, собрали все найденные бумажки, записные книжки и, отметив в протоколе, увязали в отдельный тюк.

Потом обыск перешел в спальни, в столовую, в дровяной склад. Рылись всюду — осмотрели даже выкинутое, рваное, грязное белье.

Когда жандармы спустились в нижние этажи, некоторые шакирды явно встревожились... Баязит-кари еще до ареста передал на хранение Сулейману Сейфуллину небольшой сверток. В нем были планы организации шакирдской партии, программа фидаистов и бумажка с объяснением, как можно сделать бомбу. А главное — были среди всего прочего записка Булата и письмо, где говорилось о кружке Разии Ширинской. Сулейман Сейфуллин, на глазах которого разворачивали сверток, ухитрился улучить момент, схватить письмо и уже сунул его в рот, чтобы проглотить... Почувствовав, что это не удастся, он попытался выбросить скомканное письмо в форточку. Его движение привлекло внимание одного ефрейтора, и тот кинулся на Сулеймана, точно борзая на зайца. В протоколе появилась запись: «Эта бумага отнята из рук Сулеймана Сейфуллина при попытке выбросить ее в фортку». Происшествие особенно напугало тех немногих шакирдов, которые постоянно посещали политический кружок Разии Ширинской: их беспокоило, что Разия может оказаться впутанной в эту историю...

Когда, обыскав около трехсот шакирдов, обшарив спальни, столовую, классы — все три этажа, жандармы дошли до канцелярии, время уже близилось к утру. Взяв с собой околоточного, городового и двух понятых, ротмистр вошел в комнату и уселся возле покрытого зеленым сукном стола. Усталый и раздраженный, он откинулся на спинку стула, извинился, что заставил долго ждать, и стал одного за другим допрашивать хальфэ.

Они были измучены и бессонной ночью и страшными предположениями, что могут закрыть медресе, а их всех арестовать, отправить в ссылку...

Первым отвечал официальный глава медресе и духовный глава — имам прихода Гали-хазрет. Ему было трудно говорить по-русски, но все же он сумел ответить на вопросы: сколько в медресе шакирдов? По каким учебникам идет обучение и где изданы учебники? Сколько хальфэ? Из каких средств и сколько они получают жалованья? Вообще, на какие средства существует медресе?

Отвечая на последний вопрос, Гали-хазрет к сказанному о том, что медресе полностью зависит от милости баев, хотел прибавить еще, что государственная казна на учебно-просветительные дела не отпускает ни копейки... Но побоялся, что эти слова могут быть восприняты как критика правительства. «Наверное, именно в подобных случаях говорят: слово — серебро, а молчание — золото»,— подумал он. И промолчал.

Хальфэ дрожали от страха, не понимали, что у них спрашивают, и Гали-хазрету пришлось еще быть за переводчика для них.

Пока околоточный возился с письмами, бумагами, тетрадями, изъятыми при личном обыске у хальфэ, ротмистр принялся допрашивать последнего — Карима Гайфи. Глядя усталыми, злыми глазами на огненно-красную феску и длинное, турецкого покроя джуббе, резким тоном спросил:

— Откуда родом? Где учились?

Аллах дал силы Кариму-эфенде кое-как ответить на эти вопросы. Но когда последовали другие: «Чему обучаете? Где изданы учебники, по которым даете уроки? Кто их авторы?» — он окончательно потерял голову. Он, как и другие, не мог толком понять, о чем его спрашивают, не мог выговорить ни одного русского слова...

Злоязычные шакирды рассказывали, будто Карим Гайфи просит квартирную хозяйку поставить самовар, показывая знаками, что хочет пить... Возможно, это было преувеличением: ведь хальфэ, хоть провел всю жизнь в стамбульских школах, уже больше года, как вернулся из Турции и, наверное, успел выучить хоть несколько русских слов, чтобы суметь объясниться насчет самовара. Однако что правда, то правда — когда дело касалось ученой терминологии, даже названий учебников, язык у него заплетался...

А тут еще, как нарочно, ротмистр повторил вопросы:

— Вы чему обучаете? Где напечатаны, кем написаны учебники, которыми пользуетесь?

— Мы учим... хэндэсэ...[1]

— Что вы сказали? — переспросил ротмистр.

Карим Гайфи повторил:

— Мы учим... хэндэсэ...

Карим Гайфи пользовался большим авторитетом и в правлении и среди баев-попечителей. На него смотрели как на редкостно образованного человека... Таивший из-за этого черную зависть к нему хальфэ Салим Файзи, услышав такой ответ, с откровенным злорадством рассмеялся.

Усмехнулись и другие хальфэ. Некоторые же глубоко огорчились, что не умеет никто из них даже ответить сколько-нибудь связно на вопросы этого русского...

Потеряв всякую надежду услышать что-либо вразумительное от балахона в феске, ротмистр попросил Гали-хазрета помочь ему. На этом муки хальфэ кончились.

Конфискованные в медресе книги и бумаги были отправлены на шести или семи подводах в жандармерию.

[1] Хэндэсэ — геометрия (*арабск.*).

XXXI

КАРИМ ГАЙФИ

В это же время обыски шли на квартирах у Гали-хазрета и всех хальфэ. И оттуда возами вывозили письма, бумаги, огромные фолианты египетской, индийской, стамбульской печати на плотной желтой бумаге и сваливали в кучу в жандармском управлении.

Правительство искало среди татар социализм, искало революцию. Искало также пантюркизм, искало панисламизм. Поэтому, как и любой шакирд, распространяющий прокламации или посещающий политические кружки, так и красная феска, необычно длинное, узкое одеяние Карима Гайфи, так и любой хальфэ, который по незнанию русского языка пользовался стамбульскими учебниками, так и любая изъятая из квартир хальфэ книга египетского, турецкого издания — все представлялось охранке крайне подозрительным, чреватым опасностью.

Притом не только на местах, в губернских жандармериях, но и в петербургском департаменте путали, мерили на один аршин татарскую социал-демократию и панисламистов, пантюркистов... Например, Булата знали как социал-демократа, большевика, и того же Булата считали защитником панисламизма, пантюркизма.

Чтобы добраться до корня того, как они думали, сложноразветвленного движения, и были учинены обыски в медресе, у хазрета, у всех хальфэ.

Большинству шакирдов обыск в их медресе теперь уже казался просто интересным событием: они видели в нем как бы первую встречу лицом к лицу с врагом. Закроют медресе? Пускай закрывают! Некоторые совсем легко смотрели на это. «Кому, для чего оно нужно?..» На следующий же день после обыска опять появились в медресе тайные, размноженные на гектографе газеты. В них еще злее обрушивались на Гали-хазрета, на Карима Гайфи... Вообще после обыска труднее всего было этим двоим. Мюдаррис лишился и аппетита и сна. Ночами его преследовали кошмары: виделось, как закрывают медресе, как разъезжаются, расходятся шакирды, его сажают в тюрьму, ссылают... Сколько было отдано сил!.. С одной стороны, приходилось делать все, чтобы не вызывать нареканий у правительства, с другой — ради ислама, ради нации добиваться расположения баев, каждый год — осенью и зимой, весной и летом — увещевать, уговаривать каждого бая, чтобы получить от него деньги —

пожертвование на медресе! И каждый бай — словно капризный жених: чуть что ему не по нраву или что-то покажется обидным,— сразу вскипает, попрекает всякой потраченной копейкой, норовит отделаться от медресе... А шакирд не ведает об этом! Ему подавай Европу!.. Он хочет, чтобы татары в один день добились таких же школ, как у русских, у французов... И во всем винит правление, объявляет ему войну. Видит в нем своего врага...

Мюдаррис и так уже был между двух огней, а тут еще жандармы, обыск... Теперь грозит разгон медресе, грозит тюрьма, ссылка... Горькие эти мысли не оставляли хазрета.

Гали-хазрет в глубине души никогда не любил Карима Гайфи: ему не нравилась заносчивость этого хальфэ. Однако в последние дни общая беда сблизила их. Хазрет понял, что никто из хальфэ, пожалуй, даже никто в татарском обществе не принял так близко к сердцу, как Карим Гайфи, угрозу, нависшую над медресе...

Карим Гайфи искренне разделял тревоги хазрета, и тот видел теперь своего хальфэ в ином свете, даже сокрушался, что не ценил его прежде. Этот маленький, щуплый человек с шафранным лицом — очень вспыльчивый, но с ясными глазами — казался теперь хазрету единственным убежденным сторонником просвещения нации.

Карим Гайфи с детских лет проявил блестящие способности в учении. Его наставник Шаймерден-мулла сумел уговорить бая своего прихода Кемала-хаджи помочь юноше продолжать образование, и Карима Гайфи послали в Стамбул. Там он поступил в светскую школу и с первого же года выделился среди одноклассников. Окончил школу с золотой медалью.

Останься Карим Гайфи в Турции, он, несомненно, стал бы заметным человеком в ученых кругах. Его могли бы послать за счет турецкого правительства учиться в Европу. По возвращении оттуда он получил бы в Турции профессорскую кафедру. Такая перспектива вдохновляла его, разжигала надежды и мечтания. Будучи исламистом, тюркистом, он не видел ничего противного своим принципам в том, чтобы посвятить всю жизнь работе в Турции: турки, татары, арабы, персы... все равно, лишь бы они были мусульмане! Кому бы из них ни пришлось служить, он считал это служением собственному идеалу. Он всех мусульман воспринимал как единую нацию и трудился бы для них в любой стране, почитая это священным своим долгом.

Но старый турецкий писатель, известный Ахмед Мидхат-эфенде дал ему категорический совет:

— Сын мой, возвращайся в Россию! Мусульмане России больше нуждаются в тебе. Напои первым того, кто больше возжаждал!

А тут еще пришли в Стамбул одно за другим три письма от Гали-хазрета: о новом медресе, о введении новых наук в программу, о новом религиозно-национальном воспитании. Он предлагал Кариму Гайфи семьдесят рублей жалованья в месяц и должность учителя математики и естествознания в его медресе.

Так уговорили Карима Гайфи. Он вернулся в Россию.

Прилично владея французским языком, Карим Гайфи дополнял, оживлял уроки с помощью привезенных им из Турции французских учебников. Он глубоко знал свой предмет и умел ясно, четко излагать его... К удивлению многих, он очень быстро восстановил в памяти и татарский язык, почти забытый им за восемь лет жизни в Стамбуле.

С первого же урока он совершенно заворожил шакирдов. В медресе были и другие вернувшиеся из Турции хальфэ, однако после их жалких уроков, на которых они передавали ученикам случайно нахватанные или полученные у грошовых репетиторов знания, интересные, полные глубокого осмысления занятия Карима Гайфи сделали его самым любимым учителем у шакирдов. Даже Гали-хазрет, который своими, казалось бы, весьма левыми суждениями о религии, умением искусно сводить богословские категории к понятиям общекультурным, произносить страстные речи о единстве духа религии, культуры и науки снискал когда-то признание и почитание, даже он по сравнению с Каримом Гайфи представлялся теперь чуть ли не заурядным, устаревшим.

Но вспыхнувшая столь быстро любовь столь же быстро и угасла. Не прошло и месяца, а имя Гайфи уже начали поминать не только добром. Вокруг него образовалось два лагеря: если человек десять противопоставлявших себя всем шакирдам консерваторов, вроде Наджиба Кемала и Михрана, возносили его до небес, то такие, как Баязит, Джихангир, Нигмат-кази, Сулейман Сейфуллин, низвергали его в прах...

И в самом деле, каждое волнение, каждый протест шакирдов встречал у Карима Гайфи открытое сопротивление. Он прилагал все усилия к тому, чтобы подавить шакирдское движение, разбить волну, погасить пламя. Борьбу шакирдов за введение новых предметов, новых программ он расценивал как немыслимую крамолу. И на собраниях шакирдов и в правлении он высказывался прямо:

— Шакирд обязан учиться, учиться, учиться. Пусть шакирд учится! Пусть получает знания! А рассуждения, критика могут быть допустимы потом, если они возникнут как необходимость, в результате приобретенных знаний. Шакирд не должен знать ничего, кроме учения.

Он добивался закрытия шакирдских организаций, требование ими реформы именовал не иначе как преступлением.

— Как можно?! — поражался он.— Кто он, шакирд? Учится он или учит? Допустимо ли, чтобы шакирды сами составляли себе программу? Да что это такое?

Когда, воспользовавшись революционным натиском, шакирды добились включения своих представителей в правление медресе, Гайфи возмутился. И уже одно занимало его: как бы выставить шакирдов из правления? Горячо говорил он об этом и на шакирдских собраниях, повторяя без устали:

— У вас должна быть одна задача — учиться, учиться и только учиться. Делами правления, программами займутся наставники!

Это и погубило Карима Гайфи. В первый раз шакирды слушали его с явным недоумением, во второй — дали ему резкую отповедь, а в третий — прервали его речь диким свистом и криками:

— Долой!..

— Замолчи!

— Тут их много найдется, султангамидовских агентов!..

Хальфэ не сдавался, гнул свое.

— Пройдет время,— твердил он себе,— и эта катавасия уляжется, шакирды поймут меня, ведь я все делаю ради них самих, я хочу, чтобы они получили знания в медресе, я не могу допустить, чтобы они оставались невежественными болтунами. Придет время, шакирды поймут меня, увидят, что я был прав!

И он не переставал преследовать взбунтовавшихся учеников. Во всех своих рассуждениях о движении шакирдов он исходил из собственных, довольно противоречивых взглядов на революцию: потрясения и шквалы революции были противны его душе. Социализм он считал утопией. Но царское правительство угнетает мусульман. Царское правительство вынашивает планы захвата Стамбула, уничтожения Турции. Поэтому падение русского самодержавия более чем желательно. С этой точки зрения революция просто необходима. Однако татарская молодежь неправильно ее понимает. Нужно единство мусульман, единство тюркских народов. Для этого баи и бедняки, рабочие и фабриканты,

помещики и крестьяне, шакирды и хальфэ — все должны действовать заодно, идти рука об руку. Междоусобная же борьба — путь ошибочный, путь неверного толкования революции. Пускай революция предоставит волю, предоставит свободу — и мусульмане, тюрки единой душой, единым существом устремятся к науке, к культуре! В деятельности жандармерии, несомненно, есть положительная сторона: жандармы тушат красный пожар, заливают красное пламя. Но скверно другое: они пытаются искоренить панисламизм, пантюркизм. Устраивают с этой целью обыски, мучают людей. Это уже никак не может вызвать расположения к жандармам...

Таковы были тяжелые размышления Карима Гайфи в последнее время.

В тысячу раз усилились его тревоги после появления в медресе тайных газет. Хальфэ был в ужасе: куда катится молодое поколение? Где разум шакирдов? Где честь, совесть, приличия где?.. Что только они не пишут!.. Особенно задела его газета «Знамя шакирда». В ней была карикатура: человек в феске и джуббе ткнулся носом в фундамент трехэтажного каменного здания и долбит его. Дом уже накренился, еще немного — и развалится совсем. Под карикатурой подпись: «Вклад господина Карима Гайфи в медресе».

В «Щипке» нарисовали уже катящиеся под гору обломки рухнувшего дома, рядом — его же, Карима Гайфи, с гармошкой, пляшущего на тонких кривых ножках и горланящего песенку:

Над шакирдом можно, братцы,—
Ай Дунай, вай Дунай —
Как угодно измываться! —
Ай Дунай, вай Дунай!

На этой карикатуре было еще несколько хальфэ. Они с подобострастными лицами хлопали в ладоши и кричали: «Да здравствует Гайфи!»

Каждая крохотная подпольная газетка глумилась над ним. И, точно боясь, что он чего-нибудь не заметит, шакирды посылали почтой все газеты ему на квартиру. Это еще больше растравляло его. Если раньше в газетках писали главным образом о мелких передрягах, о распрях между шакирдскими партиями, теперь там, словно по уговору, помещались карикатуры, в которых он, Гайфи, трясясь от страха, держал ответ перед жандармами, и тут же печатались статьи, озаглавленные: «Мы учим... хэндэсэ!»

Экстренный выпуск, приложение к подпольному сатирическому журналу «Карагоз», так и назвали: «Мы учим... хэндэсэ!» В этом выпуске, вволю поиздевавшись над Каримом Гайфи, обращались к нему на некой мешанине из татарского, арабского и турецкого языков, давали ему совет:

«Ваше, достопочтенный, сюда возвращение явилось глубочайшей ошибкой. Подобному вам реакционеру не найти здесь почвы для укоренения. Вам, уважаемый эфенде, следует вернуться в лоно высокоценимого вами Османского государства. Там осенит вас покровительство султана Абдул Гамида, и вы сможете под священным для вас кровом деспотии в меру ваших наставнических талантов отдаться делу воспитания... Примите, мой эфенде, заверения в совершенном почтении...»

Голова Гайфи, забитая мрачными мыслями о полиции, жандармах, о возможном закрытии медресе, и вовсе пошла кругом от таких изощренных издевательств. Но, несмотря ни на что, хальфэ остался верен себе, не изменил своим убеждениям:

«Нет! Нет! Явление это временное! Утихнут волны, и реки войдут в свои берега. Настанет день, когда мое мнение восторжествует, когда шакирды образумятся... Время все изменит. Надо только продолжать борьбу, настаивать на своем и воспитывать их!..»

Так думал он, намечая планы будущих действий. Если медресе не закроют, в первую голову следует выгнать двенадцать беспутных, распоясавшихся шакирдов! Ибо, как всякая дурная болезнь, дурные мысли так же заразительны. Лучшее средство против распространения болезни — немедленное отсечение пораженного органа.

XXXII

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Пересуды о шакирдских волнениях уже давно не сходили с досужих языков. И о стычке с Кадыр-баем, точно о некоем сражении, слагались в городе целые легенды. Но когда жандармский ротмистр со своим конным отрядом, с полицейскими чуть ли не посреди ночи окружили здание медресе и, поставив у всех дверей стражу, учинили там обыск до утра, все прежние россказни о шакирдской революции померкли.

В первый же час эта немыслимая весть облетела весь город, и татарское население, веками трепетавшее перед царской полицией, тюрьмой, палачом, начало стекаться к медресе. Сначала люди опасливо наблюдали издалека. Потом, набравшись храбрости, подошли к большому каменному дому, приникли к его ограде, к воротам. Не прошло и нескольких часов, как соседние с медресе дворы, улицы, несмотря на позднее время, оказались запружены детворой, женщинами в платках, шалях и с младенцами на руках, притихшими от удивления джигитами, стариками, которые тревожно переговаривались о том, что не к добру такое, что испокон веков никто и не слышал о подобном...

Разговорам, расспросам не было конца. Люди все подходили, и каждый спрашивал:

— Что такое?.. Что случилось?

И тут на него начали сыпаться новости, одна страшнее другой.

...Будто произошла между шакирдами и хальфэ грандиозная драка, будто Кадыр-баю рассекли в этой драке живот, одного хальфэ вовсе изувечили и увезли в больницу. Будто осмотрел его доктор и заявил, что он непременно помрет... Будто прислали войска, чтобы прекратить драку... Будто медресе обязательно закроют... Будто Гали-хазрета заковали в кандалы, и его ждет тяжелое наказание. И всех хальфэ отдадут под суд, а шакирдов сошлют... Будто, будто, будто...

Среди всех этих «будто» появляется еще новое: будто Вафа-хазрет, позавидовав славе медресе Гали-хазрета, пригласил к себе шакирда по имени Михран, угостил его и через него подкупил повара этого медресе... И повар по наущению Вафы-хазрета подложил в дровяной склад бомбы и оружие, а сам хазрет побежал в полицию и донес: «В медресе Гали-хазрета делают бомбы, готовят оружие... Они там идут против царя... Они собирают деньги для турецкого султана...» Вот, мол, после этого доноса и нагрянуло сюда войско...

В то самое время, когда широко разлившееся по окрестным улицам людское море бурлило, нетерпеливо ожидая исхода происшествия, вдруг растворились массивные двери медресе и повалили оттуда полицейские, солдаты, понятые, жандармы. Конный отряд получил приказ трогаться. Двинулись повозки, полные конфискованного имущества. Тут из медресе, точно картошка из ведра, высыпали гурьбой шакирды, за ними показались измученные бессонной ночью, осунувшиеся хальфэ. Наконец, в богатой своей шубе, шапке

и с посохом в руке появился сам Гали-хазрет. Он был бледеи, но, к общему удивлеиию, без всяких наручников.

Это сразу охладило пыл улицы, которая жадно ожидала зрелища. Многие были явно разочарованы и, расходясь, иедовольно бормотали:

— Стоило ждать!.. Стоило не спать всю ночь — из-за чего?!

Поднималось солнце. День обещал быть ярким, сияющим.

XXXIII

ЗЛОЙ ЯЗЫК МИХРАНА

Джихангир проснулся, лишь когда уже наступали сумерки. Его разморило от долгого сна, не хотелось шевелить ни рукой, ни ногой.

Но мысль была светла, душа ликовала. Закроют медресе или не закроют — это, в коице концов, безразлично. Вчера шакирды пережили самые волнующие минуты в их жизии. Да и не только в их жизни, во всей истории медресе... И ои, Джихангир, был во главе шакирдов!..

Исключат его или нет — это тоже ие имело теперь значеиия. Все равио пробил последиий час, уже все подготовлено, сто пятьдесят шакирдов с утра уложили свои пожитки, осталось только погрузить убогий скарб на лошадей и покинуть трехэтажный каменный дом! Молодежь медресе доказала всему миру, что она еще жизнеспособна, что не все еще выжаты из нее соки и оиа может бороться за свои идеалы...

Взволнованный, Джихангир лежал, перебирая в памяти все подробности прошедшей иочи, как вдруг вспомнил, что во время обыска кто-то помянул имя Хаджер... Постой, кто же это был?.. Кажется, Михраи... А как, откуда этот шпион мог узнать про нее? Что ои там болтал?.. Да, так вроде и заявил: «Мало тебе пяти, шестую иачал обхаживать, обманываешь чужую жеиу!..»

Джихангир вскочил с постели.

Кто-то, пока он спал, отворил окно в сад. В комнате был чистый, свежий воздух, только немного влажиый. Джихангир накинул поверх белья пальто, подошел к распахнутому окну... Опять погода испортилась! Утром, когда расходились после обыска, казалось, день выдастся солнечный. А вот разыгрался ветер, и иебо помрачиело. Совсем низко, набухшие дождем, неслись иад городом тяжелые

черные тучи. Пронзительный осенний ветер раскачивал в саду обнаженные деревья, слышался скрип, свист, вой, точно плакал от страха брошенный в лесу маленький джинн...

Джихангир стоял в сгущающихся сумерках, вслушиваясь в шум ветра, в стенания ропщущих деревьев.

Целую неделю он не видел Хаджер. Три раза назначал ей свидание, она не приходила... А вчера, когда он с такой уверенностью ожидал ее в городском саду, записка, присланная ею со служанкой, ввергла его в отчаянье. Она писала: «Муж о чем-то догадывается. Как-то подозрительно себя держит. Окружил меня старухами. Я даже на шаг отойти от дома не могу. Как быть, мой милый?»

Да, так и написала, что догадывается. Но каким образом, откуда могли возникнуть у него подозрения? Кто мог ему сказать? Ведь за эти семь месяцев сколько раз угрожала Джихангиру и Хаджер опасность — казалось, вот-вот попадутся, вот-вот все раскроется, но всегда находился выход: сама судьба была благосклонна к ним! А в последнее время и вовсе не встречались... Так как же он догадался?..

Да еще эта болтовня Михрана! Что он такое бубнил?.. «Мало тебе пяти, шестую начал обхаживать, хочешь обмануть, погубить чужую жену!..» Вот песья глотка! Откуда вдруг пять? Почему шестая?.. И о каком обмане идет речь? Джихангир ее любит. Они любят друг друга! Разве это можно называть обманом?!

А не было ли об этом и других разговоров во время обыска?.. Не говорил ли еще кто-нибудь о Хаджер?.. Или все это домыслы разгоряченного воображения?.. Нет, воображение тут ни при чем. Вчера в молельной к концу обыска Михран и в самом деле сказал это — сказал с полунасмешкой, полуугрозой... Эх, собака, завистник!.. Его, наверное, душила злоба: ну еще бы, Джихангир был первым среди первых в движении молодежи медресе!.. Видно, этот завистник старался своей сплетней подорвать авторитет Джихангира в глазах шакирдов. Что ж, надо будет заткнуть ему глотку!..

И не один он стоял тогда... с ним было несколько его товарищей... Да, да! Кто-то из них, посмеиваясь, с ехидцей добавил:

— Молодец он, наш Джихангир! Весь мир любовью одаривает. Утро ли, вечер, день ли, ночь — на всякое время у него свидание. Каждый день ему надо всем пяти девицам любовные послания отправить. И всем пишет: милая, дорогая, очарован тобой, люблю только тебя... только тобою

и живу на свете... без тебя светлый мир превращается для меня в темную могилу... И от каждой возлюбленной получает такие же пламенные письма. Молодец наш Джихангир!..

Есть такой шакирд Файзи, который все хвостом вилял, с дружбой к Джихангиру навязывался. Он тоже сунулся в разговор.

— Хочешь,— говорит,— быть джигитом — будь Джихангиром. Пылай, как Джихангир, жаром молодости! Он вот не только письма успевает написать всем пяти возлюбленным: жажду, мол, горю... но и встречаться с ними каждый день время находит. Хочешь быть джигитом — бери с него пример.— Он, конечно, силился высмеять Джихангира, а самого снедала зависть.

Да... какой же это пес приплел тогда еще и красавицу Бибиэсма?.. А слышали, мол, вы, как Джихангир собрался весной плыть на пароходе из Самары в Казань, да встретил в пути свою любимую девушку — красотку Бибиэсма, продал часы и махнул за ней в Астрахань?..

Вот щенки! Вот уж истинно песьи глотки! Разве любовь что-то предосудительное?! Разве так уж это дурно — в прекрасный весенний день ради любимой девушки уплыть на пароходе вместо Казани в Астрахань?.. И то, что продал часы, чтобы последовать за любимой девушкой, разве это проступок?.. И какое им дело до него? Может быть, он за своей возлюбленной отправится даже в преисподнюю, им-то что?.. Хотят сковать цепями его порывы?..

Да и прошло все это давно! Сейчас нет никого из них, никого. Ни Зифы, ни Сафии, ни Гафии — никого. Только одна любимая на свете — только Хаджер. Только она!

Сколько раз вспыхивало сердце, сколько раз душа кружилась мотыльком среди множества цветов, но пришла Хаджер — и все сразу отступило. Не так ли восходит солнце? Взойдет оно, и звезды гаснут, исчезают. Появилась на небосклоне Хаджер — и все ушло, забылось, в мире осталась она одна... Да, именно так! А вражьи языки знай плетут свое...

Один шакирд даже покойного деда вспомнил.

— Молодец,— говорит,— ты, Джихангир, по стопам своего деда Гибая пошел! Его порода! Твой дед, когда ему семьдесят стукнуло, шестнадцатилетнюю девушку в жены уводом взял... Давай держись семейных традиций!..

Этот болтун еще и о старшей его сестре Фатихе невесть что рассказывал, смаковал ее историю...

XXXIV

ФАТИХА

От одних воспоминаиий об этих пересыпаниых шутками разговорах во время обыска бросило теперь Джихангира в краску. Откуда они знают?.. Откуда им известно, что его дед уводом жеиился на шестнадцатилетней девушке?!

Деда Гибая, здорового, крепко сбитого старика с белоснежной бородой на улыбчивом лице, Джихангир помнил очень смутио. После смерти старика остались трехлетний сынишка и двадцатилетняя хорошенькая вдова. Действительно ли дед женился на ней, как ходила молва, тайно от ее родителей, или то было досужей сплетней злых языков, Джихангир не знал. Но сплетня держалась упорно: и до сих пор рассказывали всякие веселые истории, связанные с жеиитьбой красавца старика. Кто знает, где там правда, где ложь?! Возможно, и все-то было выдумкой.

Ну а пересуды о романе старшей сестры Джихангира — Фатихи?.. Или это тоже была легенда, сплетня, пущенная злыми языками?

Нет! И потому, наверное, вот эти пересуды иавечно врезались в воспоминания Джихангира о детстве.

Были у Джихангира две старшие сестры, почти погодки, подросшие одна за другой. Младшую из иих — Саджидэ — выдали замуж раио, когда оиа еще и годами не вышла. А старшая «засиделась» в невестах...

Высокая, статная, с длинными, ниже пояса, шелковистыми косами, с грустиыми глазами, она была очень сдержаниой, немногословной, задумчивой девушкой. Нельзя сказать, чтобы свахи обходили ее: едва минуло ей шестнадцать лет, они одна за другой стали тут же закидывать матери словечко иасчет нее. А уж когда семья переехала в большое торговое село под Челябииском, тут-то свахи, приходившие от джигитов из состоятельных, хороших семей, немало поели масла, сливок да кур у вдовы Фаризэ. Но уходили ни с чем. У старухи для всех был один ответ:

— Мы подумаем, поразмыслим. С дочкой посоветуюсь, я одиа не берусь решать такое дело. Все же есть у нас и дядья-братья, есть друзья-соседи... Что оии скажут...

Свахи приходили и уходили, Фатиха все отказывала.

Вот об этой Фатихе, которая отвергла сватовство многих джигитов, поползла в ииароде вязкая сплетня.

Говорили, будто есть у Фатихи любимый джигит и она верна ему. Будто всякий раз, как постучится к ним сваха, Фатиха бросается матери на грудь, плачет, молит ее, а чадолюбивая старуха Фаризэ по добросердечности своей не может принудить любимую дочь. Будто поэтому и кончается все тем, что поедят свахи масла, попьют сливок и уйдут, сказав:

— Будем надеяться!

Только напрасно они надеялись, девушка твердо стояла на своем.

Говорили, будто избранник Фатихи еще не призывался в солдаты, что девушка не чает дождаться, когда он освободится вчистую, что, на ее несчастье, джигита вызывают каждый год и возвращают с «зеленым» билетом, чтобы призвать в следующий набор, будто девушка проводит долгие ночи в слезах, томится от любви, исходит печалью...

Чем дальше, тем больше обрастали эти сплетни разными подробностями.

Будто джигит, собираясь летом в ночное, прокладывал и дальние и ближние свои дороги через переулок, где жила девушка. Будто на заре торопился он в деревню и, пробравшись к ним на гумно, свистом давал знать любимой о своем приходе. Ожидавшая его всю ночь, истомившаяся Фатиха будила сноху Гильминур, которой поверяла все сердечные тайны, и они выбирались на задворки, где и встречались влюбленные, где давали они друг другу обещания и клятвы...

Рассказывали, будто однажды в вечерних сумерках Фатиха несла кипящий самовар в горницу, но услышала, как мимо с тихой песней проехал верхом любимый ее джигит, и выронила из рук самовар...

Роман Фатихи затянулся.

Молва передавала, что на нее напустили порчу, что джигит, конечно, не обошелся без помощи ворожеек. И поэтому девушку жалели, расспрашивали ее о душевных тревогах, выражали сочувствие... Но Фатиха не открывала никому своей тайны. Матери беспокоились, усердно молили аллаха, чтобы не приключилось такого и с их дочерьми, и с еще большим усердием принимались раздувать сплетню.

Нескончаемая эта сплетня тяжелой бедой повисла над домом Джихангира. И что ни день становилась все мрачнее. Растерявшаяся старуха мать поила дочь наговорной водой, вешала ей на шею ладанки с молитвами. Но любовь

не угасала, колдовство не сходило. Возбудившая столько сплетен любовь девушки стала для ее старших братьев и несчастьем и позором. Они гневно упрекали Фатиху, осыпали злыми словами:

— Весь наш род запятнала!.. Куда ни пойдешь, треплют твое имя, над нами тоже издеваются из-за тебя...

Джихангиру в то время было лет девять. Пожалуй, самой жестокой своей стороной пересуды обернулись против него. Не успеет он выйти на улицу, подраться, поспорить с кем-нибудь, как ему бросали в лицо:

— Ну, не больно-то задавайся! Помни про свою сестру!..

Джихангир привык верховодить мальчишками, главенствовать во всех затеях, и насмешки эти отравленными стрелами вонзались в сердце.

Стыд-то, срам-то какой!.. Чтобы твоя сестра любила джигита! Чтобы она была влюбленной!.. И на белый свет-то как покажешься с таким позором?..

Наслышавшись всякого от людей, Джихангир принялся выслеживать джигита. Будь он проклят: не джигит оказался, а лев. Красивый, веселый, смелый. И поет, и пляшет... А черные усы так и прочертились над губой...

Нет, все равно ничто не поколеблет маленького храбреца. Он не успокоится, пока не отомстит Закиру, тому самому джигиту, который опозорил его сестру. Избить его!.. Нет, этого недостаточно. Надо убить!

И мальчик весь зажегся этой мыслью.

Пришла осень. Началась рекрутчина. И снова злые языки взялись за девушку и джигита. Кто-то, мол, видел, знает, что Фатиха каждую ночь впускает в окно джигита к себе, что его даже чуть не захватили и он, мол, едва спасся — откупился всеми деньгами, что были у него в кармане.

Больше Джихангир уже не мог выдержать. По ночам, когда все в доме засыпали, он поднимался, замирая от страха, на чердак. Просиживал долгие, темные ночи на чердаке, поджидая Закира. Вот сейчас, наверное, тот появится и полезет в окно... Джихангир ощупывал собранные еще днем камни: вот он возьмет и сбросит их на голову джигиту, проломит ему череп... Помрет этот Закир, так туда ему и дорога!.. Пусть не позорит сестру!

Много ночей подряд, охваченный жаждой мести, поджидал мальчик джигита на чердаке.

XXXV

МИНЛЕКЭЙ

Однако случилось так, что, когда Джихангир, казалось, был полон самой горячей решимости, он неожиданно принял сторону сестры и с криком, со слезами стал защищать ее от нападок старших братьев.

«Не поймешь беды другого, коль не испытаешь сам» — кажется, так поется в песне.

Была у пастуха деда Сафия девятилетняя дочка с золотистыми волосами, с огромными глазами, голубыми, точно весеннее небо. Словно бабочка, порхающая под солнцем с цветка на цветок, крошка не знала ничего, кроме игр и забав.

Минлекэй звали ее.

В один из теплых весенних дней старуха Фаризэ погнала к речке, за околицу гусей с выводком и оставила там с ними Джихангира.

— Хорошенько смотри: чтобы собаки не утащили, коршун или вороны не унесли,— наказывала она сыну.

Оказалось, что и у деда Сафия была гусыня с пятью гусятами. У них гусята были покрупнее, но только не очень приглядные. По утрам Минлекэй сама пригоняла их по бережку на то же место, пасла целый день, а вечером, к тому времени, когда возвращался отец со стадом, гнала их хворостинкой обратно.

Так на речке встретились маленькие пастушки и стали играть вместе. И подружились удивительно скоро. Прежде Джихангир считал мучением для себя эту возню с гусями, а теперь сам отпрашивался у матери и спешил с пушистым выводком к речке. Конечно, не желание пасти гусят, охранять их от собак, от ворон и коршунов тянуло его туда, а что-то совсем другое.

Но гусята растут очень быстро. Вот они уже стали большими. Золотистый их пушок принял сначала зеленоватый оттенок, потом еще потемнел.

— Ну, сынок, подросли уже гусята, можешь не пасти их,— сказала как-то раз старуха Фаризэ.

В это первое утро разлуки с подругой Джихангир сразу заскучал — словно недоставало ему чего-то. И вскоре, недолго думая, побежал к Минлекэй домой. Его там встретил звонкий голос девочки:

— Я тоже не пасу, ведь выросли уже гусята!

К речке они не пошли, целый день играли тут же, во

дворе. Когда поздно вечером Джихангир явился домой, даже мать пожурила его:

— Где же ты пропадал?! И про еду-то вовсе забыл!

Но мальчику все было нипочем. И на второй, и на третий, пятый, десятый день он убегал к избушке деда Сафия играть с Минлекэй.

Чем бы она ни занялась, Джихангир не хотел с ней расставаться. Вот взрослые девушки с коромыслами на плечах собрались идти на речку по воду. Шла с ними и Минлекэй. Джихангир бросал все и увязывался за ними. Вот поспели ягоды. Девушки стайкой ходили на луга, в лес, в горы. Что только не росло там: земляника, малина, ежевика, черемуха, а потом орехи — всего вдоволь. Минлекэй с Джихангиром не отставали ни от девушек, ни от молодок, ни от старух — вприпрыжку поспевали за всеми, словно два неразлучных жеребенка.

Пришла беда: на деревню напала оспа. Так и косила ребят. Вот она добралась и до того края, где жил дед Сафий, и никого из детей не пощадила. Одни умерли, другие покрылись черными рубцами-рябинками, остались изуродованными на всю жизнь. А некоторые ослепли навеки: у них вытекли глаза.

Пришел как-то Джихангир к Минлекэй, не увидел ее во дворе. Хотел войти в дом — не пустили.

— Нельзя,— сказали ему,— можешь сам заразиться.

Сердце Джихангира занялось огнем. По нескольку раз на дню бегал он узнавать о Минлекэй.

— Не поднялась еще? Не поправилась? Почему так долго?

Вдруг пришла страшная весть: Минлекэй не поправится. Ее красивые голубые глаза выело оспой, милое, ясное личико сплошь покрылось язвами.

В ту же ночь она умерла в жестоких муках.

На следующий день к вечеру ее отнесли на кладбище, похоронили в темной могиле.

Джихангир совсем потерял голову. Не стесняясь никого, плача, бежал он на кладбище за родными Минлекэй. Его пытались удержать, уговорить, но он вырвался и не отходил от убитого горем, опухшего от слез деда Сафия.

В эту ночь Джихангир попросился спать к сестре Фатихе:

— Возьми меня к себе.

И как-то вдруг начал рассказывать ей о Минлекэй. Из глаз его текли крупные слезы. Он все жался к сестре и клялся ей:

— Я не дам братьям обижать тебя, Закнра-абы тоже не убью... Я теперь люблю и тебя и его!

Счастье улыбнулось Фатихе. Ее Закира освободнлн от солдатчнны. И в том же году сыграли свадьбу. А в жизин Джихангира ночь после похорон Минлекэй, ночь, которую он провел в горьких, безутешных слезах, оставила нензгладимый след.

Впоследствни много раз захлестывала джнгита юношеская страсть, но ннчто не могло вытесннть нз его памяти ту далекую ночь...

И вот теперь всякие болтуны, вроде Файзи, станут смаковать это как сплетню?

Джихангнр вдруг захлопнул окно.

Сомнений нет, он любит Хаджер н вернт, что любим, но как отличается новое его чувство от всех прежннх!.. В нем воеднно смешалнсь нектар и яд, в нем наслаждению сопутствует печаль. Оно явилось не в прнзрачном сиянии, не средн цветов, как его невинная детская любовь... Первая же встреча, первое же свиданне — и он точно потерял свободу. Да, это и есть любовь. Однако в ней таятся н беда и смерть для кого-то... Словно всаднли в сердце отравленный кннжал. Но Джихангир не хочет вырвать его. И кинжал терзает ему сердце. И пусть терзает! Это терзания любви. Сердце само хочет их, само их жаждет...

Он до сих пор как-то нн разу не сравнивал детского своего чувства с нынешнлм. Но сейчас воспоминання о Минлекэй помогли ему понять, что теперешняя его любовь — кинжал, отравленный кинжал.

Хаджер!

Минлекэй!

Онн точно земля и небо.

От Мннлекэй он прншел к Хаджер. Золотоволосая кроткая девочка с огромнымн голубыми глазами — ясная звезда весенней ночн. А Хаджер? О, она — цветок землн, цветок прекрасный, но самый земной!

XXXVI

СВИДАНИЕ

Кто-то постучался к нему. Вошла квартирная хозяйка. Она прннаряднлась, завнла себе кудельки, подвела брови н глаза, ярко накрасила губы. Кокетливо улыбаясь, повертелась перед Джнхангнром — гляди, мол, я тоже могу быть краснвой! — и ушла, сказав:

— Я иду в театр. Если пойдете куда, запрнте дверь, а ключ возьмнте с собой.

Джнхангнр кивнул ей и затворнл дверь. «Вот крнвляка, так н нщет повода зайти, чтобы себя показать. Завлечь хочет, вертушка!» — сердито подумал он.

Темнота сгущалась. Зажигались огни. Вон, за садом, осветнлись, засияли окна в доме Хаджер.

Тоска по возлюбленной охватила Джихангнра с еще большей силой. Достав последние ее письма, он снова и снова перечнтывал их. И, не в силах противиться нахлынувшим чувствам, сел к столу, в каком-то экстазе прннялся пнсать.

«Моя дорогая Хаджер!

Седьмой час. Стали зажигаться огни, в саду зашуршал дождь. И в этот мнг я испытал нечто необычайное. Да, то было мгновение, когда я предал все проклятью, плюнул на этот мир, когда забыл обо всем — об уннженнях, о горькнх муках,— отвернулся от всего и всех, когда почувствовал, что нет во вселенной господнна, нет владыки надо мной, нбо нет никого равного мне. И пусть на одну мннуту, но вознесся гордый, пусть на одну мннуту, но обрел для душн глубокнй покой, пусть на одну мннуту, но перестал быть рабом судьбы н представнл себе, что я один наидостойнейшнй на земле...

Кому я обязан этим мгновением? Ах, зачем я спрашнваю! Могут ли быть в моей душе сомнения? Зачем я медлю!

Тебе одной, тебе едннаянственной — тебе, владычнце моей.

...Той, которую я не отдам нн за какне блага на земле и в небесах, которую не променяю нн на каких ангелов,— моей Хаджер!

Дорогая, нежная моя Хаджер! Верь, я нспытал такую небывалую страсть, такое упоение, такой порыв! Не знаю сам, не могу объяснить, как нашло на меня подобное исступленье. Но не может быть, чтобы оно прошло просто так, бесследно. Я сидел и думал о товарнщах, о друзьях, о всех богах и ангелах. Много, очень много времени прошло с тех пор, как я перестал совершать намаз ради аллаха, славнть пророка, пнсать пнсьма друзьям. Я все перебирал в памяти и все отверг: на одного махнул рукой, от другого отвернулся с гадливостью, третьего просто отбросил прочь... Ах, подумал я, ннкто, никто не нужен мне... Где мое перо, где бумага? Я должен сейчас же напнсать ей! Тебе, которую не променяю на весь мнр, на луну н звезды в небесах, тебе, нежная, любнмая моя Хаджер...»

Тут рука джигита невольно остановилась, перо упало на стол: он напряженно вслушался... Не отворилась ли входная дверь?

Чьи это осторожные и такие знакомые шаги?!

Охваченный смутной надеждой, Джихангир боялся пошевельнуться. И вот распахнулась дверь, и на порог ступила нарядная, красивая Хаджер!

Джигит позабыл обо всем на свете, вскочил и, сжимая ее в объятиях, стал осыпать жаркими поцелуями лицо, лучистые глаза любимой...

— Моя нежная, моя Хаджер! Целая неделя... Будто не семь дней, а семь лет ждал я тебя...— лепетал он бессвязно.

Хаджер замерла в руках обезумевшего от страсти возлюбленного, на минуту словно потеряла сознание.

— Погоди, милый,— очнулась она вдруг.— Как бы не помять платье!.. Ведь я иду к родственницам, они пригласили в гости — посмотреть свадебные подарки, я только на секунду зашла...

Но Джихангир опять жадно приник к ней поцелуем. Его неистовая пылкость передалась и ей, ее покинули и разум и воля.

Прошло несколько минут, а может быть, целая вечность.

— Пусти,— шепнула Хаджер, приходя в себя.— Я опоздаю... если догадаются, мы погибли!..— Она спрыгнула на пол и метнулась к зеркалу.

Губы у нее горели, волосы рассыпались, розовое платье все измялось.

— Ужас-то какой, на что я похожа! Как же мне теперь появиться среди наших сплетниц?..— испугалась она и поспешно стала приводить в порядок волосы, платье. Достала из ридикюля платочек, пудру. Заставила Джихангира отвернуться, кокетливо сказала:

— Не смотри на меня!..

И все пыталась остудить жар пылающих щек и губ, подправляла и без того тонкие, взлетавшие к вискам черные брови.

Потом опять заторопилась:

— Там, за углом, подруга меня ожидает! Самая закадычная, знаешь? — сказала она, глядя на Джихангира сияющими глазами.— Только не провожай, еще увидит кто...— И выбежала из комнаты.

Однако дверь тут же снова отворилась, и Хаджер, сжав руку Джихангира, шепнула:

— Мнлый, завтра, когда в мечети призовут к вечернему намазу, приходи к Мунаснповым!..

— Приду, милая! Конечно, приду! Если даже в ад позовешь, н то приду!..— в радостном исступленин крнкнул ей вслед Джихангир.

Чтобы не вызвать подозрений, он переждал немного и потом, весь взбудораженный счастьем, пережптым сегодня и ожидаемым завтра, вышел на улицу пройтись, подышать вечерней прохладой.

XXXVII

ХАДЖЕР

Хаджер была единственной дочерью мягкосердечной, добродушной старухи Сары, которая всю жизнь трудилась: вышивала жемчугом калфаки для богатых женщин.

Много несчастий н горя повидала старуха на своем веку. Мужа она похоронила рано. Из семерых детей выжила одна дочь. В ней, Хаджер, и сосредоточился весь смысл жизни старухи. Только бы та была счастливой, ни в чем не нуждалась, а потом нашла хорошего мужа, жила с ним в радостн н благополучнн. И чтобы не забыла пролнтых материнских слез, стала ее опорой в старостн.

Окруженная заботой, нежностью, Хаджер росла хоть н не так, как детн богатых родителей, но в полном достатке. Были у нее подружки — такие же, как она, веселые, шаловливые девочки; красивые куклы, сладкая еда — все у нее было...

Созрела она рано. Вместе с ней созрела в ее душе и любовь к одному джигнту... Семь лет Хаджер нздалн вздыхала по нему. Любнла его нздали, мечтала о нем. Безудержное воображение рисовало ей картины встреч с любнмым где-то в буйно цветущих садах... Ни блнзкие подруги, ни любящая мать — ннкто ничего не узнал, не почувствовал, не догадался о золотом цветении любвн в душе юной девушкн. Не раз собиралась Хаджер открыться матери, но все не могла решиться. Когда мать уносила расшитые жемчугом калфаки в город, в байские дома, Хаджер в однночестве готовнлась к своей исповеди — обдумывала, как, какимн словами поведает она матери свою тайну. Но так н не набралась смелостн.

Тем временем из одного богатого дома, куда старая Сара тоже относила свою работу, от самого Кадыр-бая явилнсь свахи: проснть Хаджер во вторые жены к баю.

Первая, мол, его жена — то ли от старости, то ли от недугов — лежит на смертном одре и вскоре должна преставиться. Хаджер, мол, еще и при жизни той жены, а тем более после ее смерти, будет жить в хоромах, в холе да почете, ходить в шелках да в золоте.

Дошли до Хаджер слухи, что у бая, который сватается за нее, борода совсем седая, только крашенная в черный цвет. Его сына Юсуфджана, своего ровесника, Хаджер и сама видела несколько раз. Но, к великой радости старухи Сары, ни крашеная борода бая, ни его взрослый сын не испугали девушку. Даже не отдавая себе в том отчета, она прямо заявила:

— Пойду, коли просит.

Бай был мудрым стариком. Ничего не жалел он для красивой, полной огня молодой жены. Украшал ее золотом и бриллиантами, кутал в атлас и шелка... Капризы Хаджер, которая что ни день становилась требовательней и прихотливей, выполнялись час в час, минута в минуту. Лишь бы отдавала весь пыл молодости ему, Кадыру, лишь бы не обратила взора ни на одного мужчину, кроме него, ни к кому не потянулась душой! Только это и было нужно ему. И тогда Хаджер могла считать себя самой любимой из всех бикэ, достойной смотреть свысока на все и на всех...

Такой неожиданный взлет в судьбе дочери простой мастерицы во многих возбудил зависть. Скверная, грязная сплетня, которая выползла в день свадьбы Хаджер, распространялась повсюду, передавалась из уст в уста. С именем молодой женщины связывались попросту невероятные истории.

Говорили, что якобы у девушки был возлюбленный — смазливый франт Фахри, приказчик Кадыр-бая, что она полюбила его еще четырнадцатилетней девочкой... Часто ходила она, дескать, с матерью в магазин бая за всякой всячиной, нужной для их рукоделья, и любовалась джигитом издали, никому не открывала своей тайны. И только перед самой свадьбой, только накануне бракосочетания с Кадыр-баем, позвала к себе любимого джигита и сказала ему:

— Семь лет любила тебя. И тебе отдаю мою первую ночь!..

И, лаская его, плакала:

— Любила тебя, а судьба все повернула по-своему...

Об этом будто бы сам Фахри рассказал своему дружку Габдрахману, тот — молодой жене Нэфисэ, Нэфисэ пере-

дала по секрету мачехе Зухрэ, которая не вытерпела и открыла тайну своему любовнику Гафуру. А у того была сестра — злоязычная трещотка, хромая Магфурэ. Вот от нее, от трещотки Магфурэ, будто и пошла весть по городу...

Враги не преминули довести грязную эту сплетню до ушей Кадыр-бая. Бай потемнел от гнева, кровь ударила ему в голову, он яростно вскричал:

— Да будь я проклят, если потрачу на нее еще хоть копейку!.. Сейчас же выгоню, велю голую выбросить на улицу!..— И, оставив все дела, бросив магазин, побежал домой.

Но как взглянул он на свою молоденькую бикэ, так и опустил руку, поднятую для удара.

Все же он попытался выдержать характер, схватил ее за ворот:

— Говори, змея! Был Фахри твоим любовником?

Хаджер залилась слезами:

— Ложь, все ложь!.. Это все завистники выдумали... До тебя ни один мужчина даже пальцем меня не коснулся!..— И бросилась мужу на грудь, прижалась к нему, стала страстно целовать его.

У старика разгорелась кровь, а гнев остыл: ласки Хаджер уничтожили все сомнения, только что владевшие им.

Так же как не пристают болезни к могучему, крепкому телу, оказались бессильны сплетни перед сияющей молодостью красавицы Хаджер. Сердце же Хаджер еще крепче замкнуло тайну.

Когда бай выгнал двенадцать своих приказчиков вместе с их главарем Фахри, уличная молва снова было всколыхнулась, но в кипящих, нарастающих с каждым днем волнах революционных событий такая мелкая сплетня исчезла очень быстро... И Хаджер опять обрела покой.

XXXVIII

ГДЕ Я ЕГО ВИДЕЛА?

Однажды Хаджер пришлось переправляться на противоположный берег Волги. Чудесный весенний день клонился к вечеру. Рассыпались золотом, заиграли на воде закатные лучи. Воздух был удивительно чист. В мягком сиянии угасавшего солнца, в прозрачном вечернем воздухе вся природа казалась пронизанной весенним томлением и словно обновлялась, возрождалась.

Разлитая вокруг благодатная тишина будто касалась легким своим крылом сердца Хаджер, и она, как в волшебном сне, отдавшись мечтаниям, сидела в зыбкой лодке умиротворенная, спокойная. Вдруг она почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. «О аллах, это еще кто?..» — испугалась она. Рядом сидел ее муж, но, как ни боялась она его, не вытерпела, уронила нарочно ридикюль и, нагибаясь за ним, повела из-под ресниц глазами вправо, откуда, как ей почудилось, кто-то смотрел на нее.

Красивое, смуглое и очень волевое лицо, узкая черная полоска усов... Джигит показался ей до странности знакомым...

«Где же я могла его видеть?..»

Ни тогда, ни позже Хаджер не смогла вспомнить, где и когда видела она джигита до этой встречи. Но после того дня — на улице ли, в закоулках, в саду или даже у ворот — всюду она сталкивалась с ним, всегда знала, что знакомый притягательный взгляд упорно, уже издали встречает ее и следит за ней, пока она не скроется.

Как-то она с подругами, с ближними и дальними родственницами отправилась в театр на татарский спектакль. На сцене один из джигитов с жаром говорил любимой девушке о своем чувстве. Влюбленный чем-то очень напомнил ей того джигита! Был ли он только похож на него, или это и был тот самый джигит, Хаджер так и не удалось узнать. Хотела она спросить у кого-нибудь, да вовремя прикусила язык: не оберешься потом сплетен.

Но вот случилось неожиданное событие. К дому Хаджер примыкал небольшой сад. За садом притулился деревянный домик. Там жила молоденькая вдова со старой бабкой. Одну комнату они сдавали за два-три рубля в месяц холостым людям — обычно студентам. Сначала квартировал у них студент, которого вскоре забрали и посадили в тюрьму — вроде бы за то, что против царя пошел. Рассказывали даже, что его казнили. После него поселился дородный шакирд — его кажется, звали Нигматом-кази. Потом Нигмата-кази тоже не стало видно: то ли посадили его, то ли повесили, неизвестно. И вдруг там появился тот смуглый, черноусый, красивый джигит, которого Хаджер встретила в лодке во время переправы...

Наверное, он был не из богатых и все же старался одеться прилично. Волосы носил довольно длинные. Иногда он пел старинную песню «Мэдинэкэй» — пел негромко, осторожно, но ветер, проносясь меж деревьев в саду, доносил до Хаджер обрывки песни:

Мэдинэкэй...
Тоска меня сожгла...»

Хаджер не могла уловить все слова, но протяжная мелодия, мягкий, печальный голос джигита западали ей в самую душу.

Эта мелодия, эта песня как бы связывала невидимой нитью молодую женщину и джигита. Вслушиваясь в приглушенный расстоянием голос, Хаджер всякий раз задумывалась: «Ведь и голос очень знакомый!.. Где все-таки могла я видеть этого джигита раньше?..»

Раздумья уносили Хаджер совсем далеко.

Неужели жизнь так и пройдет?.. У бая была первая жена Суфия. Бедняжка умерла от сердечной болезни. От нее остался сын — красивый, умный джигит. О аллах, ведь Хаджер до сих пор и не обращала внимания: этот Юсуфджан нисколько, ни капельки не похож на Кадыра!.. Но про покойницу Суфию говорили, что она, бедная, всегда была большая скромница. Неужели так всю жизнь и терпела?.. Или тогда Кадыр сам был другой?.. А может, молодая кровь и Суфию в грех ввела?.. И Юсуфджан от этого греха и появился на свет?..

Аллах, владыка! Кто же тут устоит против греха, кто стерпит... Родись-ка женщиной... В жилах твоих огнем бушует кровь! А ты лежишь в объятиях мужа и даже не представляешь себе еще, что значит быть женщиной!.. Аллах, пошли мне терпение!.. Ужас какой: голова туманится, сердце захлестывает страсть... Спаси, аллах! Так ведь, того и гляди, ночью вскочишь с постели и, как есть, раздетая, босая, выбежишь на улицу и бросишься на шею первому попавшемуся мужчине!.. Аллах, владыка, пошли мне терпение!.. Пошли мне смирение!.. Что же будет, неужто жизнь так и пройдет?.. Вот спешит весна, вся земля покрывается зеленым бархатом, украшается душистыми, ало-белыми, лазоревыми цветами, все вокруг полно жаждой обновления, жаждой жизни, все тянется к любви, ласке,— ну как тут можно выдержать!.. Аллах, пошли мне смирение! Пошли мне терпение!.. Спаси от греха! Спаси от позора!..

Тревожные, бурные мысли Хаджер однажды прервал вечерний азан — призыв в мечеть к последнему намазу. Кадыр-бай взял кумган с теплой водой, совершил омовение и, сказав, что ему надо еще повидаться с Гали-хазретом, Каримом Гайфи и Гильманом, поспешил в своей отороченной выдрой шубе в мечеть.

Хаджер осталась одна. Смятение вновь овладело ею.

От пьянящего дыхания весеннего вечера у нее кружилась голова. Она накинула на плечи серый пуховый платок и подошла к окошку, выходящему в сад.

Под самым окном, ярко освещенный луной, стоял, прислонясь к дереву, тот джигит... У Хаджер возникло такое ощущение, будто это — давно уже близкий ей человек, будто он ждет ее на условленное свидание... Самообладание покинуло ее, она уже не могла сдерживать себя.

Она приникла к окну и, глядя джигиту прямо в глаза, кивнула ему, давая понять, что сейчас к нему выйдет.

XXXIX

Я ЗАМУЖЕМ

Через два дома была аптека. Хаджер плотнее закуталась в серый пуховый платок, кинула быстрый взгляд по сторонам и обычной своей плавной, горделивой походкой направилась к аптеке.

Сердце джигита заколотилось. Он даже растерялся... у него задрожали ноги. Как быть? Верно ли он понял? Не ошибся ли, правда ли, что она кивнула?.. Но зачем он мешкает! Что будет, то будет! Дрогнувшей рукой он толкнул дверь аптеки.

Женщина стояла у прилавка, покупала что-то. Джигит смутился, растерялся еще больше. Хоть и не было никакой нужды в этом, попросил у старого провизора на последние свои деньги хины, аспирину. А сам не мог поднять глаза на Хаджер, не в силах был сказать ей слова... И мучительно думал: «Уйдет, сейчас уйдет! Так ничего и не успею сказать!..»

И в самом деле, он так и остался бы стоять, у него не повернулся бы язык, он не произнес бы ни слова... Но в это время женщина сделала несколько шагов к кассе и внезапно остановилась перед окончательно оторопевшим джигитом. Голосом, слабым от смятения, она едва выговорила:

— Зачем вы всюду ходите за мной? Ведь я замужем!..

Только этого и надо было Джихангиру! Теперь он мог действовать уверенно: ему трудно было подступиться к ней, трудно было самому произнести первое слово. А коли уж дело сдвинулось, он, конечно, настоит на своем, доведет дело до победы... Джигит решительно, вплотную подошел к Хаджер и впился взглядом в ее лицо.

— Извините! Я не знаю... замужем, не замужем?! Я не преследую... я вас... я невольно...— сбивчиво начал он и, порывисто схватив ее мягкую горячую руку, говорил и говорил что-то такое же несвязное.

Хаджер подняла на джигита глаза и, видно отдаваясь воле чувств, уже не владея собой, тихо вымолвила:

— Зайдите в первые ворота направо и ждите меня! Будьте осторожны!

Джихангир кивнул и поспешно вышел из аптеки. За воротами, которые назвала ему Хаджер, стоял заброшенный дом. Там, сгорая от нетерпения, джигит дожидался Хаджер. Вскоре показалась и она. Она подошла и, умоляюще протянув к нему руки, заговорила о том же:

— Оставьте меня! Я погибну... Ведь я замужем!..

Но последние слова она произнесла уже в объятиях Джихангира.

Они почти ничего не успели сказать друг другу. Хаджер вдруг вырвалась, бросила испуганно:

— Еще зайдет сюда кто-нибудь!.. Поймают, пропадем оба!..— и выскользнула за ворота.

В ту ночь Джихангир сел писать ей письмо. Раз сорок начинал его и перечеркивал написанное. «Я живу лишь тобою!» — взывал он к ней, пытаясь выразить свою любовь при помощи тысячи самых возвышенных образов... Признался, что и в хибарке, где живет сейчас, он поселился ради нее, что для этого ему пришлось переселить оттуда в лучшую комнату прежнего жильца — «медведя» Нигмата-кази...

Он писал, что жаждет увидеть ее у себя, уединившись от всего мира, что жаждет побыть хоть какое-то мгновение с ней вдвоем, что он хочет встречи не на улице, не в заброшенном доме, не в саду, а в своей комнате!.. Однако это показалось ему грубым и, решив, что объяснит все при первом же свидании, что в письмах должно говорить об одной лишь высокой любви, он принялся писать заново...

Так началась их любовь. Джихангир с нетерпением ждал каждой новой встречи с Хаджер.

И даже в дни волнений в медресе, стоило Хаджер дать знать ему, что она будет в городском саду, Джихангир не посмотрел на то, что с минуты на минуту ожидается заседание правления и попечителей медресе, что приближается самая решительная историческая минута в борьбе шакирдов,— полетел на ее зов как на крыльях...

А сколько нареканий вытерпел он за это! Нарекания

он, положим, не ставил и в грош, но было так обидно, что в густом, заросшем углу сада он вместо Хаджер увидел ее прислугу с запиской...

«Кажется, начали подозревать, окружили меня разными старухами...» — писала Хаджер.

Не случайно, значит, и вчера ночью во время обыска шпион Михран и его дружки морочили голову Джихангиру намеками:

— Мало тебе пяти, шестую иачал обхаживать, хочешь обмануть, погубить чужую жену!..

От всего этого у Джихангира голова шла кругом. Он измучился, раздумывая, как, через кого узнать о положении Хаджер, и был готов отдать весь мир ради того, чтобы только увидеться, поговорить с ней...

Неожиданное появление Хаджер в его комнате в то самое время, когда он пришел в полное отчаяние, принесло Джихангиру несказанную радость!

Точно молния, опалила Хаджер джигита пламенем и исчезла... Но ведь она обещала ему встречу и на следующий день...

XL

ОНИ НЕНАВИДЯТ МЕНЯ

На следующий день Джихаигир оделся задолго до вечернего иамаза. Положил на стол часы, которые взял на время у Нигмата-кази, и стал отсчитывать секунды, минуты. Стрелки двигались поразительно медленно: минута казалась часом, час — месяцем, годом.

После томительного ожидания, когда назначенное время стало наконец приближаться, Джихангир поспешил на улицу и чуть не столкнулся с какой-то девушкой или молодой женщиной, которая, держа горящую спичку в руке, пыталась разглядеть номер его дома.

Номер был прибит высоко, и, пока она тянула руку вверх, спичка гасла. Девушка вынимала из ридикюля коробок, зажигала новую спичку, ио и та гасла опять... Увидев Джихангира, девушка спросила у него по-русски:

— Какой это номер? Здесь ли живет Джихангир Гибаев, вы не знаете?

У Джихангира сперва зародилось подозрение: ведь он был одним из главарей в медресе, а во время обыска и из его карманов немало всяких бумажек попало в руки жан-

дармов. «Наверное, эта девушка шпионка, она выслеживает меня, а ночью пожалуют за мной!» — пришло ему в голову.

Но приятный, звонкий и мелодичный голос девушки показался знакомым. Джихангир нерешительно спросил:

— Постойте, вы не Ильбаева? У вас похожи голоса...

Девушка, казалось, готова была запрыгать от радости.

— Вот счастье! А я-то вас ищу! Ведь это вы — товарищ Джихангир Гибаев? — сказала она, перемежая татарские слова русскими, как было принято в дворянских семьях у татар. И подхватила его под руку, потащила с собой.— Это просто удивительно! Идемте скорее! Я специально пришла за вами.

Джихангир смутился. Эту молодую, бойкую девушку он видел несколько раз. Однажды он столкнулся с нею на улице, когда она шла под руку с Булатом. Булат тогда остановился, поговорил с Джихангиром, а девушка стояла молча, посматривая на него сверкающими глазами,— не поклонилась, не протянула руки. В другой раз она вместе с курсисткой Разией Ширинской пришла на занятие политического кружка. Тут она немного пококетничала, поболтала.

— Вы,— сказала она,— конечно, слушайте Разию... Пусть она рассказывает вам о французской революции. Но в вопросе о партиях вы к ней не примыкайте!.. Я думаю прийти сюда как-нибудь, чтобы поспорить с ней. Оказывается, она даже «Капитал» Маркса не включила в программу занятий! А нам без него и шагу не шагнуть... Нет, я обязательно приду, поспорю с Разией...— повторила она и упорхнула.

После этого Джихангир только краем уха слышал о Гэвхар Ильбаевой — кажется, от того самого Фахри: что она хоть и хороша собой, но очень ревнива, устроила Булату из-за Нины грандиозный скандал... Вчера ночью в медресе, когда коротали долгие часы, сидя под стражей в одной из комнат и ожидая обыска, кто-то из шакирдов в начавшихся пересудах упомянул и имя Гэвхар:

— Эта красавица считается возлюбленной Зарифа Булата, а сама флиртует с сынком Кадыр-бая Юсуфджаном!..

Может быть, шакирд был прав, может быть — неправ. Сейчас Джихангиру некогда было раздумывать над этим. Девушка тащила его за собой и рассказывала на ходу:

— Дело вот в чем. Булат попался... Я назвалась его невестой и попросила свидания. Не дали: прокурор отка-

зал. Завтра к Булату должна пойти его мать. Нам нужно через нее передать кое-что Булату. Поэтому вы и понадобились мне!

Джихангира, однако, занимало лишь приближение вечернего намаза — одно лишь это. «Как бы отцепиться от нее?..» — думал он. Попробовал воспротивиться:

— Вы, Гэвхар-туташ, сами знаете, где живет Булат. Зачем же меня тащить туда?

Услышав в его голосе нотки протеста, Гэвхар еще крепче прижала к себе его руку и, кокетничая, полушутя ответила по-русски:

— С вами идти мне приятнее — это во-первых! И еще: мне страшно ходить одной по темным переулкам — это вовторых, не так ли? Ну, а если отбросить все и сказать правду, есть третья, главная причина: мать Булата ненавидит меня. И я боюсь: а вдруг, когда я приду к ней, она не станет ничего слушать, возьмет и выгонит... Вот почему я зашла за вами. Ясно теперь?

— Как же это?.. За что может старуха ненавидеть вас?! Или вы чем-нибудь обидели ее?..

— Нет. Ничем не обижала,— ответила Гэвхар.— Это уж несчастье какое-то. Она говорит, что у меня ни в лице, ни в глазах нет ничего мусульманского, по всем, говорит, повадкам — марджа [1]. Она боится, что я завлеку Булата и выйду за него замуж: как же, говорит, я такую девушку в дом невесткой введу... Ни молитвы от нее не дождешься, ни благочестия! Это же, говорит, самая что ни на есть русская марджа!..

Девушка добавила на своем путаном татарско-русском языке:

— У меня их целых два — несчастья. Старуха Эсхабджамал — это одно... Меня еще и Герей ненавидит!

— Он-то за что?

— Не могу понять. Просто уму непостижимо. По правде говоря, он ведь грубый, жестокий человек. Ну, он, конечно, настоящий революционер... Ведь вот никто из нас, татар, не решался проникнуть в казармы, к солдатам, а он не успел приехать — сразу наладил связь с казармами. У него есть два друга: солдаты-пулеметчики. Через них и протягивает он нити в полк. Пока мы разглагольствуем о кружках, прокламациях, митингах, он объединился с русскими рабочими и где-то в подполье, втайне от нас, устроил склад оружия. Запасает бомбы, револьверы, динамит.

[1] Марджа — так в просторечье называют русских женщин. Образовано от имени Мария.

В партии он — первый боевик из татар. За все это я очень люблю его! А вот он меня ненавидит... Открыто свою враждебность не выказывает, но сердцем я чувствую: он мне абсолютно не доверяет. Это же обидно! Ведь я работаю, ради дела готова кинуться в огонь и в воду! Так почему же не доверять мне? Почему отталкивать? В чем моя вина?..

Разговор внезапно оборвался. Они дошли до убогого, грязного переулка почти на самой окраине. Девушка остановилась. Дома тут были маленькие, низкие. Грязь стояла такая непролазная, что по середине переулка нельзя было и пройти.

По краю, вдоль домов, через всю эту слякоть тянулась узкая тропа, замощенная в особенно топких местах камнем, кирпичом, выстланная досками. Но в вечерних сумерках она едва была видна, и Гэвхар, которая шла теперь впереди, то и дело проваливалась в грязь. Джихангир же просто замучился, стараясь не оступиться, не запачкать ботинки...

Переулок освещался тусклым керосиновым фонарем. Добравшись до него, Джихангир взглянул на свои часы: время вечернего намаза близилось, скоро муэдзин возвестит час молитвы!.. Джихангир был крайне озабочен: Гэвхар, конечно, и не подумает отпустить его...

Вот Глиняная улица. Да, так она и называлась: Глиняная. Хорошо еще, что тут позаботились о дороге — все лужи и ямы завалили камнями, кирпичом, настлали досок... А вот и лавка на углу. Прошли еще два дома, и девушка, схватив Джихангира за руку, остановила его.

— Вот здесь живет бабушка Эсхабджамал,— сказала она.— Теперь я открою вам и тайную сторону дела. У меня записка к Булату. Шифрованная. Старуха завтра пойдет на свидание с сыном. Как войдете в дом, поздоровайтесь с ней почтительно, помолитесь и скажите: бабушка, есть у меня к тебе просьба... Только моего имени не упоминайте, иначе все пропало! Скажите: есть, мол, важное сообщение для твоего сына, но враг нашей веры русский жандарм поперек дороги становится, не разрешает передать записку. И если, мол, ты во время свидания передашь ее сыну, век буду молить аллаха за тебя, бабушка Эсхабджамал! Поняли?..

Девушка сама рассмеялась над тем, как она втолковывала все джигиту, и продолжала:

— Ну, а когда завоюете расположение старухи, скажите: «Бабушка! Враг не должен коснуться бумаги ни

рукой, ни глазом. Держи записку во рту, а как придешь на свидание, поцелуй Булата и передай ее из губ в губы». Поняли?

Джихангир по-прежнему думал только о Хаджер. Но как было не запомнить поручение, которое ему так разжевывали. Он буркнул:

— Не корова же я безмозглая, чтобы уж этого-то не понять...

Гэвхар достала из ридикюля записку, сунула ее в руку Джихангиру и, открыв калитку, чуть ли не втолкнула его во двор.

Сама же отошла в сторону, откинула с лица густую вуаль, поправила шляпку и, медленно прохаживаясь перед домом, стала дожидаться возвращения Джихангира.

XLI

ДВЕ ДЕВЧУШКИ

По узенькой дощечке Джихангир прошел во двор. В глубине двора виднелся невзрачный деревянный домишко в два окна. За этими крохотными окошками светился слабый огонек. Осторожно обходя лужи, Джихангир добрался до домика, постучал в окно. Внутри кто-то был: чьи-то тени то сближались, то отдалялись друг от друга, но на стук никто не отозвался.

Выждав немного, Джихангир подошел к двери, тихонько постучал в нее — и опять ничего не добился.

А в доме явно были люди... Доносился шум, кто-то бегал или прыгал, временами слышался смех. Терпение Джихангира иссякло, он с силой толкнул дверь — она оказалась незапертой — и вошел в дом.

Он увидел двух девочек, которые, напевая что-то, пробовали танцевать. При виде неожиданно появившегося человека они замерли, растерялись, но тут же прыснули и отбежали к печке.

Одна оказалась довольно смелой. Она прикрутила фитиль лампы, стоявшей на швейной машине, и подошла к незнакомцу. Джихангир, пораженный, смотрел на эту тоненькую, высокую девочку с худым, бледным личиком: это была копия Булата — те же черты, глаза, та же улыбка...

— Сестренка, мне нужно повидать мать Булата, бабушку Эсхабджамал. Она здесь живет? — спросил Джихангир.

За последние годы девочке довелось испытать немало страхов при появлении полиции, жандармов, шпионов — она уже притерпелась, даже научилась хитрить. Как бы не понимая, она ответила вопросом на вопрос:

— А кто такой Булат?

— Зариф Булат!

— А, вы про Зарифа-абы говорите? Он же в тюрьме!..

Она подошла совсем близко к Джихангиру, стараясь по лицу, по облику его угадать, кто он: друг или враг. «Нет, в нем нет ничего подозрительного. Он, наверно, один из товарищей Зарифа-абы!» — видимо, решила она. И затараторила:

— Вы знаете, маму в дом к баям пригласили, приданое к свадьбе шить... Она уходит рано утром, а возвращается за полночь. Я очень боюсь одна. Ладно еще — Хадичэджинги свою Махирэ привела к нам, вдвоем хорошо! — Девочка улыбнулась: — А мы с ней до вас танцевать учились!..— Но улыбка тут же сошла с ее личика.— Вы что-нибудь узнали о Зарифе-абы? Не очень сильно его избили?.. Что где ни случится — все на нашу голову! Папа живым сгорел. Теперь вот Зарифа-абы схватили...

На глазах девочки выступили слезы.

Джихангир заторопился:

— Мне надо срочно повидать твою маму. Когда она вернется сегодня? Завтра утром в какое время уйдет из дому?

— Сегодня не ждите,— решительно ответила девочка,— придет не раньше полуночи. А завтра приходите, как только солнце взойдет.

Девчушка поменьше ростом так и не вымолвила ни слова, только смотрела во все глаза на гостя. Но провожать его они вышли вместе. Отворили дверь, посветили лампой.

Гэвхар ждала за калиткой. Она опять схватила Джихангира под руку, нетерпеливо спросила:

— Ну, что там? Старуха согласилась?..

Джихангир рассказал обо всем.

Когда шли уже по одной из городских улиц, девушка взяла записку обратно.

— Я завтра приду,— сказала она,— подниму вас на рассвете. И еще одно поручение: не откладывая на завтра, сегодня же повидайте Разию. Пусть она поговорит с Юсуфджаном: он был щедр на обещания, а шестьсот рублей, кажется, все еще не дал. Баязит ведь исходит кровью в тюрьме!.. Даст Юсуфджан наконец эти деньги или нет?

Если он не откажется, надо поторопить его. Даут тоже должен этим заняться — как-никак он не то земляк, не то даже родственник Баязита. Вы сейчас зайдите к Разии: пусть они вместе с Даутом поторопят Юсуфджана! — Она пожала Джихангиру руку и, сказав по-русски: — До свидания! Завтра вставайте пораньше! — свернула за угол.

XLII

КОГДА ПРИЗЫВАЮТ К МОЛИТВЕ

Джихангир был ошеломлен. Вся эта неожиданная история и еще новое поручение... Но он решил, что о деле Баязита можно поговорить с Разией и потом. Он побежал к ближайшей мечети.

Все окна там были ярко освещены. Значит, вечерний намаз уже начался. Да, вон и молящиеся склонились ниц.

«Ах, как я опоздал!.. Как опоздал!..» — казнил себя Джихангир, стрелой мчась к Мунасиповым.

Мунасипов был учителем мектеба[1] при кладбищенском приходе. Содержал мектеб Кадыр-бай, и место учителя Мунасипов получил через Хаджер, которую просила об этом его жена Фатиха. До того Мунасиповы переезжали из деревни в деревню, мучились в поисках работы, каждую осень ездили в Нижний на ярмарку — просить у съехавшихся туда баев, чтобы помогли устроиться куда-нибудь, давали объявления в газетах. Денег, заработанных за четыре-пять учебных месяцев, не хватало и на лето, когда сидели без работы.

Здесь они наконец обосновались прочно. И зимой и летом жили при мектебе в маленькой квартирке. Для семьи, измученной переездами с места на место, было большим счастьем получить свой теплый угол. А поскольку теплый этот угол им был дан благодаря Хаджер, Фатиха считала себя навеки обязанной ей, всегда была готова выполнить любую ее просьбу.

Правда, поначалу ей было неловко отдавать свою квартиру Хаджер для свиданий с Джихангиром, Мунасипов тоже чувствовал себя оскорбленным, но был вынужден делать вид, будто ничего не знает, и со временем Фатиха привыкла, стала смотреть на это как на нечто самое обычное.

[1] Мектеб — школа. В период, описываемый в романе, мектебами назывались начальные приходские училища духовного направления.

Джихангир тихо вошел через заднюю калитку и постучал в маленькое окошко. Свет в доме словно бы метнулся к двери, послышался приглушенный знакомый голос:

— Кто там?

— Я, родная, я...

Дверь отворилась. Хаджер! На лице ее были написаны страх и тревога.

— Что случилось? Почему так поздно?..— И она припала к груди Джихангира.

Джигит сжал горячие руки возлюбленной, поцеловал ее в губы.

— Не обижайся, милая! Случилось неожиданное, потом расскажу! — ответил он, не выпуская ее из объятий.

Хаджер уж справилась со своим волнением.

— В зале нас могут увидеть в окно! — сказала она и повела Джихангира в спальню.

Завесила окно поверх штор вышитым намазлыком [1], тщательно, со всех сторон осмотрела, не осталось ли щелочки, в которую можно было бы подглядеть с улицы. Вся пылая, потянулась она к Джихангиру и забылась в объятиях любимого...

Но, против обыкновения, сегодня она была все-таки неспокойна. Очнувшись от первых ласк, вскочила, подбежала к двери, прислушалась, еще раз проверила окно и, вернувшись, как-то тревожно прижалась к Джихангиру, словно хотела спрятаться у него на груди.

— Ну, теперь скажи: почему ты опоздал? — спросила она тихо.— Говори же! Я так обиделась. Еще пять минут — и ушла бы!

Джихангир рассказал ей, что с ним приключилось. Разумеется, он не раскрыл ей всей правды. Утаил, что Гэвхар — красивая, очень красивая молодая девушка, и даже изобразил ее особой с вечно дымящейся папиросой во рту, очень злой к тому же. Ничего не сказал ни о тайной стороне дела, связанного с Булатом, ни о разговорах насчет Герея, возникших по дороге. Зато долго распространялся о том, как ходили они к матери и сестренке Булата, как вязли в непроходимой грязи...

Впрочем, Хаджер, кажется, и не слушала его. Она была занята другими мыслями. И когда Джихангир закончил рассказ, она — то очень горячась, то как будто немного успокаиваясь — заговорила о своем.

[1] Намазлык — легкий коврик, на котором совершают намаз.

Последнее время мужа ее, оказывается, в самом деле мучают какие-то подозрения. Он ни с того ни с сего приходит в ярость, бесится. Когда двенадцать его приказчиков ушли, бросив работу, он отнесся к этому совершенно спокойно. Но стоило русским и татарским газетам написать о бойкоте — просто рассвирепел, даже собрался идти к губернатору. За обедом ли, за чаем, говорила Хаджер, он только и знает, что бранится. А что было после событий в медресе!..

Кадыр-бай вернулся в тот вечер разъяренным.

— Сколько трачу денег! — кричал он, мечась по комнате.— Построил медресе! Жалованье плачу! Других баев заставляю раскошеливаться. А что это за неблагодарный народ! Вместо того чтобы спасибо сказать, орут на меня, при мне ломают имущество медресе... Нет, надо их в Сибири сгноить!.. А все из-за этого Гали-хазрета так получилось! Говорил я ему: держи повод крепче!.. Распустил — вот они теперь и взбесились... Точно с цепи сорвались. Если и дальше так пойдет, не получат они у меня больше ни копейки!..

Назавтра Кадыр-бай вернулся домой только под вечер, мрачный расхаживал по залу и чуть ли не в двенадцать ночи послал за Гали-хазретом и Каримом Гайфи.

Долго ругал, отчитывал их. Потом, когда отошел немного, сели они держать общий совет.

Но тут неожиданно появился Шарафи-хаджи, старший брат Кадыр-бая.

Шарафи-хаджи был менее состоятелен, более сер и невежествен, чем младший брат, и слыл ярым его противником. Он давал средства на содержание старых, схоластических медресе, почитал мулл-кадимистов, ишанов, все свои обязательные и доброхотные деяния жертвовал только им. Приверженность Шарафи-хаджи к кадимизму была столь сильной, что вот уже восемь месяцев его не видели в доме брата-джадида — сторонника новшеств в обучении и в жизни...

И вдруг, когда время перевалило уже за полночь, распахнулись двери зала, где сидел Кадыр-бай с Гали-хазретом и хальфэ, и, не проходя дальше, не присев за накрытый стол, прямо с порога Шарафи-хаджи принялся осыпать его бранью:

— Ну как?.. Не предупреждал я тебя?.. Не говорил, чтобы не тратил зря свое добро на джадидов? Не говорил, что загубленное тобой добро тебя же за ворот схватит?.. Так оно и вышло! Десять лет учили вы своих шакирдов, а

они плюнули вам в лицо. И тебе, Гали, и тебе, Кадыр!.. Плюнули! В лицо плюнули... Все беды от джадидов! Я вам десять лет подряд об этом толковал — не слушались... Позор-то при жизни приняли, но думайте и о будущем: в судный день вам еще перед аллахом придется ответ держать!

Старик круто повернулся и, хлопнув дверью, точно одержимый кинулся прочь...

А тут еще, вдобавок ко всему, до ушей Кадыр-бая дошел слух, что сын его Юсуфджан обещал дать шестьсот рублей, чтобы отпустили Баязита-кари из тюрьмы под залог...

...Хаджер передала Джихангиру подробности столкновения отца с сыном:

— Из-за этих шестисот рублей сегодня два раза скандалили. Кадыр рвет и мечет. «Твой, говорит, отец всю жизнь добро наживал, а ты всяким красным станешь его раздавать!..» Юсуфджан всегда как котенок был перед отцом, а на этот раз и он дал волю языку. «Неужели, говорит, тебе шестьсот рублей дороже сына?.. Неужели я не могу потратить какие-то гроши на то, чтобы выручить из тюрьмы товарища?! Ведь у него кровь горлом идет!.. Теперь, говорит, не прежнее время: выдели мою долю, и я уйду из дому. Не могу больше сносить это рабство!..» От его слов Кадыр еще больше распалился. Затопал ногами. «Уходи, кричит, катись на все четыре стороны! Но пока я жив, своей рукой не дам тебе ни копейки!..»

Хаджер вдруг поднялась и, положив руки на плечи джигиту, заглянула ему в глаза.

— Когда он ругал шакирдов,— сказала она,— он то и дело повторял твое имя. Грозился, что на каторге тебя сгноит... Пожалуйста, не скрывай от меня, что ты наделал там?..

Джихангир усадил ее рядом с собой и стал рассказывать о бунте в медресе, об обыске, о разных смешных происшествиях при стычке шакирдов с правлением, о том, какое впечатление произвело появление полицейских именно в тот момент, когда шакирды сбросили вниз устав медресе в тяжелой застекленной раме... Припомнил курьезные эпизоды во время обыска, представил ей, как Сулейман Сейфуллин, чтобы уничтожить какую-то опасную бумагу, жевал, жевал ее, да так и не смог проглотить...

Но Хаджер опять не дослушала: испуганно вскочила и, приподняв край намазлыка, которым завесила окно, взглянула на улицу. На цыпочках подошла к двери, замерла около нее.

— Нет... Никого!.. А сердце так и сжимается, что-то не по себе мне... Муж в имение уехал: у нас земли и леса у Ямanташа, оттуда передали, что крестьяне соседних деревень, свои же татары, начали имения разорять. Как услышал, тотчас же отправился в Ямanташ. Черкесы, говорит, есть, вооруженные... Кажется, хочет нанять их для охраны... Да как бы не вернулся он невзначай... Очень уж неспокойно у меня на душе... Отчего бы это, милый?!

Джихангир, не отвечая, обнял ее. Молодая женщина жадно прильнула к нему, взор ее затуманила страсть, но внезапно она вырвалась из объятий джигита и снова подбежала к двери: кто-то едва слышно стучался.

То была Фатиха.

— Хаджер-бикэ, не случилось бы чего...— тревожно зашептала она из-за двери.— Боюсь я очень... Двое приказчиков бая и Михран-шакирд несколько раз уже прошли мимо нашего дома и все в окна посматривали... Не подстерегают ли они вас?..

Джихангир был не из робкого десятка. Но охватившие женщин сомнения закрались и в его сердце. Неужели собака Михран и сюда добрался?! Значит, неспроста он тогда, во время обыска, разводил сплетни... А кто они — те двое?..

Однако сейчас было не время строить догадки... Он думал не о себе. Весь мир для него в этот миг заключался в одной Хаджер. Огласку их отношений Хаджер воспримет как непереносимый позор. Она тогда не сможет и на белый свет показаться...

Надо было как можно скорее одеваться и уходить. Лицо Хаджер покрыла мертвенная бледность, губы ее онемели, в глазах застыл ужас.

Они вышли. Ночь была тихая. И землю и небо окутал густой мрак. Лишь кое-где в просветах между тучами, мерцая бриллиантовой россыпью, проглядывали звезды.

Фатиха повела Хаджер через двор русских соседей, окольной дорогой. Джихангир, выбравшись на улицу, на всякий случай, для отвода глаз, медленно зашагал к городскому саду.

В саду тоже царила тишина. В непроглядной тьме деревья стояли не шевелясь, словно к чему-то прислушивались. Это тяжелое безмолвие еще больше угнетало Джихангира... Что будет? Какая еще подбирается беда?.. Что нужно этому Михрану?.. Хочет отомстить? Подстерегает, чтобы опозорить и его и Хаджер?

Нет, за себя Джихангир не боится! Нисколько не боит-

ся. Он молод! В его сердце горит негасимое пламя молодости. И чем ярче это пламя, тем большую силу обретают и его борьба за дело шакирдов и его любовь к Хаджер!.. Нет, за себя он и не думает бояться. Но что станет с Хаджер? Как спасти ее?.. Как вселить в ее душу мужество?.. Кумушки судачат — плевать! Что может быть выше любви на свете! Разве любовь достойна осуждения?! Мы любим! А если любишь, не бойся ни Михрана, ни Кадыра!.. Перед нами весь мир, вся жизнь. Мы любим, и любовь переполняет нас счастьем! Если кадыры захотят разлучить нас, захотят снова ввергнуть в рабство — молодость не поддастся им! Разрушит все преграды на своем пути — разметет скалы, горные кряжи, зажжет и высушит моря!..

Но как объяснить все это Хаджер?.. Поймет ли она? Уверится ли, что нет в мире силы, которая смогла бы противостоять любви, победить любовь?.. Или же брачный закон погасит и ее сердце?.. Или же золото бая, атласные наряды, шелка путами обовьют ее, удержат в плену, в вековечном этом рабстве?.. Что принесет с собой завтрашний день, что принесет он?..

Джигит долго бродил меж высоких деревьев темного сада, но так и не смог ответить ни на один из мучивших его вопросов... И вдруг он вспомнил о Гэвхар, о ее поручении, о том, что для освобождения из тюрьмы его друга Баязита до сих пор не сделано ничего!

Поспешно выйдя из сада, он отправился к Ширинским.

XLIII

БАЙСКИЙ СЫН

Не прошел Джихангир и половины дороги, как его начало одолевать сомнение: «А зачем, собственно, Гэвхар посылает меня к Разии?.. На черта это мне нужно? Что у меня — нет языка, чтобы самому переговорить о шестистах рублях для Баязита? Чего ради я среди ночи потащусь к Ширинским?..»

Он уже хотел было повернуть обратно, но раздумал: «Нет, нельзя! Возможно, здесь есть свой смысл... Да еще эта Гэвхар прицепится как репей! Начнет укорять: почему не сделал так, как она требовала?! Да, кажется, тут не так уж и далеко идти... Вот Ектерининская улица. Первый переулок, второй... За углом должен быть небольшой желтый особняк...»

Джихангир зажег спичку, посмотрел на номер дома. Конечно, этот самый... С некоторой робостью поднялся он на парадное крыльцо и нажал кнопку звонка справа от белых двустворчатых дверей... В то же мгновение двери с шумом распахнулись, и перед ним появилась высокая девушка в черном костюме, в черной шляпе с широкими полями. На руке у нее висела серебряная сумочка, девушка пыталась на ходу застегнуть пуговицы длинных замшевых перчаток. Увидев неожиданного посетителя, она в испуге отшатнулась, но, узнав Джихангира, громко рассмеялась.

— Так можно и лбы расшибить!.. Вы ко мне, товарищ Гибаев? Что так поздно? — сыпала она словами, протягивая ему затянутую в перчатку узкую руку.

Джихангир рассказал о цели своего прихода.

— Я и сам мог бы передать, но не пойму, зачем Гэвхар-туташ велела сделать это именно через вас. Только поэтому я позволил себе побеспокоить вас так поздно. Извините меня! — добавил он.

Разия заперла дверь, положила ключ в сумку и пошла вместе с Джихангиром по направлению к центру города.

— Знаю я вашу Гэвхар,— говорила она, то и дело, как и Гэвхар, вставляя в свою речь русские слова.— Поручения Урманову она нарочно передает через меня. Это интрига своего рода!.. Хотя меня ее интриги вовсе не трогают... Но, к сожалению, я сейчас очень занята: у меня мама заболела, иду врача приглашать... Очень вас прошу: не сочтите за труд, сходите сами к Урманову! Я буду так вам благодарна!.. Да? Пойдете? Вот спасибо!..

Разия несколько раз в признательность пожала джигиту руку и побежала по своему делу.

А тому пришлось снова плестись на окраину — в «преисподнюю» Урманова.

Но что бы это значило?.. Перед покосившимися воротами стоял, подергивая головой и перебирая ногами, великолепный серый рысак.

Появление Джихангира встревожило гусиную стайку во дворе. От резкого гогота проснулся дремавший на пролетке кучер.

— Эй, мил человек! — окликнул он Джихангира.— Туда же небось идешь? На них походишь обличьем-то...— И жалобным голосом попросил: — Скажи моему баю: ведь опять старый бай заругается! Пора бы и ворочаться нам, а то опять за все моя шея в ответе будет...

Не очень-то вникая в смысл его слов, Джихангир спу-

стился по темной лестнице. Под стенания и ропот больной старухи хозяйки прошел в еле освещенную керосиновой лампой убогую каморку Даута.

Даут сидел на своей расшатанной кровати, а перед ним, рассказывая что-то, стоял молодой человек среднего роста, довольно стройный, с тонкими чертами лица. На его плечи было наброшено хорошо сшитое демисезонное пальто из драпа, на голове — дорогая каракулевая шапка, на ногах — лаковые ботинки с калошами. Левой рукой он опирался на трость с серебряным набалдашником, а правой беспрестанно вертел свисавшую из кармана жилетки золотую цепочку от часов. Весь его облик говорил о молодости, не видавшей ни нужды, ни тягот жизни, о молодости легкой, холеной...

Увидев входящего Джихангира, он умолк, с легкой улыбкой взглянул на пришельца умными черными глазами и тут же снова обернулся к Урманову, как бы говоря: «Эх, помешал твой гость!..»

Даут представил их друг другу. Этот хорошо одетый молодой человек и оказался сыном Кадыр-бая Юсуфджаном.

Пожав ему руку, Джихангир присел на колченогую табуретку. А Урманов успокоил Юсуфджана:

— При Джихангире можешь говорить... От него у нас нет тайн. Давай продолжай!

Юсуфджан вкратце досказал начатую до прихода Джихангира историю:

— ...Вот после этого и поднялся у нас скандал. Кричит: выгоню! Добро, мол, нажитое отцом, хочешь красным раздать, в Сибирь норовишь меня упечь!.. Я твержу свое: дай мою долю, можешь не гнать, сам уйду, я не могу больше сносить это рабство. А он затопал на меня ногами, опять завопил: «Когда помру, тогда и получишь, что тебе следует, а пока я жив, ни копейкой не попользуешься». Ссорились-ссорились, потом я хлопнул дверью и ушел. С тех пор не разговаривал с ним. И не буду разговаривать...

Юсуфджан поделился своими планами: он действительно решил покинуть дом отца. Поедет учиться в Стамбул. Есть у него свои сбережения, есть и кое-что припрятанное... это даст ему возможность продержаться, как он надеется, около года...

Урманов удивился:

— Что уходишь от отца — очень хорошо. Но зачем тебе ехать в Стамбул?.. У турок у самих нет знаний, чему ты у них научишься?.. Ну, станешь кем-нибудь вроде Карима Гайфи!..

Однако Юсуфджан ие намерен был отступать от принятого решения.

— Для меня нет другого пути! — стоял он на своем.— Как бы ни хотел я получить русское образование, мне языка не осилить. То же самое будет, если поеду в Европу Сколько понадобится времени, чтобы пройти курс одной их средней школы! А в Турции я попаду прямо в университет. Оттуда смогу поехать в Европу продолжать образование. Вот и весь мой план. Только ты раздобудь мне паспорт! И постарайся сделать это в ближайшие же сутки! Говорят: «Что отложишь, то снежком прикроет!» Надо ковать железо, пока горячо.

Для Урманова устройство паспортных дел не представляло большой трудности. Он обещал завтра же днем встретиться с кем нужно, а в восемь вечера вручить Юсуфджану паспорт для выезда за границу.

В душе у Джихангира шевельнулось чувство какой-то симпатии к этому баричу.

«Смотри, пожалуйста, и этот ожил... Что делает революция-то с людьми!» — подумал он.

Но, ничем не выразив своего удивления, заговорил о поручении Гэвхар.

Юсуфджан извинился, что до сих пор не сделал ничего.

— Завтра в восемь часов я буду у тебя, Даут, и те деньги прихвачу с собой,— сказал он и стал прощаться.

— Там ваш кучер давно уже ворчит,— заметил Джихангир, подавая ему руку.

Тонкие губы Юсуфджана тронула улыбка.

— Такой уж у него характер, любит поворчать, а на самом деле очень хороший человек,— сказал он, уходя.

XLIV

СО СВИНЬИ ХОТЬ ЩЕТИНКУ

Когда он скрылся за дверью, Джихангир недоверчиво взглянул на Урманова:

— Это что же, со свиньи хоть щетинку? Или барчук в самом деле решил стать человеком?

Старуха внесла горячий чайник, два стакана, тарелку, хлеб, масло, сахар, расставила все это на столе. Из стоявшей тут же, среди книг, чайницы Даут взял щепотку чая, заварил его, разлил по стаканам, намазал хлеб маслом и, жуя с аппетитом, ответил Джихангиру:

— Тут и то и другое. Сложный это вопрос! Он умный, мыслящий, хладнокровный, острый, упорный и в то же время эгоистичный по своей природе человек. Он и богатство любит. За женщин, красивых девушек душу готов отдать. Но сильнее всего в нем любовь к тому, чтобы во всем первенствовать, любовь к славе. Он будет сорить деньгами, примет в свои объятия врага, пожертвует любимой девушкой, другом лишь за то, чтобы вознесли его имя! За то, чтобы все восхищались им, превозносили его! За то, чтобы всюду его самого встречали с распростертыми объятиями! Он любит везде производить хорошее впечатление, делает добро не ради того, чтобы сделать доброе дело, не по нравственному убеждению, а только из желания прославиться, из желания возвыситься в глазах людей. И то, что он после стольких лет вражды сблизился со мной, присоединился к нам, и то, что он дает деньги для освобождения Баязита,— все это берет начало у одного и того же истока. Его дружба — дружба змеи. Но и будучи врагом, он может быть и нужным и полезным!..

Разговор затянулся. Джихангир очень устал, да и не ел он как следует со вчерашнего дня. Поэтому, слушая рассказ Урманова, усердно пил чай и уписывал за обе щеки хлеб с маслом.

...Закоснелое, консервативное медресе. Дни и ночи в яростных диспутах жуется жвачка схоластики. Той самой, которая туманила головы в средневековой Европе, той самой, но только одетой в оболочку ислама — мусульманской схоластики, заполонившей многие медресе Кышкара и Бухары. Вот в этот котел схоластических диспутов и были брошены своими отцами Юсуфджан и Даут. Стали они одноклассниками. Оба были способные, прилежные. И удивительно быстро сдружились. Правда, спали и ели отдельно. Место Юсуфджана, байского сынка, было там же, где жил хальфэ, и ел он там же. А Даут валялся на общих нарах, пробавлялся черствым ржаным хлебом, который получал из деревни, да случайными подачками. Однако это не отдаляло их друг от друга. Казалось, дружба связала их навечно.

И однако чистую дружбу той детской поры с годами подточили, а там и вовсе разрушили жестокие схватки на бесконечных диспутах по логике и пресловутой схоластике.

Однажды сидели они на уроке домуллы[1]. Для диспута шакирдам была предложена тема из самых высоких сфер

[1] Домулла — мулла, облеченный правом преподавателя.

схоластической философии. Диспут, разгораясь, принял неожиданно резкий характер. Переходя от одного вопроса к другому, шакирды добрались до таких категорий, как обязательное, допустимое, запретное, и тут поднялась подлинная словесная буря вокруг вопроса об отношении философии богословов-догматиков и философии древних мудрецов к божественному началу на земле. Даут во всеуслышание заявил:

— Нет и нет! Не могу я верить в теорию догматиков о монадах. Я всем сердцем на стороне мудрецов и так же, как они, верую, что сущностью вселенной являются материя и форма.

Эти слова произвели на всех впечатление взорвавшейся бомбы. Поднялся невообразимый шум. Взбешенный Юсуфджан вскочил и с пеной у рта закричал:

— Утверждать, что сущностью вселенной являются материя и форма,— значит отрицать истину о вечности души, отрицать воскрешение из мертвых, судный день! Ты богохульствуешь, кайся, безумец!

Даут пришел в еще большее исступление и с издевкой ответил:

— Плевал я на тебя, барчука! Куда ты суешься, твоего ли разума дело?

Юсуфджан был вне себя от гнева и обиды.

— Тьфу, гяур проклятый! — крикнул он.— Как бы твоя нечестивость не поразила еще и меня! — И, отплевываясь, ушел.

После этой перепалки они не разговаривали месяца четыре, между ними была смертельная вражда.

В конце концов за инакомыслие, за пререкание с домуллой и за «подстрекательство» шакирдов Даута исключили из того старометодного медресе.

И когда он поступил учиться в Медресе-и-исламийе, вдруг почувствовал, что скучает по другу детства. Послал ему длинное письмо. «Я не хочу враждовать с тобой. Всему, что произошло между нами, виной схоластические диспуты. Давай снова дружить! Я жду этого»,— написал он.

Юсуфджан, однако, отнесся к нему иначе. Он написал ответ со множеством арабских слов и совсем по-старинному: «По нашему разумению, вы пожелали восстановить согласие между нами. Подобное ваше обращение, если оно вызвано искренней потребностью души, есть обращение прекрасное. Но если порыв ваш неискренен, я позволю себе усомниться...»

Затем он перешел к анализу психологических сторон

понятий «обида» и «прощение». Он считал, что душа человека — водитель, наставник, судья всех его поступков. «Если обида не проникла в самую глубину души-судьи, а лишь задела ее, была легкой, поверхностной, несомненно, она пройдет сама по себе, пройдет, если даже захочешь затаить ее. Однако обида, прощение,— рассуждал он,— суть понятия не внешние, они относятся к сфере душевной. Они находятся в непосредственном ведении души. Поскольку мы дошли до самой отвратительной степени безнравственности, бесчеловечности, бездумья, поскольку обида запала в душу слишком глубоко, то думаю, что если со временем, превратясь в гнилушку, она не развеется сама собой, я лично ни под каким внешним воздействием по собственной своей воле обиды не прощу... Представь себе учителя, который мирит двух поссорившихся учеников. Здесь не может быть речи ни о настоящей обиде, ни о подлинном примирении — все это одни лишь детские забавы. Но твое письмо, твою попытку восстановить согласие между нами я считаю поступком необдуманным. Ведь там, где обида настоящая, а прощение-примирение происходит не по велению сердца, можно видеть одно лицемерие, смирение или же бездумное легкомыслие... Наша обида проникла в самые недра души, укоренилась в них, и примирить нас нелегко, ибо тяжелый осадок, рану на душе не снимешь, как накипь с супа, не смахнешь, как каляпуш с головы, не выплюнешь, как плевок. Как невозможно достать семечки из арбуза, желток из яйца, не разрезав корки, не разбив скорлупы, так и у нас: если наши раны-обиды, перебродив, не рассосутся сами, я по своей воле не могу вырвать их, ибо не душа подвластна мне, а я подвластен своей душе...»

Он излагал еще много суждений подобного рода и заканчивал письмо следующими словами:

«Рана, нанесенная душе, никогда не исцелится. Смею предположить, что даже если я окажусь в крайней степени опьянения, то есть в полумертвом состоянии, даже в подобную минуту я буду помнить о ней... Эфенде, между нами возник такой холод, что ничто уже не согреет наши отношения... Написал ваш бывший соученик Юсуфджан, сын Кадыра».

Таков был ответ Юсуфджана Дауту.

Но события тогда мелькали с быстротою молнии. Пламя революции пробудило шакирдов. Новая волна поднялась и в том кадимистском медресе. Многие шакирды бежали из него, часть поступила в Мердесе-и-исламийе. А в

прежнем остались лишь недалекие, бездарные шакирды-перестарки, дервиши да калеки. Самолюбие Юсуфджана, любившего быть впереди других, было глубоко задето. Он не пожелал оставаться среди всякой бездарности. Вначале пытался сколотить свою партию. Однако ничего из этой затеи у него не вышло. Тогда он начал искать пути к «красной» молодежи. Найдя какой-то предлог, раза два заходил к Булату, но столкнулся там с Гереем Султаном.

Этот джигит с Кавказа взглянул на Юсуфджана и при нем же громко спросил у Булата:

— Что это за птица? Заблудилась, что ли?

Юсуфджан оказался в одиночестве. Но оставаться в стороне, когда вокруг кипит жизнь... нет, сердце молодого человека, всегда стремившегося выделиться среди других, не могло примириться с этим! После визита к Булату Юсуфджан поразмыслил дней десять и раздобыл адрес Даута. В тот самый момент он и услышал об аресте Баязита, о том, что в тюрьме у него горлом пошла кровь, что ищут денег, чтобы его освободить под залог до суда.

Как-то вечером Юсуфджан разыскал так называемую «преисподнюю», где ютился Даут Урманов.

— Забудем все, товарищ! — сказал он Дауту.— Я уже давно мучаюсь... Бросим вражду, оставшуюся от кадимистской схоластики! Я пришел мириться, дай руку!

И тут же заговорил о деле Баязита... Весьма удобный повод... Шестьсот рублей для залога... Так он и присоединился к ним.

Вот обо всем этом Даут за чаепитием и рассказал Джихангиру.

— Фу, забил ты мне голову этим Юсуфджаном!..— проворчал, поднимаясь, Джихангир и взглянул на часы: — Ого, скоро уже двенадцать! А завтра вставать в шесть часов. Ладно, я пошел...

Он пожал Дауту руку и, уже выходя, сказал:

— Ты не забудь: завтра вечером большое собрание в старом медресе. А то один раз Ахмед Нури приходил, нападал на тебя!..

— То есть как это нападал на меня?

— Не на тебя, на социализм. У нас, говорит, есть религия, есть нация. И на этих двух могучих основах мы, мусульмане России, создадим свою общую политическую партию, создадим «Иттифакуль-муслимин» — «Союз мусульман»... На этих, говорит, двух могучих основах, под знаменем религии и нации объединим всех российских мусульман в одну политическую партию! И верим, говорит,

что молодежь наших медресе пойдет рука об руку с нами в великой исторической нашей борьбе...

Даут начал горячиться, набросился на Джихангира:

— А ты сидел и молчал? Освистать надо было его... Ты бы спросил у него: вы создаете «союз» и объединяетесь с русскими кадетами? Это тоже, мол, на религиозно-национальной основе?.. Как же можно было молчать?!

Джихангир рассмеялся:

— Да кто молчал-то? Мы такой тарарам подняли... Потом стали петь «Марсельезу», прервали его. Но ведь этого недостаточно. Завтра вот опять собрание. Опять они пойдут в наступление, чтобы перетянуть шакирдов на свою сторону! Опять напустят словесного чаду насчет религии и нации... Михран и Наджиб Кемал вдвоем ходили к этому иттифакисту Ахмеду Нури-эфенде и сказали, что шакирды ждут его. Тот обещал прийти. Кажется, будут и Гализарет с Каримом Гайфи. От нас тоже готовятся выступить. Ты приходи обязательно, надо разгромить их! Тем более что там крепко затронут вопрос религии... Ведь после обыска и наши черносотенцы приободрились... А в религиозных делах даже Нигмат-кази всегда был с ними... Во всяком случае, бой ожидается грандиозный, смотри наточи заранее зубы!..

XLV

АХМЕД НУРИ-ЭФЕНДЕ

Ахмед Нури-эфенде действительно получил приглашение на собрание. Но он помнил, каким скандалом закончилось собрание в городском театре, когда надо было решить, к какой из русских партий примкнуть на выборах в думу, кого выбрать от татарского общества. А вдруг повторится та же история? И Ахмед Нури-эфенде решил, что надо предварительно договориться между собой. Он был убежден, что собрания, если не подготовить заранее единую линию, ведут не к сближению, а, наоборот, к размежеванию. Поэтому ему очень хотелось встретиться с Булатом... Но того посадили в тюрьму! И неизвестно, когда его выпустят. Говорят, что тюрьмы сейчас переполнены. Для политических якобы уже не хватает мест. Скоро их целыми партиями начнут отправлять в Сибирь. Говорят, Булата тоже не то выслали, не то высылают... Есть у Булата товарищи: Усман Азаматов и Акчулпанов, хорошо бы побеседовать с ни-

ми. Есть еще Даут Урманов. Он, кажется, больше против религии выступает, ругает мулл, духовенство, но все равно, он ведь мыслящий человек и не может не внять доброму слову, правильному суждению. Нельзя всю жизнь драться между собой. Прийти к обоюдному пониманию — наш долг! — рассуждал Ахмед Нури.

Он собирался на этот раз шире развить мысли, высказанные им давно, еще на предвыборном собрании в театре.

Что у нас есть? — скажет он. Есть религия, есть нация. Нас объединяют эти две великие силы. Но для понятия «класс» у нас нет никакой почвы. Ведь даже те, кого мы называем буржуа, не выше рабочих в Америке. Слово «класс» необходимо выбросить, необходимо создать могучий союз на основе религии и нации!

Так он готовился к переговорам. Обеим партиям «красной» молодежи — и социал-демократам и социал-революционерам — он собирался предложить объединение на широкой платформе.

— Я не буржуа, я интеллигент, который, как и вы, живет своим трудом, живет на жалованье за уроки и на деньги за литературную работу. Я не эксплуататор. Поэтому мы должны понять друг друга! — намеревался он добавить в подкрепление своей позиции.

И все же он не рискнул так уж сразу пойти к ним. И не то чтобы не рискнул!.. Просто не захотел ронять собственного достоинства. Он близко знал Юсуфджана. А Разия Ширинская приходилась родственницей его жене. Надо сначала через них нащупать почву, решил он.

Как раз в это время к нему зашел сам Юсуфджан.

— Ахмед Нури-эфенде, у меня к вам большая просьба...— И Юсуфджан стал расспрашивать его про учебные заведения Стамбула: как там поставлено преподавание? В какое учебное заведение в Германии можно поступить после обучения в Турции?

Разумеется, он не признался, что́ именно заставляет его интересоваться всем этим, что он собрался бежать в Турцию, а сказал, что туда едет знакомый шакирд и он пришел по просьбе этого знакомого.

Ахмед Нури-эфенде хотя и считал Юсуфджана одним из «красных», открыв ему тайну, рассказал о плане всеобщего объединения на широкой платформе.

— Это весьма важная проблема,— сказал Ахмед Нури-эфенде. И спросил: — Как вы к ней относитесь?

Сидя за богато сервированным, полным всяких яств

столом, они долго обсуждали идею такого союза. Юсуфджан был откровенен:

— Очень упрямый народ! Мало верю я в это... Только на смех поднимут... Все-таки потолкуйте с Разией! Она, кажется, свояченица вам. Пусть закинет удочку! Вы говорите: объединиться. А они и между собой как огонь и вода!.. Не успеют встретиться — начинают скандалить. Ни одного митинга не проходит без скандала. Не так давно Булат на одном митинге резко выступил против Урмановых и Мансуровых. «Вы, говорит, красные лишь с виду, красные лишь на словах. Пустозвоны, говорит, вы, а не социалисты, вы — левое крыло буржуазии, гнать, говорит, вас надо из пролетарской среды». Он их просто опозорил... А вы хотите предложить им общую с вами платформу!

Однако Ахмед Нури был слишком вдохновлен своей идеей, чтобы отказаться от попытки «забросить удочку» с помощью Разии Ширинской.

Юсуфджан попрощался и ушел. На улице его ожидала пролетка. К восьми часам вечера Даут, как обещал вчера, должен был приготовить паспорт. Юсуфджан велел кучеру свернуть за угол, чтобы ехать к Дауту, и тут увидел приказчика Фахри...

— Ты куда? — крикнул тот.— Поедем в мектеб, там же митинг! Драка будет основательная, чего не едешь?

Юсуфджану не сегодня-завтра надо было решать свою судьбу.

— Нет, у меня дела. Я еду к Дауту,— ответил он.

Фахри еще больше оживился:

— Так чего же лучше! Даут давно уже туда пошел!

Юсуфджану ничего не оставалось, как велеть кучеру повернуть в другую сторону.

Фахри уселся рядом с ним и всю дорогу рассказывал о разных злоключениях с предстоящим литературным вечером: Тангатаров долго ходил, не мог получить у полицмейстера разрешения. Сначала придрались к тому, что вечер организуется в пользу политических заключенных. Тогда Тангатаров внес изменение, написал: в пользу бедных шакирдов. Но теперь придумали еще препону: велели всю программу, все, что будут читать и петь, перевести на русский язык!..

— Шакирды, гимназисты, приказчики — все так увлечены!..— говорил Фахри.— У Сахиба-певца есть один рассказ — занятная вещь... Хочет прочесть его, из жизни башкир написано. Наш Габдрахман сочинил стихи «Татарский бай», очень смешно получилось...

Юсуфджан рассмеялся:

— Что он, после женитьбы на Нэфисэ поэтом стал?

Фахри не успел ответить, его прервал кучер:

— Куда подъезжать-то, прямо к мечети? Или подальше остановимся?

— Стой! Останови здесь!

Слезли с пролетки и, проваливаясь в ямы, пошли по неосвещенному переулку. Вот показалась мечеть, вонзившая минарет в темное небо. Рядом стояло небольшое старое деревянное здание. Это был мектеб. Вдоль улицы тянулся забор.

В узких, словно двери, воротах шевельнулась тень.

— Кто это? Не шпик ли? — Фахри отшатнулся в испуге.

Послышался смех.

— Не дрожи, это я!

Приблизившись, они увидели реалиста Акчулпанова, в форме, в фуражке. Он не любил ходить на подобные собрания, но сегодня что-то притянуло его сюда. Только он, оказывается, не знал, как пройти в мектеб.

Ощупью все трое двинулись дальше.

...Мулла этого прихода заболел. А учитель был близок к социалистам. Пользуясь этим, и собрались в его мектебе.

Тема собрания — «Революция и земельный вопрос» — привлекла массу людей. Зал был набит до отказа. В первом ряду сидела молодежь медресе. За ней устроились шакирды Вафы-хазрета, не ходившие раньше ни на какие собрания. А дальше шли тесные ряды приказчиков, сапожников, шапочников — всяких мелких ремесленников. Фахри увидел и тех, кого не думал встретить здесь: позади притулились в углу крестьянин Шакир-солдат и Габдулла, тот самый, который, появившись в пьяном виде, поднял скандал на городском собрании. Фахри слышал, что Габдулла, потеряв работу, запил, а теперь по протекции Юсуфджана устроился на лесопильный завод,— но ему и в голову бы не пришло, что Габдуллу заинтересует такое собрание...

Где-то недалеко мелькнуло лицо Габдрахмана. Фахри хотел было пройти к нему, но не смог пробиться и остался стоять возле окна.

Выступал Хабиб Мансуров, недавно побывавший в деревнях Яманташа:

— Деревня голодает... Помещик, урядник, земский начальник всем скопом оседлали мужика... Мужик стонет. Он готов скинуть их со своей шеи... Там нужны люди, чтобы

поднять крестьян на бунт против помещика... Надо молодежи готовиться к этому!..

В заднем ряду задвигался Шакир-солдат, поднял руку:

— Так ничего не выйдет, братва! И мне дайте слово!..

Но тут внезапно распахнулись двери, и в зал влетела высокая девушка или молодая женщина, по облику похожая на русскую.

То была Разия-туташ Ширинская. В ее широко раскрытых глазах застыл ужас, лицо посерело.

— Товарищи, расходитесь!.. Сейчас нагрянет полиция!..— закричала она высоким, прерывающимся голосом.

Никто ничего не понимал, все словно окаменели.

— Соображаете вы или нет?.. Полиция, говорю, идет сюда! — уже почти взвизгнула Разия.

Первым опомнился Мансуров. Поняв опасность, он рванулся в сторону, вышиб раму и, крикнув: «Товарищи, живо расходиться! Расходиться!..» — выскочил на улицу.

Мектеб сейчас напоминал охваченный пожаром дом или тонущий корабль. Набившиеся в зал люди, не помня себя, бросались к окнам, к двери. Кричали. Натыкались друг на друга. Толкались. Но все же в страшном этом столпотворении, в давке люди в одну минуту успели через окна и двери выбраться на улицу...

Когда появилась полиция, ее глазам предстали лишь сорванные с петель двери, выбитые стекла да возле печки на полу валялся чей-то каляпуш и белел обрывок прокламации.

Однако это не убавило рвения у жандармов. Увидев, что в мектебе никого не осталось, агенты, филеры, будто джинны, вмиг рассеялись по ближним переулкам, закоулкам, надеясь напасть на след бежавших с собрания людей.

Азаматов хорошо знал муэдзина того прихода и вместе с Акчулпановым спрятался у него в доме. Дауту тоже удалось беспрепятственно проскочить два переулка и уйти от преследования.

Пройдя новую мечеть, он направился к Екатерининской улице, когда навстречу ему попалась Разия. Девушка шла усталая, разбитая, она все еще дрожала от волнения.

— Вы? Вы?..— Она уцепилась за руку Даута.— Не попался кто-нибудь?

Пошли вместе. Когда стали приближаться к центральным улицам и опасность быть схваченными миновала, Разия принялась рассказывать, как она узнала о предстоящем налете полиции:

— Сегодня у мамы был сильный приступ мигрени. Сна-

чала я побежала в аптеку... Потом ко мне зашли две подруги-курсистки, с которыми я училась в Петербурге. Они задержали меня. Ну, думаю, уже поздно, не пойду на собрание, только выйду подышать свежим воздухом. Иду, и вдруг кто-то, запыхавшись, догоняет меня и хватает за руку. Смотрит на меня словно сумасшедший. Не смей, говорю, давать волю рукам, не прикасайся ко мне... А он не обращает внимания на мои слова, толкает меня в сторону. Я, говорит, слышал, ты связана с ними, знаешь небось, где наша мусульманская молодежь собирается нынче... Жандармы пошли, хотят накрыть их... Беги, говорит, скажи, чтоб расходились. Я не знала, что и делать, даю ему в благодарность портмоне со всеми деньгами — не берет! Не надо, пусть, говорит, будет моим добрым делом. Знаешь, кто это был? Старый городовой Сафа. Вот ведь где сказалось золотое татарское сердце! А мы его и за человека не считали!.. Ну, я наняла извозчика — и к вам...

Они уже дошли до дома Разии. Девушка была очень озабочена.

— На душе, что-то тревожно... Не попался ли кто из товарищей? — проговорила она и, попрощавшись с Урмановым, нажала кнопку звонка.

Не успели ей отпереть двери, как со стороны Екатерининской улицы чуть ли не бегом выскочил Фахри. Он бросился к ним:

— Слышали?.. На перекрестке у базара Беглеца схватили!.. Я шел сзади... В двух местах он так ловко славировал и проскочил заслоны!.. А на третьем перекрестке прямо навстречу ему вышел агент и задержал...

Разия побледнела, подумала: «Чувствовало мое сердце. Так и знала, что поймают...»

Стоять, разговаривать втроем сейчас было небезопасно. Они подали друг другу руки. Расставаясь, девушка несколько раз повторила Дауту:

— Узнай, куда посадили Хабиба. Я пошлю все, что ему нужно... Он же один, у него здесь никого нет!..

XLVI

НАВЕРНОЕ, ШПИК

Был уже час ночи, когда жандармские агенты привели Беглеца в пятый полицейский участок.

Старый хмурый околоточный, дежуривший в участке,

пристально взглянув на арестованного, узнал его сразу. «А, бандит! Поймали-таки, нашатался, хватит!» — позлорадствовал он в душе. И придирчиво стал его допрашивать. Один из агентов вел протокол. Промучив около часа, вывернув и облегчив от содержимого все его карманы, Хабиба отправили в камеру.

Двое полицейских повели его по полутемной, пыльной, замусоренной железной лестнице вниз, по такому же пыльному, замусоренному коридору, привели в предназначенную для политических четвертую камеру.

Это была обычная, как во всех полицейских участках, камера. Углы ее заплесневели, почернели от сырости, стены почти сплошь затянуло паутиной. Черный асфальтовый пол был давно не мыт, не метен, забросан всяким сором, окурками, обрывками бумаги. С одной стороны от двери, обнажив кирпичные бока, выступала старая, облезлая печка. К ней была прислонена обшарпанная метла на длинной палке. С другой стороны стояла вечная спутница заключенных — огромная вонючая деревянная параша. Вдоль обеих стен тянулись голые деревянные нары. В стене напротив виднелось наверху маленькое, забранное железной решеткой окошко.

Когда Хабиба Мансурова втолкнули в камеру, там, в полумраке, на голых нарах, точно солдаты после боя, плотными рядами лежали люди. Шум захлопнутой железной двери, видно, разбудил их. Не успел Хабиб разглядеть, что за народ тут собран, как в дальнем углу нар кто-то приподнял голову. Послышался заспанный голос:

— Кто вы?! А!.. Коллега! Папиросы есть? Пожалуйста, дайте одну. Четыре часа не курил, отобрали, сволочи! Просто умираю!..

На его голос, один за другим, начали поднимать головы и остальные. И точно сговорились, каждый, еще не сдвинувшись с места, еле продирая сонные глаза, просил об одном и том же:

— Папиросы есть, коллега? Дайте хоть на одну затяжку!..

Хабиб Мансуров рассмеялся:

— Эх, если бы были!.. Отобрали те же сволочи!

Арестованные стали рыться у себя по карманам, но тщетно.

Тревожный сон пропал совсем. Вскоре все они уже были на ногах и окружили нового товарища.

— Ну, коллега! По какому взяли делу?..

Со всех сторон посыпались вопросы, колкие слова, шутки: его испытывали, хотели прощупать нового «коллегу»...

За полтора года подпольной жизни Мансуров не раз попадал в такую обстановку. Он быстро освоился и нашел общий язык с товарищами. Арестованные оказались студентами из оренбургского землячества. Их захватили во время тайного политического собрания и всех вместе привели и сунули сюда. Двух курсисток, попавшихся с ними, заперли в соседней, женской камере. Студент, которого звали Гришей, тряхнув густыми длинными волосами, прибавил шутливо:

— Одна из них татарка. Настоящая красавица. Так что вполне можешь закрутить тюремный роман!

Этот словоохотливый юноша с соломенно-желтой шевелюрой, как выяснилось, был из тех же мест, где жил отец Хабиба, старый учитель Гумер, даже знал его. Он недавно побывал в родных краях, повстречался со стариком на базаре. Гриша подробно передал Хабибу разговор с его отцом:

— Дядя Гумер сильно горюет. Поседел весь. Еда, говорит, теперь для меня — не еда и чай — не чай. Единственный, говорит, был сын у меня, и вот уже второй год не шлет ни писем, ни вестей. Вы, молодежь, всегда, говорит, так: окрепнут крылья, и не нужны вам отец с матерью! Обижается очень. Как, говорит, возьму в руки русскую газету, сразу же темнеет в глазах, боюсь, а вдруг что-нибудь страшное про моего сына Хабиба написано... Мать, говорит, вовсе слегла от тоски, уже полтора года не встает, вся извелась от страха: а вдруг сына повесили, вдруг расстреляли... До них дошел слух, что тебя Беглецом прозвали. Это еще больше встревожило стариков...

Увидев, как изменился Хабиб в лице, Гриша замолчал, но ненадолго. Был он, видимо, заядлый курильщик и не успокоился, пока не вытряс все карманы Хабиба, надеясь, что у человека с воли может найтись хотя бы крошка табаку.

— Наскрести бы табачку, а уж бумагу найдем и спички у фараона как-нибудь выудим,— говорил он, обшаривая карманы.

Однако ничего, кроме пыли, оттуда не извлек. Проклиная на чем свет стоит и бога, и царя, и жандармов, и «фараонов» — полицейских, и даже всех их предков, арестованные кутались в свои студенческие шинели и вытягивались один за другим на жестких нарах.

Заснуть им не удалось. С грохотом отворилась тяже-

лая железная дверь, и «фараон» втолкнул в камеру еще одного человека.

Новичок был мал ростом, тщедушен, плохо одет и, верно, сильно продрог. Как вошел, ни на кого не поднял глаз, на лице его не выразилось ни смятения, ни замешательства. Не чувствовалось, чтобы он проявлял любопытство, интерес к чему-либо. Но у всех шевельнулось в душе подозрение... Неизвестно что — походка ли его, выражение глаз или то, как он молча, обхватив руками колени, съежился в углу,— но что-то вызвало у студентов к нему недоверие. Они стали перешептываться:

— Наверное, шпик... шпик...

Земляк Хабиба не стерпел, вскочил со своего места и начал донимать человека насмешливыми расспросами:

— Кто вы?.. Чиновник?.. Или чиновник для особых поручений?..

Тот не отвечал, даже не поднимал глаз. Все так же согнувшись, обхватив руками колени, сидел в своем углу. Это еще больше раззадорило Гришу... Но один из студентов одернул его:

— Да что ты привязался? Почем знать, возможно, и не то совсем!..

Гриша несколько смягчился, но не хотел отступать.

— Кто вы? Почему молчите? — уже прямо спросил он.— Я принял вас за шпика... Решил, что вы подосланы выведывать наши тайны... Если вы честный гражданин, прошу извинить меня!..

Человек по-прежнему не произнес ни слова. И арестованные, потеряв к нему интерес, снова стали укладываться спать.

XLVII

ПИКНИК

Беглец постелил плащ на свободное место между двумя студентами и повалился на нары.

Лежать, конечно, было жестко. Но после отъезда из Яманташа ему было не до сна, а последние двое суток он и вовсе не смыкал глаз, поэтому едва он успел улечься, как уже спал мертвым сном.

Только этот народ так и не дал ему выспаться. Провалявшись, промучившись всю ночь на усеянных клопами и блохами нарах, студенты рано стали подниматься — ругались, пели, колотили в дверь. Беглец проснулся и тоже

встал. И опять у всех была одна забота... Растрепанные, они и не думали причесать волосы, пригладить усы. Глаза у них воспалились, лица от бессонной ночи были помятые,— а они как встали, принялись снова рыться в карманах. Но, конечно, все так же безуспешно.

Тогда они кинулись к двери и стали неистово стучать по ней кулаками.

Отодвинулся заслон дверного окошка, и в нем показалась красная морда разозленного полицейского:

— Тише, господа! Что это за шум?! Над вами квартира господина пристава. Спать им не даете. Еще только шесть часов!.. Придет урочный час, возьмете, что нужно, через вестового!

Выговор не подействовал, студенты застучали еще сильнее: в этом шуме и грохоте они находили выход своему негодованию. Один затянул политическую песню, другие во весь голос подхватили ее. Красномордый полицейский снова подбежал к окошку и кинул на них грозный взгляд:

— Это что значит?! Бунтовать вздумали?.. Вы же сами себя выдаете! Соображаете или нет?..

Петь не перестали. Только вместо недозволенной песни неугомонный Гриша завел густым басом другую:

Налей, налей, товарищ!..

У некоторых оказались хорошие голоса, да и остальные вполне могли поддержать хор. Но от возмущения, от голода, оттого, что нечего было курить, все принялись дико горланить...

К словам этой песни не мог придраться даже полицейский, он лишь пытался утихомирить студентов, покрикивая время от времени:

— Тише! Тише!.. Там квартира господина пристава! Спать им не даете, бунтовщики чертовы!..

Так продолжалось до десяти часов. В одиннадцатом их вывели «на воздух» — в уборную. Потом они, перебрасываясь шутками, опрыскали водой черный асфальтовый пол, подмели его метлой. Пришли двое уголовников, унесли парашу. Тучи, видно, разошлись: на полу, на нарах, пробиваясь сквозь железную решетку в окне, заиграли солнечные лучи. С улицы потянуло свежим воздухом. Настроение у всех поднялось. Теперь для полноты жизни им не хватало лишь одного, да и этого не пришлось долго ждать: ровно в одиннадцать часов массивная дверь распах-

нулась, и в ней с деланной улыбкой на злом лице показался тот самый красномордый полицейский.

— Ах, бунтовщики!.. Ах, чертенята!.. — приговаривал он, внося с помощью двух вестовых множество бумажных пакетов и свертков.

Это была передача студентам с воли — от их товарищей, друзей, возлюбленных.

— Есть папиросы?

— Есть папиросы? — спрашивали все, бросаясь разворачивать свертки.

Было. Все было. Были и папиросы. Был и ситный хлеб, булки, сыр, масло, вареные яйца, колбаса, ветчина... Даже апельсины и шоколад. Было все, чего душа пожелает. Тем временем принесли и чайник. Вода уже остыла, но пить было еще можно. Со спорами, препирательствами раздобыли две кружки — и начался пир.

Для Хабиба Мансурова, которому редко удавалось наедаться досыта, это пришлось весьма кстати. Начав с масла, яиц, он перешел к колбасе, ветчине, потом добрался до шоколада, апельсинов... Ел и пошучивал:

— Только на пикнике однажды и угощался я так, и то три года назад. Здорово это у вас получилось, товарищи!

А ловкий Гриша, пользуясь изобилием яств, успел наладить дружеские отношения с полицейским: угостил его большим куском ветчины, апельсином — и вот на пиру появилось даже вино.

Конечно, то был не пикник: ни леса, ни реки. И все же грязная камера с железной решеткой в окне сейчас как бы превратилась в обыкновенное жилье бедных студентов. Все были сыты, веселы, снова запели «Налей, налей, товарищ!», а там пошли другие песни, за песнями игры, акробатика — и началась пляска...

Однако долго тянуться это не могло. Прошлой ночью их скопом привели сюда потому, что квартира, где накрыли собрание, находилась в районе пятого участка. Теперь каждого отправляли в полицейский участок по месту его жительства.

Здесь же остался один Хабиб Мансуров.

Солнце спряталось — на полу уже не светили веселые лучи. После того как увели всех студентов, комната опять превратилась в грязную, вонючую камеру. Хабиб шагал по асфальтовому полу взад и вперед — от железной двери к противоположной стене...

Внезапно ему пришли на память вчерашние Гришины

слова: в соседией камере две курсистки, одиа из иих татарка... «Не наша ли Разия?» — подумал Хабиб и стал прислушиваться к шагам полицейского. Дождавшись, когда они отдалились в другой коиец коридора, он толкнул заслонку двериого окошка и подал голос в сторону соседней камеры. Там, вероятно, тоже стояли у самых дверей: в ответ ему доиесся звонкий, мелодичиый голос. Не Разия. Но этот голос был знаком Беглецу...

— Что я слышу?! Гэвхар-туташ, ие вы ли? — удивлеино спросил Беглец.

Мелодичиый голос ответил:

— А вы кто? Неужели Хабиб?

— Он самый!

Шаги полицейского приближались. Оба отпрянули от дверей. Когда все стихло, Хабиб опять прижался к окошку:

— Гэвхар, как вы попали сюда?

— А вы как?

Хабиб в нескольких словах рассказал ей о провале тайиого собрания в мектебе и, улыбаясь, добавил:

— А вас, Гэвхар-туташ, поздравляю с первой тюремной ночью. Хорошо ли вам спалось? Целы ли ваши ребра?

— Ой, ие говорите, какой уж тут сон,— жалобио протяиула Гэвхар.— Пыль, грязь. Я не могла найти места голову приклоиить. Еще проституток посадили к нам... Пьяиые, крик, ругаиь...

— Тогда поздравляю еще раз...— сказал Хабиб, выдерживая тот же полушутливый тон.— Теперь поймете положение бедняков, убедитесь воочию...

— Ой, не говорите! Я-то уж как-нибудь, а вот мамочка просто умрет, когда узиает!..

Оиа переждала, пока отойдет флаиировавший по коридору красномордый полицейский, и продолжала:

— Так досадно получилось... и все из-за этой мямли Нииы.

— Каким же это образом?

— Вы зиаете, вчера Булата сослали в Сибирь... Ои передал для меня через свою мать шифроваиное письмо, в котором дал знать, где и что иаходится. Тут надо было еще готовить ему все в дорогу, я одна ие успевала и попросила помочь Нину, теперь так жалею об этом! Говорили, что оиа опытная подпольщица, а оказалась просто мямлей. Забрала там, где надо было, свертки и отнесла прямо к Фахри. Тот принес мне. А мне очень хотелось идти на тайиое собраиие студеитов... Я тоже сделала глупость,

спрятала все под кофточку и, чтобы не опоздать, поспешила на квартиру к Грише... Там и схватили нас... Попались паспорта и адреса... Такая досада! Булат, если услышит, обязательно скажет: раз в жизни поручил дело, и с тем не справилась...

В конце коридора послышались голоса, шаги. Разговор прервался.

Двое вооруженных стражников повели Хабиба Мансурова на допрос в охранку.

XLVIII

А КТО ТВОЙ ПРИЯТЕЛЬ?

Беглец попадался не впервые, и допрос ему был не так страшен. Но недавно пришлось услышать о том, как жестоко пытали двух рабочих-большевиков, взятых по делу об экспроприации: им рвали волосы, щипцами вырывали ногти, рассекали пятки и посыпали раны солью... Рассказывали, что вся тюрьма в знак протеста объявила голодовку. Вообще в последнее время стали поговаривать о самых беспощадных, изощренных истязаниях, которым подвергали арестованных и в тюрьмах, и в охранке, и в жандармерии. «Лишь бы не пытали! Лишь бы не изувечили!..» — думал Хабиб, идя под стражей в охранку. Подошли к старому двухэтажному каменному зданию без всякой вывески, без наружной охраны. Сперва Хабиба провели в какую-то темную глухую каморку, где не на что было даже присесть. Кляня все на свете, он простоял там битых три часа. Наконец его вызвали. Прежде его допрашивал в большом и светлом кабинете сам ротмистр. На этот раз его ввели в тесную комнатку в начале коридора. Там сидел худой, весь высохший жандармский офицер с седой бородкой и нависшими на глаза бровями. Бросив исподлобья быстрый взгляд на Хабиба, он сунул ему анкету. Но не дожидаясь, пока тот заполнит графы «фамилия», «имя», «религия», «национальность», «к какой партии принадлежит», задал внезапный и довольно странный вопрос:

— А почему вы так скоро вернулись из Яманташа? Вы же пробыли там меньше назначенного вашей партией срока? — И, снова исподлобья взглянув на Хабиба, уткнулся в свои бумаги.

Беглец не торопился с ответом. Попросив разрешения

закурить, он достал из кармана папиросу, зажег ее и, провожая взглядом густой клуб дыма, спокойно, как ни в чем не бывало проговорил:

— А что мне, собственно, Ямanташ? Я ездил туда в гости к приятелю.

Жандарм поднял голову и посмотрел так, словно хотел сказать: «Лжешь-то зачем? Ведь мне все известно...»

— А кто твой приятель? Учитель Бадри? Шакир-солдат? Или мулла Захид?

«Проклятье! Значит, обо всем донесли, ничего не упустили!.. Но признаться он меня все равно не заставит!» — сказал себе Хабиб и стал перебирать в памяти события в Ямanташе, стараясь угадать: кто же оказался предателем?

Ямanташ и вся округа его были знакомы Беглецу давно. В деревнях там, как и везде, кроме пяти — десяти кулацких семей, народ жил бедно, земли у крестьян было мало, леса и вовсе не было, а сенокосных угодий приходилось не более чем полсажени на податную душу. Бедняки отдавали свои наделы под посев кулакам, а сами уже с зимы забирали хлеб в долг, договариваясь за бесценок убирать урожай, косить сено,— и так и не успевали летом сделать что-нибудь для себя. Те, кто не находил работы в деревне или у помещиков, шли в город на заводы и фабрики, уезжали на шахты. А середняки, уповая на свой лоскут земли и одну-две лошаденки да на каторжный труд, так и жили, привязанные к деревне, то и дело затевая между собой распри из-за переделов земли, споря о старом и новом «ревизах» [1]. Путей к тому, чтобы изменить такой порядок жизни, они не искали, да и не ведали об этом ничего, а разъяснить было некому. Правда, Мансуров возлагал некоторые надежды на жившего в Ямanташе учителя Бадри, который учился в одной с ним семинарии, только окончил ее раньше. В годы учения он считался весьма «красным». Делают ли что-нибудь такие вот Бадри в татарских деревнях сейчас, когда во многих уголках России разгорается крестьянское движение против помещиков, Мансуров не знал, но верил, что они все же не могут оставаться в стороне, не могут бездействовать. Поэтому он прямо с поезда отправился к прежнему своему приятелю.

Его сразу поразило: учитель, кажется, начинал богатеть! Получив после смерти отца наследство, поставил пятистенный дом, просторную клеть, разбил сад... у него уже были

[1] Ревизский список, или ревизская сказка,— список лиц податного состояния, получивших земельный надел.

две лошади, коровы, овцы, козы, полный двор кур, уток, гусей, прекрасная домашняя утварь. И жена его по старинке пряталась от посторонних мужчин.

Сам Бадри встретил Хабиба приветливо, но с каким-то затаенным страхом. А узнав, к чему клонится дело, даже не стал скрывать, что боится, и прямо заявил:

— Я не хочу лицемерить перед тобой. Ты же видишь, у меня жена, дети. Приходится быть осторожным. Я буду помогать тебе, сделаю все, что смогу, но сам встревать не буду!

Надо сказать, он действительно помогал. Как друга, приехавшего к нему на побывку из города, водил Хабиба с собой по гостям. Поздними вечерами устраивал ему встречи с наиболее сознательными джигитами...

В деревне ходили разные слухи, один другого невероятнее. Говорили, например, будто царь-государь порешил земли соседнего помещика, все его леса да луга отдать им, яманташским крестьянам... Старики верили: может, мол, случиться и такое, очень даже может! Ежели аллах вдохнет в душу царю-государю милосердие, сострадание,— все будет! Хоть далеко, мол, живем от него, а известно ему про нашу бедственную жизнь, жалеет он нас... только вот помещики дорогу к нему заслоняют!.. Среди всех этих толков молодежь улавливала и отзвуки гула бушующих волн революции... Где-то схватываются крестьяне с помещиками... Мужики, вооружившись топорами и вилами, отнимают и распахивают помещичьи земли, рубят леса, опустошают амбары, жгут имения, бросают в огонь самих помещиков со всеми их чадами!.. Подобных слухов становилось все больше и больше.

Деревенские джигиты, с которыми учитель Бадри познакомил Хабиба, начали поговаривать между собой:

— Слышали? Растолкует нам, как землю заполучить...

— Помещика грабить поведет!..

Был среди них один, которого все называли Шакиром-солдатом. Крестьянин-бедняк, он не имел ни кола ни двора, ни пяди земли. Он-то быстро во всем разобрался. Еще в солдатах пришлось ему набраться кое-какого разума. За этот разум даже в дисциплинарном батальоне побывал. Ярость давно захватила его сердце, только не знал он, куда, к кому пристать... А тут как раз познакомился с Беглецом, можно сказать, и не уходил из дома учителя Бадри. Был он неграмотен, но что бы ни рассказывали о земле, о крестьянстве, о жизни — схватывал на лету, все вбирал в себя. Хабиба поражало, что он не уставал расспрашивать и все, что

говорилось, воспринимал не только умом, но и всем сердцем, всем существом.

За несколько дней он вырос удивительно и все заботы о том, кому открыться, кого вовлечь в кружок, взял целиком на себя. По своему усмотрению он организовал первый кружок, и уж так повелось, что место и время встречи всегда назначал он сам и с каждым разом привлекал новых и новых людей. На первое занятие привел четырех человек, на второе — десять, на третье — пятнадцать, и так все больше и больше.

Собираться в самой деревне, в чьей-либо избе или бане, становилось труднее: боялись, что дознается урядник. Нашли иной выход. Вдоль деревни протекала маленькая речка. На противоположном ее берегу раскинулся широкий луг, а местами густо разросся тальник. Вот джигит с уздечкой в руке бродит по лугу, вроде бы разыскивает свою лошадь, потом потихоньку скрывается в тальнике. Другой будто идет за теленком, отбившимся от стада, перейдет по мосткам речушку и попадает туда же. Некоторые засунут за пояс топоры и отправляются рубить тальник на кнутовища... Так, по разным тропкам, дорогам, со всякими уловками и хитростями, сходились люди на лугу в густых зарослях тальника.

Шли сюда забитые вечной нуждой крестьяне с бедных, окраинных улочек деревни, здоровые, дюжие джигиты, которые, выделившись из крепких хозяйств, остались без наделов и, несмотря на все свои старания и трудолюбие, не могли даже самих себя прокормить. Шли люди, которые не хотели сдаваться, на что-то надеялись в душе... Они слушали Беглеца затаив дыхание. К вопросам о земле, о захвате революционным путем помещичьих земель возвращались по многу раз. «Эх, зажили бы мы тогда!..» — говорили они, окрыляясь надеждой. С ними Хабиб Мансуров сам загорался, его даже удивлял тот размах, какой приобретало здесь начатое им дело.

Первые два собрания в тальнике прошли очень хорошо. На третье Шакир-солдат пригласил еще нескольких джигитов из соседней деревни. Они тоже намеревались развернуть широкую деятельность, организовать у себя тайные кружки.

Значит, в работу вовлекутся еще и другие деревни. Сознательные крестьяне объединятся... Вооружатся вилами, топорами и всей массой пойдут на соседа-помещика, захватят его земли, леса, подожгут имение, бросят в огонь самого, чтобы от него и духу не осталось, чтобы весь род, все его племя исчезло навсегда!..

Когда Хабиб Мансуров, полный таких радужных мыслей, проводил третье собрание, подошел дозорный и предупредил, что со стороны деревни кто-то бежит прямо к речке. Шакир-солдат выбрался из тальника, пошел навстречу. Запыхавшись, подбежал парнишка и, еле переводя дыхание, выпалил:

— К учителю пришел урядник!.. Дядя Бадри велел скорее всем расходиться!..

Вмиг разбрелись кто куда. Один принялся рубить тальник, другой, позвякивая уздечкой, отправился искать лошадь...

Беглец вовсе не возвратился в Ямانташ — пошел вдоль по берегу к деревне Юмран.

Позже выяснилось... Вломился урядник к учителю Бадри и поднял крик:

— Студентов к себе жить пустил! А они тайные собрания устраивают, барские амбары хотят сжечь!..

— Нет, он не студент,— защищался Бадри.— Это мой школьный товарищ. Приезжал ко мне в гости и уже уехал...

В Юмране жил молодой мулла, всего год как получивший приход. Звали его Захид. В медресе на него смотрели как на одного из самых «красных» шакирдов. Бадри рассказывал о нем: «Горячая душа! Только не знает, как примкнуть...»

Беглец под видом проезжего шакирда заглянул к этому мулле. Однако первые же слова, которыми мулла встретил его, показались Хабибу не только сомнительными, но даже подозрительными.

— К Бадри урядник пошел,— заявил он.— У него, оказывается, красные живут. Пропадет учитель!..— Глаза, лицо его при этом выражали явный страх.

Хабиб оставил всякую надежду на муллу, даже не стал дожидаться, пока для него поставят самовар...

— Выйду-ка я во двор...— сказал он. И, бросив во дворе кумган, выбрался через гумно, ушел задами из деревни. Было ясно, что здесь на его след набрели бы.

Не задерживаясь больше, он вернулся в город.

...Вопрос жандармского офицера: «Кто твой приятель? Учитель Бадри? Шакир-солдат? Или мулла Захид?» — конечно, был основан на донесении того урядника.

Хабиб прекрасно понимал это. И все же решил не сознаваться. Провозившись с ним часа три, офицер резким движением придвинул к нему протокол и, вскинув нависшие брови, крикнул:

— В таком случае пиши: «Я не желаю отвечать ни на один вопрос». И поставь свою подпись!

Мансуров опять отказался.

— Нет, этого я не напишу. Я могу и сказать и написать все, что мне известно. А говорить то, чего не знаю, обманывать — нет, у меня просто язык не повернется! — сказал он, продолжая дымить папиросой.

Следователь раздраженно нажал кнопку и приказал вошедшему унтер-офицеру:

— Выведите Мансурова!

XLIX

ПРОТИВ НАРКОМАНА КАБИРА

Удивительнее всего было то, что Хабиба повели не в тюрьму, как обычно, а обратно в участок и заперли в ту же камеру.

Камера уже не была пуста: в углу сидели два тощих, желтолицых шакирда. Хабибу в свое время довелось немало поработать среди шакирдов. Он сразу подошел к ним и спросил дружески:

— Как дела, братишки? За что вас посадили?

Обоим имя Хабиба было хорошо знакомо, но видели они его в первый раз. Узнав, кто стоит перед ними, они вначале даже оробели и на вопросы отвечали краснея, коротко, несмело. Однако природная живость взяла верх, да и Хабиб все-таки был свой, татарин,— и скоро они разговорились.

Длинного и по характеру, видимо, довольно горячего шакирда звали Рафиком Альхариси. Он оказался земляком Герея Султана.

— Как услышал я о возвращении Герея с Кавказа,— рассказывал Рафик,— пошел к нему и прямо заявил: «Выводи меня на путь революции!» Он дал мне несколько книжек. Разговаривал со мной охотно. До самого сердца захватил меня. Стал я бывать у него чуть ли не каждый день. Печатал разные бумаги по его просьбе...

Хабиб прервал его:

— А сюда ты как попал?

Шакирд замялся, не зная, признаваться или нет, потом решительно сказал:

— Мы задумали уничтожить наркомана Кабира-хальфэ... Возможно, из-за этого. Точно и сам не знаю.

Рафик Альхариси был шакирдом Вафы-хазрета, самого темного, фанатичного муллы во всем городе. В то время как другие медресе бушевали, волновались, в медресе Вафы-

хазрета все оставалось по-прежнему, там по-прежнему было спокойно. Шакирды других медресе отказались, считая это для себя унизительным, носить на кладбище — ради сбора подаяний — погребальные носилки с покойниками. Шакирды же Вафы-хазрета тут же взялись нести покойницу-старуху из дома Шариф-бая. Когда они возвращались с кладбища, на дороге их встречали шакирды других медресе — били, как в барабаны, в донья старых ведер, осыпали насмешками, пели глумливые песни... Но затхлая жизнь этого медресе, с его схоластикой, богословскими диспутами, текла все так же по-старому.

И вдруг там возник тайный заговор.

Дважды подавали шакирды просьбу о введении новых наук, новой программы, реформ. Кабир-хальфэ распорядился закрыть все окна и запереть двери, поставил сторожей, чтобы ни один шакирд не мог отлучиться из медресе.

Сам он бывал всюду и даже готовился каждый раз к воинственному выступлению, но шакирдам строго запрещал ходить на собрания, на митинги, участвовать в демонстрациях. Если узнавал о нарушении запрета, приказывал виновному раздеться догола и заставлял нещадно сечь его розгами.

И вот Кабир-хальфэ получил по почте письмо. Оно было написано коротко и ясно. А вместо подписей под ним стояли цифры — сорок цифр. В письме говорилось:

«Наркоман Кабир!

Довольно! Ты уже немало попил нашей крови! Довольно! Ты уже и так загубил нашу жизнь схоластикой, забил наши мозги всяким мусором, гнилью! Прошло твое время. Хватит! Перестань подрубать топором под корень нацию. Не тебе учить нас теперь! Самое большее, на что ты способен,— это сторожить пасеку! Даем тебе неделю сроку: уходи из медресе! Мы требуем реформ и ради них готовы пожертвовать собой. Не лежи колодой поперек нашей дороги: оставь медресе! Уходи! Если не послушаешься доброго совета, не исчезнешь за неделю из медресе, мы прикончим тебя! Мы, сорок человек, порешили на этом. Будем тянуть жребий!»

Прочитав письмо, Кабир-хальфэ побелел, прибежал к Вафе-хазрету и, заикаясь, лишь через некоторое время смог более или менее связно выговорить:

— Вот оно как?! Вон она, награда за четыре десятка лет, проведенных мною в медресе! Благодарность за то, что я двадцать лет, не получая ни копейки, живя впроголодь, обучаю шакирдов!..

Он не выдержал и, закрыв лицо руками, заплакал перед самим Вафой-хазретом...

О случившемся тотчас же оповестили баев — попечителей медресе. Срочно собрались на совет.

Поднялся спор: «Как быть?.. Запугивают смертью!.. Сообщить об этом полиции или хранить в тайне?»

В конце концов сообщили.

Тут же явились жандармы и схватили Рафика Альхариси. Он, оказывается, уже был замечен жандармерией в приверженности к красным, с него, видимо, и решили начать распутывать дело.

Так очутился он в участке.

А другой был шакирдом Медресе-и-исламийе, звали его Сахибом-певцом. Его взяли не за политику. Сначала он конфузился немного, но потом откровенно признался:

— Я ведь по глупости своей попал.

— Как это по глупости?

— Так уж. В летние месяцы я много брожу по казахским степям, живу среди башкир. И прилипла ко мне болезнь: полюбил я песни. Сказки полюбил... А гоняясь за песней, попал и в любовную беду. И написал я о своей любви: пусть, думал, будет легенда или рассказ. Назвал: «Башкирка Гюльбикэ». Товарищам понравилось, из рук в руки стали передавать. Я еще раньше научился у Баязита-кари на гектографе печатать. Как-то заперся один в комнате и начал печатать свой рассказ. Тут меня и накрыли. Вот и влип по своей глупости. Подвела меня «Башкирка Гюльбикэ»...— закончил Сахиб.

Он, вероятно, и сам еще не мог разобраться, имеет ли какой-нибудь смысл то, что он написал, или это в самом деле одна лишь глупость, и, красный от смущения, переводил взгляд с Рафика Альхариси на Хабиба, ожидая, что они скажут.

Альхариси, однако, снова перевел разговор на себя.

— Ладно, что будет, то будет,— заявил он шутливо.— По крайней мере, в историю я вошел.

Что-то похожее вертелось и на языке у Сахиба. «Я тоже не буду горевать, если посадят в тюрьму: русскому языку научусь, познаю политику, революцию, буду иметь представление о партиях... Тюрьма станет для меня университетом!» — хотел сказать он, но так и не посмел, только спросил у Хабиба:

— И рукопись и отпечатанную половину моей «Гюльбикэ» забрали жандармы. Вернут или нет?..

Хабиб не успел ответить. Его вызвали наверх.

Оттуда его опять отправили в охранку, где часа четыре подряд изводили вопросами о том же самом Яманташе, учителе Бадри, мулле Захиде, Шакире-солдате.

На этот раз прибавились еще вопросы, на которые особенно нажимали:

— Вместе с Шакиром вернулись в город? Или отдельно?.. Зачем приехал в город Шакир-солдат? Почему он собирается бросать деревню и переезжать в город?.. С чьей помощью намерен устраиваться на завод?

Мансуров держался той же тактики, что и утром: был немногословен, изворачивался, утверждал, что ездил в Яманташ в гости, что ничего больше не знает. И опять с теми же словами жандармский офицер швырнул ему протокол:

— Подпишитесь в том, что отказываетесь отвечать на вопросы!

Хабиб не подписался.

— Я говорю обо всем, что мне известно! Больше я ничего не знаю! — твердил он свое, как и прошлый раз, дымя папиросой.

Офицер приказал отправить его в тюрьму.

Когда Мансурова выводили из охранки, в другие двери с улицы торопливо провели Сахиба-певца в сильно поношенном шакирдском бешмете.

Допрашивал Сахиба тот же жандармский офицер с нависшими бровями. Он сказал:

— Вы попались впервые. Вина ваша невелика, и я могу сегодня же выпустить вас. Только вы должны ответить: кто дал вам печатную доску?

Шакирд побледнел. «Неужели эта злополучная рукопись доведет меня до беды?..» — подумал он. Но истины не открыл. На ломаном русском языке, повторяясь много раз, ответил:

— Никто не давал, я сам сделал. Анархист Егор показывал, его в прошлом году повесили. У него наши татары русскому языку учились.

Жандарм даже растерялся: «Как с ним быть? Вреда от него нет никому. Если его сейчас в тюрьму посадить, только революционером заделается, а не посадишь — может унести с собой какую-нибудь нераскрытую тайну!.. Как быть? Как оберечь таких от пагубного влияния революции?..»

Все же решил пока не выпускать Сахиба, попытаться что-нибудь вытянуть из него.

L

САХИБ-ПЕВЕЦ

Сахиб рос сиротой, в крайней бедности.

Когда ему минуло семь лет, бабушка повела его в мектеб, стоявший возле деревенской мечети, сунула в руки пару яиц и втолкнула его в дверь.

В невероятной тесноте на полу сидело несколько десятков мальчишек, и каждый на свой лад громко твердил урок, а посредине с длинной розгой в руке устроился косоглазый хальфэ.

Когда появился Сахиб, в комнате мгновенно воцарилась тишина. Хальфэ уставился на него:

— Чего тебе надо?

Сахиб оробел — склоиил набок голову и, закусив коиец рукава, молчал.

— Чей ты сын? Учиться пришел? Азбука у тебя есть?

Сахиб вытянул из-под мышки потрепанный «Иманшарт»[1], который дала ему старшая сестра, несмело подошел к хальфэ и протянул ему, как приказала бабушка, принесенные яйца.

Вопрос повторился:

— Чей ты сын?

Ои стоял, ие отвечая, все так же скривив шею и жуя рукав. Ои боялся раскрыть рот, боялся, что скажет совсем не то и хальфэ ожжет его розгой.

Хальфэ еще пристальиее взглянул иа иего и уже сердито крикиул:

— Чего молчишь? Ты что, немой?

От страха Сахиб тихо заплакал.

Тут один мальчишка, захлебываясь, затараторил:

— Я его зиаю, хальфэ-абы: это сын покойиой дочери бабушки Каримэ. У него ии отца, ни матери иет. Сирота ои... Я знаю, у них была комолая коза, ее прошлой осенью волки на Ашкуле задрали... И лачуга у них в сенокос сгорела...

Хальфэ велел Сахибу сесть.

— Бисмиллу[2] знаешь?

Не поворачивая головы и не выпуская изо рта прикушеиного кончика рукава, тот еле слышио пробормотал:

---

[1] «Иманшарт» — элементарное изложение основ ислама, первая киига, по которой начиналось обучение.

[2] Бисмилла — «Во имя аллаха» — начало молитвы.

— Писмерра...
— Не жуй рукав, говори ясно, громко!
Сахиб опять заплакал.
Мальчишки начали смеяться, хальфэ несколько раз вжикнул длинной розгой вправо и влево. Послышалось хныканье.
Те, до которых не дотянулась розга, принялись дразниться:
— А-а! Попало?.. Давеча над нами смеялись... Не будете баловаться!..
После этого хальфэ задал всем урок.
Почесывая рукой голую пятку и глядя на дымок, тянувшийся из щели в печке, Сахиб зубрил:
— Элепсен — э, бисен — бэ, биасын — би... [1]
Так прошел день. Наступили сумерки. Огромный, хромой шакирд, который сменил косого хальфэ, приказал:
— Ложитесь, ложитесь!
Вдруг с полатей полетели на пол подушки, бешметы. В комнате, и без того тесной и душной, нечем стало дышать, поднялась пыль. Все зашумели, загалдели. Кому-то наступили на ногу, порвали чью-то подушку, и по всему мектебу разлетелся пух, бросили в грязь и затоптали чье-то одеяло, у одного мальчишки исчез бешмет... Почти час стоял шум-гам, вихрем кружились пыль и пух. Потом все постепенно стихло, пыль улеглась, когда приотворили дверь, и наконец каждый устроился как мог. Только шесть мальчиков, не найдя себе места, подбежали к шакирду и захныкали:
— А мы где ляжем? Нам места не осталось... Апрай нас вытеснил!
Шакирд взял длинную розгу и пошел по рядам, похлестывая уже засыпавших ребятишек:
— Вытяни ноги! Вытяни ноги!
Опять кто-то заохал, заревел:
— У-у-у... руку больно!.. Ой-ой... ухо!
Когда все улеглись, вытянувшись, нашлось место на полу и для тех шести мальчишек.
Уже задули лампу, а неугомонные голоса канючили со всех сторон:
— Сказку! Сказку!..
После долгих упрашиваний знаменитый на всю школу сказочник, шелудивый Садык, начал рассказывать:

[1] Заучивание букв арабского алфавита, наподобие «аз, буки, веди...».

— В давние-давние времена жил царь. И было у того царя трое сыновей. А младший-то был шелудивый...

Он рассказывал складно, красиво. Сахиб забыл и о косоглазом хальфэ, и о тесноте, и о хромом шакирде, и о длинной, достающей до всех углов розге... Вместе с младшим сыном царя он переплывал семь морей-океанов, обходил семьдесят покоев во дворце царя джиннов, спасал заточенных там прекрасных девушек и вместе с ними перелетал горы Каф, а потом на крыльях неслыханных, невиданных птиц летел в обратный путь.

А наутро проснулся от ожога. Оказывается, все уже встали, а он один валялся на полу...

— Что разлегся? От намаза отлыниваешь? — крикнул шакирд и стегнул его розгой еще раз.

Сахиб не помнил, как вскочил. Многие уже отправились в мечеть совершать утренний намаз. Но вокруг была такая же, как вчера, толчея, такая же сутолока. У одного из-под рук унесли кумган, у другого кумган стоял на месте, но воду из него вылили, кто-то не мог найти свои башмаки... Кричали, ругались... Апрай, разгорячившись, дал по затылку Халькею. Тот со слезами побежал к кази. Апрая растянули тут же на полу и высекли. От этого, однако, в мектебе тише не стало. Здесь ничком, с задранной на спине рубашкой, лежал Апрай, а там в яростном споре схватились другие... Сахиба взяла оторопь — он долго стоял, не в силах сообразить, что ему делать. Потом нацепил на правую ногу валявшийся у двери деревянный башмак с плетеным лыковым носком и побежал, припадая на одну ногу, за остальными мальчишками к протекавшей поблизости реке.

День был морозный, башмак все проваливался в снег, но Сахиб, не замечая ничего, добрался до проруби и, наспех смочив лицо, глаза, повернул обратно с таким видом, будто всерьез сделал омовение для намаза.

В мектебе его встретила полная тишина. Перед сидевшими на полу учениками восседал на трех подушках, положенных одна на другую, мулла — в чалме, в чапане и с розгой в руке. Увидев Сахиба, мулла строго спросил:

— Этот тоже?..

Сахиб так напугался, что не смог ни заплакать, ни сказать ничего, замер у порога.

Кто-то ответил:

— Он сирота... Вчера поступил... Ему обуться не во что...

Мулла не стал наказывать его. Подозвал к себе, расспросил, чей он, откуда, и, сказав: «Будь прилежным! Не балуйся!» — дал ему копейку.

Душа у Сахиба словно бы оттаяла. Уже все вокруг ему казалось иным... на глаза набежали какие-то вовсе не горькие слезы.

И опоздавшие к утреннему намазу мальчишки, лежавшие в ряд с заголенными спинами, и падавшая на них со свистом розга муллы — все будто бы виделось ему во сне...

Сахибу отвели место у порога. С этого дня он остался учиться и жить в мектебе.

После пяти лет, проведенных в школе, когда Сахиб мог уже приступать к обучению по книге «Шархи-Абдулла»[1], потому что он был прилежен, смышлен и потому, что некому было его содержать, мулла благословил его ехать в город, в медресе.

О том, на что жить ему в городе, кто станет кормить его, одевать, никто не задумывался.

Провожая Сахиба из мектеба, мулла рассказал ему, что в свое время так же ушел из дому без копейки и двадцать лет учился в известном медресе, что знаменитый Шакир-ахун был сыном пастуха и хотя тоже был предоставлен самому себе, достиг великого сана, что пророк сам благословил жаждущих знаний рассеяться по земле... Он протянул Сахибу двадцать копеек и сказал:

— Я дал обет выделить тебе из урожая в счет ашурного даяния[2] арбу хлеба. Продам после обмолота и вышлю деньги. Если, на твое счастье, выйдет пудов семь, получишь два рубля пятьдесят копеек.

И вот однажды в дождливый осенний вечер Сахиб ушел из родной деревни...

Тогда ему сравнялось тринадцать лет.

Это был 1898 год.

Город привел Сахиба в ужас. Казалось, огромные каменные дома обрушатся на него, резвые рысаки затопчут копытами, странно похожие друг на друга здания и улицы закружат его и он так и не выберется оттуда, погибнет! Он уже выбился из сил, блуждая по городу в поисках сначала мечети Вафы-хазрета, потом его медресе, когда один из прохожих показал ему на ворота:

— Да вот оно, медресе, здесь!

Сахиб вошел во двор. Перед ним стояли примыкавшие друг к другу несколько кирпичных и два деревянных дома.

[1] «Шархи-Абдулла» — один из учебников богословия.

[2] По мусульманскому законодательству — отчисление десятой части урожая с благотворительной целью.

Тут же лежали нераспиленные бревна, длинная пила. Он растерялся, не зная, куда шагнуть, в какие ткнуться двери. С минарета соседней мечети послышался азан — муэдзин призывал к полуденному намазу. Вдалеке, в церкви или еще где-то, зазвонили в колокола. Набравшись смелости, мальчик подошел к ближнему дому и, войдя в первые попавшиеся двери, оказался на ступеньках, ведущих вниз. Спустившись, он отворил вторые двери и остановился, не понимая, что перед ним... Здесь стоял многоголосый гул, из-за дыма, чада и пара ничего невозможно было разглядеть. Придерживаясь за косяк двери, Сахиб осторожно шагнул вперед. Глаза немного уже притерпелись к чаду, и он увидел, что очутился в подвале, где от самой двери вдоль всей стены тянулось десятка четыре казанов, вмазанных в очаги. В топках жарко пылали дрова. От казанов поднимался густой пар, в некоторых из них, наверное, жарили мясо: там что-то шипело, чадило. В подвале, засучив рукава, суетилось много шакирдов — кто чистил картошку, кто засыпал в казаны лапшу, пробовал с ложки суп, снимал накипь... Сахиб понял, что попал в кухню.

Теперь глаза его совсем привыкли, и он смог разглядеть и гору картофельных очистков на полу, лужи пролитой воды, ужасающую грязь.

В двух углах были сколочены из досок гусульханэ[1]. Несколько шакирдов ждали около них своей очереди. Между двумя гусульханэ, сидя рядом на корточках, держа в руках кумганы, мылись другие шакирды. А за их спинами стояли, обмотав полотенца вокруг шеи, те, кто дожидался кумганов. Кто-то кричал:

— Не давай кумган никому, оставь для меня воду!

— Выходи скорей! Помер, что ли, там? — вопил другой, стуча в дверь гусульханэ...

Один из разопревших, раскрасневшихся возле очага шакирдов всполошился, как на пожаре:

— Жаркое подгорает!.. Мясо горит!.. Ой, пропал я, казан у меня лопнет, лопнет казан!.. Воды, воды, воды!..— И, не найдя под рукой воды, выгреб из топки на пол горящие поленья, начал затаптывать их.

Потом плеснул поданную кем-то воду в казан, но над маслом вдруг вспыхнул огонь... Хорошо еще, что быстро погас.

Казан не лопнул, зато запах горелого масла и дым за-

---

[1] Гусульханэ — комната для совершения ритуального омовения перед намазом.

полнили всю кухню. Едкий дым царапал горло, душил кашлем и еще сильнее, чем прежде, разъедал глаза.

— Эй, что вы там натворили?! Задохнутся же люди!..— кричали, ругаясь, шакирды.

Распахнули настежь окна и двери, в кухню хлынул свежий воздух. Некоторые шакирды, потирая слезящиеся глаза, пошли к выходу. Один из них, наткнувшись на Сахиба, наступил ему на ногу и, вглядываясь в его лицо, с возгласом: «Кто это такой?» — потащил за собой во двор.

Он оказался земляком Сахиба. Ворча на порядки в кухне, шакирд тут же на воздухе умылся из кумгана, который прихватил с собой, и повел Сахиба наверх, в медресе, где жил сам.

Запах гари, дым просочились из кухни и в медресе. Углы помещения были темные от сырости, с подоконников капала вода. В коридоре кто-то, вздымая облака пыли, выколачивал войлочную подстилку...

Однако по сравнению с деревенским мектебом все здесь представлялось Сахибу великолепным, грандиозным!

Он уселся на полу у печки и не сдвинулся с места, пока не вернулись ушедшие в мечеть шакирды. Земляк накормил его оставшейся едой. Мальчик молча поел и спросил:

— Может, мне пойти помыть вашу посуду?

— Иди, коли справишься,— согласился земляк.

В медресе была группа шакирдов, недавно приступивших к изучению учебника «Шархи-Абдулла». На следующий день Сахиб присоединился к ним и стал таким образом шакирдом этого медресе.

LI

В ЗИМНЮЮ СТУЖУ

Прошли годы.

Был один из самых морозных, вьюжных дней зимы. Перед полуденным намазом Закир-хальфэ огласил имена тридцати шакирдов, записавшихся нести на кладбище погребальные носилки с телом умершего вчера Насыр-бая. Среди них был и Сахиб.

...Хлебнуть горя Сахибу пришлось в медресе достаточно. Круглых сирот, подобных ему, там было немало. Да и остальные получали из дому всего пять — десять рублей в год, столько же примерно набирали разной милостыни, на

это и существовали всю зиму. Как говорится, ни еды вдоволь, ни одежды вдосталь.

У Сахиба на всем свете не было ни души, и ждать откуда-либо помощи ему не приходилось, только и оставалось надежды на милостыню в праздники, на похоронах, за чтение корана, да еще иногда перепадали закятные[1] даяния. Жизнь эта вытягивала из него все соки. И он, здоровый прежде, широкогрудый, живой мальчик, желтел и тощал изо дня в день, как и другие шакирды.

С возрастом и с успехами в учении место Сахиба передвинулось подальше от порога. Он начал подрабатывать в летние месяцы, а когда дошел до более почтенной степени в учебе, стал мантыкханом[2], и милостыней его стали одаривать щедрей.

Но вот Сахиб перешел на следующую ступень — приступил к изучению «Гакаида»[3]. Тот год, на счастье шакирдов, был отмечен двумя богатыми похоронами. Шакирды, которые несли останки баев, получили по три целковых каждый...

Теперь же, когда умер Насыр-бай, один из самых крупных богачей прихода, все питали надежду на милостыню не менее солидную. Записалось тридцать человек. Но все остальные тоже собирались на кладбище. Не только шакирды, даже хромой прислужник заявил, что не отстанет от других.

В иных случаях, бывало, кое-кто оставался дома, и в холодные дни у таких занимали одежду. Сегодня же найти что-нибудь теплое стало просто невозможно.

Как-то одна деревенская старушка за то, что Сахиб в поминание усопших ее родных прочел весь коран, прислала ему белые валенки. Но, на беду, кто-то вчера надел их, идя в кухню, промочил насквозь и там же бросил в грязи. Надеть их было уже нельзя. В жестокий буран идти на кладбище за пять-шесть верст от медресе в стоптанных котах, тонком бешмете, в чалме, которая ничуть не греет голову, дело, конечно, не легкое! И не пойти было немыслимо, ведь богатые похороны случаются в несколько лет один раз, а три рубля — не шутка!

Мороз пробирал шакирдов до самых костей. Как на грех, погребение затянулось, хазрет читал коран медленно, дол-

[1] Закят — десятинный сбор, который должен по мусульманскому законоположению передаваться в пользу бедных.

[2] Мантыкхан — изучающий схоластическую богословскую логику.

[3] «Гакаид» — схоластический учебник мусульманской догматики.

го. Многие шакирды готовы были уже сбежать с кладбища, но заставляли себя терпеть лютую стужу.

Сахиб оказался в первой паре среди тех, кто нес погребальные носилки, ему пришлось идти навстречу жгучему ветру. Ичиги, коты, портянки смерзлись, спина заледенела, окоченели ноги и руки. Но если уж он дошел до кладбища, выдержал самое трудное, то ничего не оставалось, как перетерпеть еще несколько минут. И он, повернувшись чуть боком к хлещущему ветру, весь дрожа и пытаясь согреть дыханием кончики пальцев, дождался конца погребения.

Много раз приходилось ему мерзнуть. Он часто простуживался, но выпьет, бывало, на сон грядущий отвару душицы или настоя смородинной пастилы, пропотеет ночь и утром проснется здоровым... Похороны же Насыр-бая закончились не смородинным настоем.

Вернувшись с кладбища, Сахиб напился горячего чаю и свернулся в своем углу — да так свернулся, что встал на ноги лишь через три месяца, чтобы ехать в казахские степи на место муллы, которое выхлопотали для него товарищи. К Сахибу приглашали доктора. Тот предписал перевезти больного в другое, свободное помещение, предупредил, что в условиях медресе его положение ухудшится. Но поскольку денег не было, Сахиб три месяца провалялся в углу одной из тесных каморок медресе.

Многие начали было сомневаться в его выздоровлении, однако казахские степи, их вольный воздух, крепкий кумыс так подействовали на него, что осенью он вернулся неузнаваемо здоровым, румяным...

Только вот разные богословские диспуты, долгие занятия по ночам, весь уклад жизни медресе в первую же зиму вновь подорвали здоровье Сахиба. А тут вдобавок пришло время призываться в солдаты, и они, семеро шакирдов, начали морить себя голодом... Сахиб проходил осмотр три года подряд, и каждый год перед призывом в течение двух месяцев он ел не более двух картофелин и пары баранок в день. Правда, казахский кумыс опять исцелил его, но когда он, бросив медресе Вафы-хазрета, перешел в Медресе-и-исламийе, в его лице, в глазах уже будто угасла какая-то жизненная искра.

Когда бы, кто бы из шакирдов ни обратился к доктору, тот непременно советовал оставить учение, покинуть медресе, жить на свежем воздухе. Однажды Сахиб, сэкономив целковый, тоже пошел к доктору. И услышал совершенно категорическое:

— У вас же малокровие... Ваша жизнь в опасности...

Сахиб ушел, посмеиваясь, ему не на что существовать, нет денег на черный хлеб, а доктор, будто речь шла о самом обычном, велел каждый день утром и вечером есть яйца, пить молоко, сливки... и особенно рекомендовал куриный бульон!

Сахиб часто со смехом рассказывал друзьям об этом визите к врачу. Друзьям же было не до смеха.

Татарские шакирды в большинстве своем были худосочны, малокровны. Однако Сахиб выделялся даже среди них. Казалось, жизнь уже оставила его — губы, глаза пугали своей неподвижностью, от застывшего землистого лица словно веяло могильным холодом. Сам он как будто не вполне осознавал, до чего дошел. А если бы и осознал, что мог бы он поделать?.. Немедленно изменить свою жизнь, начать лечиться? Для этого у него не было возможности. Он мечтал бросить медресе, хотел учиться русскому языку, стать студентом университета. Но он не имел средств, и некому было помочь ему, все его стремления так и оставались втуне. Где только за свою жизнь не побывал Сахиб в поисках работы, заработка, чтобы накопить денег на зимнее учение! На Сакмаре гонял плоты, в Нижнем во время ярмарок служил половым в трактирах, рыл землю на строительстве железной дороги Оренбург — Ташкент. Много лет подряд ходил в казахские степи и на все лето нанимался учить детей, а на заработанные там тридцать — сорок рублей кормился зимой в медресе.

Сейчас перед ним была та же забота. Быть молдаке[1] ему надоело, но ведь ничего другого он не мог выбрать! Он решил весною опять податься к казахам, в степь: там досыта поест мяса, будет пить кумыс, надышится чистым воздухом, поправится. Может быть, заработает денег, чтобы начать учиться русскому языку...

...И вот Сахиба, поглощенного этими планами, арестовали, заподозрив в печатании тайной литературы.

В жандармерии, однако, вскоре сообразили, что ничего нужного для себя из него не выудят. Дважды вызывали его в охранку, учиняли допрос. Сахиб не испугался и не особенно-то пытался что-нибудь скрывать.

— Я,— отвечал он,— поступил не совсем обдуманно. Все расхваливали, приставали, просили дать почитать... Мне и пришло в голову напечатать эту «Башкирку», чтобы раздать товарищам... Ничего другого, одна лишь глупость, недомыслие...

[1] Молдаке — так называли у казахов учителя.

Внутреннее чутье подсказывало угрюмому жандармскому офицеру, что арестованный говорит правду, и он не слишком к нему придирался. Решил, что можно освободить его.

LII

ТАНГАТАРОВА ВЫГНАЛИ

Сахиба выпустили в самый разгар подготовки к литературному вечеру, за устройство которого так горячо взялся исключенный из гимназии Тангатаров. Разумеется, получить разрешение на свое имя Тангатарову не удалось. Надежды его на Фахри тоже не оправдались. Оставались еще Габдрахман и Разия. Девушка увлеклась этой идеей, да ее матушка и слышать ни о чем не хотела.

— Я не посмотрю, что ты моя дочь! Пойду к губернатору и скажу. Николай, скажу, Сергеевич, я против! Он в жизни еще не отвергал моих просьб и в этой не откажет. Не путайся во всякие дела! — заявила она.

Разия знала жесткий, упрямый характер матери, знала и то, что губернатор не откажет ей.

— Не выйдет, Тангатар, подыщем кого-нибудь другого,— отступила она.— Я буду просто помогать вам...

Добывать разрешение поручили Габдрахману, и он, как истый театрал, охотно принялся за дело. Все же остальное, касающееся литературного вечера, взял на себя Тангатаров.

С тех пор как его исключили из гимназии, он, можно сказать, остался на улице.

Мэрьям-бикэ, старая родственница, у которой он воспитывался, потребовала от него:

— Иди! Проси прощения у директора! Примет. А не примет, так я сама поговорю с ним. Он прислушается к моему слову!

Но юноша не сдавался. Старая дворянка затопала на него ногами.

— Пойдешь? Будешь просить прощения? — в ярости трижды спрашивала она.

И все-таки три раза Тангатаров решительно отвечал:

— Нет. Не пойду! Не буду просить прощения!

Старуха резко повернулась и вышла.

— Выгоните этого босяка вон,— приказала она слугам.— И чтобы ноги его больше не было в моем доме: он ослушался меня.

Ахтэм Тангатаров был единственным сыном разорившегося дворянина Тангатарова. Отец его всю жизнь служил земским чиновником. Частенько выпивал. Мать служила в больницах. И оба они в одну ночь умерли от угара. Ахтэму тогда только что исполнилось семь лет. Никого близких, кроме Мэрьям-бикэ, у Ахтэма не было. Старая Мэрьям-бикэ взяла сироту к себе в дом. Она хоть и не очень заботилась о его воспитании, все-таки устроила мальчика в гимназию, выхлопотала стипендию. Вначале у Ахтэма все шло хорошо. И с уроками в гимназии было вполне благополучно. Старуху удручали лишь густо усыпавшие лицо мальчика веснушки. «Ничего подобного у нас в роду нет, в крови нашей нет. Да и не бывает такого у дворян. Откуда взялись эти мужицкие веснушки? Бедняжка, пестренький, точно голубиное яйцо...» — сокрушалась она. Как бы там ни было, до поры до времени жили они в согласии. Но с началом революции юноша стал сбиваться с пути. Его не смущали ни уроки, ни хождения за полночь, ни увещевания бикэ, он только и знал, что бегал на митинги, на демонстрации, читал запрещенную литературу... Как-то у него из-под подушки извлекли книги анархиста Кропоткина. Это было уже верхом неприличия! Старуха долго, внушительно выговаривала ему. Ахтэм выслушал все, опустив голову, однако продолжал поступать по-своему.

Он сам разыскал анархиста Егора. Но того вскоре повесили... Встреч с другими Тангатаров уже не искал. Не собирался также создавать из татар или русских анархистскую группу. А вот книги анархистов читал с упоением и любил при случае выкрикнуть: «Да здравствует Бакунин!»

После исключения из гимназии и изгнания из дома Мэрьям-бикэ Ахтэм нашел два репетиторских места по семь рублей каждое и начал самостоятельное существование. Волосы его были вечно растрепаны, он, кажется, и не расчесывал их как следует. Веснушчатое лицо редко соприкасалось с мылом. Форменные гимназические брюки начали продираться в коленках, вытерлись в локтях рукава куртки. Ахтэм не обращал на это никакого внимания: ведь он решил отречься от дворянства, приблизиться к народу.

Он изучал, собирал исторические материалы о темных, грязных делах, о продажности татарского дворянства. С гневом рассказывал о той черной роли, какую играло оно, помогая монархии Романовых угнетать татар, башкир, казахов, Бухару, подавлять народные восстания, бунты. А стоило ему выпить, и этот гнев переходил в слезы и са-

мобичевание. Как-то, напившись, он схватил Шакира-солдата и, целуя, обнимая его, со слезами в глазах каялся:

— Я виноват перед тобой! Ведь во мне течет та же проклятая дворянская кровь!..

Говорили, что в другой раз возвращался он пьяный из кабака и, увидев проезжавших по мосту золотарей, вскочил на зловонную телегу и в порыве раскаяния тоже обнял и поцеловал возчика.

А вообще-то Ахтэм был хорошим, преданным товарищем. Прочитав «Башкирку Гюльбикэ» Сахиба-певца, он в неистовом восторге кричал:

— Ты талант! Подлинный талант!

Когда начали составлять программу литературного вечера, он все горевал:

— Эх, нет Сахиба... Если бы освободили его поскорей, его рассказ стал бы лучшим номером.

А когда узнал, что Сахиба выпустили, тотчас же побежал к нему:

— Ты выступишь первым... Великолепный будет вечер!..

Сахиб был озадачен: не такой уж он храбрый, чтобы читать рассказ со сцены.

— Вдруг провалюсь, и меня поднимут на смех, позору не оберешься... Как людям в глаза буду смотреть? — робко отговаривался он.

Однако отделаться от Тангатарова было невозможно.

— Не бойся! Это тебе с непривычки кажется страшным! Наконец, не один же ты будешь выступать. Я тоже прочту свое произведение. Габдрахман будет декламировать сатирические стихи «Татарский бай». Еще много там... Тут пугаться нечего. Ты первый талант! — категорически заявил он.

LIII

ПЕРЕД ЛИТЕРАТУРНЫМ ВЕЧЕРОМ

Но прошло много месяцев, пока удалось получить разрешение на литературный вечер. Тангатаров с ног сбился, готовя собрание, на котором должны были прослушать и обсудить программу будущего вечера.

Собраться решили в русско-татарской школе, где вместо выгнанного когда-то за политические взгляды Усмана Азаматова работал теперь учитель Нугман. Когда Тангатаров с Сахибом пробрались в школу, там в одном из классов, уже полном разношерстной публики — гимназистов, приказ-

чиков, шакирдов,— все кипело от шума, разговоров, движения. Обняв друг друга за плечи, ходили, толкаясь среди собравшихся, юные гимназисты и реалисты. На партах, которые занимали чуть не половину класса, сидели, забившись в угол и явно стесняясь, шакирды. Многие из них отпустили волосы и были уже не в бешметах, а в коротких тужурках. Справа от них, как всегда в черном длинном платье, стояла Разия Ширинская и что-то писала мелом на классной доске, заслонявшей окно на улицу. Встряхивая черными короткими волосами и посмеиваясь, она пыталась что-то объяснить, доказать прифранченному, надушенному Фахри и реалисту Акчулпанову, заметно выделявшемуся здесь аристократическим своим обликом. Тут же неподалеку оживленно разговаривали Габдрахман, Джихангир, Наджиб Кемал, Усман. Откуда-то из внутренних комнат появился Урманов и подошел прямо к их группе. Пожав каждому руку, он повернулся к Габдрахману и заговорил с ним:

— Ну, как дела? Хорошо ли живется?

Лицо Габдрахмана расплылось в улыбке.

— Прекрасно, брат! Прекрасно. Все как по маслу идет. Хозяин сдержал слово — жалованья положил пятьдесят рублей. И квартира попалась удачная.

— Как молодая себя чувствует? Здорова Нэфисэ?

— Говорю же, прекрасно! Живем как пара голубков... Только на тебя очень обижается. Куда, говорит, все прежние знакомые подевались? Даут-абы, говорит, тоже бросил нас... Что же ты не покажешься никогда?

— И не спрашивай! Самому неловко... Да ведь дел всяких — выше головы. Минуты свободной найти нельзя... Но как-нибудь в ближайшее же время загляну. Ты ведь на улице Чехова? Передай Нэфисэ привет, скажи, что прошу извинить...

В это время отворилась дверь, и в комнату с легкой улыбкой на упитанном лице вошел высокий, плотный Нигмат-кази. На нем была добротная, на меху шуба, новая шапка. Вслед за ним осторожно, точно здесь ожидало его невесть что, шагнул кураист[1] Вали. В такое смешанное, чужое для него общество он попал впервые. От растерянности у него даже зашумело в голове, потемнело в глазах. Ему казалось, что все, кто был в комнате, уставились на него. И в самом деле, его жгуче-черные блестящие волосы, черные узкие лучистые глаза, широкое смуглое лицо, чуть плоский нос и тонкие, опущенные к краям губ усы сразу

[1] Кураист — тот, кто играет на народном инструменте курае.

привлекли общее внимание. Все залюбовались им. Разия тоже, забыв о своих джигитах, в упор смотрела на Вали. «Какое красивое, оригинальное лицо!» — думала она.

Разговоры прекратились. Это еще больше смутило Вали, удвоило его растерянность. Возможно, он просто повернулся бы и убежал, но Нигмат-кази подхватил его под руку и представил всем:

— Господа, перед вами лучший кураист с берегов Ашказара Вали Батыршин.

На лбу Вали выступили капли холодного пота. Не поднимая глаз, он поскорее уселся на ближайшую к двери парту.

Все нужные люди, уже пришли. Тангатаров выступил немного вперед и объявил, что можно начинать.

Первый же прослушанный номер программы вызвал ожесточенные споры...

Габдрахман продекламировал сатирическое стихотворение «Татарский бай». Написано оно было скверно, но некоторые строчки звучали довольно остро.

В стихотворении рассказывалось, как у одного бая горой раздулся живот. Приходят к баю приказчики, спрашивают: «Ну как? Раздуло?» — и хлопают его по животу. А тут еще на глазах у бая его молоденькая красивая жена целуется с каким-то смазливым джигитом. Бай бесится, замахивается на них, но живот не дает ему двинуться с места. Бай рвется вперед, мучается, но живот знай продолжает расти. А джигит с женой бая все приплясывают и целуются. Разъяренный бай хочет броситься на них... и с воплем просыпается.

Молодежь слушала Габдрахмана, то и дело взрываясь смехом, и шумно выражала свое одобрение. Но тут с резким протестом поднялся Нигмат-кази.

— Не выйдет, мы не можем допустить чтение подобной вещи на литературном вечере... У нас нет своего государства, своего правительства. Нет своей казны. Все культурные нужды нации удовлетворяются лишь благодаря материальной поддержке баев. Мектебы, медресе, благотворительные общества, клубы, газеты и журналы — все-все существует благодаря щедрой заботе баев. Надо быть слепыми, чтобы не видеть этого. Если мы, видя, понимая все, станем на путь оскорбления баев, как делает это Габдрахман в своем произведении, мы совершим большую глупость!..

Нигмат-кази еще и не договорил, а Джихангир, которого уже давно возмущало откровенное отступничество его

бывшего товарища по шакирдскому мятежу, вскочил на ноги. Он начал немного запинаясь, но потом разошелся и дал ему резкую отповедь:

— Ты говоришь о байской заботе, о щедрости. Это же щетинка со свиньи! Не больше. Они пьют народную кровь. На миллионы, добытые по́том рабочих и крестьян, твои баи возводят себе палаты, а для отвода глаз из этих миллионов, как милостыню, протягивают копейки. Какие щедрые! Мне их щедрость претит! Принимать байские подачки — позор! Я говорил и говорю, что своей помощью они пытаются замазать народу глаза...

Спор затянулся. Молодежь, следуя за своими вожаками Тангатаровым и Джихангиром, победила Нигмата-кази. «Татарский бай» Габдрахмана остался в программе вечера.

Затем Акчулпанов прочел свой перевод русского стихотворения «Узник».

Двадцать пять лет сидит узник в Шлиссельбурге. Он был совсем молодым, когда его заточили в крепость. Сейчас он ста́р и сед. И он разговаривает с миром, вопрошает: «Все так же, наверное, светит солнце, все так же прекрасна природа, благоуханны цветы и розы, нежны звонкие трели соловья, но скажите: стал ли свободным человек? Или он по-прежнему стонет, закованный в тяжелые цепи?»

Эта вещь вызывала опасение: не вмешается ли цензура? Сошлись на том, что надо будет прочесть ее непременно, если, конечно, удастся сохранить в программе.

Дальше Тангатарову хотелось послушать рассказ Сахиба. Он был убежден, что «Башкирка Гюльбикэ» займет на вечере первое место. Оттого ему и не терпелось. Но тут опять вмешался Нигмат-кази.

— Пусть Вали споет и сыграет на курае! — настаивал он.

Стосковавшихся по песне и кураю было много. Тангатаров покорился.

Глубоким, грудным голосом Вали спел протяжные башкирские песни: «Ашказар», «Ирэмэль», «Тэфтилэу». Потом заиграл на курае. Трогательные мелодии, рожденные на берегу Агидели и Дёмы, проникая в самое сердце, захватили слушателей. В комнате воцарилась тишина. Люди словно впали в забытье, словно грустные напевы унесли их с собой на широкие башкирские джайляу, на высокие горы Урала, на вольные берега Агидели...

Первым очнулся Усман Азаматов. И, еще не совсем придя в себя, спросил:

— Слушай, Тангатар, ведь ты, кажется, собирался читать «Каменщика»?

Тангатаров отрицательно покачал головой: сейчас, сразу после Вали, он не смог бы выступить:

— Нет. Вот еще есть Камиль...

Камиль, молодой шакирд с очень худым, но привлекательным лицом, спел новые татарские песни. У него был звонкий, чистый голос. Понравились и мелодии, отличавшиеся от старых, тягучих живым своим звучанием.

Тангатаров тем временем подозвал Сахиба и, усадив рядом с собой за парту, разложил перед ним листки его рукописи. Затем обратился к публике:

— Товарищи, у нас есть нечто совершенно неожиданное... Сахиб написал рассказ. Я несколько раз прочел его. Он уже успел побывать в руках жандармов и превратился в явление историческое и политическое...

— Пусть читает!..

— Читай!..— раздалось со всех сторон.

На бледном лице Сахиба появилось выражение полной растерянности. Он встал и, безо всякой нужды перебирая лежавшие перед ним исписанные страницы, робко, виновато улыбнулся.

— Друзья,— вымолвил он каким-то совсем чужим голосом,— как вы посмотрите на то, если я поведу вас вслед за башкирскими песнями в саму башкирскую степь?.. Коли утомитесь или покажется очень длинным, скажете мне. Я не хотел, да вот Ахтэм Тангатаров заставляет...

И, склонившись над партой, Сахиб начал читать свой рассказ.

LIV

«БАШКИРКА ГЮЛЬБИКЭ»

1

«В нашем городе задумали устроить большой татарский концерт. Вдохновителем его был один мирза [1], которому очень хотелось «отатариться», или, как он говорил сам, войти в жизнь татарского народа. Он где-то слышал, что у нас исказили мелодии песен «Ашказар» и «Тэфтилэу», что у башкир, на родине этих песен, они звучат иначе, и решил, каких бы это денег ни стоило, послать человека за подлинным «Ашказаром».

[1] Мирза — дворянин.

По-видимому, я казался ему лучшим среди певцов, которых он слышал; пригласил он меня однажды к себе домой и сказал:

— Послушайте, эфенде! Не смогли бы вы, если располагаете временем, поехать к башкирам Ашказара, чтобы заучить в первозданном виде наши национальные песни?

И добавил, что считает целесообразным, чтобы я взял себе в спутники кого-нибудь из башкирских шакирдов. На поездку обещал дать двадцать пять рублей.

«Что ж,— подумал я,— на готовые денежки куда угодно можно съездить... Если, как ты говоришь, и в самом деле существуют эти песни в первозданном виде, заучу их; если же не удастся... я ведь сам помню много протяжных мелодий, спою что-нибудь попротяжнее да с переливами, вот и получится подлинный национальный «Ашказар»... Все равно здесь нет настоящих знатоков...»

Так я решил поехать к башкирам.

В спутники себе выбрал одного башкирского шакирда, тоже певца и вдобавок смирного, чтобы он плясал под мою дудку.

Был погожий весенний день. Уложили мы с товарищем свои пожитки и отправились на вокзал. Башкир мой что-то разговорился.

— Надо,— говорит,— приятель, деньги расходовать осмотрительно... чтобы хоть половину себе оставить.

— Ладно,— отвечаю ему.

А у самого в голове другое.

Не вышло, однако, по-моему. Я-то надумал распорядиться деньгами самолично: где надобно — тратить, а сколько там потрачено, сколько осталось — отчета товарищу не давать. Времена-то скверные, всякое взбредет в голову.

А тот знай тянет свое.

— Труд у нас у обоих равный,— говорит,— стало быть, и плату поделим пополам.

Что делать, не станешь же пререкаться, себя унижать, пришлось согласиться.

На вокзал мы пришли перед самым отходом поезда. Говорю я своему спутнику:

— Иди занимай место, я побегу билеты брать.

Башкир чуть не взбесился.

— Оставь! — кричит.— Что ты выдумываешь?.. Не нужно никаких билетов... Толковал же я тебе: надо беречь деньги!

Я ведь тоже из тех, кто часто скучает даже по черному

хлебу. Если останутся пять или десять рублей, карман мой они не оттянут.

— Ладно,— согласился я,— не брать так не брать!

Поезд тронулся. Мы вскочили в вагон и, заметив кондуктора, пристроились у двери, чтобы сунуть ему половину стоимости билетов. Вдруг слышу сердитый голос:

— Ваши билеты!

Оборачиваюсь и вижу: нас окружают два кондуктора и контролер с таким злым лицом, точно одним своим взглядом он готов был съесть нас. Товарищ мой, как увидел их, побелел весь, начал заикаться, слова не может вымолвить и невольно пятится, пятится от них.

Снова грозный окрик.

Поглядел я на этих зубани[1] и, не узрев ни в одном из них жалости, начал врать.

— Мы,— говорю,— прибежали на вокзал, когда поезд уже тронулся. Не успели билеты взять. Хотели на следующей станции купить...

— Молчать! — гаркнул тот контролер и приказал сторожить нас, пока не доедем до станции.

Мы так и обмерли.

А на станции повели нас под охраной в жандармскую и взяли штраф — двойную стоимость билетов и еще заставили купить билеты до места нашего следования.

— Вот тебе! — говорю.— Ехали бы с билетами в свое удовольствие... А теперь содрали с нас сколько! И билеты опять-таки заставили купить!

Признаться, огорчился я очень. И все ждал, что спутник мой начнет ныть из-за пропавших этих денег. Где там!

Он только качал головой.

— Ну и лютые попались! У меня душа в пятки ушла... Сейчас, думаю, затащат нас и изобьют. И он, словно заяц, нежданно-негаданно вырвавшийся из капкана, еще, видно, не веря в свое освобождение, все поводил глазами по сторонам.

2

Было время третьего намаза. С минарета мечети доносился голос муэдзина.

Мы, точно клоуны Марти и Тапти, взявшись за руки, вступили в деревню, которая расположилась между дремучим, уходящим вдаль лесом и рекой с бескрайними зелеными лугами. Немного в стороне от деревни паслись табуны

[1] Зубани — черти в преисподней.

коней. Несколько башкирок возле жеребят, стоявших на привязи, доили кобылиц.

— Вот он и есть, Таштамак! — сказал мой спутник.

Деревня была маленькая. Улицы кривые. Домишки построены кое-как. Попадались и такие, что стояли лишь наполовину крытые железом, а другая их половина оставалась вовсе не крытой. Да и кровля-то железная на них уже давно обветшала. Кое-где принимались, видно, красить крыши, но так и бросили на середине, и от дождя железо все поржавело. Многие дома вообще не имели стрех, и окна в них были затянуты брюшиной. Но возле таких некрытых домов можно было увидеть привязанного веревкой к колу прекрасного скакуна, за ним — добрую кибитку с большой зеленой дугой. Заметив удивление на моем лице, спутник мой объяснил:

— Ничего особенного. Башкиры недавно землю продали.

Навстречу нам шли мужчины в дорогих бобровых шапках, хотя день был жаркий и душный.

Мой спутник повторил:

— Ничего особенного. Землю продали!

На улицах встречалось много пьяных. Тут же маленький башкиренок, схватив вареную баранью ляжку, дразнил ею здоровую, сытую собаку. На мальчишке был дорогой атласный камзол, а под камзолом и ниже — ничего, и голова была не покрыта... Неподалеку от него, подле огромной бочки, женщина, одетая в платье из полосатого бухарского шелка, перетапливала в большом казане масло.

— Землю продали,— все так же спокойно сказал мой товарищ.

Встревожив не одну свору собак, преследуемые лаем, мы шли по деревне, и нас провожали долгие, изумленные взгляды женщин и девушек, как будто мы были неведомо какие чудища. Наконец, оставив позади и собак и любопытные взоры, мы дошли до домика на самом краю деревни.

В конце улицы в двух саженях друг от друга вытянулись два столба.

— Это ворота,— заметил мой товарищ.

Ни плетня, ни изгороди не было и в помине.

— Что ж, войдем в ворота! — посмеялись мы и нарочно прошли прямо посередине меж одиноких столбов.

Чуть в глубине стоял домик, и было неясно: из глины он или деревянный да обмазан глиной.

— Вот этот самый дом,— заявил мой товарищ.

А дом был чуть выше человеческого роста, без сеней, без чулана, с выходом прямо в широкую степь. В двух стенах его было прорублено по окошку. Вероятно, дом уже начал крениться — с южной стороны его подпирали бревна... С самого ли начала не было на нем стрехи или стреха была, да хозяйка разобрала ее на топку, бог знает, но на ее месте густо разрослась высокая, чуть не в рост человека, лебеда.

Дом стоял в полном одиночестве. Не было вокруг него ни хлева, ни клети. Не было даже столь обычного в хозяйстве у башкир закоптелого плетневого сарайчика. Зато под одним из окошек стоял великолепный тарантас, прикрытый рогожей, чтобы не рассохся под солнцем. Поверх рогожи лежала хорошая дуга с колокольчиком и дорогой кнут...

Я продолжал недоумевать, спутник же мой на все смотрел спокойно, точно пришел он к себе домой...

Каков, говорят, хозяин, таков и его пес... Однако у башкир собаки, не в пример хозяевам, ничуть не ленивы. С первых же наших шагов в деревне они с такой яростью подступали к нам, что я в ужасе думал: господи, разорвут в клочья, вот сейчас разорвут!.. В этом доме тоже оказался пес, огромный, пятнистый и, судя по крутой спине, основательно отъевшийся на мясе. К счастью, он был на порядочном расстоянии, и, пока заметил нас да пока, зарычав, бросился нам наперерез, мы успели скрыться за дверью.

Оконца в доме не открывались,— видимо, покоробились рамы, и со свету нам показалось, что мы очутились в полном мраке. Когда глаза пообвыкли, мы увидели, что добрую четверть дома занимает печь. Наверное, хозяйка отстряпалась недавно или протопила печку: было очень жарко, от духоты теснило дыхание. Со стороны шестка печь была отгорожена дощатой перегородкой. В этой половине возле двери, на громоздком сундуке лежал на боку новый, но уже потемневший от грязи большой самовар. Тут же были нагромождены чашки и чайник из настоящего фарфора, хорошие длинные ножи. В переднем углу, занимая все пространство между стеной и печкой, стояло саке[1]. На нем валялись несколько грязных подушек и помятый женский наряд из очень дорогого атласа, обшитый на груди золочеными монетами. Мое удивление вызвал тот же ответ:

— Землю продали...

---

[1] **Саке** — широкая, низкая деревянная тахта.

3

Хозяева были дома и приняли нас весьма приветливо.

— Божьи гости... путники...— искренне радовались они нам.

Мы были голоднее голодных волков... Я уже вообще не думал, что сегодня удастся поесть. И вдруг откуда-то появились и сдобный хлеб, и свежий курт[1], и густые сливки. Быстро вскипел и снятый с сундука большой самовар и, шумя, бурля, встал перед нами на саке.

Мы тоже забрались на саке и, поджав ноги, уселись вокруг самовара на сложенных одеялах и подушках и начали уписывать всякие вкусные яства, встречающиеся только у башкир.

Мой спутник, поскольку он сам был башкир, сообразил, вероятно, что из денег, вырученных за землю, в этом доме не осталось ни копейки, и, стараясь не обидеть гостеприимного хозяина, рассказал сперва какую-то притчу, а потом послал с нашими деньгами за кумысом. Тем временем из-за перегородки потянуло запахом вареного мяса.

Так мы и принялись угощать и угощаться мясом да кумысом.

Постепенно выяснилось, что одна из прежних жен хозяина, Каримэ, умерла, с Сафией и еще с одной он разошелся, а на этой, нынешней, женился недавно.

Сам хозяин, Джумагул, был малорослый, тщедушный, довольно-таки неприглядный человечек. В облике его не было ничего башкирского: узкое, заостренное книзу и сильно рябое лицо, бесцветные и еще вдобавок глубоко сидящие глаза, жиденькая, в несколько волосков, бороденка под самым подбородком. Одет он был в камзол и в грязную, рваную рубаху в полоску.

А вот жена была совсем иная. В ее молодом, статном, налитом теле кровь так и играла, движения ее были плавны, будто она не идет, а танцует. Высокая грудь, смеющиеся глаза, призывный, чувственный взгляд — все в ней невольно будоражило кровь. Уж очень она понравилась мне! Можно сказать, как увидел, так и потянулся к ней сердцем, забыл обо всем на свете...

Пока мы пили кумыс, она стояла, прислонившись к печи, и слово за словом разговорилась, даже успела пожаловаться на мужа. Оказывается, когда продали землю, на их долю пришлась тысяча рублей. Джумагул же наперед влез в

---

[1] Курт — творог особого приготовлеиия, национальное кушанье.

долги: за десятирублевую вещь дал татарину-торговцу вексель на тридцать рублей, за тридцатирублевую — на сто, а за сторублевую — на триста, так все и растранжирил. Рассказала, как муж после продажи земли целую неделю пропадал в городе — пьянствовал вместе с другими башкирами из их деревни, как у него выкрали деньги. На руки они не получили и двухсот рублей, а он их тоже пропил. Так и не смогли они построить себе дом, не смогли нанять кого-нибудь, чтобы засеять вспаханное поле. От тысячи рублей остались у них тарантас да атласный бешмет...

На Джумагула сетования жены, кажется, не произвели особого впечатления. Он только сказал:

— Не твое дело, не ворчи!

Беседуя о проданных привольных степях башкир, о хоромах, что воздвигали здесь пришельцы, о том, что мало теперь дойных кобыл и нет кумыса прежней силы, мы стали исподволь подводить разговор к народным песням. Но все еще боялись объявить прямо, что приехали заучивать мелодии, ибо не были уверены, что, услыхав про это, башкир-абзы не схватит сковородник и не выгоиит нас с криком: «Шляются тут неведомо какие люди!» Во всяком случае, мой спутник считал это вполне возможным.

Оттого и пришлось нам долго кружить, пока добрались до цели. Сначала мы держали себя вроде бы как торговые люди, а потом как бывшие шакирды, ныне ставшие хальфэ, ударились в воспоминания, рассказали о вечерах пения, которые устраивали в медресе по четвергам, о замечательном певце и кураисте — башкирском шакирде Вали — и так вплотную подошли к нашей цели.

— Это уж у нас настоящие певцы,— заговорил хозяин.— А один есть, так того три раза в Петербург возили, перед самим царем-государем пел. У него одних медалей сколько! В последний раз там шибко его уговаривали: «Останься, мол, деньгами тебя засыплем», а он и слушать не стал. По башкирам своим, мол, скучаю, по степи да по кумысу. И возвратился домой.

— Ну, а как Петербург, понравился ему?

— Чудеса, говорит!.. Дома, палаты, дворцы такие высокие, глянешь, говорит, на крышу, малахай с головы падает.

— А царя-то видал он?

— Как же не видать!.. Видал, несколько раз видал... Прямо, говорит, к самому царю-государю провели... А дворец, говорит, у царя что большой город. Полы, говорит, точно зеркало, гладкие да блестят. Я, говорит, поскольз-

нулся, чуть башку не разбил. Царскую хозяйку тоже видал... Не передать, говорит, словами, какая она у него расторопная... Когда, говорит, собрался уезжать, пригласили во дворец чай пить... Еды, говорит, там всякой, конфет,— ешь да помирай! Десять, говорит, башкир посади — не осилят... А жена-то царская так вокруг и вьется: «Угощайся, говорит, гость, угощайся!»

— А где он, этот певец?.. Нельзя его сюда пригласить?

— Можно бы, да его в деревне нет... Жены муфтия его к себе позвали, чтобы на курае поиграл. Еще не вернулся от них.

— А других певцов разве нет в деревне?

— Что ты? Как не быть! Если надо, и десять можно найти!

Башкир наш разошелся: оказывается, по соседству с ними жил известный на всю округу певец и кураист Худжабай, за ним и послал он жену. Минуты через две, сильно наклонясь, чтобы не удариться о низкую притолоку, в комнату вошел сам прославленный певец. В руке он держал курай.

Высокий, здоровый, лет сорока — он, конечно, был истинный башкир: широкое темное лоснящееся лицо, большие черные блестящие глаза: черных отвислых усов его, видно, никогда не касалась бритва, так они были густы и длинны; рваный казакин подпоясан серебряным пояском, на голове — дорогая бобровая шапка. И такая у него была осанка, что в нем сразу угадывался потомок тех самых башкир, которые в двенадцатом году вместе с русским войском победно въезжали в Париж!

Худжабай как вошел, так принялся шутить, балагурить, будто знал он нас с самого детства. По-видимому, в здешних местах существовали распри с мишарами. После первых же слов приветствия, первых расспросов Худжабай сразу перешел к пересудам о мишарах.

— Вот,— начал он,— у нас мишары тут есть. Я им прямо в лицо говорю: не умеете, мол, вы угощать. Пойдешь к ним в гости, а они поставят перед тобой большой пирог, обвязанный мочалой, а начинен пирог недоваренным пшеном да соленой водичкой. Вот и говорю им: позову я вас как-нибудь к себе и угощу башкирским пышным пирогом на топленом масле... Язык, говорю, проглотите и поймете, кто они такие, башкиры... Хорошо бы получилось, братцы муллы, а?

Я не знал, что и сказать ему. Но товарищ мой сошелся

с ним очень быстро. Они оба с явным удовольствием поносили и мишар и татар.

Попивая чай со сливками, мы стали исподволь переводить беседу на песни. Правда это была или нет, не берусь судить, но то, что Худжабай рассказывал нам о своем певческом искусстве, не так уже было мало для деревенского башкира.

В Оренбурге он поразил своим пением Ахмед-бая. Кто-то из каргалинских баев прислал ему именное приглашение на свадьбу... А какими осыпали его деньгами в Троицке на кумысных пирах и какие почести воздавали ему в Симбирске пригласившие его туда фабриканты!.. Когда у муфтия было имение на берегу Уршека, его жены и дочери постоянно звали певца играть на курае, русские же богачи увозили его к себе на тройках... И еще, и еще какие-то истории!..

Улучив момент, я прервал Худжабая просьбой спеть нам. Видимо, я поступил не совсем тактично.

— Нет,— отказался он,— такому человеку, как я, не подобает петь ни с того ни с сего.

Мы что-то не поняли смысла его слов,— хорошо, хозяин подоспел на помощь:

— Да ведь ни с того ни с сего оно и не поется... Ежели бы вот смягчить малость горло, тогда бы и можно,— объяснил он.

«Так бы сразу и сказал, беспутный!..» — подумал я и попросил:

— Сходи, Джумагул-агай, принеси корзину пива!

Глубоко запрятанные белесые глаза Джумагула заблестели. Он с нетерпением дожидался, пока я вытаскивал из кармана деньги, и, словно коршун выхватив их из моих рук, выбежал из дома.

Минут через пять он вернулся, волоча за собой корзину пива. Самовар, чайник, чашки, посуда из-под кумыса — все быстро исчезло, вместо них выстроились стаканы и откупоренные бутылки. Вытянув по возможности ноги, мы расположились поудобней на саке и начали пить! Стаканы не переставали звенеть, бутылки переходили из корзины на саке и, вмиг опорожняясь, катились в угол к печке.

Когда было выпито уже немало, Худжабай вдруг спохватился.

— Нехорошо получается,— проговорил он сокрушенно,— сидим, одни пьем. Надо бы меду для баб принести.

— Давно бы сказали! — с готовностью ответил я и дал еще денег.

Вскоре перед нами появились две четверти с медом.

Не напрасно мы потратились на пиво. Все ожило в доме, и вскоре певец наш затянул густым грудным голосом, какой встречается лишь у сынов степи, протяжную башкирскую песню:

Чешуей сверкает уж темноголовый,
Камышами желтый уж ползет.
Молодой бедовый парень чернобровый
Счастья от судьбы напрасно ждет.

Пир продолжался. Все заметно захмелели. Я старался по мере сил не поддаваться опьянению. Хозяйка Гюльбикэ ушла куда-то, но скоро вернулась. Спустя некоторое время появилась некрасивая, чернявая и неопрятно одетая девушка. Она была довольно рослая, вертлявая, живая. Но все в ней было мне не по сердцу. Девушка эта оказалась родной дочерью певца Худжабая, и Гюльбикэ, вероятно, ходила приглашать ее. Потоптавшись у двери, девушка спросила о чем-то Гюльбикэ, сделала вид, что ищет какую-то нужную ей вещь. Гюльбикэ тем временем налила полный стакан меду и протянула ей:

— На, Уразбикэ, попробуй: мед, кажется, очень хорош.

Уразбикэ пододвинулась к печке и, взяв стакан, одним духом опрокинула его. Потом опять прошла к двери, что-то спросила, пошарила по углам, повертелась по комнате, незаметно присела на краешек саке, да так и осталась сидеть.

Худжабай все пел и пел, бутылки переходили из корзины на саке, оттуда катились в угол. Мой товарищ и Джумагул, уже изрядно пьяные, не переставали болтать, хотя разбирать их речь стало уже невозможно. Певец же оказался на редкость крепким, он еще только начинал расходиться. У его дочери и Гюльбикэ от выпитого меда заблестели глаза. Не прошло много времени, как они тоже запели вместе с Худжабаем.

В пении я далеко не профан. Я бывал в русских театрах, на концертах, в опере. И все же... Может быть, хмель ударил мне в голову или же в самом деле это было так, но вдруг все, кого мне приходилось слышать до той поры, исчезли, перестали существовать для меня... Гюльбикэ своим голосом всех низвергла в прах. Я слушал ее и думал в каком-то экстазе: «Кому еще суждено в этом мире владеть столь чудесным даром передавать самую душу мелодии, всю глубину страсти и скорби?..»

Я видел, как она преображалась с каждой новой песней. В ее голосе все явственней слышались трагические ноты, ее лицо, глаза сияли необычайной красотой, и вся она словно светилась каким-то внутренним светом.

4

Хозяин и мой товарищ повалились на саке и захрапели. Мы же продолжали петь и пить. Корзина почти опустела. Я решил, что на этом остановимся, не будем больше брать пива. Но, как на грех, проснулся мой товарищ, поглядел мутными красными глазами на меня, на пустые бутылки и вдруг закричал пьяным голосом:

— Вылакали все пиво!

От его голоса проснулся и хозяин. Он не мог как следует раскрыть глаза, все валился на бок и все же бормотал:

— Хи... бестолковые!.. Что это? Разве так пьют!.. Давай еще пива!.. Пива!

Не дать на пиво было невозможно, да, на беду, не осталось мелочи. «Пропадай все пропадом!..» — сказал я про себя и сунул последний золотой в руку Джумагулу.

Тот даже отрезвел от неожиданности.

— Я человек честный, чужого не возьму,— стал он уверять меня.— Мне и копейки твоей не нужно... Куплю десять бутылок, а остальные деньги верну в целости...

В первый раз он возвратился через несколько минут, а теперь что-то задержался. Прошло чуть ли не полчаса — Джумагул не приходил. Прошел час — он не показывался. Ждем, ждем, а его все нет да нет.

Нас совсем разморило, стало клонить ко сну.

— Пойду-ка погляжу,— промолвила чернявая юркая девица и потихоньку улизнула.

Наш певец Худжабай тоже отправился восвояси, сказав:

— Позовете, когда вернется...

Я начал немного тревожиться. Но вот Гюльбикэ, оставшаяся наедине с нами, поистине удивила меня. Муж ее ушел, пропал где-то, а она сидела так, будто с ее плеч свалился тяжкий груз: ни разу не вспомнила о муже, не высказала никакого беспокойства, интереса к тому, где он, когда вернется... Она медленно тянула оставшийся мед и напевала что-то своим мягким, проникновенным голосом. Мы с ней несколько раз значительно переглянулись. Она улыбнулась, и мне в ее улыбке почудилось что-то обещающее... Разве не почувствует этого сердце джигита и разве джигит

не уступит влечению своего сердца! Я с совершенно искренним видом сказал товарищу:

— Ты зачинщик, из-за тебя ушел хозяин, теперь иди сам. Найди его!

Я знал, конечно, что от этих поисков все равно толку не будет. Но для меня было важно, чтобы он убрался поскорее и мы с Гюльбикэ остались вдвоем.

Едва товарищ мой, покачиваясь и спотыкаясь, побрел из дома, я сначала посетовал на то, что Джумагул не возвращается так долго, а потом перевел разговор на саму Гюльбикэ — выразил восхищение ее пением, сказал, что никогда не слышал такого красивого и музыкального голоса! В ответ она ласково и признательно улыбнулась мне.

Теперь не представляю себе ясно, как все тогда произошло, но отчетливо помню: когда мой товарищ, вернувшись, начал шарить нетвердой рукой по двери, пытаясь схватиться за скобу, красавица Гюльбикэ сидела, положив голову ко мне на грудь, и плачущим голосом о чем-то рассказывала.

Услышав за дверью шорох, она вскочила на ноги, вытерла слезы и, вся неожиданно преобразившись, точно была теперь передо мной совсем другая женщина, пошла отворила дверь.

Товарищ мой и не думал разыскивать Джумагула. Обнаружив в кармане двадцать копеек, пропил их, потом снял с себя ременный пояс и его тоже пропил. Он уже не держался на ногах, губы его растягивала блаженная улыбка.

— Я... я... н-нашел его... н-нашел... п-придет...— лепетал он.

У него, кажется, возникли какие-то подозрения: и без того широко растянутый рот его раздвинулся до ушей, он собирался с силами, чтобы поднять меня на смех... Однако он дошел уже до крайней степени опьянения. В теплом доме его разобрало еще больше, он постоял немного, бормоча и качаясь, потом рухнул ничком на расстеленный под ноги войлок и вскоре огласил комнату густым храпом.

«Давно бы так, дорогой мой»,— сказал я про себя.

5

Жизнь в таких деревнях, как только возвестят с минарета час последней молитвы, сразу замирает. Наступила тишина и в нашем доме, двери замкнулись, огонь погас, товарищ мой спал мертвецким сном. Но мы с Гюльбикэ бодрствовали.

Когда я оглядываюсь на свою жизнь, она представляется мне бесконечной цепью невзгод и лишений. Я путник, у которого на земле нет ничего, кроме заплечного мешка и посоха. Путь мой темен, и мне не на кого опереться. Многие вспоминают свое детство с улыбкой. Я же, обращаясь к дням моего детства, не вижу там ничего, кроме голода, обид и унижений.

Я не знал матери, жил лишенный счастья называться сыном. Мне никогда никто не говорил сердечного, ласкового слова. Возможно, так и тянулась бы моя жизнь до самой могилы, возможно, я до самой смерти своей шел бы в скорбном, полном мрака одиночестве, но, видимо, сама судьба устыдилась своей жестокости. Какой-то мирза послал меня в эту деревню, какой-то непредвиденный случай привел меня в этот дом, и в мою беспросветную жизнь вдруг ворвались минуты яркого, неожиданного счастья.

Да, благодаря непредвиденному случаю, я провел эту ночь в объятиях Гюльбикэ, которую я в первый раз увидел и с первого взгляда полюбил.

Сладостные минуты бегут незаметно. Только что заперли дверь, только что погасили огонь — а ночь уже прошла. Вон над горным кряжем заалело небо, соловей в ракитнике завел любовную песню. Пой, соловей, пой! — я слышу, как страстно звенит твой голос. В нем торжество любви: то алая заря пробудила в твоем сердце любовь, я чувствую это, потому что мое сердце впервые вспыхнуло страстью, чувствую, что это меня встречает вселенная сияющей своей улыбкой.

Соловей, видимо, перелетел дальше — голос его был уже едва слышен. И небо на востоке сплошь занялось светом зари. С минарета донесся призыв муэдзина к утренней молитве. А Гюльбикэ лежала не двигаясь, касаясь моего лица мокрой от слез щекой, и мягким и в то же время полным горечи голосом продолжала рассказывать:

— Вот так всегда... Что ни подвернется ему под руки, все продаст и пропьет. Потом добирается до моих платьев... Если противлюсь, бьет. Я знала, что он не вернет твоих денег... Нарочно не сказала: хоть ночь, думала, проведу спокойно...

Из долгих, горьких излияний Гюльбикэ я узнал всю ее жизнь. Отец ее был богатый башкир, хозяин множества табунов. Гюльбикэ полюбила молодого хальфэ из их деревни, но отец не отдал ее за него, потому что тот был татарин, и продал дочь в младшие жены старику Карман-баю. А там — невыносимо тягостные дни жены-соперницы, пьянство мужа, побои, наконец, смерть Карман-бая, который, возвра-

щаясь пьяный домой, свалился вместе с лошадью и бричкой в какую-то яму. Потом ее выдали замуж за этого ненавистного ей Джумагула, а он пропил все ее добро, скот, дом. И опять побои... Так прошли перед моими глазами картины ее жизни — одна печальнее другой.

Светало. Гюльбикэ пришлось подняться, надо было подоить корову. Я перебрался на постланную для меня постель.

6

Когда мы с товарищем проснулись, было что-то около десяти часов. У Гюльбикэ уже вскипел самовар, испеклись оладьи, в кумган была налита теплая вода, откуда-то появилось и душистое мыло с белоснежным полотенцем.

Я взглянул на Гюльбикэ. В ее лице было что-то новое, глаза искрились радостью пережитой ночи. Мы не торопясь, шутливо разговаривая с ней, умылись и уселись пить чай. Гюльбикэ весело смеялась, была очень оживлена. И за всем этим чувствовалась в ней какая-то решимость, скрытая сила.

Завтрак был так вкусен, что мой товарищ пил, ел и приговаривал:

— Такое угощение можно получить только у родной матери, когда раз в четыре года вернешься к ней на побывку!

А Гюльбикэ все придвигала ко мне густые сливки и говорила:

— Пейте, от них поправляются...— А сама ласково улыбалась.

После чая она сразу разожгла очаг, положила в котел мясо. Собиралась накормить нас обедом.

Однако съесть этот обед нам было не суждено.

Только Гюльбикэ отставила самовар и стала убирать скатерть, как в комнату, качаясь из стороны в сторону, ввалился Джумагул.

На него невозможно было смотреть. Весь грязный, глаза налились кровью, один рукав рубашки оторвался, ни шапки на нем, ни камзола. Хотел было я его порасспросить, да он не пожелал и разговаривать, будто и не случилось ничего, будто и не унес он наш последний золотой.

Позже мы узнали, что он вчера, как вышел, встретился с какими-то дружками и вместе с ними прикончил те деньги. Мало того, пропил еще и шапку с камзолом.

Прошедшая ночь явно вызывала у Джумагула подозрения. Он хоть и не говорил об этом прямо, но все ворчал, придираясь к жене. Потом начал требовать у нее деньги.

— Откуда у меня деньги? — отмахнулась от него Гюльбикэ.

Джумагул выпил большую плошку айрана[1]. Вероятно, айран приободрил его. До сих пор он еще сдерживался, а тут стал похабно ругаться, кричать на жену. Мы оказались в очень трудном положении. Заступиться — значит умножить его подозрения, молчать тоже не позволяла душа. Но Джумагул не стал затягивать дело: не успел я сообразить, что случилось, как он подбежал к Гюльбикэ, сорвал с ее длинных черных кос чулпы[2], втолкнул ее в отгороженную от комнаты кухоньку, повесил на дверь замок и, сунув каким-то суетливым движением ключ в карман, стремглав выбежал на улицу. Исчезли и чулпы и Джумагул!

Мы опешили. Нам представилось, что он побежал к деревенским аксакалам жаловаться, что у его жены ночевали джигиты. Но Гюльбикэ успокоила нас:

— Нет, какое ему дело до аксакалов. Продаст, пропьет мои чулпы и воротится бить меня.— Она усмехнулась: — О таких, видно, говорят: «Запер ворота, когда коня увели!»

7

Мы собрались уходить, Гюльбикэ сквозь щелку в дверях, со слезами в голосе, за что-то благодарила меня, просила, если буду когда в их деревне, непременно зайти к ним, быть их гостем.

— Конечно, конечно! — ответил я ей. И тихо прибавил: — Я тебя вовек не забуду.

Так, попрощавшись сквозь щелку, пожелав ей всяческих благ за доброту, мы оставили этот дом.

Но впереди нас ждала самая большая из всех мирских забот: в карманах у нас не осталось ни копейки. Где взять деньги на обратную дорогу?

Говорят, коли аллах дал душу, даст и толику соображения. Голову мою осенила прекрасная идея. Сюда, на кумыс, должен был приехать сын одного муллы из нашего города. Мы его немного знали. Чуть ли не силой я отправил к нему моего товарища.

— Иди,— говорю,— скажи, что мы ехали из Самары, что ночью у нас вытащили деньги и билеты. Пусть даст на дорогу. Как, мол, возвратимся, тут же и вышлем.

---

[1] Айран — разбавленное водой кислое молоко.

[2] Чулпы — украшения из серебряных монет и цветных камней, которые привязывали к концам кос.

Товарищ мой поворчал, что я вечно норовлю запрячь его, почесал затылок, но не стал отказываться, пошел. Никогда не впадайте в уныние, друзья! Я слышал от старух, что на миру и воробышек не помрет. И в самом деле не помрет: сын муллы дал нам денег — столько, сколько нужно было, чтобы добраться четвертым классом до нашего города. Дело выгорело.

Поезд на станции будто нас только и дожидался. Мы сели и поехали, как настоящие баре.

8

Вся ответственность за поездку лежала на мне, спутника моего, как говорится, не пугали ни дожди, ни ветры. Он, кажется, даже забыл, что мы ездили за песнями, ни разу о них не вспомнил. Но я начинал тревожиться. Еще в вагоне я задавал себе вопрос: «Как все-таки? Удалось уловить что-нибудь или нет?»

Как будто и было что-то, но пока не обрело ясной формы. Оно словно пробивалось сквозь туман, пробивалось с трудом. К тому же мелодии, напетые тем башкиром, переплелись, перепутались со старинными песнями, которые я знал прежде... Однако тревоги мои улеглись быстро. Что, думаю, унывать, у нас и у самих полно протяжных напевов, из них вполне можно сложить что-нибудь долгое, переливчатое — и вот тебе самая подлинная национальная песня!

На городском вокзале мы встретили одного приятеля, у которого водились деньги. Мой башкир, жалуясь на сильную головную боль, выпросил у него двадцать четыре копейки, и мы пошли в сад неподалеку, где была пивная. Товарищ мой принялся за пиво, а я сидел и перебирал в памяти свое песенное богатство. Спросил было у товарища:

— Как там, есть у тебя что-нибудь?

Да он только рукой махнул:

— Ничего не помню, будто во сне все было.— И продолжал мурлыкать что-то себе под нос.

Сад был великолепен. Вокруг на деревьях шелестели листья, переговариваясь о чем-то с тихим ветром. Я растянулся в стороне под раскидистыми ветвями. Говорят, на поэтов нисходит вдохновение, на пророков — откровение. Неведомая сила природы, видно, посещает иногда и нас, бедных певцов.

Я лежал на зеленой траве и старался напеть новый для меня тягучий мотив... Погоди, погоди... надо чуть иначе... вот так... так!.. И когда я уже измучился, тщась уловить

ускользающую от меня мелодию, вдруг словно бы распахнулось небо моих мечтаний, и в дивном сиянии, точно ангел, явившийся с божьим откровением Магомету, передо мной возникла Гюльбикэ, ее ясное лицо, милая ее улыбка...

Я вновь видел ее, молился на нее — нет, не только молился, я вновь пережил прошедшую ночь, услышал будто льющийся с небес бесподобный ее голос и, не помня себя, стал вторить ей, и в ту же минуту все мои сомнения рассеялись: это была та самая мелодия, которую я искал.

Когда я спел ее нашему мирзе, тот пришел в неописуемое изумление.

— Так вот он каков,— сказал он,— настоящий «Ашказар»! А у нас его совсем иначе поют. Благодарю вас за службу.

Концерт теперь вызывал к себе особый интерес. Участники его вдохновились, стали готовиться с истинно национальным жаром.

— Это событие займет большое место в истории татарского мелоса,— многозначительно говорил кто-то.

На следующий день улицы города запестрели афишами. На них крупными буквами было выведено:

«Мы посылали лучших наших певцов в башкирские степи заучить мелодии подлинного «Ашказара», настоящего «Сакмара»...»

Билетов не хватило, из-за недостатка мест очень многие не попали на концерт.

Нам, видимо, удалось передать неподдельную прелесть первозданного напева «Ашказара», публика была вне себя от восторга, мы не успевали подбирать цветы, руки наши устали от пожатий, уши — от похвал.

— Вы прокладываете нашим национальным песням настоящую дорогу! — приветствовали нас некоторые из солидных людей. Кто-то предлагал при дележе даяний выделить нам большую долю[1], кто-то восклицал, что нас надо носить на руках.

Я же оставался безразличным ко всему.

В этом большом, полном множества людей концертном зале я видел мысленным своим взором только трагически прекрасное лицо Гюльбикэ, слышал ее печальную, скорбную песню. И на все поздравления мне хотелось ответить:

---

[1] Здесь, по-видимому, речь идет или о дележе имущества, завещанного кем-либо для раздачи после его смерти, или о распределении собираемого в престольные праздники ашурного налога.

«Нет, вы не хвалите меня, не поздравляйте!.. Не мою песню вы слышали сейчас, а песню Гюльбикэ, женщины трудной судьбы, виновной лишь в том, что она родилась башкиркой, вы слышали ее скорбь...»

Что скажу, чем утешу тебя, сердце мое Гюльбикэ? Я злосчастный певец. Душа моя охвачена тоской. Оттого, наверное, тоскливы и мои песни. Всю мою жизнь я был лишен теплого слова, дружеского взгляда. Встреча с тобой в этой унылой, тяжкой и полной неизбывной печали жизни, встреча с тобой, твоя искренняя ласка, часы, проведенные в твоих горячих объятиях, воскресили мою поникшую душу, окропили целительной влагой раны моего сердца.

Что еще скажу, чем утешу тебя, милая моя Гюльбикэ?

Мы с тобой пасынки судьбы! Судьба безжалостна к нам... Далекое небо не внемлет нашим стенаньям... Пусть та, проведенная нами вместе ночь останется неугасимым светом, вечным утешением в нашей мрачной, горестной жизни».

Так заканчивался рассказ Сахиба.

Когда, дослушав рассказ, поставили на обсуждение вопрос о том, можно ли его читать на литературном вечере или нет, первым поднялся Джихангир.

— В произведении,— сказал он,— ярко описана тяжелая доля наших женщин. Я, разумеется, за то, чтобы читать.

За ним выступил Нигмат-кази, его мнение было несколько иное:

— Рассказ слишком растянут, и чтение его на сцене утомит публику. Это — во-первых. Во-вторых, там какая-то башкирка уподобляется ангелу — вестнику аллаха, являвшемуся Мухаммеду-алейхесселяму [1]. Мы совершим преступление, если допустим подобное кощунство, ибо пробудим в народе легкомыслие по отношению к религии. Вместе с тем в рассказе имеются весьма существенные моменты. Первый: у нас день и ночь разглагольствуют о социализме, об антагонизме между рабочим и капиталистом. Это стало прилипчивой болезнью среди молодежи. Что явление сие есть бессмысленное подражание, дань моде — ясно представил рас-

[1] Алейхесселям — «Мир ему» — выражение, употребляемое после произнесения имени пророков и всегда — после имени Магомета (Мухаммеда).

сказ Сахиба. В нем говорится о башкирах, но если оставим в стороне продажу земли, остальные изображенные черты окажутся присущими всем другим нациям. Джумагул, Худжабай, Гюльбикэ — это не только башкиры, но и мишары, татары, касимовцы, ногаи[1]. Автор, народ которого находится на уровне того же Джумагула, пытается толковать этому народу о социализме, пролетариате, капитале. Да ведь это то же самое, если не хуже, что голодному, не знающему азбуки мужику читать лекцию о философии Ницше или античной трагедии!.. Уместно ли, нет ли — но, поскольку у меня уже наболело на сердце, я не могу не говорить об этом. Второй момент: это вопрос о том, как наши братья башкиры лишаются земель, унаследованных от отцов и дедов, как на вырванных из их рук богатейших землях строят себе палаты какие-то пришельцы, а башкиры обрекаются на голод. О постигшем нашу нацию великом этом бедствии мы не должны забывать ни на минуту. Поэтому я думаю, что рассказ надо прочесть, но не полностью. Следует выбросить сравнение башкирки с ангелом — вестником аллаха и все безнравственные описания, а проблему продажи земли развить. Тогда рассказ станет вполне поучительным.

Усману Азаматову что-то не сиделось — он то входил, то выходил из зала и почти не слышал рассказа.

Как только Нигмат-кази закончил свое слово, Усман приподнялся слегка и заговорил:

— Годится рассказ для чтения на вечере или нет, судить не берусь. Но мне хотелось бы возразить на суждения товарища Нигмата,— начал он. И, поговорив довольно пространно о земельном вопросе, о рабочих, о нациях, невежестве народа, пьянстве, продолжил: — Здесь собрались социалисты или хотя бы старающиеся мыслить в этом духе, и то, что один из них, нисколько не стесняясь, может говорить такие слова, как «башкирские братья», «какие-то пришельцы», поистине поразило меня. Там, в Орловской губернии, Иван и Василий на пятнадцать душ семьи не имеют даже аршина земли. А тут богатый башкир, который и сам не знает, докуда простираются его степи, лежит под деревом да потягивает кумыс, обзаводится четырьмя женами, ведет скотский образ жизни. Башкир или украинец — мы не придаем этому значения. Справедливость не видит между ними различия. Равенство, справедливость опираются лишь на один принцип: кто голоден, кто трудится — тому и принадлежит земля...

[1] Здесь перечислена группа тюркских народностей, некоторые из них относятся к татарам.

Многие встретили слова Усманова аплодисментами. После него еще несколько человек изъявили желание выступить, но, увидев, что хочет говорить Разия-туташ, замолкли. Девушка привстала за партой и тоном, в котором звучала откровенная брезгливость, сказала:

— Вы забираетесь в какие-то дебри! Ангелы ли, башкиры или украинцы — в это незачем вдаваться. Пусть не сердится товарищ Сахиб, именно из товарищеских чувств я не скрываю от него своего мнения: его рассказ написан мастерски, но в нем есть такие места, что я просто краснела. Какие-то попойки, безобразные сцены и какие-то пьяные женщины, которые бросаются в объятия первых встречных мужчин... Когда он читал об этом, меня бросило в краску. Если подобные вещи будут читаться и на вечере, я не смогу участвовать...

Сахиб вскочил, чтобы ответить ей, но в это время, обратив на себя общее внимание, встал молчавший до сих пор башкир Вали, и Сахиб опустился на свое место.

Вали крайне растерялся сначала, голос его был едва слышен, он путался так, что его невозможно было понять. Однако после нескольких фраз заговорил спокойнее.

— Вы,— заявил он,— напрасно спорите: Сахиб-эфенде ничего не выдумал. Он написал все так, как видел. Башкирский шакирд, который ездил вместе с ним в Таштамак заучивать песни, был я. Он ничего не выдумал. И продажа земли, и Джумагулова Гюльбикэ — все так и было. Он правду написал.

Тут поднялся Тангатаров и стал растолковывать кураисту:

— Возможно, все и было так, товарищ Вали... Но дело не в этом, мы хотим решить, годится ли рассказ для чтения на литературном вечере, не слишком ли он длинен. Об этом идет речь.

Шакирд-кураист опять поднялся. На этот раз он был краток.

— Разве? Ладно тогда! — сказал он и так и остался стоять. Казалось, он забыл, что надо сесть, и лишь долгое время спустя опомнился и присел на парту.

Разговор перешел к выступлению Разии-туташ. Обсуждение ее протеста приняло острый характер. Первым взял слово автор рукописи.

— Я,— начал он,— не согласен с Разией-туташ...

Однако Тангатаров, по-видимому, по голосу Сахиба почувствовал, что тот может отступить, и, прервав его, крикнул:

— Он талант! Надо выдвигать, развивать молодые дарования! А вы здесь — точно камни, придавившие прекрасные цветы...

В самый разгар споров из соседней комнаты прибежала маленькая девочка и что-то шепнула Усману на ухо. Дело, вероятно, было спешное: Усман тотчас же встал и вышел. За ним шмыгнул и Акчулпанов.

Разия-туташ уже давно утомилась и сидела здесь только потому, что считала неудобным оставить собрание. Но когда ушли эти двое, она не выдержала и под тем предлогом, что хочет узнать, не пришла ли выпущенная недавно из тюрьмы Гэвхар, родственница Усмана, выскользнула в дверь вслед за Акчулпановым и Усманом.

LV

«ПРОВОКАТОР ИЛИ НЕУСТОЙЧИВЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР?»

Шахвалиев с необыкновенным увлечением старался научить Шакира-солдата играть в шахматы. Он называл фигуры, объяснял, какая из них какие может делать ходы.

Шакир даже слушать его не стал.

— Брось! Не морочь мне пустяками голову! — сказал он и принялся скручивать цигарку.

Шахвалиев продолжал донимать его:

— Мужик ты, не понимаешь, в чем тут смак! Вот видишь: офицер съел твоего коня. Теперь ты безлошадный, а как мужику прожить без лошади? — шутил он, пытаясь раззадорить Шакира.

Шакир курил, наполняя комнату густым махорочным дымом, и задумчиво смотрел на фигуры. Потом вдруг протянул руку к шахматной доске:

— Вон как?.. А нынче ведь дела по-другому повернулись: вот мой солдат — простой пехотинец — сбросил твоего офицера! Еще берешься играть, балаболка! — расхохотался он.— Я, брат, в тюрьмах сиживал. Два года меня там играть учили!

Только он снял с доски офицера, как отворилась дверь и на пороге показался рослый мужчина в круглой татарской шапке, опушенной мехом выдры. Усы у него были подстрижены коротко, зато борода — густая, окладистая. Одет он был в черную, обшитую по вороту мехом суконную шубу, какие носят зажиточные мужики, даже, вернее, пообтесавшиеся, связанные с городом деревенские баи, на

ногах его были высокие, выше колен, пестрые пимы. Он посмотрел, сощурившись, на сидевших за шахматами Шахвалиева и Шакира-солдата и проговорил:

— Фу, это ты, Шахвали, а я и не узнал!..— Он быстро прошел в комнату и, не подав никому руки, опустился в большое глубокое кресло, стоявшее у стола. Потом молча и обстоятельно свернул цигарку, достав из кисета Шакира махорку, и задымил.

Это был Булат. Обычно он не курил, но неожиданная встреча с Шахвалиевым привела его в замешательство: он не мог решить сразу, как ему поступить, какой держаться тактики. Чтобы не выдать напряженного состояния, сладить с нервами, успеть собраться с мыслями, надо было сделать вид, что он чем-то очень занят, и махорка сейчас пришлась как нельзя более кстати. Только он боялся поперхнуться и, втянув в рот дым, тут же клубами выпускал его через нос.

Шахвалиев, однако, разгадал его маневр,— во всяком случае, предположил, что так оно и должно быть. И, вознамерившись тут же, не теряя ни минуты, начать наступление, оставил и шахматы и Шакира, схватил Булата за плечо, взмолился страдальческим, трагическим голосом:

— Булат-абы! Хотя это давняя история, но я считаю своим долгом вернуться к ней. Ведь твой Герей Султан ни с того ни с сего чуть не убил меня, назвал провокатором и бросился на меня с финкой! Я не могу снести такого оскорбления. И терпел до сих пор только из-за твоего отсутствия. Ведь ты поможешь мне, дашь возможность обелиться, Булат-абы! — И взглядом испуганным и просящим уставился в глаза Зарифа.

Булат знал эту историю. Знал, что Герей, подобно ему самому, становился иногда чрезмерно подозрительным, недоверчивым. В данном случае тоже для определенных выводов не было никаких материалов. И все же не мог сказать Шахвалиеву ни слова в его поддержку, хотя для определенных выводов не было никаких улик. Запыхтев еще сильнее цигаркой, Булат оглядел сквозь облако дыма желтые штиблеты Шахвалиева, розовый галстук, торчащие, как у кошки, пышные рыжеватые усы.

— Я все еще не смог ознакомиться с этим делом,— както вскользь проговорил он и, щуря черные глаза, долго вглядывался в широкое лицо Шахвалиева, в его маленькие бегающие глаза. Потом предложил: — Давай сыграем одну партию. Усман, видно, не скоро выберется оттуда.

Руки его машинально передвигали фигуры по доске, а

мозг, словно раскаленным гвоздем, сверлила одна мысль, сердце бередило одно сомнение: «Кто же этот человек?.. Неустойчивый революционер?.. Или, как подозревает Герей Султан, хорошо замаскировавшийся подлый провокатор?.. Ведь говорят, что он прежде вертелся вокруг эсеров. Сейчас представляется боевым солдатом нашего фронта. Кто он? Зачем ездил в Питер? Откуда берет деньги? Кажется, служил приказчиком у Кадыр-бая. И как будто до сих пор не порвал с Юсуфджаном...»

Булат проиграл партию. Шахвалиев в четыре хода объявил ему мат и расхохотался.

К конфузному своему проигрышу Булат отнесся совершенно равнодушно, смех тоже прошел мимо его ушей.

— Ну, теперь будем играть всерьез! — сказал он и нервным движением смахнул с доски все фигуры.

И в новой партии он за несколько ходов потерял ладью и ферзя. Но так было лишь вначале. Потом он завел разговор о том, что невозможно найти редактора для газеты, хотя знал прекрасно, что в настоящее время не то что ходатайствовать, но даже помыслить о газете нельзя.

— Мы,— пояснил он,— раньше всех подали бумагу с просьбой о разрешении. Наше прошение так и лежит, а другие уже начали выпускать газеты, начали отравлять народ смрадным чадом. Попытались мы получить разрешение на имя Усмана, ему тоже отказали. Как ты думаешь, Шах? Не удастся ли получить разрешение на твое имя? — спросил он и снова пристально взглянул в маленькие быстрые глаза Шахвалиева.

Не поняв тайного смысла этого маневра Булата, Шахвалиев задумался над его предложением и сразу потерял несколько важных фигур, да ему сейчас было не до этих фигур: надо было прийти к какому-либо решению, и он, закручивая концы своих пышных усов, категорически заявил:

— Нет, ничего не выйдет, Булат-абы! Ведь они настоящие собаки, эти жандармы: не разрешат, на мое имя тоже не разрешат.— И поставил коня совсем не туда, куда следовало, подвел его под возможный удар.

Булат продвинул пешку и, пользуясь замешательством противника, следующим ходом снял ладьей его коня и объявил шах королю. Шахвалиев вздрогнул, как-то неестественно рассмеялся и, опять отдавшись игре, стал выправлять свою позицию. Он был хороший игрок и вскоре уже начал теснить Булата. Теперь у него отлегло от сердца.

— Вот что, Булат-абы,— вдруг оживленно заговорил он,— Попытка не пытка. Начали — так давай доведем дело

до конца. Если не найдешь в редакторы кого другого, я согласен. Коли ссылка ожидает за газету — пусть меня сошлют, коли тюрьма — пусть меня сажают. За пролетариат, за социализм я готов пожертвовать собой! — И с торжествующим смехом объявил мат королю противника.

Если бы не последние его слова, в душе Булата, возможно, оставались бы какие-то сомнения. Но то ли в голосе Шахвалиева, то ли в выражении его лица он почувствовал искусственность, фальшь, и Булат, который еще недавно мог бы упрекнуть Герея в несдержанности, теперь сразу склонился на его сторону. «Нет, Герей прав в своих подозрениях, подозрения Гэвхар тоже верны, Шахвалиев, несомненно, провокатор»,— решил он твердо. И содрогнулся под тяжестью своей убежденности, у него затряслась нижняя губа, дрогнули пальцы. Рука невольно потянулась к заднему карману, где лежал револьвер. Горячие пальцы расстегнули кобуру, коснулись холодной стали. Что делать?.. Пристрелить на месте?.. Нет, нельзя. Это будет глупостью, безрассудством. А если он уйдет, сейчас же выдаст всех!.. Что делать?..

Но в тот самый момент, когда Булат уже готов был выхватить из кармана револьвер, отворилась дверь и вошел Усман.

— Уф!..— вздохнул Булат и вскочил на ноги. У него словно гора свалилась с плеч, такое он почувствовал вдруг облегчение.

Казалось, он задыхался в тяжелом, бредовом сне, и вот кто-то избавил его от давящего кошмара, и он смог вздохнуть свободно, глубоко...

Глядя прямо в глаза Шахвалиеву, Булат сказал:

— Ты иди домой. Как бы нам всем вместе не попасться!

Шахвалиев растерялся, хотел что-то возразить, но, чтобы не выдать своего состояния, начал тут же одеваться. Булат мигнул солдату, который сидел, перелистывая альбом: дал ему понять, что надо следовать за Шахвалиевым, не упускать его из виду.

Шакир широко, по-мужицки зевнул, потянулся:

— О-ох, даже кости заныли. Уж ночь скоро, пора и мне трогаться. Шах, браток, покуда я до своей квартиры добираюсь, душа с телом расстается, дай я нынче у тебя заночую?

Того точно отравленной стрелой кольнули. Как змея, которой наступили на хвост, он на секунду замер. Но в следующее же мгновение, хохотнув и проведя руками по пышным усам, ответил:

— Эх, мужик... Не соображаешь ничего, мало ли что у холостого человека на уме. Ты же можешь здорово мне помешать! — И он шлепнул Шакира по спине. Но отказывать не стал, взял его под руку и вышел с ним вместе.

Булат проводил их взглядом и, повернувшись к Усманову, спросил не без колкости:

— Послушай, Усман, чего ради этот тип трется возле тебя?

Пока медлительный Усман мялся с ответом, опять распахнулась дверь. Вошел Акчулпанов. Он давно не видел Булата, после побега его из ссылки и недавнего возвращения в город не раз искал с ним встречи, но все не везло. На тонком чернобровом лице Акчулпанова заиграла дружеская улыбка, он обеими руками сжал Булату руки.

— Вот счастье! Не ожидал увидеть тебя здесь! — воскликнул он по-татарски. И сразу перешел на русскую речь: — Я уже целую неделю ловлю товарищей и привожу их сюда. Необходимо, чтобы ты им все разъяснил!.. Я сейчас приду,— сказал он и, выйдя в соседнюю комнату, возвратился вместе с Джихангиром.

Хайдар Акчулпанов татарским языком владел неважно, причем у него было свое правило: не путать два языка, говорить или на чисто татарском, или же на русском. С татарами он, разумеется, старался разговаривать только по-татарски, но он неправильно произносил горловые согласные, и поскольку, как большинство татарских дворян, получил русское воспитание и привык думать по-русски, по-русски же строил и татарские фразы. Несмотря на это, он неизменно начинал говорить на татарском, хотя очень скоро переходил на русскую речь. Вот и сейчас, старательно выговаривая слова, он сказал:

— Я говорю... Так нельзя, я говорю... Они не послушались... Вот ты им разъясни!

Но когда Булат не присоединился к его мнению и разгорелся спор, Хайдар, сам того не замечая, заговорил по-русски:

— Да ты прочти! Прочти собственными глазами. Здесь же нет ничего другого... Только солдатское обучение военному делу. Кто же мы? Партия, которая ведет работу во имя определенной идеи? Или вооруженная армия?

В глазах Булата мелькнула улыбка, однако ответ был решителен и резок:

— Постой, Хайдар. К чему такое противопоставление? Мы — партия! Наша партия — армия. Армия, вооруженная марксизмом. Армия, борющаяся за свержение капитализма

и построение социализма! Эта борьба не может ограничиваться одними лишь речами, агитацией, пропагандой. В руках у нашего врага оружие. Мы тоже должны вооружаться, вооружать весь пролетариат. Надо доставать оружие. Надо производить оружие. Надо научиться владеть оружием. Это путь нашей партии в борьбе против самодержавия... Ты что, отвергаешь решения Третьего съезда? Или... вроде меньшевиков...

Хайдар распалился:

— Я не отвергаю. Одно дело — решение съезда, другое — распространение в виде прокламации отдельной статьи. Ты не путай...

Разговор принял полемический характер. В комнате поднялся шум.

Джихангир был здесь новым человеком. Он чувствовал себя в этой среде несколько стесненно: уйти казалось неудобным, оставаться — тоже... Растерянный, он стоял, не зная куда деться. Но вот к нему повернулся весь раскрасневшийся от спора Хайдар и тихо сказал по-татарски:

— Товарищ Джихангир, дай-ка мне ту бумагу, которую оставил Герей!

Шакирд вздрогнул, смутился, однако сумел взять себя в руки и, вынув из внутреннего кармана два листка, протянул их Булату:

— Вот татарский текст... А это — русский, с которого мы переводили... Его нам дал товарищ Герей Султан. Он сам две ночи с нами просидел, каждое слово нам разжевывал, а мы переводили. Сахиб тоже участвовал, мы с ним вдвоем писали, вместе и печатать собирались. Герей велел сделать двести экземпляров. Когда его выслали, мы посоветовались: печатать или не надо, и вот товарищ Хайдар твердо заявил, что не надо... Мы не знали, что нам делать...— закончил он свое объяснение.

В медресе, среди своих товарищей, шакирдов и хальфэ, ему ничего не стоило говорить хоть три часа подряд, но тут перед ним были малознакомые люди, и пока он довел до конца свою немудреную речь, у него даже пот на лбу выступил. «А все же прилично получилось...» — похвалил он сам себя.

Булат начал читать:

— «Позапрошлой ночью группа в 70 человек напала на Рижскую центральную тюрьму, перерезала телефонные линии и посредством веревочных лестниц влезла в тюремный двор, где после жаркой стычки было убито двое тюремных сторожей и трое

тяжело ранено. Манифестанты освободили тогда двоих политических, которые находились под военным судом и ждали смертного приговора. Во время преследования манифестантов, которые успели скрыться, за исключением двух, подвергшихся аресту, был убит один агент и ранено несколько полицейских».

Итак, дела подвигаются все же вперед! Вооружение, несмотря на неимоверные, не поддающиеся никакому описанию трудности, все же прогрессирует.

— Дай-ка перевод,— попросил Булат и стал сличать.— Сносно, вполне сносно,— сказал он,— только вот тут исправьте, вот здесь тоже,— он показал на отдельные места.— И если возможно, напечатайте сегодня же. Я был уверен, что листовки давно готовы и распространены...

Для Джихангира трудность составляло лишь начало. Теперь он освоился и уже почти как равный обратился к Булату:

— Тут еще есть статья. Мы начали переводить, а вот дальше не можем. Помощь нужна!..

Булат быстро просмотрел листовку и сказал Хайдару:

— Акчулпан, помоги им. Растолкуй содержание, а татарские слова они сами подберут...

Реалист, у которого и без того все внутри клокотало, вспыхнул, отбросил бумагу и запальчиво крикнул:

— Не выйдет! Я против этой статьи. И не могу принимать участие в переводе и распространении того, чего сам не приемлю!

Этот спор уже надоел Зарифу Булату. Его возмутило, что Хайдар с таким упрямством отшвырнул статью.

— То есть как это «не выйдет»? — Он зло взглянул на Акчулпанова.— Ты знаешь, что эту вещь и на русском языке не удалось опубликовать в печати?.. Ее размножили на гектографе. А сделать оттиски на татарском партийный комитет дал указание еще до того, как меня выслали... Возьми сейчас же, и чтобы сегодня работа была закончена!

Хайдар побагровел.

— Не выйдет! Тебе не удастся заставить меня работать над тем, с чем я не согласен.

— Не я приказываю, приказывает организация,— отрезал Булат.— Понимаешь? Организация приказывает. И ты должен подчиниться. К этому тебя обязывает партийная дисциплина!

— Как это обязывает? Возможна ли такая слепая дисциплина? Разве я машина, автомат?

— Ты не машина. Не автомат. Ты член партии. И решения организации выполнять обязан. Иначе грош тебе цена! Член партии, не признающий дисциплины, не может оставаться в партии. Таким нет места в рядах социал-демократии. Тебя могут завтра же выкинуть! Знай это!

Чтобы разрядить обострившуюся обстановку, Усман взял в руки статью и стал читать ее.

Хайдар слушал с ехидной усмешкой. Особенно возражал он против следующего места:

«...Проповедники должны давать каждому отряду краткие и простейшие рецепты бомб, элементарнейший рассказ о всем типе работ, а затем предоставлять всю деятельность им самим. Отряды должны тотчас же начать военное обучение на немедленных операциях, тотчас же. Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие — нападение на банк для конфискации средств для восстания, третьи — маневр или снятие планов и т. д. Но обязательно сейчас же начинать учиться на деле: не бойтесь этих пробных нападений. Они могут, конечно, выродиться в крайность, но это беда завтрашнего дня, а сегодня беда в нашей косности, в нашем доктринерстве, ученой неподвижности, старческой боязни инициативы. Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых: десятки жертв окупятся с лихвой тем, что дадут сотни опытных борцов, которые завтра поведут за собой сотни тысяч...»

Булат разъяснил:

— Первая из статей была напечатана в восемнадцатом номере «Пролетария» за тысяча девятьсот пятый год. Напечатана без подписи Ленина. Герей договорился в партийном комитете о переводе. Вот эта, вторая, должно быть, написана в конце октября того же года. Ленин не передавал ее в печать, а послал в виде письма в Боевой комитет при Петербургском комитете. Боевики всюду приняли ее как руководящую инструкцию, распространили в списках. Герей как увидел ее у русских товарищей, сразу поднял вопрос о необходимости перевода ее на татарский язык. Партийный комитет принял решение. Это письмо давно уже следовало пропагандировать в массах, передать в отряды татарских боевиков. А ты, Хайдар, саботируешь решение организации. Мы, несмотря на все поражения в пятом году, продолжаем готовиться к вооруженному восстанию в России, ты же подставляешь ножку...

Хайдар уже несколько успокоился. Ему вовсе не хотелось, чтобы о нем ставили вопрос на партийном комитете, и он осипшим голосом тихо проговорил:

— Ты, Булат, не поднимай об этом разговора, я ведь человек дисциплины. Сегодня же ночью посидим с Джихангиром, переведем...

Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент появилась оживленная, благоухающая Разия-туташ. Она вошла с таким видом, будто здесь только о ней и думали, только ее и хотели видеть, и с радостным смехом, с радостным возгласом кинулась к Булату и затараторила по-русски:

— Вот неожиданное счастье! Зарифчик! Ты ли это?

Булат, однако,— то ли устал он, то ли вообще стал сдержаннее или была еще какая-то причина,— не загорелся ни счастьем, ни радостью, только чуть улыбнулся, протянул руку. Да и пожатие его уже не было таким крепким, как прежде. Вдобавок во взгляде Зарифа Разия увидела что-то новое: не то затаенное презрение, не то насмешку... Это совсем не понравилось ей: значит, Зариф не видит в ней своего человека, сторонится ее... Но ведь когда-то все было иначе!..

То было перед окончанием гимназии, когда Разия, подражая другим, считая это модным, ходила иногда на политические собрания, разучивала вместе со всеми «Марсельезу»... Тогда она и встретила Булата. До любви, до серьезного чувства дело не дошло, но очень интересный в то время, красивый, юный Зариф пробудил в сердце девушки чувство, похожее на влюбленность... да и сам едва не вспыхнул тем же пламенем... Однажды молодежь выбралась за Волгу на пикник, и Разии вдруг захотелось дать волю своему сердцу: целый день она не отходила от Булата, шутила, кокетничала с ним, бросала в него чем-нибудь и убегала, заставляя догонять себя, осыпала его охапками цветов. То было время, когда юная кровь кипела, бурлила в Булате, и он, взбудораженный шаловливым кокетством девушки, даже сказал ей, грозя пальцем:

— Смотри, Разия! С огнем шутишь!

А та еще пуще кружила Зарифу голову и, бросив пучок цветов, вырванных с корнями, с землей, прямо ему в лицо, помчалась к лесу. Возможно, без умысла, случайно, она забралась в кустарник — хотела спрятаться... но так и не успела. Булат в несколько прыжков догнал Разию, обхватил ее дрожащий стан и, несмотря на сопротивление — сначала наигранное, потом уже возмущенное, притянул ее к себе и прижался в долгом поцелуе к ее полным, горячим губам.

Всерьез то было или в шутку, Зариф так и не понял, но девушка тогда убежала от него в страшном гневе. Больше она к нему в тот день не подходила и на обратном пути шла притихшая, держалась очень скромно, разговаривала с другими, только не с ним. Два дня ходила с оскорбленным видом, на третий — снова сама подошла к нему.

— Я очень обижена на вас. В жизни не прощу! — выговаривала она Зарифу, а у самой глаза, лицо светились улыбкой.

Возвратившись домой после этого объяснения, она долго сидела у окна в раздумье. Образ Булата не покидал ее. «Что поделаешь... конечно, он вел себя недопустимо...— говорила она себе,— но поцелуй его был так сладок...»

В душе Разия еще долго чувствовала влечение к Булату, невольно шла за ним и в политической деятельности. Однако появление Гэвхар, ее откровенное расположение к Булату, их сближение разрушили мечты Разии. Она начала жаловаться на неприязненное отношение к ней со стороны Герея, потом как-то незаметно переметнулась в лагерь Даута... И не так уж много времени прошло, как она стала при всяком удобном случае говорить о неких принципиальных разногласиях ее с Булатом...

Но вот за последнее время имя Булата приобрело широкую популярность. То рассказывали, что Булата схватили в воскресном столкновении у заводских ворот, что он якобы пытался бежать и его пристрелили... То говорили, что Булата засадили в тюрьму... Много толков вокруг его имени вызвала ссылка его в Сибирь. А в последние дни только и разговоров было о том, как в тайге, неподалеку от Енисея, отряд боевиков отбил у конвоя двадцать восемь ссыльных, среди которых оказался и Булат... Точно сказку, из уст в уста передавали в городе слух о том, что Булат едва не попался в Бугульме, что спасся он только благодаря мужеству Шакира-солдата. Рассказы о том, как лунной ночью перебирались они через Волгу по смерзающимся льдинам, захватили всю молодежь. Волна легенд, где воедино смешались правда и вымысел, подхватила и Разию. Искра, тлевшая в ее сердце, вспыхнула вновь. Душой девушки овладело желание во что бы то ни стало встретиться с Булатом.

Хотя Разия и знала о его тайном возвращении в город, все же она никак не предполагала встретить его сегодня здесь, в мектебе. Когда, сбежав с обсуждения рассказа Сахиба-певца «Башкирка Гюльбикэ», она торопилась сюда, в эту комнату, то думала не о Булате, а об освобожденной

из тюрьмы Гэвхар, которую ей очень хотелось повидать. Заметив в растворенную дверь богато одетого крестьянина с бородой, с коротко подстриженными усами, Разия на секунду задержалась у порога, но тут же узнала Булата и кинулась к нему с такой радостью, словно эта встреча обещала вернуть те давние часы бездумного их влечения друг к другу...

Однако вышло вовсе не так, как бы она хотела. Булат как ни в чем не бывало продолжал спор, начатый до ее прихода... Да за кого он ее принимает?! Что она — гимназисточка, прибежавшая к нему с поручением?.. Он же сам однажды проговорился, сказал ей: «Эх, Разия, до чего же ты хороша! Было бы время, весь вечер провел бы с тобой!..» А теперь? Что он, впервые видит Акчулпанова и Усмана?! Ведь даже после того, как она уселась рядом с ним, он тянет и тянет все то же словопрение...

Девушка почувствовала себя глубоко оскорбленной. Ее задело, что Булат при ее появлении не ринулся к ней, не перевел, позабыв обо всем на свете, разговор на нее, не проявил к ней никакого интереса!.. Она вся вспыхнула от негодования, потом лицо ее побледнело. Она уже собиралась уйти, но тут у нее как-то само собой вырвалось:

— Боже мой, все те же бесконечные споры!.. Я так соскучилась по Булату! А он не может уделить мне ни одной минуты...— И она вдруг рассмеялась громким, взволнованным смехом, возбужденная собственной смелостью, бросила кокетливо: — Ну, вашим спорам конца не будет!.. — и за руку увлекла Булата в противоположный угол комнаты.

Большие, красивые глаза ее искрились улыбкой.

— Зарифчик! У меня личная к тебе просьба...— сказала она дружески.— В понедельник у меня дома собрание. Ты придешь, конечно?..

Булат сжал ее руку и голосом, в тоне которого проскальзывала отчужденность, ответил:

— О, будь у меня время, я бы пришел непременно, но — чтобы посидеть с тобой наедине. А эти твои сборища... ты знаешь, я их не люблю! — Видимо желая смягчить последние слова, он улыбнулся.

Разия сразу опять расстроилась, с укоризной взглянула на него.

— Вот несносный человек. Не знает, а упрямится. Это не такое собрание, совершенно другое! Придешь, обязательно придешь! Если нет, обижусь навеки! — заявила она и направилась к дверям.

Булат нагнал ее и, обхватив одной рукой за талию, сдержанно сказал:

— Постой, Разия... В таком случае напомнишь мне еще раз через Усмана. Если будет малейшая возможность, постараюсь зайти! — И проводил ее, обрадованную, до передней.

Табачный дым повис в комнате густым сизым облаком. Людей набиралось сюда все больше. После Акчулпанова и Джихангира, зашедших сюда по делам подпольной печати, заглянул Урманов. Потом с шумом, препираясь с кем-то, ввалился Нигмат-кази. В душе Булата нарастало раздражение. Он вспомнил слова Герея Султана об Усмане и Акчулпанове... Нет, так продолжаться не может. Необходимо сегодня или завтра основательно и в последний раз поговорить! Видишь ли, они не находят времени вести в рабочей слободе татарские кружки. Люди с ног сбиваются, разыскивая их для выступления среди татар. Там, где они нужны, среди масс, их нет. Зато здесь они собирают всякую пестрядину и шьют лоскутное одеяло.... Что это за сборище? Тут и дочь Ширинских, дворянка Разия... И анархист Тангатаров, и народник Урманов, и монархист Нигмат-кази...— все налицо! Кого тут не хватает? Остается еще позвать Кадырбая с Гали-хазретом и провозгласить на весь мир: «Господа! Классов нет, борьбы нет. Партий нет. Все правоверные мусульмане — баи и бедняки, помещики и крестьяне, рабочие и фабриканты — объединились в едином существе, в едином духе!..»

С Акчулпанова не велик спрос, но что творится с Усманом?.. Ведь человек теряет партийное лицо! У него находится время, чтобы добывать тайным путем паспорт байскому сынку Юсуфджану, а когда к нему обращается с чем-нибудь батрак Шакир-солдат, он отнекивается, ссылаясь на занятость. Куда же ведут корни всех этих поступков? Нет, прав был Герей Султан! Он заявил без всяких обиняков: «Эти двое — не наши люди. Они меньшевики. Они путаются в ногах у партии, мешают борьбе пролетариата. Надо изгнать их из организации!» Так прямо и предложил. Поставил вопрос о них на партийном комитете. Но эти двое в своих выступлениях никогда не заявляли, что они-де меньшевики... И при требовательном подходе к ним они подчиняются дисциплине... Поэтому вопрос об их исключении остался нерешенным. Однако решать придется! Следует разобраться в этой путанице, выделить всех надежных, а чуждых — отсечь.

Здороваясь, разговаривая с окружавшими его людьми,

рассказывая эпизоды своего побега, Зариф Булат не переставал думать об этом. Он пришел к мысли, что надо поговорить с Усманом нынче же, как только разойдется вся эта разношерстная братия — эти Нигматы, Урмановы...

Однако исполнить свое намерение ему не удалось. Вдруг где-то совсем рядом раздались страшные вопли. Били кого-то или за кем-то гнались?.. Слышались крики, топот. Стреляли, ломали что-то...

Усман переменился в лице.

— Товарищи, кажется, начался еврейский погром... Они давно его готовили! — вскричал он, подбегая к окну, выходящему на улицу.

И те, кто был здесь, в этой комнате, и собравшиеся в зале, чтобы готовиться к литературному вечеру,— все перемешались в общей сумятице, стали наспех одеваться. В комнату вбежали две напуганные, плачущие девочки: Махирэ, дочь Габдуллы-абзы, и Фавзия, сестренка Булата. На их лицах был написан смертельный ужас. Прижимаясь к брату, всхлипывая, Фавзия принялась рассказывать о происшествии на улице:

— Только мы свернули за угол дома Кадыр-бая... как откуда-то взялись четыре конных казака... Скачут... стреляют... А впереди них побежали какие-то люди... За ними и погнались казаки... Мы не знали, куда деваться... прижались к забору... Ох и напугались мы: думали — помрем от страху!..

Оказывается, девочки пришли сюда искать Булата. Оправившись от испуга, Фавзия уже улыбалась сквозь слезы и тараторила.

— Мама,— рассказывала она,— как сослали тебя, тут же слегла... Видно, говорит, помру... А как сказали нам, что ты возвратился, сразу поднялась! Пойдем скорее домой! Она уж и пироги из печи вынула...

Для Булата приход сестренки был хорошим поводом вырваться из этой полной всякого люда комнаты. Он остановил болтовню Фавзии и, повернувшись к Джихангиру, который давно уже сидел, томясь бездельем, сказал ему:

— Ты, кажется, бывал на квартире у моей матери? Знаешь, в такую ночь опасно девочек одних посылать. Проводи их, пожалуйста. Как доведешь, жди меня на углу возле каменной мечети. Вместе идти нам нельзя, но я буду там скоро.

Отправив Джихангира и девочек, он надвинул поглубже отороченную выдрой шапку, застегнул на все пуговицы добротную свою шубу и вышел через черный ход во двор. От-

туда выбрался переулком на глухую улочку и с видом человека, ничем не встревоженного, совершенно спокойно зашагал к Глиняной улице.

Погрома никакого в городе не было. Шум и выстрелы были вызваны побегом арестантов из-под конвоя. Сейчас все смолкло. Всюду водворилась тишина.

Близилась ночь. Сыпался снег, дома, сады стояли белые. Улицы, словно застланные мягкой ватой, искрились под луной белым, мерцающим светом.

В этом прекрасном мире, в этом праздничном кружении легкого снега очутился Булат, выйдя из комнаты, наполненной табачным дымом.

Как-то довелось ему проучительствовать целую зиму у башкир на Урале. Сам страстный следопыт, дед Уразгул научил и его ходить на лыжах, брал с собой в горы, в заснеженные дремучие леса — выслеживать зайца, лису, волка, дал и ему испытать настоящее счастье охотника. И теперь, глядя на мерцающее под луной снежное море, Булат унесся мыслями к тем дням, когда он вместе с дедом Уразгулом бродил по таким далеким теперь лесам и горам...

И, как бы цепляясь за эти воспоминания, постепенно всплывало в памяти и многое другое из еще недавнего прошлого.

LVI

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Старуха Эсхабджамал, наверное, обижается. Стосковалась, наверное, и ропщет, и бранит сына, и плачет, моля аллаха ниспослать на него свою благодать... Такое уж оно — материнское сердце, чего только не вмещает в себе!..

Однажды, осенней ночью, пришли люди с саблями и винтовками. Пришли и, перерыв, перевернув все в доме, увели ее сына. То был час первого испытания, первого, не изведанного дотоле страха. Сердце матери готово было разорваться. Три дня, три ночи исходила она слезами, не в силах сдержать себя. Она не могла ни есть, ни пить. Глаза не ведали сна. Она роптала на покойного мужа Гирфана, проклинала себя за мягкость.

— Так и есть, так оно и есть...— заливаясь слезами, говорила она и себе и всем, кто наведывался к ней.— От меня, все от меня самой пошло! И от отца его покойного, да будет аллах милостив к его душе. Твердила ему: не отдавай

сына русским, не дозволяй читать книжки с картинками[1]. Не послушался. Не взял во внимание мои слова. Ребенка все затягивало и затягивало. Сперва отец говорил, пусть, мол, научится адреса выводить. Да не остановился на том, захотел большего: пусть, мол, язык выучит, не теряется, не краснеет перед русскими. Душою изболелась, сердцем чуяла, что не кончится это добром. А вот не сумела удержать вовремя. Не смогла остановить, когда сам отец волю ему дал, не смогла перечить, когда он слезно просил меня: «Не оставляй меня, мама, темным человеком». Ну ладно, адреса... да ведь ему не только адресов, русской грамоты оказалось мало — в школу русскую поступил, а после нее все хотел готовиться в этот самый, как его... ниверсет, что ли... Единственный ведь сын, вот и не хватило у меня духу запрет-то наложить. Да ежели бы и запретила, он бы все равно на своем настоял, как отец покойный, своевольный, упрямый вырос. А я все радовалась его уму, хорошему обхождению... Прогнали мужа со службы, из конторы Кадырбая. Запряглась я тогда. Лучшей в Казани вышивальщицей калфаков стала. Самые нарядные в городе жемчужные калфаки моей рукой были вышиты. День-деньской трудилась, трое ртов кормила. Покойный муж, да будет аллах милостив к его душе, за сутки перед тем, как сожгло его молнией,— будто чуял смерть,— сказал мне: «Знаешь, мать, теперь на душе у меня спокойно. Ежели придет положенный мне срок, дети голодными не останутся, твои умелые руки прокормят их». И верно — прокормили. За сыном дочка маленькая, Фавзия, подрастала — налюбоваться, наглядеться на них не могла. А нынче горе вот зашибло. И все из-за меня самой, из-за моей слабости... Из-за отца покойного, да будет аллах милостив к его душе, не сумел он повод потуже натянуть...

В ее глазах были и обида, и безграничная любовь, и тоска. Иной раз Булат пытался объяснить ей что-то, рассказывал о борьбе классов, о революции, социализме... Однако старуха ничего этого не воспринимала.

Она просто любила сына. Каждый новый обыск, каждая беда, постигавшая сына,— тюрьма, побои, ссылка, подточившие его силы, мучительная подпольная жизнь,— все это лишь умножало ее любовь. Не за то, что он был социалистом, любила она его, а за то, что был он ее сыном, за то, что выпала ему на долю жизнь, полная тяжелых мук.

---

[1] Мусульманская религия полагает большим грехом делать изображения (рисовать и т. д.) и смотреть на них.

Чем труднее приходилось сыну, тем сильнее она любила его. Ее любовь не была светлой, подобно горному ручью, прикипели к ней гнев и проклятья, ропот и боль. Оттого и превратилась эта любовь в неиссякаемую силу, в негасимый огонь.

Случалось иногда, что Булат заглядывал домой. Такие дни становились для матери большими праздниками. И только ими привыкла она измерять течение времени.

А вот сестренка Булата, худенькая, очень похожая на него, хорошенькая, бойкая и проворная Фавзия, воспринимала судьбу брата совсем иначе. С именем Булата связывали опасные события. Девочке это нравилось. Говорили, что Булат беспрерывно воюет с врагами. Захватывающие истории о том, как хитро умеет он обвести вокруг пальца жандармов, переходили из уст в уста. В юном, пылком воображении девочки брат представлялся одним из героев старинных преданий. Она не плакала, восставала против сетований и роптаний матери.

— Не говори пустое, мама. Пожелай лучше, чтобы он был здоров,— увещевала она мать.

И мысли матери сразу обретали иное направление.

— Аллах всемогущий! Дай ему долгую жизнь! — молилась она.— Да не будет меры доле его насущной! Храни его душу, аллах всемогущий!.. Молодо-зелено, говорят. Все его глупости пройдут, и мой Зариф образумится: как и все другие, выйдет на верный путь, как и все другие, обзаведется женой, детьми и вместе с нами поведет тихую, благополучную жизнь... Аллах всемогущий, дай ему долгую жизнь, храни его душу!

LVII

ШАКИР-СОЛДАТ

По городу Булат прошел спокойно. Не чувствовалось, чтобы к нему прицепилась какая-либо тень, не было заметно ничего подозрительного.

Приближаясь к Глиняной улице, он ускорил шаги. Но тут чуть впереди отворилась маленькая калитка и какой-то человек, выскочив на тропинку, по которой шел Булат, пересек ему дорогу.

— Стой! — сказал он тихо.

В голове Булата с быстротою молнии мелькнула мысль сбить его с ног и бежать... Однако он тут же узнал Галимова.

— Фу, черт! Это ты. А я думал — шпик!..

Галимов в двух словах объяснил: в городе этой ночью идут обыски, со вчерашнего вечера на Глиняной улице, и особенно вокруг квартиры старухи Эсхабджамал, кружат какие-то подозрительные люди. Товарищи послали его предостеречь Булата, чтобы тот нынче к матери не заходил.

Зариф задумался. Прислушаться к предупреждению товарищей? Или, как обещал, побыть несколько часов с матерью и сестрой?.. Потом резко повернулся и сказал:

— Пойдем тогда к Ризвану! У меня есть к нему дело...

Слева от ворот, как войдешь с улицы, притулился занесенный снегом деревянный домишко. В одном его оконце виден был слабый свет. Галимов пробрался, разгребая ногами снег, к окошку, стукнул в него два раза. Огонек сразу исчез, в доме стало совершенно темно. Когда они, обойдя дом, прошли по занесенной снегом дорожке к двери, навстречу им, протирая заспанные глаза, вышел Вахитов. На плечи его была накинута тужурка, в руке он держал лампу.

— Фу, тебя и не узнаешь. Это ты, Булат? Заходите,— хриплым голосом позвал он своих ночных гостей и, стараясь получше освещать им дорогу, провел их в комнату.

Жена его, оказывается, уехала в деревню. В доме был полный беспорядок. У печки валялись дрова, щепки. Тут же стояло, оттаивая, обледенелое ведро, от него во все стороны растекались лужи. На кровати, в углу комнаты, возле небрежно брошенных подушек и чекменя лежали газеты, листовки, какая-то книга. Булат вошел в комнату и, не обращая ни на что другое внимания, вцепился в книгу и газеты:

— Что ты читаешь?

В пристальном и всегда серьезном взгляде Ризвана мелькнуло что-то вроде улыбки:

— Мне, Зариф-абы, везет в последнее время! Спасибо Коле, к самому источнику меня вывел...

Он рассказал, каким образом и откуда получает листовки и газету — центральный орган партии.

Булат припомнил сегодняшний спор и зло рассмеялся:

— Герею давно уже было поручено выпустить на татарском вот эту листовку. Когда его сослали, шакирды, которые у нас занимаются размножением листовок, растерялись и посоветовались с Акчулпановым, а тот взял да и распорядился не печатать... И вот по его милости до сих пор татарский текст не размножен. Собака!..

Галимов крепко выругался.

— Ты, Булат, тоже проявляешь мягкотелость. Герой прав: такие только в ногах путаются!

Вахитов и Галимов, оба пробужденные революцией, выковались в политических кружках Булата. Оттого, наверное, в их отношении к Булату укоренились и почтительность, и полное товарищество. В разговоре с ним они его то называли уважительным словом «абы», то просто обращались по имени или фамилии.

Чтобы похвастать всем своим богатством, Вахитов принес еще книги, которые были спрятаны в чулане, разложил их перед Булатом. Галимов тем временем сбегал к старухе Эсхабджамал и сказал ей, что Зариф не сможет сегодня зайти к ней. Стряхивая с шапки и полушубка снег, он рассказывал:

— Совсем сдала старуха... Как увидала меня, залилась слезами, неужто, говорит, снова попался?.. Нет, отвечаю, не попался. Мы, мол, осторожности ради сами его не пустили. А она все плачет: когда же, говорит, я его увижу?.. Я ей обещал, что завтра. Ладно?

Ризван оказался человеком ловким и в женской работе: за короткое время успел вскипятить самовар, достал с полки чашки, хлеб, чай, сахар и расставил, разложил все на простом, некрашеном столе. Вынул из печки кусок жареного мяса.

Галимов, который уже перешел от слез бабушки Эсхабджамал к воспоминаниям о старике Сэфэре, убитом в прошлогоднем столкновении у заводских ворот, вдруг, выжидающе глядя на Булата, спросил:

— Послушай, Зариф-абы... Что представляет собой этот Шакир твой? Все тебя разыскивает, пристает. «Нужен, говорит, он мне, да и все тут...» Странный какой-то. Я поинтересовался: что, говорю, ты здесь делаешь? «Что делаю? Ума, говорит, набираюсь, оружие ищу». Я не рискнул всетаки с ним побеседовать. Кто его разберет... Может, думаю, шпион?..

Булат поднял голову, усмехнулся:

— Эх, ты! Тебе надо привлечь его к себе. Он мужик толковый. Огонь и воду прошел. Сидел в тюрьме. На японской войне был. У него и добра-то — всего глиняная лачужка вроде курятника, на краю деревни, да лошаденка, с козлика будет, не больше. И на этой своей лошадке он меня в одну ночь за семьдесят верст увез от жандармов. Если бы не он, сцапали бы меня. Можно сказать, из зубов у них вырвал...

Прихлебывая налитый ему чай, Булат рассказал, как Шакир помог ему перебраться через Волгу.

...После побега, когда Булат ехал из Сибири поездом, уже при приближении к последним станциям, охватила его какая-то тревога... Казалось ему, что со всех сторон окружают его подозрительные тени — филеры, шпики, что он попал в западню... Он не выдержал — выпрыгнул на первой же станции из вагона. И, воспользовавшись темнотой, скрылся. Пробравшись через две деревни, поздней ночью пришел к Шакиру-солдату.

— Ко мне нельзя. Тут за мной в оба глаза следят,— заявил тот.

Не теряя времени, запряг свою лошаденку и прямо среди ночи повез Булата прочь из тех мест.

Чтобы добраться кружным путем до Казани, надо было переехать Волгу. Шакир рассчитывал, что река уже стала. Да ошибся в расчете. Подъехали они под утро к Волге, смотрят — а по ней, не вмещаясь меж берегов, громоздясь, лавиной идет осенний лед. Шакир охнул так, будто гора на него навалилась, выругался и спросил:

— Говори правду: хватит у тебя духу по этим вот льдинам пройти?..

У Булата от холода губы, все лицо свело, но он рассмеялся:

— Давай, за мной задержки не будет. Умрем — так правой смертью!

Страшно было вот что: здесь ли задержишься или вернешься на станцию — все равно опасность угодить в одну из сетей, закинутых жандармерией, была очень вероятной. А поймают — так уж не на Енисей сошлют: ткнут в самый дальний, самый мрачный угол Якутии... Это хорошо понимали и Шакир и Зариф. Оттого и не стали пустые разговоры заводить. Булат остался ждать внизу, под обрывом, потопывая закоченевшими ногами по мерзлой земле, а Шакир поехал в находившуюся за полверсты деревню. Он оставил там лошадь, телегу и вернулся с тремя джигитами, которые тащили с собой арканы и длинные жерди. Джигиты были как на подбор — рослые, крепкие, веселые.

Только вот когда дошло до дела, они оказались далеко не похожими друг на друга.

Тот, которого звали Ахмар,— в ушанке, в пимах, черной шубе, с шарфом на шее,— как увидел громоздившиеся во всю ширь реки и яростно налезавшие друг на друга льдины, заартачился.

— Не выйдет, Шакир-абзы,— сказал он.— Не обессудь:

жена у меня и трое ребятишек. Жизнь каждому дорога! — И, положив на плечо жердь с арканом, удрал обратно в деревню.

Второй поглядел молча на льдины и, помолясь про себя, прошел несколько саженей от берега. В это время в его сторону ринулись громады льда. Джигит побледнел, отступил назад.

— Нет, сват Шакир! — отказался и он.— Сердце не выдержит, меня уже сейчас дрожь взяла, того и гляди, упаду!..

Тут Шакир высыпал им обоим на голову весь запас ругани, накопленный на войне, в солдатчине, в тюрьме...

— Пропадите вы пропадом, сразу видать, что мать вашу заяц целовал! — добавил он в заключение.

И крикнул третьему джигиту:

— А ты что стоишь? Иди, не то и у тебя поджилки затрясутся! Проваливай отсюда, мямля!..

Но тот оказался потверже.

— Давай не болтай. Как бы сам в штаны не наложил! — огрызнулся он и прыгнул в самую гущу льдин.

Отталкиваясь жердью и легко перескакивая с льдины на льдину, стал прокладывать путь...

Закончив эту историю, Булат сказал Галимову:

— Вот он каков, твой Шакир! Необходимейший для нас человек. Первое лицо для связи с крестьянами.— И добавил: — Он ведь говорил тебе: «Ума набираюсь, оружия ищу». Бредит этим. И мне всю дорогу долбил: «Темный, говорит, народ, все равно что стадо овец. Мы, говорит, света от города ждем. Где, что у вас есть? Наше дело мужицкое, говорит, соберу таких же, как я, бедолаг... Тут в четырех верстах есть барин. На него и пойдем... Нам что нужно? Топоры, вилы, дубины. И бросовые ружья годятся, и ржавые штыки. Земли у барина видимо-невидимо. Леса его начинаются чуть не с нашей околицы и тянутся верст десять. А попробуй срежь ветку для кнутовища — на шесть месяцев в каталажку угодишь. Вот и поговори с ним. Я уже подбил наших джигитов. Пойдем, разграбим вчистую. Коли противиться станет, пустим красного петуха, и самого, и жену, и все его потомство спалим... Чтобы ни роду, ни племени не осталось от собаки! Только он и сам чует: съездил в город, привел с собой для охраны двадцать человек черкесов, с ружьями да кинжалами. Ну, нас-то черкесами не запугаешь, как пойдем на них целым войском — не найдут, куда и попрятаться. Теперь скажи: какая будет подмога от города? Кто нами верховодить будет? Есть ружья?..» В общем, он мне все уши прожужжал своими ружьями. Надо

нам подумать об этом. Я затем и пришел к тебе, Ризван, сегодня: надо потолковать и принимать какие-то меры!.. Что скажете по этому поводу? — спросил Булат товарищей.

— А что мы можем сказать!..— вскипел Вахитов.— Мы люди маленькие! Скажи партийному комитету: нужно оружие. А что я...— От волнения он даже вскочил с места.— Эх, товарищи, плохо у нас с оружием! Тогда целый оружейный магазин захватили... и все куда-то подевалось, нам только шестьдесят револьверов перепало... А тут еще, как назло, нет ни Герея Султана, ни Исрафилова!..

Остыл налитый чай, никто не притрагивался к еде. Все трое с головой ушли в обсуждение тревожившего их вопроса...

LVIII

ОТВЕТ ВАХИТОВА

Когда Ризван, робея и смущаясь, пришел на занятие первого еще кружка Булата, он был тихим, политически незрелым рабочим парнем. Потом — первая демонстрация, столкновение с полицией. Пылая гневом, Ризван выворачивал вместе со всеми булыжники из мостовой, швырял в головы жандармов. Эта первая битва, которая длилась каких-нибудь два часа, окрылила восемнадцатилетнего джигита... Встретился на пути Ризвана рабочий-большевик Вали Хуснутдинов. Он научил юношу владеть оружием. Он же уговорил его войти в отряд боевиков Герея Султана Кавказского. И та минута, когда Ризвану в отряде вручили маузер, стала величайшим праздником в его жизни. Он быстро рос и закалялся, упорные революционные схватки выковали из него стойкого борца. И среди тысяч, сотен тысяч молодых рабочих, которые хлынули на арену классовых битв, наш Ризван был в первых рядах. Товарищи любили его. Всякая мелкота из татарских полицейских начала его побаиваться, не привязывалась по пустякам, старалась делать вид, что ничего не замечает... Дело доходило до того, что иногда женщины, старухи приходили к Вахитову жаловаться на бесчинства полицейских! Ризван не без удовольствия посмеивался в душе над этим и успокаивал баб: «Ладно, мол, посмотрю, придется проучить этих собак...»

Но была в его жизни беда: он пил. Пил крепко, без удержу. На работу ходил исправно, в партийных делах не оступался. Но пил постоянно. Вначале его пытались обра-

зумить близкие товарищи. Видя, что это не действует, вызвал его к себе Разин и два часа беседовал с ним.

— Брось! — сказал он юноше.— Ты можешь стать одним из вожаков татарского пролетариата. Водка же погубит тебя. Брось!

Джигит молча выслушал его и не слишком определенно ответил:

— Ладно, погляжу...

Однако с того самого дня к водке не прикасался, капли в рот не брал.

В те времена на одной из ближних железнодорожных станций была произведена экспроприация. Подозрение пало на боевиков, начали забирать их. Двое полицейских, трусивших перед Вахитовым и жаждавших расправиться с ним, сделали на него ложный донос. Пристав тотчас же самолично нагрянул с тремя полицейскими к Вахитову и, надев на него наручники, привел в участок.

— Говори: кто еще был с тобой? Кто был организатором? — накинулся он на Вахитова.

— Я никакого участия не принимал, ничего не знаю,— отвечал тот.

Пристав, потемнев от злости, повалил Ризвана на каменный пол и стал топтать сапогами. И чем дальше, тем больше свирепел. Под его каблуками у юноши хрустнули ребра, изо рта, из носу хлынула кровь... И все-таки, уже теряя сознание, Ризван со злобой выкрикнул:

— Убивай! Убивай!.. Все равно ничего тебе, собаке, не скажу!

Тут пристав вовсе обезумел. Ну и позорище: не сумел вырвать признание у какого-то басурманина. В бешенстве топтал он грудь, лицо арестованного.

Но не добился от него ни слова, ни стона.

— Тьфу, гололобый! — пробормотал он, обессилев, с остервенением плюнул на полумертвую свою жертву и выбежал из комнаты.

Ризвана за ноги поволокли в камеру, швырнули там на пол и заперли.

Ночью в ту же камеру привели двух пьяных босяков. Эти двое много раз сидели в тюрьме, много раз были биты, многое повидали...

Когда их втолкнули в темноту, один чуть не растянулся, споткнувшись о валявшееся у порога тело.

— Фу, черт! — выругался он, зажигая спичку.— Да здесь лежит кто-то! Не то мертвец, не то пьяный.

Пригляделись: на залитом кровью полу лежал молодой

парень. Дышит? — Да. Бьется сердце? — Бьется. Значит, ничего, еще живой. Больше их ничто уже не волновало. Скрутили цигарку, выкурили. Потом принялись стучать кулаками в дверь — потребовали еды. Дежурный стражник сначала только выругался. Но после долгого и щедрого обмена наиотборнейшим сквернословием все же сбегал кудато и принес водки, луку, огурцов, черного хлеба. Выбив шлепком по донышку пробку из бутылки, угостили водкой прежде всего стражника. Отрываясь время от времени от горлышка, чтобы прикинуть, сколько остается, тот отпил наконец свою долю и, закусив луком и хлебом, прикрыл окошко в двери.

Не забыли босяки и валявшегося на полу парня. Они были убеждены, что от всех болезней существует лишь одно лекарство. Силой разжав Ризвану зубы, влили ему в горло водки. Увидев, что парень сделал глоток и даже вроде как бы с аппетитом облизнул губы, босяки загоготали:

— Давай, давай! Кто вовремя водки примет, тот не помрет!

Они не пожалели для него еще изрядной дозы «лекарства», коротая остаток ночи за своим хмельным пиршеством.

На рассвете Ризван вдруг застонал и, пытаясь приподняться, растерянно огляделся вокруг. Зажигая спичку за спичкой, соседи рассказали ему, что тут произошло...

Утром Ризвана перевели в тюремную больницу. Босяков, попавшихся на каком-то мелком деле, дня через два выпустили. И они рассказывали историю воскрешения Вахитова где только можно, как говорится, и тем, кто спрашивал, и тем, кто не спрашивал: «Мы, мол, спасли джигита! Сукин сын пристав вовсе было прикончил его...»

Случай со зверским избиением Вахитова взбудоражил людей, вызвал новую волну возмущения. Газеты, ораторы на рабочих митингах выступали с протестом против бесчинства полиции. Незадолго перед этим в городской тюрьме двое заключенных, вскрыв себе вены, покончили самоубийством, и за этой трагедией, обернувшейся грандиозным скандалом, теперь последовала новая...

Прокурор, которому так и не смогли выискать никаких доказательств причастности Вахитова к ограблению на станции, был вынужден освободить его. Ризван пролежал в больнице три месяца, пока срослись переломанные ребра. Потом снова пошел работать, снова включился в борьбу. Правда, на некоторое время опять было привязалась к нему

черная его тень: «лечение» в участке не прошло даром, оно вернуло прежний недуг. Однако бурные события развертывавшейся революционной борьбы сдерживали Ризвана. А жестокие страдания, перенесенные им, сделали его характер железным. Даже Герей Султан, который, бывало, не преминет высмеять любую слабость человека, стал называть Ризвана своей правой рукой...

Ризван работал в стачечном комитете вместе с Булатом и Колей и никогда не ждал указки или подсказки, действовал самостоятельно, сообразно со своими взглядами, своими мыслями. Энергия юности била в нем ключом, и он — с некоторым удальством и не без гордости, словно говоря: «Кто же справится с этим, кроме Вахитова!..» — бросался туда, где угрожала наибольшая опасность.

Предстояли ожесточенные бои. Мыслью о них жили боевые рабочие отряды — жаждали в грядущих схватках с лихвой отплатить за каждую свою неудачу, за каждое поражение. Всякий раз, когда враг одерживал победу, всякий раз, как усиливались полицейские расправы, всякий раз, когда после провала массовых выступлений назревала опасность поддаться отчаянию,— эта мысль о новом вооруженном восстании, словно яркий маяк, звала вперед. Даже тогда, когда узнавали люди о самых тяжелых поражениях, когда разлетелась весть об аресте в Петербурге президиума Совета рабочих депутатов, когда удручающие события происходили на многих других участках фронта,— всегда, всегда впереди было то великое, что вселяло в души мужество, укрепляло решимость готовить силы для окончательной победы над врагом...

Поставленный в упор вопрос Булата: «Что скажете на это?..» — заставил Ризвана мгновенно загореться. «Значит, там крестьяне нуждаются в совете, им нужен вожак? А что, если поехать туда?..» Всегда считавший своим долгом, доблестью для себя браться первым за каждое опасное поручение, он раздумывал не долго.

— Ответ у меня будет такой: передай партийному комитету — пусть пошлют меня. Поеду. Галимова тоже возьму с собой. Подберу еще несколько человек. Мы там все перевернем! Эх, если бы Исрафилов был с нами... Не человек был — лев...

Глядя в его горящие глаза, Зариф чувствовал, словно и сам молодеет,— столько было в этих глазах боевого задора. Если бы он оказался сейчас на трибуне митинга, он, наверное, произнес бы самую лучшую, самую яркую речь в своей жизни...

Под впечатлением нахлынувших на него мыслей и чувств он сидел молча, весь уйдя в себя.

В этот момент за окном мелькнули две тени. Одна тут же повернула обратно — и опять проплыла в прежнем направлении.

— Это кто же там?..— нарушил Галимов наступившее молчание.— Я давеча не хотел прерывать ваш разговор, но они уже второй раз проходят...

Зариф опомнился, вскочил и протянул руку Вахитову:

— Что ж, Ризван, для такого разговора я и шел к тебе. Вопрос на комитете поставлю. Будь готов в любую минуту!

Не мешкая больше, он оделся, осторожно вышел во двор. Вдоль забора, как показал ему Галимов, пробрался к задам. Оглядевшись еще раз по сторонам, перебежал соседний церковный сад.

LIX

ПРИСЛАЛИ ЧЭКЧЭК[1]

Из школы, где проходило литературное собрание, люди, напуганные шумом и выстрелами, быстро разошлись. Чтобы довести до конца подготовку литературного вечера, была выбрана комиссия, в которую вошли Разия-туташ, Сахиб-певец, Фахри, Акчулпанов, Тангатаров, на них и возложили все дело. Председателем комиссии назначили Фахри.

Когда обо всем договорились, Акчулпанов подошел к Разии.

— Одной вам будет страшно. Пойдемте, я провожу вас,— предложил он.

Девушка нахмурилась, у нее чуть не сорвалось с языка: «Фу, какое ребячество!..» — но она сдержалась и шутливо ответила:

— Что за проводы? Вы все еще не можете расстаться с буржуазными предрассудками? — И, улыбнувшись, дружески добавила: — Спасибо, Хайдар. У меня есть срочное дело к Урманову. Я подожду его.

Ее слова сильно задели Акчулпанова.

«Вот ломака! — подумал Акчулпанов.— «Буржуазный предрассудок»... Неужели человек, став социалистом, должен превратиться в мужлана?»

Он надел шинель, фуражку с кокардой и, выйдя вместе с шумной толпой молодежи, взял под руку Тангатарова.

[1] Чэкчэк — национальное кушанье. Обязательно подавалось к свадебному столу.

Однако и тут он почувствовал себя как-то не в своей тарелке.

Сам он считал себя революционером, социал-демократом. Считал, что вступил в борьбу не только против самодержавия, но и против буржуазии, капитализма. Еще до того как революционное движение приняло широкий размах, до событий 9 января, по совету одного русского студента, приехавшего из Петербурга, Хайдар Акчулпанов начал читать Маркса. Еще в шестом классе реального училища он организовал политический кружок из таких же, как он сам, реалистов. Скольким нареканиям пришлось ему подвергнуться за это! Директор вызывал его к себе в кабинет и отчитывал с глазу на глаз:

— Ты носишь древнюю, прославленную аристократическую фамилию. Историческую фамилию. Твои предки оказывали большие услуги трону Романовых и заслужили благосклонность двора. Не к лицу тебе заниматься крамольными делами, не губи себя!..

Хайдар прикинулся осознавшим свою ошибку, раскаявшимся, но от своего не отступил, продолжал читать Маркса, лишь более тщательно соблюдал конспирацию. А когда пришел с помощью Усмана в партию, стал одним из самых деловых, образованных деятелей в кружках приказчиков, гимназистов, шакирдов. Среди товарищей он и сейчас считался эрудитом в теории политической экономии. Слушали его с удовольствием.

Но отчего-то не мог он стать своим в такой вот шумной ватаге молодежи. Вон этот оборвыш Тангатаров... Не успели все сойти с крылечка школы, как он уже подхватил каких-то убогих, тощих, конфузливых шакирдов и свободно с ними болтает, шутит, точно родился и вырос среди них, точно всю жизнь дружил с ними!.. Веснушчатый, в продавленной фуражке, локти просвечивают сквозь рукава... а он ничего не замечает, в любой компании чувствует себя как рыба в воде!

Хайдар шел со всеми вместе, но всю дорогу молчал — не вмешивался в разговор, да и не знал, о чем говорить. И чем дольше затягивалось это молчание, тем мрачнее, тягостнее становились его мысли: «Это ведь несчастье какое-то!.. Не только вот с этими, с Гереем Султаном тоже не могу договориться... Он тоже смотрит на меня как на чужого и даже, оказывается, при каждом удобном и неудобном случае высказывается в таком духе: «Гнать его, дескать, надо из нашей среды!..» Усман недавно намекал на это. Отчего же так?.. Разве я не работаю? Разве я не иду с ними плечом к плечу в бой за революцию?..»

В комнате остались двое — Разия и Даут.

— Ведь нам по пути с вами, пошли? — сказала Разия и взяла Урманова под руку. И чуть капризным тоном протянула: — Уф, уста-ала... Зачем такое долгое собрание, ей-богу! Это так утомительно!..

А когда они спускались по ступенькам, она прижалась к его руке плотнее, улыбнулась:

— Боже, да вы совсем не умеете ходить под ручку!..

Разговаривая, они шли по темной, тихой улице. Девушке явно хотелось о чем-то спросить своего спутника, но она, видимо, не могла решиться. И вдруг с несвойственной ей прежде доверчивостью заговорила о том, что мучило ее уже целый месяц, раскрыла свою тайну:

— Даут, вы знаете фабриканта Абызова?

Урманов удивленно посмотрел на нее:

— Знаю. Зачем он вам понадобился?

Разия еще теснее прижалась к нему.

— Говорят, у него есть любовница и двое детей, которых он воспитывает где-то на стороне. Верно это?

Не догадываясь, к чему затеяла она этот разговор, Даут резко, даже не заметив, что обращается к ней на «ты», спросил:

— Вот странно! Почему ты интересуешься этой сплетней? — И заглянул девушке в глаза.

В это время они уже подошли к небольшому нарядному особняку Ширинских. Стоя на крыльце перед высокой двустворчатой дверью, Разия, тоже перейдя на «ты», откровенно призналась:

— Мне и самой все еще странно. Знаешь, этот фабрикант через маму моей подруги Гэвхар сделал мне предложение, говоря проще, посватался ко мне! И знаешь, что он сказал? «Если она не против, я приду с визитом к ее матушке. Если Разия согласится стать моей женой, все будет по ее воле: захочет продолжать учение — пусть учится, захочет иметь дворец — построю. Я создам ей райскую жизнь!» Но, Даут, ведь это смешно!..

Урманов даже свистнул. Он не знал, смеяться ему или ругаться. Видеть фабриканта Абызова ему не приходилось, но в татарских газетах он читал что-то об абызовских фабриках не то в Симбирске, не то в Пензе... Рассказывали, что Абызов крутой, жестокий бай, но современного толка, типа европейских буржуа. Юсуфджан, говоря о нем, хвалил его, но тут же и порицал, возмущенный слухами о молодой, красивой любовнице Абызова, о прижитых на стороне детях...

— Вот оно как! — не мог успокоиться Урманов.— Имея содержанку, двоих детей, он еще строит планы, чтобы купить тебя?.. Как бы он там ни европеизировался, все равно поступает как истый татарский бай! — негодовал он.

Вместе с тем в нем зашевелилось подозрение. Девушка почему-то особенно интересовалась официальной, законной стороной: на чье имя записаны дети? Как обстоит дело с содержанкой — не имеет ли она права предъявить претензию через суд на капиталы фабриканта? Или же она, получив определенную сумму, согласилась отступиться?.. Урманова взяло сомнение: «Неужели у девушки загорелись глаза на золото, шелка, дворцы фабриканта? Неужели для нее единственная преграда — чьи-то возможные права на этого Абызова?..»

Разия мгновенно уловила эту перемену в настроении Даута и, чтобы успокоить его, отвести от себя подозрение. заговорила еще доверительнее, еще ласковее. А когда тот хотел уходить, крепко уцепилась за него, не отпустила:

— Я пропадаю целыми днями: ухожу рано, возвращаюсь поздно. Кружки, собрания... А мамочка каждый раз ожидает меня в полной тревоге... Мои друзья, социалисты, представляются ей настоящими разбойниками. Ты бы, Даут, зашел познакомился с ней...

Урманов отказался:

— Нет. Благодарю за приглашение. Как-нибудь зайду. А сейчас не могу. Меня там ждут, наверно!

Глядя на него широко раскрытыми глазами, девушка спросила:

— Что это значит? Кто ждет?.. Что-нибудь произошло?..

Урманов рассмеялся:

— Нет, ничего не произошло. Словом, не то, что ты думаешь, совершенно другое!..

И он все рассказал ей.

В деревне у него есть сестра. Она вышла замуж. Перед свадьбой он получил сразу два письма: его просили приехать домой. Сестра, стесняясь сообщать о своей предстоящей свадьбе, писала: «Даут-абы, мы очень по тебе скучаем, приехал бы хоть ненадолго!..» А мать, старуха Фагиля, просто требовала: «Такая радость приходит раз в жизни. Не обижай сестру! Приезжай. Если ослушаешься, не прощу вовеки!» Но в эти горячие дни Дауту, конечно, было не до сестриной свадьбы. Вчера ему привезли еще письмо: сестра кровно обиделась... «Мы так ждали тебя, так ждали. Не любишь ты нас. А перед людьми-то как было зазорно...» Но хоть и обиделась, прислала брату уйму свадебных угоще-

ний. Тут были и чэкчэк, и гуси, домашние колбасы, пироги, лаваши... Он, одинокий человек, разумеется, не смог бы справиться со столькими яствами, поэтому решил пировать вместе с друзьями. Поскольку комната у него была слишком мала, к тому же не хватало посуды и некому было заниматься угощением, Урманов обратился к своей соседке Хадичэ-джинги, жене Габдуллы-абзы: «Мне разной снеди прислали. Ты забери ее и приготовь, устрой все, как тебе самой заблагорассудится. А мы, десяток голодных волков, придем к вам в гости!» Эту пирушку и имел он в виду, когда сказал Разии: «Меня там ждут, наверное!»

Услышав это, Разия снова вспыхнула и принялась изливать на своем полурусском-полутатарском языке точившие ее сердце обиды: упрекнула за то, что ее считают чужой, не принимают в свое общество, сделала из всего этого вывод, что ей не доверяют...

— Напрасно ты обижаешься,— пытался оправдаться Даут.— О каком недоверии может быть речь? Просто я думал, что в такой компании тебе будет неинтересно.

— То есть как?.. Значит, одних вы удостаиваете приглашения, а меня нет?.. Почему мне может быть неинтересно там, где интересно тебе?..

И, беря Урманова под руку, категорически заявила:

— Пойдем вместе!

LX

В ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!

Девушка болтала всю дорогу — то твердила о своих обидах, о горьком осадке от них, то кокетливо шутила. Следуя какому-то внутреннему, вначале неясному для Даута течению мыслей, она вдруг стала перебирать по отдельности Усмана, Хабиба, Булата, других...

— Я,— говорила она,— люблю всех своих товарищей и каждого ценю в душе очень высоко! Ты ведь знаешь того веснушчатого Тангатарова, у которого вечно продраны локти и коленки?.. Мне даже он нравится. Ведь его, бедняжку, за революционную деятельность выгнали из гимназии. Лишили стипендии. На него жалко смотреть — куртка, брюки на нем рваные, а он бегает, хлопочет как ни в чем не бывало. Этот рябенький Беглец, с его ловкостью, умением одурачить жандармов и урядников, кажется мне настоящим героем. Я и побаиваюсь его... и люблю... Юсуфджан тоже

поднялся в моих глазах, когда убежал, отказавшись от богатства своего отца, от роскоши... Нравится мне и Нигматкази, хотя он и противник наш по своему мировоззрению. Он точно каменная глыба, которой не страшны ни ветры, ни бури, ни удары волн,— так он крепок и несокрушим... Ну, о Булате уж и говорить не приходится! Он представляется мне генералом, который ведет в бой целую армию... А вот ты... ты, Даут, совсем другой...— Разия запнулась, точно подыскивала выражение или не решалась высказать свою мысль. Потом, доверчиво прижимаясь к Дауту, тихо, проникновенно сказала: — В тебе я вижу не только революционера. Ты и как человек, как личность очень, очень мне близок!..— Помолчав несколько секунд, она продолжала: — Ты ведь знаешь нашу среду: это передалось нам с кровью, воспитанием... В какой бы ты круг ни попала, тут же сердце начинает выбирать кого-нибудь... И не успокоится, пока не найдет мужчину-друга, выражаясь более пошло — кавалера... Ухажеры старого типа, вроде Акчулпанова, теперь лишь раздражают меня. Ведь ты понимаешь, Даут, что я хочу сказать?..

— Понимаю, милая, глубоко понимаю,— ответил Урманов после некоторой паузы.— Я знал, что такой разговор возникнет между нами. Но не хотел, чтобы он возникал... Ну, а если уж он начался, не утаю от тебя... Ты и сама, милая Разия, наверно, догадывалась, что во мне с давних пор идет борьба... Я долго боролся, чтобы не покориться, чтобы убить чувство к тебе в своем сердце... Потому что мне хотелось жить так же, как Герей, как Булат, только для революции! А мое чувство к тебе мешало бы этому стремлению...

— Почему же?! Разве они не могут существовать вместе, рядом?..

— Я приведу тебе один пример. Ты знаешь Герея Султана. Вот уже сколько лет он скрывается в подполье. У него нет своего жилья. Нет имени, фамилии. Что ни месяц — новый паспорт, новое имя. Коли придется — поест, а коли нет — так голодным волком и ходит. Он берет на свои плечи все самое трудное. В борьбе против жандармов, полиции он неукротим. Он первым организовал тайную типографию. Первым здесь у нас подготовил боевиков из молодых татарских рабочих. Для него революция — война, и он дни и ночи одержим одной мыслью — вооружить свой класс для этой войны! Ты знаешь, я встречался с ним...

— Где?

— Захожу однажды в пивную, а он сидит там с Габ-

дуллой-абзы. И Шакир-солдат с ними. Пригласили меня к своему столику. Я подсел. Герей с самого начала стал издеваться надо мной. Ну, говорит, как? Все еще словесную баланду варишь?.. Так и влачишь свою жизнь, ругая мулл?.. Надо же, отвечаю, кому-то их разоблачать, они же тумаият народу голову, религиозными и националистическими проповедями отравляют мозги!.. Это, говорит, верно, ио одними разоблачениями мулл и иттифакистов не свергнешь самодержавия! В распоряжении у Николая палачи, армия, пушки, винтовки! И, стреляя в него из бумажных пистолетов, многого не достигнешь... В пивной было тесно, да и поговорить так, чтобы никто не мешал, было невозможно. Мы все вместе пошли на квартиру к Джихангиру. Его самого отослали, нашли повод — попросили пойти как раз к тебе: сообщи, мол, Разии-туташ, когда будет занятие кружка. Герей опустил шторы, запер двери и давай ругаться: «Организации, говорит, нищенские, нет средств, чтобы печатать книги, газеты. Не на что содержать профессиональиых революционеров, ушедших в подполье. Оружия мало. А какая может быть битва без оружия! Чтобы добыть оружие, хранить его и переправлять в необходимые места, нужны деиьги! А где их взять? Далеко лн уедешь на одних демонстрациях, когда в руках у Николая пушки и винтовки? Да разве победишь его одними стачками? Болтают о думе. Ладно, вот объединившись с кадетами, послали в думу Ахмеда Нури-эфенде. Пусть он даже блестяще выступит там! Ну, а Столыпин что скажет? Ведь стоит ему поставить перед Таврическим дворцом две пушки, как тысячи таких Ахмедов Нури от страха в момент сбегут! А вы с Беглецом Хабибом болтовней занимаетесь, бунтарствуете, людей сбиваете с толку...» Он еще долго возмущался и, наконец, свел все к одной точке: иеобходимо готовиться к вооруженному восстанию. Габдулла-абзы и Шакир-солдат сидели, готовые хоть в ту же миниуту взять оружие и идти на баррикады... Ушел я от них, Разия, и думал: «Отчего мы не похожи иа них?.. Отчего мы не можем сосредоточить иа одном все силы сердца и мозга и жить только одним?..» Понимаешь... Вот мысль об этом и заставляла меня молчать... Я хотел выбросить из своего сердца все, кроме революции. Поэтому старался убить свое чувство к тебе... Но, видио, оно не умерло. Даже не думает умирать...

Разия, которая с нетерпением ожидала, когда же он кончит говорить, воскликнула:

— Пусть ие умирает!.. Слышишь, не убивай его!.. Без иего не останется ни смысла, ни красоты жизни! Пусть оно

вместе с революционным пламенем всегда горит в твоем сердце! Слышишь?..

Они пришли к дому Даута.

Разия чувствовала себя главным лицом в долгом их разговоре и ликовала. Поступь ее стала еще более воздушной. У самых ворот она задержала Даута:

— Подожди!

Тот остановился и взглянул в блестевшие в темноте глаза девушки. Разия медленно стянула перчатку, обхватила рукой шею джигита и, ничуть не смущаясь, не колеблясь, точно перед ней был венчанный с нею муж или давний любовник, притянула его к себе и уже хотела поцеловать, но Урманов сжал ее в крепком объятии и поцеловал сам.

Несколько секунд они стояли, словно отрешенные от всего мира.

Очнувшись первой, Разия отступила и сказала по-русски:

— Довольно! Пусть это будет в первый и в последний раз!

Быстрыми, легкими шагами она вошла в калитку и, даже не спрашивая, куда ей идти, по наитию направилась к светящемуся за березами, едва возвышавшемуся над землей окошку. Даут догнал ее и, взяв под руку, осторожно повел по темным, шатким ступенькам вниз, в квартиру Габдуллы-абзы.

Когда они вошли в комнату, девушка изумленно оглядела собравшихся.

Тут были и монархист, иттифакист Нигмат-кази, и анархист Тангатаров, и Джихангир, называвший себя беспартийным революционером, еще Сахиб-певец, который не имел отношения ни к каким политическим течениям, расфранченный приказчик Фахри. И среди них, рассказывая о своем последнем побеге, сидел рябоватый, худощавый Беглец Хабиб...

— О боже! Кого я вижу! — вскричала девушка, не веря своим глазам, и, нисколько не стесняясь хозяев, которых видела впервые, бросилась к Хабибу и, обняв его, принялась целовать в щеки, в лоб, в глаза.

Гости даже опешили. А Хабиб радостным, смеющимся голосом говорил:

— Разия! Товарищ Разия! Вы же задушите меня, дайте передохнуть!..

Разия перестала наконец целовать его, но из объятий своих не выпускала, все вглядывалась в его маленькие серые глаза.

— Ну дайте еще взглянуть: неужели это вы?! Это не обман зрения?!

Когда она немного успокоилась, Хабиб поднялся, помог ей снять пальто, шляпу и усадил на свое место, признательно пожав ей руку.

Хабиб и Разия были давними добрыми друзьями. Девушке нравился бунтарский характер Беглеца, резкого языка его она побаивалась. Оттого, собственно, и стремилась к дружбе с ним. А сейчас она, дворянская дочка, особенно подчеркнула свое отношение к нему. Даже стала укорять Даута:

— Вот видите, из-за вас чуть не лишилась такого большого счастья! — И, обернувшись к остальным, пожаловалась: — Он вечно обижает меня: не приглашает в общество своих товарищей, это я сама напросилась...— Оставив Хабиба, она подошла к хлопотавшей возле горящей печки, раскрасневшейся Хадичэ-джинги, начала извиняться: — Хабиб — наш самый смелый товарищ. Я как увидела его, обо всем позабыла. И не смогла с должным вниманием поздороваться с вами, простите, пожалуйста.

И непривычная речь, и сама — чужая такая! — барышня несколько смутили Хадичэ-джинги.

Раньше она жила в деревне, мыкая горе, в нужде. Когда в голодный год притащились они с мужем и детьми в город, здесь им было тоже не слаще. Стоило Габдулле-абзы остаться без работы, как приходилось продавать последние пожитки... Для прожившей тяжелую жизнь Хадичэ-джинги общество таких ученых джигитов, такой нарядной, богатой девушки было, конечно, непривычным, и она немного робела. Но все же, переворачивая жарившегося в печке жирного гуся, она заговорила с Разией:

— И-и... барышня. Я сама как увидала нынче Хабиба, глазам своим не поверила. С ума, что ли, думаю, схожу?.. Истинное слово, чуть разума не лишилась. Может, знаете: неподалеку от нас жил джигит один — Баязит-кари. Я своими глазами видела, как его жандармы уводили... Страшное дело, барышня, ведь они чисто звери, эти жандармы...— и пустилась рассказывать про Баязита...

К ним подошел Хабиб.

— Что делать, Хадичэ-апа! И тюрьмы будут, и ссылки. Особенно убиваться из-за этого нельзя. Сейчас время борьбы! — проговорил он.

Однако джинги не унималась:

— По-вашему-то оно так получается... Да ведь нам — тем, кто остается,— больно тяжело... Прежде, бывало, ус-

лышу, что забралн кого, н говорю: так, мол, и надо, пускай не смутьяннничают! Теперь малость разбираюсь... сердце-то болнт... Зашебуршнт что ночью, а я проснусь от страха, думаю: жандармы явилнсь... Скажут про какого человека — посаднлн, мол, его, а у меня такое на сердце, будто сына родного увелн... Еще спаснбо Юсуфджану: хоть байскнй он сынок, а вот Габдуллу на лесопильный завод устроил. Теперь Габдулла покуда н пнть броснл...— рассказывала она и о горестях своих, и о радостях.

Людн говорнлн уже совсем о другом. А Хаднчэ-джингн, раз начав, не хотела остановнться, пока не выложнт всего, что накопилось у нее на душе.

— Уж ты не обессудь, барышня,— говорнла она,— бедность вот одолела,— тоже и жнлье плохое. Этн-то уж бывалн у нас, а ты, барышня, не обессудь... Что поделаешь... Кабы знала, что прндете, помыла, почистила бы немного, не успела вот... Дочку мою Махирэ сестра Булата к себе позвала: мать у них, видишь, заболела... Трудно ей, старухе, приходнтся: единственный сын то в тюрьме, то в ссылке. День лн, ночь лн — всё жандармы у ннх, всё жандармы... Уж высохла вся с горя тетушка Эсхабджамал! А что ей остается, судьба у нее...

Разня не дала ей договорнть, прервала ее на полуслове:

— Господн, что же это такое?! Когда я к вам шла, всю дорогу с Урмановым ссорилась... Отчего меня так отделяют от всех?.. Почему мне может не понравиться то, что нравится остальным?.. У вас замечательно, все замечательно! В доме у Кадыр-бая роскошная обстановка, но, наверно, ннкто из этнх товарнщей, если бы нх пригласнлн, не пошел бы к нему... А к тебе, Хаднчэ-апа, ндут с радостью, у тебя тесное жнлье, но шнрокая душа!..

Комната была н в самом деле тесная н убогая. Она была как бы сжата со всех сторон и осела так глубоко, что только верхние половннкн двух маленькнх окошек поднималнсь над землей. Цементный пол. Направо от порога — большая облупившаяся печь. В этой комнате спалн, тут же ели — все вместе. Лншь возле печкн был отгорожен занавеской уголок для стряпнн. В передней части комнаты стоял стол, около него с двух сторон — длинные скамьн.

Но какой бы убогой н мрачной нн была эта комната, людн, собравшиеся в ней, чувствовалн н держали себя здесь свободно. Кто сндел на подоконннке, кто на лежанке, некоторые разместнлнсь на скамьях, Нигмат-казн вы-

шагивал из угла в угол. В комнате стоял непрерывный гул голосов.

Разия уже успела подружиться с хозяйкой. Несмотря на ее протесты, надела передник и принялась мыть посуду, помогала стряпать.

Руки ее двигались легко и проворно. И вся она была какая-то окрыленная, ходила, точно не касаясь ногами земли, как будто она вышла замуж за любимого джигита и сегодня первый день в его доме, в его семье, хлопотала по хозяйству...

Беглец Хабиб любил вспоминать разные истории, связанные с его побегами от жандармов и полиции. И сейчас, собрав вокруг себя молодежь, он оживленно рассказывал о каких-то необычайных случаях.

Тем временем поспел ужин. Шутливо подталкивая всех в спину, Разия погнала их к столу и, усаживая как можно плотнее, сумела за маленьким столом поместить всю компанию. Не было тарелок. Не было вилок. Лишь один нож на всех да деревянные ложки. Комната наполнилась вкусным запахом лапши, сваренной в крепком бульоне, жирного жареного гуся... В ноздрях у гостей защекотало.

— Есть такое вкусное мясо без водки просто грешно,— заявил Хабиб и, попросив прощения у джинги, обратился к Габдулле-абзы: — Остальным, может, и не надо... Ты тоже свою клятву не нарушай! А у меня, знаешь, все тело разбито, не вредно бы перед ужином хлопнуть полбутылочки; а?

— Из-за пустяка человека беспокоишь,— начал было урезонивать его Урманов.

Но вмешалась Разия:

— Оставьте, пусть выпьет. Он действительно слишком измучен... Ему полезно... Можно достать, Габдулла-абзы? — спросила она хозяина.

Тот не заставил себя уговаривать.

— Какое же тут беспокойство? У моего соседа Петрушки всегда водится. Два шага ходу,— ответил он и, накинув на плечи чекмень, вышел.

Никто не заметил, как за ним выбежала Хадичэ-джинги. Только Урманов последил за ней взглядом: он-то знал, сколько перестрадала эта женщина из-за пьянства мужа. Конечно, она испугалась, что он, увидев водку, опять примется за старое!

И точно: Хадичэ-джинги догнала мужа, зашептала:

— Ты, старик, ради бога, прошу, сам только не пей! Боюсь я, как бы к прежнему не потянуло...

Получив от мужа твердое обещание, она вернулась радостная, оживленная. Люди собрались пить, а ее Габдулла к рюмке не притронется, даже если перед ним на столе будет стоять водка, даже если начнут угощать его... Не сон ли это, господи?

Видно, Петрушка и в самом деле жил близко. Не прошло пяти минут, а Габдулла-абзы уже возвратился с полбутылкой красноголовки, засунутой по старой привычке в карман брюк.

Ужин подали. Перед Хабибом отдельно поставили немного капусты, огурцов, луку, большую чашку. К этому он еще попросил одну картофелину, кусок мяса, остудил их слегка и проглотил чашку водки, не поморщась, точно выпил воды.

Остальные накинулись на лапшу. Даут время от времени поглядывал на Габдуллу-абзы: удалось ли ему окончательно бросить пить? Или только пытается сдержать себя?.. Нет, он очень спокоен, ест с удовольствием, не обращая никакого внимания на стоящую перед ним бутылку. Значит, действительно бросил...

Хабиб собирался налить себе вторую чашку, но Разиятуташ удержала его:

— Вы уж слишком! Хотите один все выпить. Налейте и мне, выпьем с вами на брудершафт!

И джинги, и Габдулла-абзы, да и все, кто был здесь, удивленно уставились на девушку: что такое, неужели будет пить?.. Или только шутит?..

— Выпьете? — улыбнулся Мансуров.— Если осилите, пожалуйста! Это мне доставит только удовольствие!

Хадичэ-джинги принесла маленькую чашку. Девушка взяла бутылку, налила себе водки и, чокнувшись с Хабибом, залпом выпила. Из глаз у нее потекли слезы, но она пыталась храбриться:

— Говорили, что водка горькая... Ничего подобного!..

Про «брудершафт», однако, хотя и начала разговор с него, позабыла.

Еды было приготовлено много. На столе появилась еще одна глубокая миска с мясом. Но и джигиты, видимо, проголодались основательно: что ни подавалось, исчезало в одно мгновение. Чуть захмелевший Хабиб ел особенно жадно. Глотая кусок за куском, он приговаривал:

— Столько мяса нам только на празднике курбан-байрам [1] перепадало!..

[1] Курбан-байрам — мусульманский престольный праздник, когда отдают на заклание скот.

Ужин прошел очень весело. Потом пили чай. К чаю был подан и чэкчэк — свадебный гостинец сестры Даута. От себя Хадичэ-джинги добавила сотового меду и лимон.

За легкой беседой, с шутками и смехом, просидели бы и до зари... Но где-то один за другим глухо стукнули в ночной тишине три выстрела. Вслед за ними поднялся шум, как будто гнались за кем-то, кто-то убегал... Гости сразу позабыли и о еде и о веселье. Хабиб Мансуров, который сидел в самом блаженном состоянии, вскочил первым:

— Товарищи, пора расходиться! Если нагрянут, все разом попадемся...

Кто был помоложе, мигом оделись и исчезли.

— Как бы и на меня ваши грехи не пали... Надо уходить! — прогудел своим трубным голосом Нигмат-кази и начал, ворча, одеваться.

Беглец решил переночевать у него.

Самой последней нехотя тронулась Разия. Сказав Хадичэ-джинги, что ей совсем не хочется уходить, поблагодарив ее много-много раз и пожелав спокойной ночи, повернулась к Урманову.

— Ну, пошли, Даут? — сказала она и оперлась на его руку.

LXI

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Когда они вышли, небо уже прояснилось. Сверкая, сияя переливчатым светом, горели звезды. На город смотрела неяркая луна.

Девушка глубоко вдохнула прохладный воздух и крепче обхватила руку Урманова. Только что беззаботно порхавшая в маленькой убогой комнате среди своих товарищей, сейчас она неузнаваемо переменилась — притихла, куда-то унеслась мыслями. Они шли молча. Каждый думал о своем.

Разия не произнесла ни слова и тогда, когда они дошли до ее уютного особняка. Молча поднялась по каменным ступенькам, вынула из кармана ключ, и не успел Даут ничего сообразить, как она уже скрылась за белой двустворчатой дверью.

Время было очень позднее.

Девушка вошла на цыпочках, стараясь никого не разбудить. Направо от двери была спальня ее матушки Алмас-

бикэ. Разия задержалась, прислушалась: Алмас-бикэ, ровно дыша, спокойно, безмятежно спала.

«Господи, есть же счастливые люди на свете!» — подумала Разия и, не потревожив никого, прошла через зал в свою комнату.

Комната была прекрасно обставлена. Мягкие стулья, зеркала, письменный и туалетный столики, шкафы красного дерева, полные книг в переплетах с золотым тиснением...

Со стены, слегка выпятив украшенную тремя медалями грудь, большими черными глазами смотрел на дочь полковник Салим-мирза Ширинский, погибший в сражении в Китае.

В правом углу стояла покрытая тонким кружевным покрывалом изящная кровать. К изголовью был придвинут круглый столик, на который горничная заботливо поставила масло, булку и стакан сливок.

Все здесь дышало покоем, все было красиво, на всем лежала печать тонкого вкуса, самый воздух был пропитан удивительным благоуханием.

В другие дни, возвратясь домой, Разия с аппетитом ужинала, потом, наскоро раздевшись, бросалась на мягкие подушки и сразу засыпала — спокойным, глубоким сном.

А сегодня — нет...

Медленно начала она раздеваться. Полураздетая, остановилась в глубоком раздумье. Сон не шел к ней. В голове кипела уйма каких-то не нашедших своего разрешения мыслей. Она долго думала о Булате... Ведь когда-то начинала увлекаться им! Но это быстро прошло... Теперь Даут!.. Нет, не только он... В ее мысли словно силой вломился еще этот фабрикант Абызов — он тоже красив, у него решительный взгляд... Одно скверно: так и чудится, что из-за его спины, вся в слезах, выглядывает молодая красивая женщина, его содержанка, с двумя детьми... Нет! Пусть остается один Даут!..

Не только в окружающей ее жизни, но и в ней самой, казалось, что-то рушилось, что-то рождалось...

Вот красивые мраморные залы, украшенные самыми драгоценными, прекрасными созданиями искусства. Изящные женщины в золоте, в шелках, стройные, воспитанные кавалеры в парадных мундирах. Играет музыка. Красивые глаза излучают сияние и негу, томно улыбаются полные, алые губы. Редкой красоты цветы... Изысканные вина... Балы, театры, вечера... Ложи... золотые погоны...

Нет, не то!

Рабочие, солдаты, крестьяне! Исхудавшие, желтолицые,

сутулые шакирды, приказчики, оборвыши Тангатаровы с продранными локтями и коленками, пьяные скандалисты Абдулки... Если надо — тюрьмы, ссылки, может быть, и эшафот, свирепые, черноликие палачи в красном с головы до ног...

Девушка долго думала о том, что очутилась она между двух этих миров...

Неторопливо поднялась... Поверх белоснежного тонкого белья накинула на себя голубой шелковый халат и, тихо ступая, вышла в зал. Она не стала зажигать люстру, ей не хотелось слишком яркого, резкого света. Подошла к круглому столу с разбросанными на нем альбомами, зажгла лампу на тонкой высокой ножке. В зале было прохладно. Она запахнула глубже халат и стала перед зеркалом. В полумраке из зеркала смотрела на нее, кутаясь в нарядный халат, хорошенькая, высокая, стройная девушка...

Когда-то Разия была влюблена в самое себя. Она запиралась одна в комнате и любовалась собою, глядя в зеркало. Сравнивала себя с античными статуями... А какая она сейчас?.. Белый мрамор, оживленный розоватым свечением крови. Округлые плечи. Под легким шелком халата вырисовываются упругие груди... Вот только лицо не отличается такой уж исключительной красотой. Оно обыкновенное... Правда, если бы линии щек были более овальными, а носик был попрямее, она, несомненно, напоминала бы греческих богинь... Впрочем, эти два недостатка с лихвой искупаются лучистым взглядом огромных черных глаз, длинными черными ресницами, тонкими, будто нарисованными бровями и полными алыми губами... Шелковистые черные волосы когда-то ниспадали волной, окутывая плечи, спину, грудь... Начались революционные волнения, и девушка, следуя веяниям времени, коротко остригла волосы, но только похорошела от этого!..

В былые дни Разия часами простаивала так перед зеркалом.

Мать, бедная матушка Алмас-бикэ, любила красоту дочери еще пуще, чем сама Разия! Ум и хорошие манеры Разии позволяли возлагать на дочь большие надежды. Позволяли верить, что она составит себе блестящую партию, найдет человека богатого, с положением, воспитанного, умного и успокоит старость матери. Вокруг девушки вертелось несколько офицеров из дворян. Острый взор старухи ощупывал каждого из них. И ни один не пришелся ей по душе. Некоторые удерживались возле Разии довольно долго. Это начинало тревожить мать. Неужели ее умница, ее красави-

ца изберет себе такого юиошу? Ои же ей ие пара... Но проходнло еще иемного времени, и офицер нсчезал из виду. Материнское сердце снова билось ровиее. А когда Разия иачниала вспомниать обо всех о ннх со смешком, с издевкой — в душу бикэ возвращался мир. Зачем спешить? Ведь дочерн исполиилось только двадцать...

Разня поннмала, какие стремлення движут ее матерью. Да н собствеиные ее взгляды на жизнь были примерно такими же.

Но вот пришла революция и втяиула молодые, горячие сердца в водоворот своих событий. Ничего теперь не оставалось от былого. Высокое стройное тело, которым оиа когда-то любовалась перед зеркалом, теперь всегда прячется под чериым платьем. Ее душа вся, до самого затаеиного уголка, охвачена пламенем революцни!.. Пусть у нее стройиая фигура, красивое тело, яркие, сочные губы, теперь все это не будет кокетливо отражаться в зеркале, а может быть, если поиадобится, сгниет ради революции в тюрьмах или пройдет через рукн палача и будет выброшено темиой иочью в сырую яму...

Так размышляла девушка, стоя перед зеркалом, и вдруг порывистым движеиием погасила лампу и вернулась к себе в комнату.

Однако уснуть оиа ие смогла.

Нет, так нельзя... Это безумие! Отступить перед прошлым?! Нельзя возвращаться ко всему этому! Надо все похороиить, уничтожить!.. Но каким образом?.. У кого, где взять силы, с кем поделиться своими думамн и тревогами? Даут?.. Булат?.. Или Хабиб?..

Булат не захочет понять ее трагедию. Посмеется, скажет: переживаиия девушкн-нителлигентки, начавшей терять под ногами социальную почву... Даут — человек глубокой мысли, широких взглядов, но мягковат! Хабиб вовсе не знает пощады, ему ннчего не стонт полоснуть по живому твоему сердцу кнннжалом... Хотя иногда лучше поступнть именно так! Подобно безжалостиому, ио искусному хирургу, который в одиу мииуту вскрывает очаг болезнн.

Пойти к нему?... Илн к другому?.. Но какая польза будет от разговора с кем-нибудь из них? В какой бы форме ни была преподиесена суть их суждеиий, ей заранее известио, что оии скажут:

«Это самое обычное явление. Когда на смеиу классу, выполнившему свою историческую роль, приходнт другой, отдельиые люди из среды класса уходящего вливаются в класс, виовь возникший на арене. Вы представляе-

те собой одну из тех личностей, которые из старой дворянско-буржуазной среды, благодаря революции, перешли в ряды пролетариата. Только в этом и заключается социальная основа вашей «трагедии»...»

А Булат еще добавит язвительно:

«Но будьте тверды!.. Некоторые слои интеллигенции, приняв красную окраску, разглагольствуют о социализме, а в конце концов тонут в мещанском болоте. Остерегайтесь этого!»

Нет, не нужно ей ходить к ним за советом. Слишком хорошо знает она наперед, что именно может услышать от них в ответ на свои признания.

«...Мой путь ясен, вера непоколебима! — убеждала она себя.— Со старой жизнью покончено. Барышни Разии, существующей в представлениях матушки, теперь уже нет. Вместо нее родилась другая Разия. Я революционерка! Я стала одним из тех борцов, которые под знаменем социализма вышли в бой против власти капитала, против всей буржуазии. Прощай, старый мир! Я ушла от тебя безвозвратно. Передо мной новые миры, новые идеалы!..»

Со всем этим сумбуром в голове, точно в бреду, девушка заснула лишь под утро.

Алмас-бикэ слышала ночью, как поздно легла дочь. То, что утром Разия спала необычно долго, и вовсе встревожило мать. Она уже несколько раз заглядывала в ее комнату: лицо Разии было как будто спокойно, но голова горела...

Материнское сердце сжималось: что будет?.. Что переживает сейчас ее дитя?..

Около одиннадцати часов, услышав, что барышня проснулась, вошла горничная.

— Ваша матушка нездоровы, у них голова болит, просят вас к себе,— позвала она Разию.

Девушка умылась, докрасна растерла тело полотенцем, смоченным холодной водой, и, одевшись, прошла к матери.

За одну ночь мать состарилась на десять лет. Лицо ее было пергаментно-желтым. Гуще стала сеть морщинок вокруг глаз. Бикэ холодно поцеловала дочь, присевшую около нее на стул, спросила, помешивая ложечкой черный кофе:

— Что с тобой, дочь моя? Ты поздно вернулась, долго спала.

Разия ожидала этого вопроса. Была готова к нему. Но сколько бы ни пыталась она объяснить, мать никогда не поняла бы ее!.. Так стоило ли затягивать разговор?

— Абсолютно ничего, матушка! — ответила она.— Я сейчас ухожу на собрание. Тебе надо взять что-нибудь в аптеке? Я зайду туда на обратном пути.— И, сжав в руках ридикюль, поднялась.

От гнева и горя старая бикэ словно окаменела. Но ни одним словом, ни одним упреком не дала почувствовать этого:

— Нет, спасибо. Если понадобится, пошлю прислугу.

Разия торопливо вышла от нее.

Бикэ чуть не лишилась рассудка: что же это за несчастье?! Собрание, собрание, партия, реферат, кружок... какие-то рабочие... Гереи... Абдулки... Митинги... демонстрации... революция... социализм! Господи, да что же это такое?.. И это ее дочь?! Разве для того вырастила она свою Разию, разве для такой судьбы воспитала ее?! О господи!..

LXII

ЛЮБОВЬ ГЭВХАР

На первом же перекрестке Разия столкнулась с Гэвхар. Они еще не виделись после того, как Гэвхар вышла из тюрьмы. Подруги расцеловались.

— А я шла к тебе! — сказала Гэвхар по-русски, беря Разию под руку.— У меня большой секрет... Никому на свете, кроме тебя, не могу открыть!

И они отправились вдвоем домой к Гэвхар.

...Мухаррам Ильбаев всю жизнь служил в земстве. Имел собственный дом. Свою единственную дочь Гэвхар он, не желая отставать от времени, отдал в гимназию, потом послал в Петербург на высшие женские курсы. Однако в том году занятия в петербургских высших учебных заведениях совсем разладились, и Гэвхар вскоре возвратилась в родной город. Здесь она сразу вошла в среду молодых социалистов. С первых же дней примкнула к группе Булата. И уже тогда начала она придираться к Разии, говорила, что у той, дескать, неясное политическое лицо, хотя сама-то Разия полагала, что провела достаточно резкую черту между революцией и контрреволюцией, и себя Разия видела вместе с Хабибами и Даутами, конечно, по эту сторону черты, именно там, где были силы революции.

Гэвхар была девушкой решительной. Она наметила себе свой, как ей казалось, ясный путь. Мать, глубоко

верующая, древнего уклада, богомольная старушка, пыталась образумить ее:

— Ты и в бога-то, кажется, не веришь. Как на том свете будешь ответ держать?!

Очень не нравилось ей, что дочь день-деньской крутится среди посторонних мужчин на всяких этих собраниях. Сокрушенно взывала она к мужу:

— Будь ты наконец отцом! Обуздай дочь хоть немного...

Но Ильбаев был человек мягкой, широкой натуры. Он не мог противиться дочери. Старухе же своей как-то сказал шутливо:

— Не горюй, матушка! Если революция возьмет верх, Гэвхар еще нас с тобой выручит... А останется все по-прежнему, что ж, тогда мы постараемся выручить дочку... Всегда лучше учитывать и ту и другую возможность!

Как-то само собою получилось, что Гэвхар тесно сдружилась с Булатом. Когда же в их отношения совершенно ошибочно впутали имя Нины, душа Гэвхар зажглась мстительной злобой к Булату. Этим-то моментом и сумел воспользоваться Юсуфджан, который давно уже заглядывался на Гэвхар. Именно в то время они и встречались несколько раз. Ничего особенно не произошло. Всего-навсего Юсуфджан, провожая Гэвхар поздним вечером домой, чуть ли не насильно поцеловал ее... Потом, в дни разрыва со своим отцом, Кадыр-баем, он просто приходил к Гэвхар посоветоваться... Вот так и протянулась между ними какая-то невидимая нить. Девушка смотрела на это как на случайно допущенную ею ошибку. Юсуфджан же стремился превратить эту ошибку в каменный фундамент будущей постройки. Даже ту небольшую помощь, которую оказала ему Гэвхар при его побеге из дому, Юсуфджан расценил как выражение чувств девушки к нему. Правда, возможно, лишь сделал вид, что так понимает это.

Сегодня Гэвхар опять получила от него длинное письмо. А только вчера пришли две телеграммы — ей и Кадыр-баю. В телеграмме, адресованной отцу, Юсуфджан писал:

«Буду голодать, пойду за безделицу на поденщину, но ради богатства, ради капиталов в рабство к тебе не вернусь!»

Это он послал из Одессы, отплывая на пароходе в Стамбул.

Телеграмма, полученная Гэвхар, была совершенно другая... И письмо, искреннее оно было или нет, но от первых строк до последних говорило только о любви:

«Мир мой светел, я свободен, обеспечен на несколько лет. Все у меня есть теперь, недостает лишь тебя, лишь тебя я жду. Приедешь сама или мне вернуться за тобой?» — спрашивал Юсуфджан.

Девушка уже написала ответ. Начав с выражения добрых товарищеских чувств, она затем давала ясно понять, что никаких любовных отношений между ними быть не может.

«Я останусь твоим другом,— писала она,— принимай мою дружбу такой, какая она есть: у меня двое друзей — ты и Разия. Я одинаково люблю и Разию и тебя, пойми меня правильно...»

Однако отправить письмо Гэвхар еще не решалась. Надо было посоветоваться с кем-нибудь... Вот почему она и спешила к Разии и так обрадовалась возможности заполучить ее к себе. Она хотела показать подруге свое письмо.

И пожалуй, не только ради того, чтобы получить от подруги совет. Гэвхар знала, что среди товарищей уже распространились кое-какие сплетни. Кажется, Юсуфджан и сам, беседуя с друзьями, то и дело вставлял: «Мы с Гэвхар...» Девушке совсем не хотелось попадать в ложное положение. Разговаривать об этом с товарищами напрямик казалось ей неудобным, она решила действовать иначе. Что Разия не прочь посплетничать, было известно Гэвхар давно. Прочитав ей свой ответ Юсуфджану, она сразу пресечет все пересуды. Разия тут же расскажет Дауту, а там уж все дойдет и до других, и таким образом станет ясно, что между Гэвхар и Юсуфджаном ничего нет и не будет...

За оградой, направо от обширного двора, раскинулся сад. Шумели, раскачивая голыми ветвями, высокие березы, старые дубы, липы. Дом Мухаррама Ильбаева стоял в глубине сада.

Прислуга отворила дверь, впустила девушек. Ни отца, ни матери Гэвхар дома не было. Гэвхар повела подругу через зал к себе в комнату.

Комнатка была маленькая, с одним окном. Обставлена не так богато, как у Разии, но со вкусом. В книжные шкафы было натолкано множество русских брошюр, выпущенных за время революционных волнений. На диване лежали только что присланные по почте два журнала. Но ни книги, ни мягкий диван, ни скромная белоснежная постель не остановили внимание гостьи. Разию поразил висевший на стене напротив дивана портрет Маркса: пышная белая борода, густая грива белых волос, львиный взор глубоких глаз...

Девушки уселись на диване. Гэвхар вынула из ридикюля конверт с письмом. Чуть улыбаясь, посмотрела на Разию, сказала по-русски:

— Ты не удивляйся, дорогая, мне нужен совет. Ты и старше меня, и умнее...

Она стала читать вслух написанное тонким, изящным почерком длинное письмо на русском языке, особенно выделяя при чтении такие места: «Не делай неверных выводов из моего отношения к тебе», «У меня двое друзей — ты и Разия. Я одинаково люблю и Разию, и тебя...», «Желаю тебе счастья. Хочу остаться твоим другом. Не истолковывай мои слова ошибочно, только другом...»

Кончив читать, она взглянула на подругу, точно спрашивая глазами: «Ну, что скажешь?»

Разия ответила не сразу. Повертела в руках письмо, потом заговорила негромко:

— Вот как?.. Ты меня извини, дорогая, но я как раз на днях сказала кому-то, что у тебя особое отношение к Юсуфджану...— Она помолчала немного и спросила: — Почему ты так резко пишешь? Ты же убиваешь человека. Он отказался от состояния, бросил отца, бежал, поломав все. И в такое время ты вонзаешь в его сердце кинжал. Что случится, если ты напишешь поделикатней, помягче?

В синих глазах Гэвхар мелькнула какая-то искорка, губы снова улыбнулись.

— Без кинжала не обойтись, дорогая,— ответила она, не сводя с Разии пристального взгляда.— В этом вопросе для меня нужна ясность. Иначе невозможно...

К этим словам ей хотелось добавить: «Ты знаешь сама, я люблю Булата. Чувствует мое сердце, что его снова схватят, снова сошлют... Я поеду за ним в Сибирь, на каторгу... В нем и счастье мое и муки, судьба навеки связала меня с ним...» Но она была очень скрытной по натуре. А тут вдобавок примешалась еще эта история с Ниной...

Однако Разия сама заговорила о Булате. И на тонких губах Гэвхар словно заиграл алый свет, любовь сделала теплым ее взгляд, счастьем зазвенел ее голос... Она ни разу не произнесла: «Я люблю Булата!» — но Разия читала это в сияющем ее лице, в глазах, слышала в мягких, мелодичных нотках взволнованного голоса.

Разия считала себя красивее Гэвхар. Но сегодня, вот сейчас, свет любви, изнутри озаривший большие глаза Гэвхар, сделал ее прекраснее любых красавиц. Впервые в жизни Разия восхищалась красотой другой девушки... Не могла насмотреться на нее!

Но вслух не выразила никаких восторгов, только сказала:

— Ты счастлива, дорогая! Я завидую твоему счастью! — И, поцеловав подругу в лоб, встала.

Вышли вместе. У ворот расстались. Сегодня вечером у Разии соберутся товарищи, будет неофициальное собрание. Нужно к нему подготовиться, а до этого — успеть провести занятие в тайном политическом кружке шакирдов. И главное — в три часа надо проводить мать, которая уезжает нынче в имение...

Гэвхар отправилась к Фахри.

Неделю тому назад на заводах города прошли крупные стачки. Поначалу казалось, что они окончились победой рабочих. В действительности же вышло по-иному. На одном заводе по требованию рабочих обещали уволить управляющего, но после возобновления работы оказалось, что того просто переместили на другую должность. Также было условлено, что ни один участник стачки не лишится своего места,— хозяева же перевели восемь рабочих-татар из слесарей в чернорабочие. Когда те заявили протест, их вовсе выгнали с завода. Затем уволили сразу еще тридцать человек. Члена стачечного комитета Галимова вчера в административном порядке — в двадцать четыре часа — выслали из города... Все это сильно взбудоражило рабочих. Теперь открыто выражали свое возмущение даже те, кто прежде не участвовал в стачках. По поводу разыгравшихся событий вчера напечатали прокламации. Чтобы передать их Иванову, товарищу Герея Султана, надо было сегодня проникнуть на завод — и обязательно до обеденного перерыва. Это поручили Гэвхар: она была молоденькая и по внешнему своему облику ни у кого не могла вызвать подозрений. Да и раньше она уже много раз выполняла такого рода задания.

Фахри был дома: ожидал ее. Он тотчас же принес с чердака два свертка отпечатанных ночью прокламаций, озаглавленных: «К татарским рабочим». Завернув их, как хлеб, в салфетки, они взяли эти свертки под мышки и отправились к Гэвхар.

Придя к себе, Гэвхар оставила Фахри подождать в зале, а сама ушла в свою комнату. Там она переоделась в свободное серое платье, туго подпоясалась и аккуратно рассовала все двести листков под лиф платья. Теперь она выглядела уже не тоненькой девушкой, а плотной, упитанной женщиной. Гэвхар взглянула в зеркало и поскорее набросила на плечи широкую накидку...

...У заводских ворот была выставлена охрана. Без особого разрешения никого не впускали.

— Мне нужно пройти к дочери управляющего Ольге Дмитриевне, я ее знакомая! — объяснила Гэвхар.

Однако это не возымело никакого действия. Гэвхар разгорячилась, потребовала, чтобы из конторы позвонили на квартиру к управляющему. Охрана отказала и в этом...

Тем временем к воротам подъехала коляска самого управляющего.

— Вот, говорит, что пришла к вашей дочери... Впускать или нет? — обратился к управляющему один из стражников.

Тот взглянул на Гэвхар, улыбнулся.

— К нам стараются пролезть всякие подстрекатели,— сказал он,— и мы вынуждены были поставить охрану. Садитесь ко мне.

Гэвхар училась с Ольгой на курсах в Петербурге. Они с тех пор не виделись. Радостно расцеловались, разговорились.

Но Гэвхар была в сильном смущении. В Петербурге Ольга считалась «красной». А как сейчас?.. Ведь отец ее — один из притеснителей рабочих! Пошла ли она по стопам отца или осталась такой же, как прежде?.. Угадать было трудно. И Гэвхар не открылась ей. Как бы между прочим сказала:

— Дорогая, здесь у вас живет мать нашей прислуги. Она нянчила меня, когда я была маленькая. Оказывается, старуха больна очень... Ты не покажешь, где тут у вас казармы? А то там охрана у ворот! Я к тебе потом зайду.

Ольга или не поняла ничего, или сделала вид, что не поняла, спокойно ответила:

— Пошли!

Она проводила Гэвхар в большое, мрачное и затхлое помещение, где жили рабочие. Оставила ее там и ушла, крикнув:

— Так я тебя жду!..

Иванова Гэвхар не нашла, но встретила жену одного сосланного рабочего — молодую женщину с очень живыми глазами. Женщина с первого же взгляда сообразила, что Гэвхар, должно быть, пришла от Булата, и повела ее в свою каморку. Там Гэвхар передала ей прокламации и, объяснив, кому и о чем надо сообщить, поспешила обратно к Ольге.

Однако засиживаться у Ольги не стала. Отказавшись от кофе и пригласив ее к себе в гости, побежала в город.

LXIII

ШАКИРДСКИЕ ВОЛНЕНИЯ

Первый, с кем она столкнулась в городе, был Нигматкази. Он куда-то торопнлся.

— У меня срочное дело,— сказал он,— шакирдов комиатами никак не можем обеспечнть.

Гэвхар встрепенулась:

— Что пронзошло? Зачем нм комнаты?

— Там бунт. В обонх медресе такое творится...— ответнл Нигмат н побежал дальше.

Из шакнрдов Гэвхар ближе всего была знакома с Джихангиром. Оиа отправнлась к нему, чтобы узнать о случившемся.

Но Джнхангнр вышел ей навстречу, застегнвая на ходу пуговицы пальто, н, крнкнув: «Там просто ужас!» — побежал в медресе.

После того памятного дня, когда полиция устронла там обыск, волнеиия в Медресе-и-исламийе улеглись самн собой. Но оказывается, огонь не угас, а тлел нскрой, прнкрытой пеплом.

Кадыр-бай не отказался от брошенной нм тогда угрозы. «Пока не выгоните двенадцать шакнрдов, стоявшнх во главе движеиия, не дам медресе ни копейки. Эти смутьяны сбнвают н другнх шакнрдов...» — сказал он н твердо стоял на своем. Его примеру последовали баи помельче — они только и ожндали повода, чтобы отказаться от взноса денег. Гали-хазрет понял трудность создавшегося положения. Карим Гайфи со всем усердием ратовал за предложеине Кадыр-бая. После долгого перерыва снова начались совместные заседання правления н попечнтелей.

Поднял голос н шакирдскнй «Комнтет защнты». В спальных комнатах медресе, в иадежных квартнрах на стороне проводнлнсь групповые совещаиия. Затем тайно от правления было созвано общее собрание шакирдов этого медресе.

Снова Джнхангир, взобравшись на стул, кричал:

— Товарнщи, мы передали правлению свои требоваиия! Мы предложнлн программу реформы медресе! Держнмся ли мы н сегодия своего миення? Илн же мы нспугались облавы жаидармов?!

Снова со всех сторон раздавались неистовые голоса:

— Нет, мы не отказываемся от свонх слов!

— Пусть выполняют наши требования. Не то мы покинем медресе!

— Своим уходом мы перед лицом истории заявляем всей татарской нации о непригодности этих медресе!..

На шум вышел Гали-хазрет. Он был бледен, но голос его, когда он заговорил, звучал твердо:

— Это что за крики? Зачем вы пришли в медресе? Учиться или устраивать митинги?.. Объявляю вам официальное решение правления: впредь запрещаются всякие самочинные заседания и собрания. О намерении провести собрание надлежит предварительно поставить в известность правление. Собрания могут организовываться только с разрешения правления.

Сулейман Сейфуллин крикнул:

— Вот оно как?! Вы топчете революцию? Вы хотите опять заковать нас в кандалы?! Запрещаете нам говорить?!

За ним еще раз поднялся Джихангир:

— Товарищи, вы знаете, что означает у нас слово «правление» — это два толстопузых бая и трое невежд хальфэ! Может ли их решение стать для нас законом? Неужели мы, подчинившись их приказаниям, откажемся от собраний?! Не выйдет, не откажемся! Пойдем сейчас же в зал! Пойдем разберем на свободном собрании наши насущные дела! Хватит, нас долго угнетали! Татарский шакирд, будь отважен как лев!.. Не поддавайся гнету! Готовься к борьбе за свои идеалы!.. — взывал он к собравшимся, разжигая страсти своим исступленным криком.

Все шакирды в необычайном волнении, с шумом, выкриками бросились в большой зал.

Гали-хазрет растерялся, но в следующее же мгновение взял себя в руки. Вместе с лавиной шакирдов он прошел в зал и, подняв руку, призвал к тишине. Говорил он очень коротко:

— Здесь медресе. Мы принимаем сюда молодежь, чтобы дать ей национально-религиозное воспитание. В медресе есть свой устав, своя программа. К нам каждый поступает добровольно. Но если кого-нибудь не устраивают устав медресе, его программа и приказы правления, двери наши открыты, пусть каждый идет своей дорогой! Программа не изменится, двенадцать шакирдов будут изгнаны!

Последние слова хазрета потонули в яростном взрыве голосов. Мощные звуки «Сада» и «Марсельезы», раздавшиеся из всех углов зала, сотрясали стены медресе.

Медресе сейчас напоминало тонущий корабль. По коридорам из комнаты в комнату, с этажа на этаж, прихва-

гив с собой увязанные заранее узлы, подушки, одеяла, книги, бегали шакирды.

«Комитет защиты» тут же, за какие-нибудь пять минут, провел совещание и вынес решение: всем вместе покинуть стены медресе!

Это решение было немедленно оглашено. И с невообразимым шумом, руганью, воплями, с пением «Сада» и «Марсельезы» шакирды повалили на улицу.

Весть о событии в Медресе-и-исламийе дошла до шакирдов Вафы-хазрета. В свое время там за сорока подписями была подана петиция с требованием убрать из медресе наркомана Кабира-хальфэ и с угрозой убить его, если требование не будет выполнено. За эту угрозу один из них — Рафик Альхариси — был арестован. Только вчера его выпустили из тюрьмы. Услышав о решительных действиях шакирдов Медресе-и-исламийе, он помчался в медресе Вафы-хазрета и собрал всех, кто подписывал петицию.

Тут пошли споры...

— Нас ввели в заблуждение. Силой заставили подписаться...— захныкали одни.

Но семнадцать шакирдов из сорока тотчас же собрались и ушли из медресе. Так за одной волной вздыбилась другая, и в один и тот же день молодежь двух медресе — и джадидского и кадимистского — хлынула на улицы.

Город переполнили шакирды. В дешевых татарских номерах не осталось свободных мест — в каждую комнату вселяли по пять, по шесть человек. В течение нескольких дней у всех на языке были только шакирды... Татарские газеты, которые начали издаваться во время революции, называли их героями нации, приветствовали, прославляли их. Повсюду начались сборы в пользу этих шакирдов. Широкие слои татарского народа, глубоко потрясенные, вновь всколыхнулись, забурлили...

Булат непосредственного участия в этих событиях не принял. Недавно бежавший с Енисея, он мог появляться лишь в узком кругу товарищей. Но он подсказал Усману и Фахри, как действовать, и те помогли Джихангиру и его товарищам расширить движение.

Вскоре же с участием образованных слоев татарского общества было организовано большое собрание.

Городской театр был переполнен, многие так и не смогли проникнуть в помещение. Собрание проходило чрезвычайно бурно.

Даже наркоман Кабир-халифэ, у которого никогда не хватало духу раскрыть на людях рот, поднял шум. Когда

председатель стал требовать, чтобы он покинул собрание, мясник Гайнетдин и кожевник Фасхетдин учинили форменный скандал. Михран и другие шакирды реакционного, правого крыла, оставшиеся в медресе, пытались на этом собрании защищать правление медресе. Но их голоса, словно несколько капель грязной воды, бесследно исчезли в пламени гнева тысяч их противников.

Собрание признало справедливыми требования, которые выдвинули шакирды обоих медресе, и вынесло постановление, в котором указало, что науки, которые шакирды просили ввести в программу медресе, реформа программы необходимы татарской нации как воздух. Это постановление было встречено гулом одобрения, бурными возгласами:

— Да здравствует реформа!..

— Да здравствуют татарские шакирды-герои!..

— Да здравствуют молодые борцы — герои нации!..

Среди выступавших от имени шакирдов был изгнанный из медресе Вафы-хазрета Рафик Альхариси. И он сам и его речь произвели на публику огромное впечатление. Недавно выпущенный из тюрьмы, он с полным правом дал отповедь реакционерам:

— Вы бросили меня в тюрьму, но напрасно вы надеялись этим сохранить старый режим в медресе!.. Нет, история читает над вами «ясин» — читает отходную молитву. Она несет вам смерть, черную смерть, а молодежи — светлое будущее!

Джихангир в своем выступлении рассказал о тяжелой доле татарского шакирда. Он говорил с таким жаром, с такой страстью, что у многих сжались сердца от сострадания, на глазах навернулись слезы. Расчувствовавшись от собственных слов, Джихангир и сам едва не расплакался. А к концу речи голос его наполнился еще большей яростью:

— А что сказало наше правление, что сказал наш Кадыр-бай этим угнетенным, этим борющимся против угнетения шакирдам?! Они начали пугать нас полицией, жандармами! Кадыр-бай так и заявил: «Выгоним их вон, а не подчинятся — найдем управу. Полиция-то для чего существует? Коли слишком начнут противиться — тюрьма тоже недалеко...» Вот как отнеслись они — толстопузые и Гали-хазреты — к борьбе татарской молодежи! Вот против кого мы объявили войну!..

Шакирды, бросившие свои медресе, испытывали необычайный душевный подъем. Их всюду встречали овациями, поздравляли как героев. Где бы они ни появлялись, им восторженно жали руки, осыпали их словами похвалы. Они

были полны самых горячих порывов, самых радужных ожиданий. С лиц их не сходила улыбка, глаза горели светом надежды. В прошлом было медресе, полное унижений и мук существование. Они бросили медресе. Впереди открывалась дорога в свободную жизнь, впереди маячили новые, долгожданные ясные дни...

Однако не для всех эти дни были праздником. Более десятка шакирдов из семидесяти, оставивших Медресе-и-исламийе, отступили.

— Мы ничего не знали. Нас подбили!..— каялись они перед Гали-хазретом, умоляя, чтобы их взяли обратно.

Хазрет простил их, принял обратно — с условием, что они будут беспрекословно подчиняться всем решениям правления.

К четверым — еще молодым — шакирдам нагрянули из деревень отцы. Избили их как собак, пинками заставили кланяться в ноги Гали-хазрету, чтобы тот простил их. И уехали, вновь определив сыновей в медресе...

Но большинство восставших шакирдов твердо стояло на своем. Им пришлось порвать с родителями.

«Вернись в медресе! Моли хазрета о прощении! Коли ослушаешься — отрекусь, не буду высылать ни копейки денег. На глаза мне тогда не показывайся!» — писали отцы, грозя сыновьям проклятием. Но шакирды не сдавались. Они даже не отвечали на эти письма — так сильна была их убежденность.

Денег, собранных им в помощь, хватило ненадолго. Они проели последнее свое имущество. Как часто не было у них даже двух копеек, чтобы купить фунт черного хлеба, и им приходилось голодать сутками! И все же они были счастливы и непоколебимы, с неостывающим пылом ниспровергали они старое, искали путей к новому.

Нашлось и несколько шакирдов посостоятельнее, те, порвав с медресе, вскоре уехали учиться в Стамбул, в Египет. Двое джигитов стали списываться с «Американским колледжем» в Бейруте...

У других же было одно желание: остаться в России, устроиться в русские учебные заведения, вообще учиться русскому языку!

Двенадцать шакирдов уже объединились, сняли на окраине города квартиру за семь рублей, договорились с соседкой-татаркой, чтобы та за два рубля в месяц прибирала у них, топила печку, сложившись, наняли за тридцать пять рублей в месяц русского студента и начали учиться.

Все, кто нашел сколько-нибудь денег, тоже устраивались как могли.

Некоторым пришлось уехать, остальные же, как ни горели они желанием научиться русскому, как ни мечтали об университете, институтах, из-за безденежья, из-за того, что неоткуда было им в ближайшее время ждать помощи, перебивались кое-как со дня на день. Иногда они собирались вместе — поносили прошлое, пели «Марсельезу»...

И никогда даже тень печали не ложилась на их лица. Ибо они были молоды, и в их сердцах горел немеркнущий свет надежды.

LXIV

МУЖНЕЕ ПРАВО — БОЖЬЕ ПРАВО

Постепенно страсти улеглись. У Джихангира, который в этих шакирдских волнениях развил кипучую деятельность, появилось больше досуга. И он занялся освобождением из тюрьмы Баязита.

Деньги для залога Юсуфджан дал, но прокурор отказывался выпустить заключенного на поруки.

Из-за открывшегося кровохарканья Баязита долгое время держали в тюремной больнице. Потом снова перевели в четвертую камеру.

Джихангир дважды посылал отцу Баязита Джихан-ишану длинные письма, надеясь, что тот смягчится, приедет сам или хотя бы пришлет деньги, чтобы сына могли лучше кормить. Ишан, однако, нисколько не смягчился. Он даже не ответил Джихангиру.

И все же эти письма послужили причиной большого, совершенно неожиданного события.

Ишан в кругу семьи никогда не произносил имени сына. Писем о нем, разумеется, тоже ни жене, ни дочерям не показывал. Но четырнадцатилетняя его дочь Сабира имела, оказывается, привычку шарить по карманам отца, чтобы стянуть одну-две монетки из пожертвований прихожан... И вот как-то, когда отца не было дома, она полезла в карман его бешмета и обнаружила письмо, в котором ей сразу бросились в глаза слова: «Твой сын Баязит при смерти, кровью исходит!..» Она в ужасе позвала старшую сестру Саджидэ:

— Апай, иди скорей!.. Что это такое? Здесь про Баязита-абы написано...

Сестры прочитали письмо. Надо было что-то предпринять... Но что?.. Как помочь заключенному брату?.. Сестры, которые до сих пор беспрестанно ссорились друг с другом, стали вдруг удивительно дружны. Вдвоем они наметили тайный план действий.

Старшая, Саджидо, исподволь начала готовиться к побегу в город, где сидел в заключении их брат. А младшая с большими предосторожностями принялась таскать деньги из отцовских карманов уже для иной цели, чем прежде, и в большем количестве. За неделю ей удалось выкрасть двадцать рублей...

И вот однажды темной ночью с этими двадцатью рублями Саджидэ бежала из дому.

Сев на поезд, она приехала в город и неожиданно нагрянула к Джихангиру.

Тот был поражен этим происшествием... Через Нэфисэ, жену Габдрахмана, он снял для Саджидэ комнату у одного татарина с толкучки. Попросил Разию написать за нее прошение прокурору о свидании с Баязитом.

Но случилось так, что после подачи этого прошения откуда-то и через кого-то Джихан-ишану стало известно, что его пропавшая дочь находится в городе и добивается встречи с братом... Ишан немедленно послал за Саджидэ Ахмедуллу — своего старшего сына и мюрида[1].

Произошел скандал. Девушка не согласилась вернуться и, яростно защищаясь, не дала Ахмедулле избить ее.

— Я вернусь тогда, когда освободят Баязита-абы... И только вместе с ним. Если отец не примет его, не вернусь и я! — заявила она.

Девушка оказалась очень толковой и решительной. Она продала два шелковых платья, которые прихватила с собой из дому, золотые серьги, браслет и стала передавать в тюрьму все, что было необходимо больному брату.

Часть денег она отложила и начала учиться русскому языку.

— Подготовлюсь немного, стану учительницей. Если брата осудят и сошлют, поеду вместе с ним,— говорила она.

Вся эта история вызвала в городе много разговоров и толков. Видимо, они дошли и до Хаджер... Во всяком случае, нежданно-негаданно к Джихангиру явилась ее служанка и передала для дочери ишана, Саджидэ, золотое кольцо. Ее приход потряс Джихангира: ведь он уже давно не имел от Хаджер никаких вестей, и это невыносимо мучило его.

[1] Мюрид — духовный последователь.

Хаджер тогда пережила время больших душевных волнений. Она уже решила бросить мужа и выйти за Джихангира. Они так и договорились — уехать вместе в другой город.

Но после того как бежал из дому Юсуфджан — а произошло это именно тогда,— Кадыр-бай заболел и слег. «Ему необходим покой»,— сказали врачи.

Хаджер не могла позволить себе оставить мужа в такую минуту. Сердце ее терзалось тысячью мук. У нее не хватало духу ни ходить по-прежнему на свидания с Джихангиром, ни даже писать ему.

Пусть пройдет еще день, говорила она себе, вот завтра, вот послезавтра...

Она так и не заметила в своих мучениях и тревоге, сколько прошло времени!

На днях Хаджер пришлось быть у жены Гали-хазрета на званом женском обеде[1]. Там много судачили о дочери ишана. Ругали ее всячески. Хаджер не принимала участия в разговоре — думала лишь о том, чем бы и как помочь этой девушке... Денег у нее не было, но, возвратясь домой, она перебрала свои кольца и, выбрав одно из них — широкое, не очень приглядное, зато самое тяжелое,— отослала его Джихангиру.

Джигит силой задержал ее служанку и написал записку:

«Ты бросила меня. Это ясно. Но все-таки я хочу слышать от тебя хоть одно слово, твое слово. Что произошло, что разбило мое счастье?! Напиши мне, моя милая, моя Хаджер!»

И вот через несколько дней, когда Джихангир сидел у себя, предавшись грустным мыслям, в комнату к нему прошмыгнула та же служанка и, бросив ему конверт, стремительно выбежала обратно...

Джигит торопливо вскрыл конверт. Прочел письмо один раз, второй, третий раз... Однако не нашел в нем ни слова для того, чтобы утешилось его сердце. Хаджер писала:

«Не говори так, Джихангир, не говори, что я бросила тебя. Не бросила, не брошу. Но больше не пиши мне. Не ищи встреч. Мое сердце с тобой, но ведь я — его жена. Так повелел аллах. Мужнее право, говорят,— божье право».

---

[1] У татар, как правило, женщин приглашали в гости отдельно от мужчин.

Ниже подписи было продолжение:

«Верь мне, Джихангир! Сердце мое полно тобой! Я всей душой любила и люблю тебя. Для меня никого на свете, кроме тебя, не существовало. Я была готова растоптать ногами тысячи Кадыров, чтобы очутиться в твоих объятиях. Теперь все — в прошлом, все минуло, точно счастливый, красивый сон, и мне осталось лишь вспоминать, лишь оплакивать прошлое... Ты всегда в моем сердце. Буду любить тебя вечно. Но что я могу поделать? Прости меня, такова, значит, моя судьба!»

Джихангир долго сидел задумавшись. Потом написал ответ:

«Моя Хаджер! У меня была ты, и я жил тобой. Природа редко создает подобное тебе совершенство! Голос твой звучал для меня соловьиной песней, лицо твое было лицом гурии, твои объятия заставляли меня забывать о радостях рая...

Теперь все осталось в прошлом. Мы расстались. Мы уже не встретимся вновь. Да я и не хочу этого. Мне казалось, что я понимаю, знаю тебя, но я ошибался: последние твои слова раскрыли перед моим духовным взором образ новой Хаджер. Чувство мое к тебе стало иным. Теперь я люблю новую Хаджер, люблю новой любовью. Раньше моя любовь к тебе была шербетом, приправленным отравой, была адом в раю. Яркое солнце, черная ночь, зловещие молнии и прекрасная алая заря сменяли в ней друг друга... Теперь ничего этого нет. Теперь в душе моей тихо, словно воцарились в ней лунные весенние вечера, весенние ночи, словно я очутился один возле окруженного лесами и горами озера и сижу на камне, погруженный в сладкие мечты, отрешенный от мира. Вот такой, милая Хаджер, представляется мне сейчас моя новая любовь! Прощай!.. Милая! Что еще написать мне, что еще сказать?!»

Джихангир вложил письмо в конверт, но тут же вынул его и приписал несколько строк:

«Но, дорогая Хаджер, и эта тишина, и лунные эти вечера не будут вечно. Придет время — снова засверкает молния, загрохочет гром. И я тогда во всеоружии приду и спасу тебя!»

Однако, перечитав, нашел, что они лишние. Пусть, решил он, письмо сохранит прежнюю мягкость, какой-то таинственный смысл, так будет лучше. И переписал свое послание без последних строк.

LXV

ИЗ ЛЕВОГО РЕБРА БУРЖУАЗИИ

Джихангир заклеил конверт и, сунув его в карман, вышел на улицу.

С неба смотрела луна. Мерцали звезды. «Что они всё перемигиваются?..» — думал Джихангир.

Потом он вспомнил, что уже восемь часов, у Разии, наверное, все в полном сборе... Ведь она еще три дня назад приглашала его...

Идти или нет?.. Ведь будет обычная болтовня. Эти Разии теперь бесполезны. Нужен Герей. Интересно, где он теперь?.. Есть еще Шакир-солдат. Крепкий, смелый мужик. Готов хоть сейчас пойти на помещика с топором да вилами. В наше время нужны именно такие... В Петербурге разгоняют все рабочие Советы. А что наши здесь делают в ответ?.. Ведь, кажется, что-то готовится. На заводах ожидаются забастовки. Вчера напали на оружейный магазин. Уже начались розыски. Полицейские ищейки вынюхивают след... А нынче десять вооруженных ворвались средь бела дня в типографию Каримовых и целый час печатали прокламации. Уходя, положили у дверей бомбу и приказали в течение получаса никому не выходить из помещения! Вот это здорово!.. А что делаем мы?..

Джихангир и не заметил, как дошел до дома Разии.

Нажав на кнопку звонка, он услышал вдруг позади себя приближающиеся шаги. Оглянулся. Что это значит?.. Высокий мужчина идет прямо к нему. Кто бы это мог быть?.. Неужели шпик? Хочет схватить его? Кепка надвинута на лоб, воротник пальто поднят. Лицо как будто интересное, даже симпатичное... Удивительное дело: мужчина подошел и молча протягивает ему руку. Заметив, что Джихангир от испуга не знает, что делать, он расхохотался. Это был Булат. Джихангир, который совсем недавно видел его бородатым, в обличье солидного деревенского бая, не веря своим глазам, вгляделся в его чисто выбритое лицо и вскрикнул:

— Неужели ты?! А я думал — шпик!

Пожимая ему руку, Булат весело сказал:

— Значит, ты никогда не сталкивался со шпиками. Они так близко не подойдут. Будут ходить за тобой тенью, где-то позади, из-за углов высматривать. Как-то один прицепился ко мне, не отстает, да и все... Я сажусь на извоз-

чика — он тоже извозчика берет. Я на вокзал — он за мной. Захожу на завод... Выхожу обратно, а он меня у ворот поджидает... На Екатерининской есть проходной двор. Велел я извозчику остановиться у того дома — и во двор. Тот тоже соскочил с пролетки — и за мной следом. Я юркнул за столб, у калитки, он побежал дальше по двору. Тем временем я выскочил на улицу, сунул извозчику деньги, отпустил его, а сам помчался дальше... Смотрю: та свинья — мне навстречу!..

Булат так и не досказал своей истории — служанка отворила им дверь.

На пороге зала Булат остановился, окинул взглядом усевшихся вокруг стола и, протягивая Разии руку, сказал, усмехаясь:

— Что это ты придумала? У тебя целый парламент. Только главы монархистской фракции Нигмата-кази не хватает!

Девушка покраснела.

— Ну, ты уж, пожалуйста, не начинай с самого порога. Сегодня я хозяйка! — И, взяв его и Джихангира под руки, повела их к столу. Усадив обоих, придвинула поближе блюдо с белешами и перемечами [1], налила из шумящего серебряного самовара чаю. Потом как-то смущенно взглянула на остальных гостей...

Хабиб Мансуров почувствовал ее замешательство и сказал, смеясь:

— Что это, Разия-туташ, вы смотрите на Булата с таким испугом, точно перед вами палач?.. Он не съест вас, продолжайте ваше слово!

По одну сторону от Хабиба сидели Усман, Даут Урманов, по другую — Акчулпанов, Сахиб-певец, Сулейман Сейфуллин, а дальше Фахри и другие.

Джихангир, как ни поразили его в зале Ширинских высокие зеркала, мягкие стулья, огромная, сверкающая тысячью огней люстра, дорогие ковры, широколистые южные растения,— все свое внимание он сосредоточил на столе, уставленном в изобилии маслом, медом, разными вареньями, яблоками, апельсинами, мелкими белешами и перемечами, поданными прямо с огня. Сперва он немного стеснялся, но быстро освоился и, не очень-то прислушиваясь к разговору, который велся за столом, принялся уплетать белеши, холодную гусятину и все прочее.

---

[1] Перемечи, белеши — национальные кушанья.

Оказывается, гости, решив, что Булат не придет, уже приступили к обсуждению вопроса, из-за которого, собственно, и собрались здесь. Разия все еще не могла избавиться от чувства неловкости. Одетая сегодня очень просто и очень к лицу, она все улыбалась и, пытаясь скрыть свою растерянность, придирчиво спрашивала у Булата:

— Почему ты смотришь на меня с такой укоризной, Зариф?

Булат попросил передать ему нож и, отрезав себе кусок холодного гуся, ответил шутливо:

— Ты сама же позвала меня в гости, а не даешь спокойно поесть! Продолжай, продолжай свою речь... Я ужасно голоден!

Разия, чуть запинаясь, заговорила снова. Говорила она, как обычно, по-русски:

— Так вот... Самодержавие начинает рушиться... Но еще не рухнуло окончательно. Оно собирает всю свою последнюю мощь и бросается в бой, чтобы задушить революцию... Существует старое выражение: разделяй и властвуй! И в самом деле, мы страшно разобщены... Многие из тех сил, которые должны быть направлены против самодержавия, из-за внутренних споров и раздоров оказываются вне борьбы. Я считаю, что наши внутренние распри льют воду на мельницу врага, это становится преступлением против революции! Нам пора задуматься над этим... Вы знаете, что русские социал-демократы начали выступать против внутрипартийной фракционной борьбы. Такое движение у них наметилось и в верхах и в низах, в массе. Ну, а у нас, у татар, социалистов настолько мало, что если уж и эти малые силы будут растрачивать время, схватываясь между собой,— весь фронт перед помещиками и буржуазией останется открытым... Я не берусь определять внешние формы или платформу. Но я так изболелась душой, что, воспользовавшись отъездом моей мамы в имение, побеспокоила вас всех...— на полуфразе закончила она. И, сомневаясь сама, не глупый ли подняла вопрос, не засмеются ли над ней, краешком глаза глянула на Булата и на всех остальных.

— Так! — проговорил Булат, который до сих пор не вмешивался в разговор. Положил себе на тарелку еще кусок гуся и, кромсая его ножом, спросил у Разии: — Ты не приглашала Габдуллу-абзы? Или он сам не пришел?..

Он хотел было спросить также, почему нет здесь Гэвхар Ильбаевой, но, зная, что это послужит поводом для многозначительных ухмылок, промолчал.

Разия, ие тая своей обиды, ответила:

— Лучше не спрашивай!.. Я сама к нему ходила. Первый раз видела только дочку его. Попросила ее передать, что обижусь, если Габдулла-абзы не придет... Потом пошла еще раз и застала Хадичэ-апа. «Ты,— сказала она,— не обессудь, барышня: тут приехал этот яманташский Шакир-солдат, два дня рыскал по городу, никого не мог найти. Встретились мы с ним иа улице, и привела я его к нам домой, а с ним пришел еще рабочий, с Кавказа. Как увидел их Габдулла, так и не отцепится теперь от иих... Передай, говорит, Разии-туташ, чтоб не сердилась, не смогу, мол, пойти к ней...»

Девушка рассказала об этом волнуясь и добавила:

— Как тогда было весело у них!.. А ко мие ои не пришел... Не прощу ему этого!..— И, вспомнив слова Хадичэ, вдруг задумалась.— А не наш ли Герей этот рабочий с Кавказа?..— сказала она.— Хадичэ-апа говорила: сразу, мол, видно, что очень бойкий, боевой... Как только, говорит, я сказала Габдулле: барышня, мол, пригласила... этот, который с Кавказа, начал насмехаться и спрашивает: «Вы по-прежнему тратите время иа беседы за чаем?..» — Разия обвела товарищей взглядом, словно проверяя свою догадку.— И я тогда еще подумала, что это должен быть иаш Герей...

Но Таигатаров, которому не нравилось, что с самого же начала беседа ушла куда-то в сторону от выдвинутой Разией проблемы, решил вмешаться и повернуть разговор к прежней теме.

— Товарищи,— сказал он,— вопрос, поставленный Разией-туташ, большой и важиый. По-моему, это вопрос не программный, а тактический. Разия-туташ права: наши силы малы! Дробить их на группировки и тратить время на междоусобиые распри, по-моему, тоже значит лить воду на мельницу врага! Не знаю, в какой это будет форме, но силы революции необходимо объединить!

Он говорил с жаром, призывал всех ради революции пожертвовать «партийным фанатизмом»...

— Вот я анархист,— сказал он в заключеиие,— но если это необходимо, могу действовать в одних рядах со всеми остальными.

К нему присоединился и Акчулпанов. И чтобы подкрепить свои слова, обратился к истории пролетарского движения:

— Вспомним Первый Интернациоиал, которым руково-

дили Маркс и Энгельс. Факт совместной деятельности в одной организации таких различных социалистических течений, как анархисты, прудонисты, лассальянцы, тред-юнионисты, марксисты, должен быть для нас поучительным примером. Если в ту эпоху могли идти единым фронтом с Марксом и Энгельсом анархисты Бакунин, Прудон, Кропоткин, почему сегодня анархист Тангатаров, народник Хабиб Мансуров не могут объединиться с социал-демократом большевиком Булатом для борьбы против общего врага?.. Именно так я понял вопрос, поставленный товарищем Разией. Поэтому не удивляюсь ему.

Усман тоже не возразил против идеи объединения. Но, по его мнению, нельзя ограничиваться разговорами о взаимопонимании и объединении. На какой платформе объединиться? Вот в чем, считал он, заключается смысл проблемы.

Зариф Булатов, который слушал всех выступавших чуть улыбаясь, как бы говоря: «Пусть вытрясут до дна свои мешки!..» — вдруг обернулся к Хабибу и сказал с усмешкой:

— Ну, бунтарь! А ты что молчишь? Говори! Начни с Герцена, потом через Михайловского добирайся до Чернова-Гершуни. Что тебе еще остается: сделай вывод, что у России свой, особый исторический путь развития, и уцепись за хвост народников! Не так ли? — он громко рассмеялся.

У Мансурова от злости посинела, задрожала нижняя губа.

— Именно так. Мы утверждаем, что Россия идет по своему, особому историческому пути. Мы поднимаем знамя народничества...

Дальше он действительно, начав с Герцена, перешел к Чернышевскому, Михайловскому, пока через них не добрался до атамана нынешних народников... Намерения у него были серьезные, он собирался говорить сегодня часа два. Но после того как Булат неожиданно выставил его перед собравшимися в смешном виде, у него уже не стало вдохновения, и, почувствовав, что не может найти контакта со слушателями, он оборвал свою речь.

Однако он не думал успокаиваться на этом: пусть выступит сам Булат, пусть выдвинет свои положения! Тогда можно будет возобновить полемику.

Положив перед собой бумагу и карандаш, он приготовился сосредоточенно слушать.

— Наш Герей Султан говорит, что они сотворены из левого ребра буржуазии...

Так начал свое выступление Булат.

Разия вдруг покраснела: она приняла эти слова на свой счет. Но быстро успокоилась... Из дальнейшего стало ясно, что Зариф избрал в качестве мишени эсеров вообще — Урмановых, Мансуровых, тех, кто бил себя в грудь, кричал, что они народники...

— Не очень удивляйтесь,— продолжал Булат со спокойной усмешкой,— когда о партии эсеров говорят, что она создана из левого ребра буржуазии. Если перейти на марксистскую терминологию, это означает: партия социал-революционеров — новая формация прежних народников, то есть левая фракция буржуазии. Ленин вскрывал ее сущность не раз, а много раз и во многих своих статьях...— напомнил он, прежде чем приступил к детальному анализу вопроса.

Однако основной своей задачей Булат ставил не только полемику с Мансуровыми, не только желание опрокинуть их позиции. Перед ним сидела и беспартийная молодежь, сидели шакирды, которые, точно люди, пьющие после долгой жажды воду, глотали, впитывали в себя каждое слово. Сейчас он прежде всего думал о них. Поэтому говорил подробно, особо оттеняя принципиальную сторону всех возникавших проблем. Говорил об учении Маркса, об истории классовой борьбы. Рассказал о выдающихся событиях пролетарского движения в Европе и России. Показал, насколько остра в нынешних условиях необходимость разбить позиции народников-эсеров.

— В их мировоззрении нет ни грана от социализма. Они представляют собою всего лишь левую фракцию буржуазии. Именно из этого исходит Герей, когда говорит, что они горлодеры-бунтари из левого крыла буржуазии,— повторил Булат.

После этого он с такой же резкостью стал говорить о меньшевиках.

Разия, которая вначале струхнула, теперь вздохнула свободно: удар, кажется, прошел мимо нее. Для молодежи медресе, вроде Джихангира и Сахиба-певца, возможность сидеть за пиршественным столом и невозбранно слушать подобные речи была слишком редкой,— и они словно на лекции или на докладе затаили дыхание, целиком обратившись в слух. Сахиба-певца не покидало беспокойство только за Разию-туташ, он желал одного: чтобы Зариф не задел ее, не загубил ее предложение об объединении!..

Однако Булат последние свои слова посвятил как раз этому.

— Вот таков наш путь! — подытожил он.— Я готов объединиться. Только есть одно условие — «маленькое», очень «маленькое» условие: вы принимаете нашу программу, наш устав. Объединение возможно только на этой основе. Иного пути нет. В ином случае мы будем вести беспощадную борьбу с теми, кто идет против нашей программы, нашей тактики!..

С этими словами Булат поднялся, вышел, потеснив товарищей, из-за стола и, поправляя на шее кашне, направился в прихожую.

Акчулпанов вскочил и, бурно протестуя, преградил ему дорогу:

— Это в корне неверно!.. В настоящее время — и в массах, и в Центральном Комитете — выдвинут лозунг объединения. Во многих организациях прошло объединение обеих фракций...

С другого фланга на Булата наседал Хабиб Мансуров.

— Почему убегаешь?.. Выслушай и нас! Или трусишь?..— кричал он.

Булат, не останавливаясь, не обращая внимания на шум, подошел к вешалке, надел кепку, пальто и, застегивая пуговицы, обратился сначала к Хайдару:

— Ты не путай. То объединение и «объединение», которое предлагает Разия-туташ,— это же вещи совершенно разные. Стыдно тебе их путать! Так же обстоит дело и с вопросом об общем фронте. Ты человек начитанный, но запутываешься! — Он повернулся к Мансурову: — У тебя, вероятно, язык чешется... Но у меня есть дело, с которым нельзя медлить ни минуты. Хоть мир перевернись, а задерживаться больше не могу!.. Если тебе нужен человек для спора, вон остался Усман!

Булат снял кепку и, поклонившись издали всему столу, взял под руку Разию:

— Пойдем, проводи меня до дверей, чтобы эти не загрызли! — засмеялся он.

И уже у самого порога, пожимая Разии руку, сказал:

— Ты немного запуталась, Разия. Долго говорить мне некогда, есть дело, которое никак нельзя отложить. Не сердись на меня. За угощение спасибо. Жареный гусь был очень вкусный!..

Девушка совсем растерялась — ей казалось, что ее затея потеряла всякий смысл... Но, стараясь скрыть свое смятение, вернулась к товарищам с довольной улыбкой на лице.

LXVI

У НАС КЛАССОВ НЕТ

За это время Усман и Хабиб Мансуров, споря, чуть не вцепились друг в друга, и Разия тут же позабыла об услышанных от Булата упреках. Она уже радовалась, что вокруг затронутого ею вопроса поднялся такой шум, и приготовилась сама вступить в дискуссию.

Но ей помешали. Раздался звонок. Гости заволновались: не полиция ли, не попадутся ли они тут все разом...

Разия чуть изменилась в лице.

— Да нет... Вероятио, кто-нибудь из товарищей! — успокоила она их и побежала отпирать дверь.

К общему удивлению, в прихожей раздался басистый голос Нигмата-кази. Вводя нового гостя, Разия, покрасневшая до корней волос, сказала, как бы оправдываясь перед всеми:

— С одним вопросом я уже провалилась! Не знаю, как вы отнесетесь к этому, но есть еще кое-что...

Оиа усадила Нигмата-кази на место Булата, налила ему чаю и принялась рассказывать о втором своем «вопросе»:

— Вы, разумеется, зиаете Ахмеда Нури. Ои приходится мне в какой-то степени родствеииником. Говоря по-татарски, он — мой джизни [1]. Так вот, он просто душу мне вымотал: «Мы, говорит, создадим общий «Иттифак»! Хотим объедииить всех мусульмаи: пусть, говорит, и молодежь не остается в стороие, ие воюет против иас! Оставим, говорит, неуместные распри и объедииимся все вместе в борьбе против самодержавия за иациональиые наши чаяния! Ты, говорит, балдыз [2], вращаешься в самой гуще молодежи, помоги, дай нам возможность объясниться...» Грех на себя принимать не буду, я только посланница... а послу смерть не грозит!.. Нигмат-кази, иавериое, пришел от них...

Урманов не дал ей договорить, зло рассмеялся:

— Вот так Ахмед Нури! Какое бесстыдство: он будет бороться с самодержавием... А сам член президиума «Иттифака». Его организатор. Вы знаете, что такое «Иттифак»? В их программе черным по белому написано: «Царь с не-

---

[1] Джизии — муж старшей сестры или близкой родственницы, старшей по возрасту.

[2] Балдыз — свояченица, младшая сестра жены.

сколько ограниченными правами». Значит, они монархисты... И еще сказано в их программе: «В случае передачи помещичьих земель крестьянам выплатить помещикам по справедливости стоимость земли...» Значит, они монархисты, которые к тому же намереваются с мужика две шкуры содрать... А вы, Разия-туташ, призываете нас объединиться с ними?.. Как это понять?

Разия протестующе замахала руками:

— Нет! Не лги... Я не призываю, они сами... Вон Нигмат-кази...

Нигмат-кази, уже успевший немного закусить, встал с совершенно официальным видом. Говорил он долго, уверенно. Смысл его речи свелся к следующему:

— У нас нет капитализма. У татар нет буржуазии. Нет пролетариата. Если и есть, то весьма малочисленный. У нас нет предпосылок для классового разделения и взаимной вражды. Во имя нации мы должны забыть все мелкие разногласия между нами!..

Джихангир уже собирался вскочить и произнести громовую речь, но Урманов заметил это и, чтобы разговор не затянулся, объявил:

— Наш взгляд на этот вопрос ясен. Тут не может быть двух мнений. Я предлагаю снять его с обсуждения.

Остальные поддержали его.

Нигмат-кази поблагодарил Разию за угощение, пожал ей руку и без тени обиды или недовольства в голосе, даже посмеиваясь, сказал, обращаясь ко всем:

— Мало найдется на свете таких упрямцев, как вы!.. Провалитесь вы в тартарары с вашей классовой борьбой, социализмом, буржуазией и пролетариатом! — И пошел к выходу.

Но от самых дверей вернулся и подошел к растерявшемуся от таких ожесточенных споров Сахибу-певцу:

— Ты готовься! Как установится летний путь, поедем. Отец зовет. Угостят тебя на славу! Мой старик, когда у него все ладится, хозяин очень гостеприимный: масла, яиц будет сколько угодно, блинов, пирогов у нас всегда вдосталь. Будешь есть в свое удовольствие фаршированных кур... Жирного барашка зарежут! А то ты высох здесь от голода... По первому тележному следу тронемся. К тому времени как раз кобыл поставят на привязь — кумысу вдоволь напьемся!..

За столом продолжался шумный разговор. Нигмат-кази махнул рукой и ушел. Разия вышла проводить его.

Не успела она вернуться и сесть на свое место, как прибежала прислуга и зашептала ей на ухо:

— Там какая-то женщина пришла. Запыхалась... Вас просит.

— Кто бы это мог так поздно? — встревожилась Разия и поспешила на кухню.

Там стояла женщина в стеганом бешмете, повязанная толстой поношенной шалью. Разия не сразу узнала ее, но, узнав, радостно схватила ее за руку:

— Ой, Хадичэ-апа, это ты! Пойдем, заходи. Почему нет Габдуллы-абзы? Я очень обиделась. В тот день у вас было так славно, а мною он сегодня пренебрег!..

Хадичэ-джинги с трудом прервала поток ее слов:

— Не говори так, барышня! Ты очень полюбилась моему старику. Он удивлялся все: какие, говорит, из них тоже люди выходят!.. Очень ему хотелось прийти. Да вот кавказский рабочий Герей нынче приехал с Урала. Он, Шакир-солдат и наш Габдулла пошли куда-то... Герей — что крюк железный: зацепит, так не вырвешься... Господи, я и запамятовала: Габдулла только что вернулся и к тебе вот послал. Передай, говорит, чтобы расходились, а то нынче в городе обыски идут, в тюрьму забирают... Знаешь, будто бы в Москве и Питере красных всех повырезали да перевешали... Будто за здешних теперь приниматься хотят!.. Габдулла сказал: чтобы вмиг разошлись, пока жандармы не накрыли!..

Хадичэ-джинги туже повязала свою старую шаль и собралась уходить.

— Спасибо, апа! И Габдулле-абзы и тебе спасибо! — сказала Разия и, обхватив ее за шею, несколько раз поцеловала в губы и в щеки.

Бедная женщина, которую смутило такое непривычно бурное изъявление чувств, ушла молча, украдкой вытирая уголком шали губы и щеки.

Разия поторопилась вернуться в зал, присела на стул рядом с Даутом. Ей хотелось скрыть волнение, однако голос выдавал ее смятение.

— Видимо, поступили новые вести: сегодня с Урала приехал Герей Султан, от него узнали... Габдулла-абзы прислал сказать, что в Москве и Петербурге серьезные провалы. И здесь идут аресты, обыски... Велел передать, чтобы расходились немедленно: возможна облава...

Слушая ее слова, Хабиб Мансуров тяжело задумался. Ему все было понятно: контрреволюция продолжала свое победное наступление... После того как было потоплено в

крови декабрьское восстание в Москве, действия врагов революции стали решительней и резче. Разогнали Совет рабочих депутатов в Петербурге, арестовали его президиум... Одно за другим жестоко подавлялись восстания, прокатившиеся по всей России.

Он поднялся первым.

— Вы садитесь за пианино,— сказал он Разии,— Сахиб пусть поет! Мы уходим.

Разия с натянутой улыбкой обратилась к Сахибу:

— Вы удивительно красиво поете!.. Спойте нам «Ашказар», я буду аккомпанировать!

Полились звуки прекрасного «Ашказара». Усман, Беглец, Даут один за другим тихо покинули дом.

LXVII

МЫ ПОВЕСИМ ЦАРЯ? ИЛИ...

После их ухода не стали засиживаться и остальные. Разия, разумеется, не удерживала их.

— Теперь вы знаете, где я живу, приходите, пожалуйста! — говорила она, прощаясь со своими гостями.

Проводив последних, она снова села за пианино. Наигрывая башкирскую мелодию, задумалась... Перед ее мысленным взором проходили все ее товарищи. Что их ожидает?.. Неужели это правда, неужели в Петербурге, в Москве учинили полный разгром и революция терпит поражение?! Значит, напрасными окажутся пролитая кровь, бесчисленные жертвы?! Нет, невозможно!.. Знал ли что-нибудь об этом Булат?.. Может быть, потому он и ушел так поспешно, что до него уже дошли вести о Москве и Петербурге? Он ведь сказал: «Мне никак нельзя оставаться! У меня неотложное дело...» А что за дело?.. Возвратился Герей Султан и тут же потащил куда-то Шакира-солдата и Габдуллу-абзы... Зачем они ему? Хочет перетянуть их на свою сторону?.. В голове у Герея всегда одно: вооруженное восстание против самодержавия, подготовка к восстанию! Не хочет ли он вырвать Габдуллу-абзы из-под влияния Мансуровых и привлечь его в свою боевую дружину, а Шакиру-солдату поручить обучение боевиков военному делу?..

Мысли ее метались, перескакивали с одного на другое

и все же возвращались к главному: по России прошла всеобщая забастовка — ее подавили. В Петербурге был Совет рабочих депутатов — его разогнали, президиум сослали... В Москве было поднято вооруженное восстание — и оно закончилось поражением... Неужели им пришел конец?! Неужели нам пришел конец, а контрреволюция побеждает?!

Эти страшные вопросы, которые она задавала себе, сдавливали голову девушки словно тисками. Она подыскивала то один, то другой ответ, но так и не могла справиться с донимавшими ее мыслями...

Долго ходила она по комнате, потом присела к столу, печально подперев голову рукой. «Как жаль, что ушел Булат!..— думала она.— Он-то, наверное, все бы разъяснил! Умный, очень умный! Правда, слишком уж крут, не признает никаких компромиссов. А так нельзя. Мало ли с чем столкнешься в жизни, острым ножом все не отрежешь. В разговоре же он очень мил... Все-таки в памяти моей его образ сохранится как самый светлый! Вот взгляд у него немного колючий и насмешливый... На всех он так смотрит или только на меня, потому что я дворянка?.. А лицо у него красивое и решительное! И нельзя сказать, что он не воспитан. Даже умеет хорошо одеться при желании... Интересно, еще недавно он так ловко подделался под деревенского бая, бороду отрастил, а теперь побрился, точно немецкий мастеровой, кепку надел... Сегодня он что-то с самого начала придирался. Но все равно, когда он говорит, его грудной голос так и лезет в душу!..»

Девушка и эту ночь провела неспокойно...

Даут Урманов, выйдя от Разии, простился на углу с Мансуровым и Джихангиром и отправился на окраину города, в свою «преисподнюю».

Уже подходя к дому, он вдруг остановился: на скамье у ворот сидел какой-то человек.

Послышался осторожный оклик:

— Это ты, Урманов?..

— Габдулла-абзы? — удивленно отозвался Даут.

Не отвечая, тот взял его под руку и повел в обратную сторону.

— Нынче обыски везде, аресты...— сказал он.— Герой с Урала приехал, говорит, что в Москве и в Петербурге жандармы здорово зашевелились... Если в комнате у тебя нет ничего нужного, ты и не заходи. Сейчас не время в тюрьмах

сидеть — отдыхать... Если поручение будет какое, завтра наша Хадичэ все, что надо, сделает, ты только скажи, где с тобой встретиться...

Они расстались. Даут шел и думал — не столько о возможном обыске, о полиции, о жандармах, сколько об этом рабочем: «Как рассуждать-то начал, а? Уже дает указания! А давно ли был всего лишь пьяницей Абдулом... Давно ли таскал у жены последние тряпки и пропивал их, валялся на улице в грязи, врывался пьяный на собрания и устраивал скандалы... Голова его не могла тогда вместить самых простых представлений о борьбе против царя, против баев... А сейчас? А сейчас каков!.. Поистине чудеса творишь ты, революция!..»

Однако надо было решать, куда деваться. Где провести ночь?.. Лучше всего, конечно, было бы у Разии: дом Ширинских, их фамилия не могут вызвать никаких подозрений у полиции. Нашлась бы там и мягкая постель, чтобы выспаться спокойно. Разия была бы рада помочь ему... Но это, конечно, исключено! Жизнь еще опутана цепями мещанства. Старая Алмас-бикэ сошла бы с ума, если бы по возвращении узнала о чем-либо подобном... Да и сам он не может допустить, чтобы о Разии повсюду поползли грязные сплетни!

А что, если к Габдрахману?.. Ведь он все обижается, что Даут никогда не зайдет проведать их. И в самом деле, после женитьбы Габдрахмана на Нэфисэ, после того как они переехали на новую квартиру, Даут еще ни разу не побывал у них... Час, правда, довольно поздний, но ничего, детей у них нет!

Даут отправился к ним.

Ворота, на его удачу, не были заперты. Даут увидел во дворе двухэтажный дом. Кажется, Габдрахман говорил, что они живут на первом этаже... Вон и окна светятся! Значит, хозяева еще не спят. Он осторожно постучал в дверь. Кто-то, мягко ступая, подошел к двери, и женский голос встревоженно спросил:

— Кто там?

— Я, Урманов. Габдрахман дома?

Женщина явно растерялась: взялась за ручку двери, потом испуганно отступила... Прошептав, что ключ остался в комнате, побежала обратно. А ключ торчал в замке...

Смятение женщины было вызвано отсутствием мужа, его ревностью. Если открыть дверь — муж может что угодно натворить!.. А не открыть Дауту она не в силах... Ведь это

ее первая любовь, это человек, память о котором она бережет как святыню в своем сердце...

В то самое время, когда Нэфисэ мучительно боролась сама с собой, не зная, что же ей делать, приходя от этого в отчаяние,— кто-то обхватил сзади Даута обеими руками...

— Вот спасибо!.. Вот спасибо так спасибо!.. А то Нэфисэ тоже обижалась, что совсем позабыл ты нас... Спасибо, брат! Вот спасибо так спасибо! — твердил Габдрахман.

С ним пришел и франт-приказчик Фахри. Габдрахман изо всей силы заколотил в дверь. Теперь Нэфисэ подошла уже решительной походкой, громко спросила:

— Это ты, Габдрахман?

— Я, Нэфисэ, я!.. Отпирай скорее, к тебе сразу два гостя!.. Знаешь, кого я веду?.. Даута! Понимаешь, Даута!.. А с ним еще и товарищ Фахри.

У Нэфисэ перехватило дыхание. Здороваясь с гостем, она то краснела, то бледнела и долго не могла произнести ни слова...

— Вы поправились, похорошели! — сказал ей Урманов, снимая в прихожей пальто, и, пожав ей руку, попросил прощения за то, что до сих пор не собрался навестить их.

Нэфисэ уже немного успокоилась, оживилась.

В квартире у них было уютно. В большой комнате, служившей и столовой и гостиной, стояли новые стулья, кресла, диван. В простенке висело зеркало. Этажерка была заставлена книгами. На круглом столе лежало несколько татарских книг, газеты, альбом. Тут же рядом примостился граммофон... А у окна висела клетка с соловьем. Урманов взглянул на граммофон, на соловья и улыбнулся:

— Когда вы успели приобрести столько добра?

Габдрахман, смеясь, кивнул на Фахри:

— Это принес Фахри. Подарок на новоселье. Без них в семье и счастья не бывает!

Чтобы доставить удовольствие Нэфисэ, Урманов стал разглядывать книги на столе, этажерке, хвалил то одно, то другое в скромном убранстве их жилья. Глаза Нэфисэ сияли.

— В душе вы, наверное, смеетесь,— говорила она.— Ведь мы только устраиваемся... Еще столько не хватает...

Она побежала на кухню — и вскоре оттуда послышался шум закипающего самовара, потянулся запах чего-то жареного.

Габдрахман начал рассказывать Дауту обо всем, что он слышал в городе за последнее время. Много говорят люди о

мучениях, которым в тюрьмах подвергают заключенных, чтобы вырвать у них признание... Недавно пришла в город весть о том, что в думе ораторы-большевики резко выступали против правительства... Не мог не вспомнить Габдрахман о Кадыр-бае...

— Трещат у него дела, брат, по всем швам!.. Вчера слышал я, что про его молодую жену Хаджер и Джихангира уже сочинили непристойную песню... Наш Сахиб-певец уверяет, что ему и еще одному шакирду, который тоже песни сочиняет, враг Кадыр-бая Салих-бай прямо предложил: если, мол, они сочинят подходящую песню, он даст им за это четыре аршина сукна, фунт чаю, три рубля денег... Сахиб говорит, что и слушать его не стал. Тогда Салих-бай договорился с Михраном, и он сочинил эту песню. Дали ее заучить слепому нищему, и теперь тот ходит из дома в дом и поет... Как говорится, была беда с кучку, стала с копну: сын Кадыр-бая Юсуфджан, прихватив с собой изрядную толику золота, бежал в Стамбул. Передают, что он из Одессы прислал отцу телеграмму: «С голоду подохну, но с поклоном к тебе никогда не приду...» Как начнет, брат, рушиться — так уж рушится... А что ни говори, все вот с них началось...— Габдрахман показал на Фахри.

Фахри, который до этого молча рассматривал альбом, вступил в разговор:

— Эх, Даут, и проучили ж мы тогда этого Кадыр-бая!..— И, усевшись поудобней, принялся в тысячу первый раз с упоением повествовать о великом своем геройстве: — Был четверг... Вот бай, выпятив свой огромный живот, вошел в магазин и стал рыться на конторке в бумагах, положенных на подпись. То ли сердит был или еще что, но слова не вымолвил, только все «пуф-ф» да «пуф-ф»... пыхтел, точно корова, объевшаяся мякины. Наш доверенный был человек угодливый. Подошел он к хозяину, согнулся, будто на молитве, и еле слышно бормочет что-то... Кадыр и головы не поднял, отмахнулся:

«Иди, говорит, отсюда, потом разберемся».

А время-то шло к вечеру. Бай в магазине долго не задерживался. Еще уйдет, думаю... И сам к нему:

«Бай-абзы, говорю, у нас есть несколько слов к тебе!»

А он опять даже головы не повернул в мою сторону, замахал рукой:

«Поди отсюда! Мне и так нездоровится, завтра скажешь».

«Нет,— отвечаю ему,— мое дело никак нельзя откладывать».

Видно, удивил его мой голос: поднял он наконец голову, взглянул на меня. А на мне новый, с иголочки костюм, ны шее белый крахмальный воротничок, шелковый галстук, на ногах желтые штиблеты, голова непокрытая, волосы зачесаны назад. Бай еще ни разу меня таким не видел,.. Как глянул, так и почернел от гнева:

«Это, говорит, что такое? Что это за вид?! Прочь с моих глаз!»

А я стою как столб. С места не сдвинулся.

«У меня, говорю, большое дело. А что касается моего вида, то я, когда к вам на службу нанимался, не давал обязательства вечно носить длинный бешмет, каляпуш да ичиги...»

А он еще больше вспылил — глаза выпучил, думал, видно, что скажет слово — и с земли меня сотрет.

«Слышишь,— кричит,— тебе говорю: иди прочь с моих глаз!»

Недалеко от меня стоял Гильметдин, сукно снимал с полки.

Увидел, что бай разошелся, не стерпел, вмешался в разговор:

«Вы, говорит, бай-абзы, одного Фахри не вините... Он к вам не от себя, а по общему нашему поручению. Лопнуло у нас терпение!.. Вчера вечером с девяти часов двери заперли. Позавчера двух приказчиков после театра не впустили в дом, так до утра и держали, морозили их. На Карима за какую-то треснутую доску от счетов два рубля штрафа наложили... Есть нечего, а работы — по горло. Жалованье нищенское. Как нам быть? Не люди, что ли, мы? Разве и нам не хочется жить так, как живут все на свете?..»

А бай распалился еще пуще:

«Ты-то, говорит, что лезешь? Ты-то что болтаешь? Свет широк. Хотите с голоду помирать — идите, проваливайте... Как поступать — так клянчат. А нагонят немного жиру — на тебя же наскакивают... Верно сказано, сытая собака хозяина кусает. Разжирели на моих хлебах, беспутные!..»

Поднялся шум, остальные тоже вмешались. Тут я и вовсе окрылился:

«Я, говорю, не от себя, а от имени всех товарищей выступаю. Мы не можем так жить! Поэтому мы, приказчики двух магазинов, собрались и решили: нам должны приба-

вить жалованья, должны разрешить отлучаться из дома до двенадцати ночи. Прекратить торговлю по праздникам с черного хода. Раз в неделю предоставлять отдых на целый день. Рабочий день не должен превышать восьми часов. Обращение с нами должно быть человеческое. Мы такие же люди, как все, и пусть не кричат на нас без всякого повода, не топают на нас ногами, не используют нас в хозяйском доме для женской работы! Мы требуем этого».

Так по-русски и сказал: требуем! Бай в ответ рассмеялся с издевкой:

«Что? Что? Ну-ка, повтори, послушаю еще разок...»

А я ему:

«Да, требуем!»

Кадыр-бай еще пуще да язвительней засмеялся.

«Да знаешь ли ты, говорит, кто тебя, несчастного, человеком сделал? Ты был сопливым мальчишкой, когда я тебя из жалости взял, потому что твоя мать в ногах у меня валялась, просила за тебя... В моих руках человеком ты стал, а теперь не стыдишься стоять передо мной и кричать по примеру всяких русских: «Требуем!» Подите, говорит, все отсюда, я и так нездоров. И не дурите. Вы не русские, чтобы бастовать...»

Позади всех нас стоял один из любимцев бая, старый приказчик Тимербай. Видя, как распалился хозяин, он тоже не стерпел:

«Вам, говорит, легко отнекиваться, кивать на нездоровье да вразумлять нас: мол, не дурите, мол, не русские вы... А наше-то житье совсем ведь не легкое! Вот я служу у вас восемнадцать лет. Вы делаетесь все толще, магазинов и домов у вас с каждым годом становится все больше. А мы сохнем изо дня в день... Вот я никак не могу выбраться из семирублевой квартиры в какую-нибудь хоть чуть получше! Есть у меня единственная дочь. Отдал бы я ее в гимназию — да нет, ни подготовить я ее не в силах, ни учить. Денег нет! А дочка, бедная, плачет, слезами заливается... Вы же в это время не одну тысячу в день тратите!..»

Так с шумом мы и разошлись. А на следующий день снова посоветовались между собой. Семейные, у кого много детей, отказались: коли бы одни, говорят, мы были, а то у нас дети... сыты или голодны, но бросать работу не можем! Ну, а мы заявили баю: «Если не примете наших условий, не выйдем на работу!» Бай ответил страшной руганью... Мы бросили все и ушли. В профсоюзе нас встрети-

ли с распростертыми объятиями. Началось движение за бойкот...

Рассказ Фахри был прерван появлением на столе шумящего самовара. Нэфисэ, раскрасневшаяся возле плиты, наготовила множество вкусных вещей. Чай пили со сливками, оладьями, перемечами...

После чая Фахри, поблагодарив за угощение, попрощавшись, отправился домой. Его квартира, оказывается, была тут же, поблизости.

Нэфисэ принесла ширму, подушки, пуховики, мягкие одеяла и соорудила Дауту на диване пышную постель. Не отрывая от него светящихся любовью глаз, робко, с дрожью в голосе, спросила:

— Вы до которого часа будете спать, Даут-абы? Спешных дел нет у вас утром?

— Ну что спрашиваешь? Будет спать, пока не выспится. Иди ложись! — оборвал ее Габдрахман.

— Господи, да ведь, может быть, ему надо куда-нибудь к определенному часу, только потому и спросила!..

Гость поблагодарил Нэфисэ, сказал, что может встать часов в десять. Габдрахман еще раз попытался отослать жену из комнаты, однако та воспротивилась:

— Оставь, я не хочу спать, хочу посидеть с вами, послушать вас...

Урманов не любил Габдрахмана, говорить с этим человеком ему было не о чем. Будь здесь один Габдрахман, Урманов уже через несколько минут стал бы позевывать и улегся спать... Но трогательный вид Нэфисэ, которая, закутав плечи серым пуховым платком, уселась в глубокое кресло, точно собираясь еще долго слушать его, взволновал Урманова. В обычное время он особенной красноречивостью не отличался. А сегодня его сердцем завладели воспоминания о прошлом и жалость к Нэфисэ... Взгляд его то и дело задерживался на граммофоне и соловье, и он невольно возвращался мысленно к последней своей встрече с нею...

Была поздняя ночь. Зухрэ встретила его внизу, у лестницы. Он на цыпочках прошел к Нэфисэ... Ох, что могло произойти, что могло произойти тогда... Что было бы, если бы он в ту ночь потерял власть над собой?! Он бы потом пожалел девушку, считал себя виновным перед ней и, чтобы искупить вину, женился на ней... А женившись, свил бы себе «галочье гнездо» — такую вот квартиру... Ему тоже подарили бы граммофон, вроде вот этого, и клетку с соловьем... и засосало бы его постепенно мещанское болото!

Затухло бы в его сердце пламя, зажженное революцией, пламя, которое дает ему силы для борьбы...

Мысль об этом пронзила Урманова, и он все повторял про себя: «Что было бы, что было бы со мной?!»

Он смотрел на Нэфисэ с любовью и жалостью. Ему хотелось доставить ей хоть какую-нибудь радость: ведь эта их встреча может стать и последней... Кто знает, возможно, его не сегодня-завтра арестуют, будут гноить в тюрьмах, ссылках...

И слова потекли сами собой. Он долго — то с легкой усмешкой, то с сожалением — рассказывал о первом своем политическом кружке, о первом провале, когда попался в лапы жандармам, о первом заточении в тюрьму...

Нэфисэ была вся поглощена его рассказом. Она и сама не могла понять, что случилось с ней, точно слова Урманова унесли ее куда-то далеко-далеко... Но в подхватившем ее как вихрь круговороте впечатлений она почувствовала вдруг, что к ней приходит ясное и непреложное решение: рано или поздно она уйдет отсюда!.. Станет ли она любовницей Даута, служанкой или женой, товарищем, собакой — все равно кем, но она будет рядом с ним, будет делить с ним горе и радость жизни, будет бороться, чтобы приносить ему облегчение в тяжелые его дни!..

Нэфисэ сейчас совсем не представляла себе, как она выполнит свое внезапно возникшее решение, как все произойдет, однако твердая уверенность в том, что так будет, вошла в ее сердце.

В середине рассказа Даута Габдрахман вдруг вскочил и заговорил о том, что его, видно, занимало больше:

— Да, брат, жизнь как пойдет рушиться — так уж рушится!.. Говорят, что от отца Баязита, Джихан-ишана, через черносотенца Вафы-хазрета пришло Кадыр-баю письмо. Ишан проклинает Кадыр-бая, пишет: «Пало на тебя проклятье аллаха. Предупреждал я тебя: не связывайся с джадидством, не помогай джадидам, не давай им денег. Говорил тебе: ежели станешь помогать джадидам, сам обратишься в гяура, богатство твое будет проклято и жена твоя станет разводкой!.. Не принял ты моих увещеваний. Помогал безбожнику Гали-хазрету. Сколько денег сгубил, потратил на его медресе!.. Теперь ты пожинаешь, что посеял, все поднялось против тебя, твой собственный сын плюнул тебе в лицо. Это тебе наказание аллаха при жизни. А на том свете все то золото, что ты, помогая джадидам, выбросил на ветер, раскалят и припечатают на твое лицо... Слово мое таково: отрекись от джадидства, вернись на извечный путь наших

предков! Ежели отречешься — аллах милостив, он простит твои прегрешения! Ежели иет — вечио гореть тебе в аду!» Так, говорят, и написал. Ужас-то какой... Ведь уж как иачиет рушиться — так и рушится... Тут иасчет его жены частушки складывают, слепой нищий ходит из дома в дом, распевает их. Убегает едииствеииый сыи... Вдобавок бунтуют шакирды и приказчики. А тут еще ишан ему место в аду готовит... Ужас! А?.. Как ты думаешь, Даут?..

Даут не успел ответить. Нэфисэ, которой новое ее решеиие придало силу и твердость, легко поднялась и, иичуть не стесняясь мужа, близко подошла к Дауту и, долго и крепко пожимая ему руку, пожелала спокойной ночи. Обернувшись, сказала мужу:

— Ну, хватит, Габдрахман! Завтра у Даута-абы много дел. Ему спать пора!

Габдрахман удивился перемеие, происшедшей в жене, которую всегда считал мягкой, кроткой и покорной... Уже только чтобы подавить ее неожидаиио проявившуюся строптивость, ои продолжал говорить — об ишане, о молебствии во здравие царя... И перешел к более серьезиым вопросам:

— Ну, Даут, а как дела с революцией?.. Она победит или ее победят? Мы повесим царя или царь перевешает всех иас на фонарных столбах?.. В последнее время черносотеицы, видать, набирают силу. Похоже, что коитрреволюция берет верх...

Нэфисэ уже иисколько не заиимали эти выпалеиные одии за другим вопросы. Успокоеиная, просветлениая неведомой ей прежде радостью и верой, она чувствовала, как крепиет в ией окрыляющая ее решимость. «Я буду с ним! Буду с ним иавеки!..» — твердо говорила оиа себе.

Оиа еще раз пожала гостю руку, улыбнулась ему и ушла к себе.

С той же верой оиа уснула глубоким, спокойным сном.

А иаутро, когда она готовила завтрак, угощала Даута оладьями и перемечами, потом провожала его, сила этой веры уже избавила ее от недавией робости и волиения, помогала ей сохраиять счастливое спокойствие.

LXVIII

В ТРЕТИЙ РАЗ

Булат ушел с собраиия у Разии, чтобы встретиться в условленном месте — в церковиом саду — с Разиным. Но у самого сада, иа углу, его схватили два дюжих жандарма.

Из жандармерии его тут же препроводили в тюрьму.

Сюда он попал уже в третий раз. И все три раза допрашивал его сам жандармский полковник Герасимов. Но представал он перед Булатом всегда в новом обличье.

Когда попался впервые, Булат еще не был приият в партию, но уже работал в партийных кружках, участвовал в маевках, массовках; был еще юи, горяч, простоват, ио уже начинал мужать и крепнуть. Старый полковиик прикииулся тогда перед молодым своенравным татарином эдаким всепрощающим папашей.

— Ваше дело,— говорил ои,— и очень маленькое, и очень большое. Все зависит от того, как его рассматривать. Но мне жаль вас. Вы очень молодой, способиый человек. Я не хочу губить вас ссылкой на каторгу или на дальнее поселение. Тридцать лет я работаю среди татар и не думаю, чтобы в России нашелся другой народ, почитающий царя так же, как татары... У татарского народа есть одиа беда: ои темен, невежествен. Если вы, бросив пустые ваши увлечения, поработаете на ниве просвещения своего иарода, вы принесете огромную пользу и себе, и нам, и мусульмаискому вашему народу...

Зариф посмеялся про себя над словами старого полковника и, сколько ни старался, не смог скрыть улыбку. Герасимов протянул поудобнее ревматические иоги, иарочно приият вид разбитого болезнями старика... И сохраиил в разговоре тот же тон сердобольного, умудреииого годами отца, который, любя, журит провииившегося сыиа:

— Вы, наверное, думаете, что хитрый, мол, старик мягким своим обхождением ставит вам какую-то западию... Нет, не так. И я не родился жандармом. Я тоже в последием классе гимназии тайно от директора читал Маркса, Энгельса... Я тоже бредил социализмом... Это и свело меия с Зубатовым... Я и поныне по-своему уважительно отиошусь к таким западным социалистам, как Август Бебель, Каутский... Правда, они ошибаются, но они искреииие идеалисты. Оии заблуждаются искренне. А иаши?.. Кто главари иаших социалистов? Это же разболтаииое, распутное еврейство! Вот кто! Сами они живут в свое удовольствие за граиицей. Возвращаясь сюда, опять купаются в золоте. А вот такую легковерную, горячую молодежь обманом толкают в огонь... Вот потому мы и болеем душою за вас... Потому и стараемся раскрыть глаза подобной вам молодежи. Не только судом, тюрьмой, ссылками, но и добрыми разъясиеииями пытаемся открыть вам истину... Если вы обещаете мие дать правдивые ответы на несколько вопросов, я

сегодня же освобожу вас... Кажется, вы готовитесь сдавать экзамены на аттестат зрелости для поступления в университет? Прекрасное намерение. Образованных людей среди татар мало... Вы способный человек, из вас выйдет настоящий деятель... И вы сможете сделать многое для своего народа...

После такого долгого увещевания он показал ему несколько фотографических карточек и спросил:

— Кто эти люди? Где они сейчас?

Поинтересовался также, как, откуда, через кого получил Булат запрещенные книги, которые были найдены у него при обыске...

Не добившись желаемых ответов, полковник перевел разговор на родителей Булата:

— Я собрал кое-какие сведения. Ваш отец, хотя и был бедным рабочим, не послал вас с восьми лет работать на фабрику. Учил вас. А после смерти отца ваша мать, чтобы только учить вас, целыми днями портила себе глаза шитьем на жен баев... Ведь так?

— Я сам с четырнадцати лет начал работать, чтобы помогать матери...— ответил Булат.

— Возможно... Но и отец ваш, а после его смерти и мать учили вас в русской школе... Если же вы не откажетесь от нынешних своих заблуждений, труды ваших родителей окажутся напрасными, а вы сгниете где-нибудь на каторге, в ссылке...

Но, несмотря на все свои ухищрения, на все свои уговоры, старый жандарм, когда дело подходило к вопросам, требующим решительного ответа, слышал лишь короткое «нет».

И все же месяца через два Булата выпустили на волю.

Второй раз он очутился здесь вскоре после объявления октябрьского манифеста. То была для жандармов пора смятения. С одной стороны — объявлены свободы. Пиши что хочешь, устраивай любое собрание, исповедуй любую веру, издавай любую книгу, организуй любую партию... А с другой — тюрьмы набивались политическими заключенными. В это время даже матерый служака полковник Герасимов никак не мог приноровиться к новому режиму, потерял былую уверенность и как будто все ожидал чего-то...

Вызывая к себе на допрос Зарифа, он то кричал яростно, будто собирался сейчас же позвать палача и учинить казнь... то словно размягчался, добрел... Его, точно лодку без руля, швыряло из стороны в сторону.

Но и это прошло. Теперь, в третью встречу, Булат еле узнал старого знакомого. Полковник помолодел... Видимо, и ревматизм уже не мучил его... А лицо выражало откровенную радость, торжество победы.

Когда Булата, доставленного из камеры в жандармерию, после долгого ожидания ввели к нему в кабинет, Герасимов сидел, откинувшись к мягкой спинке кожаного кресла. При виде Булата глаза его сверкнули, он улыбнулся, протянул ему руку. Велел принести для него стакан чаю и, положив на стол раскрытый серебряный портсигар, предложил папиросу. Разговор начал вполне дружески.

— Нам,— заявил он,— и так все известно. Поскольку мы старые знакомые, мне просто захотелось побеседовать с вами. По правде говоря, не ради дела, а так — ради удовольствия. Просто я вас очень люблю! — И засмеялся раскатистым смехом.

Булат чуть вздрогнул. «Что это значит? Или эти собаки действительно празднуют победу?.. Или же они прикидываются, делают вид, что радуются... чтобы оказать психологическое давление на неустойчивых?»

Между жандармом и арестованным началась своеобразная схватка. Они долго пытались обвести, поймать на чем-либо друг друга... Полковнику было известно многое, и это заставило Булата задуматься, серьезно встревожиться: «В чем дело?.. Неужели только в результате вчерашних арестов и обысков они заполучили столько материала?! Может быть, они пытками заставили признаться кого-то из попавшихся товарищей?.. Или же в самой партийной организации, в самом комитете... засел провокатор?!»

— Нам все известно! — повторил полковник.

И даже не столько хвастая, сколько язвительно подшучивая, добавил:

— И о том, как вы в понедельник вечером, подвергая себя опасности, переправлялись по льдинам через Волгу, мы узнали тогда же — можно сказать, в тот же час... Знаем мы также, кого призывал на помощь Шакир-солдат... Вас можно было схватить еще тогда, когда вы, переодевшись просвещенным сельским богатеем, появились на квартире при школе, где проходил литературный вечер. Я сам приказал не трогать вас... После вас с Урала прибыл Герей Султан. Я дал и ему возможность походить по городу... Видите, мы людей сразу за горло не хватаем...— заключил он и впился в Булата глазами.

Высокомерно-насмешливый тон полковника сильно за-

дел Булата. Он заставил себя зевнуть и с безразличным видом спросил:

— Так зачем же тогда надо было держать меня целых шесть часов в ожидании вашего «приема»? Зачем нужен я, если вам все известно? Лучше отправьте меня обратно в тюрьму, я хочу спать!

Герасимов, однако, не торопился отправлять его в тюрьму, хотя извинился за то, что Булату пришлось столько ождать, и сделал вид, что ускоряет ход разговора:

— Я долго вас не задержу. От вас мне ничего не нужно. Я хочу лишь поговорить о некоторых высших моментах политики... Знайте, это не допрос, в нем нет необходимости. Но мне хочется побеседовать именно с вами о некоторых, как я сказал, высших точках революционной политики... Вот, например, ваш Герей Султан... Неразвит, необразован... И чего, спрашивается, он гонится за пустой мечтой?.. Он ведь только и живет думой о вооруженном восстании. Как вы на это смотрите?

Булат почувствовал, что перед ним приподнимается краешек завесы. Опять отчаянно зевнув, он ответил:

— Я не солдат. Стрелять не умею. Ни разу в жизни револьвера в руках не держал. Что я могу сказать!

Полковник, тряся седой бородой, деланно рассмеялся:

— Ай, Зариф Гирфанович!.. Нельзя, нельзя так. Уж вы не пытайтесь утаивать то, что я-то знаю. Нехорошо!.. Третий съезд партии состоялся? Была на нем вынесена резолюция о вооруженном восстании? Что писал об этом Ленин?..

— На съезде я не присутствовал. Все, что пишет Ленин, моментально конфискуют... Трудно в таком городе, как наш... Даже то, что необходимо, невозможно прочесть!..

Безразличный его вид и непрерывное позевывание начали раздражать полковника. Он раскрыл портфель и вытащил сразу четыре экземпляра прокламации о вооруженном восстании, отпечатанной на татарском языке. Поверх этих листков положил оригинал:

— Вы не ребенок! Надеюсь, не станете отрицать, что это ваша рука?

Почерк был действительно его, Булата...

Возникшее в нем подозрение все возрастало.

Несомненно, среди них есть провокатор, который передает охранке все тайны... Кто бы это мог быть?!

Однако Булат силился ничем не выдать своей тревоги.

— Нет, не моя,— категорически ответил он.— Чужому

глазу почерки в татарском письме всегда кажутся одинаковыми!

Герасимов перевел разговор на другое:

— Ладно. Предположим, что так. Это дело маленькое. Я о нем только к слову упомянул. Не будем затягивать, а то вас ко сну клонит... Еще один вопрос: на какое дело Разин передал вам шестьсот рублей? — Глаза полковника снова впились в Булата.

Чтобы скрыть дрожь в руке, Булат взял из лежащего перед ним портсигара папиросу, закурил. Потом удивленно посмотрел на полковника:

— Какой Разин? Какие шестьсот рублей? Не знаю, не ведаю!

В глазах старой лисы появилось хитрое выражение.

— Не знаете? Не знаете члена Центрального Комитета Разина? А кто вместе с ним ночевал в комнате у Коли?.. Вам была обещана тысяча рублей. Пока дали только шестьсот. Не так разве? Эх, Зариф Гирфанович! Напрасно упрямитесь: и Разин и Коля — оба в моих руках. Сегодня ночью они заключены в тюрьму. С ними вместе попался и Герей Султан... Может быть, вы и Герея не знаете? Может быть, после побега из ссылки и возвращения в город вы и не виделись с ним?.. Так вот! Он тоже у меня. Я жалею его: храбрый он человек. У него львиное сердце. Но заблуждается. Жидам верит... Рассказать вам, как он попался? Мы его накрыли в мастерской, где он бомбы делал. Я не посмотрел, что у меня ревматические ноги... Сам на него пошел с отрядом. Окружили их. Я потребовал, чтобы сдавались, предупредил, что в противном случае откроем огонь. А они стали стрелять в нас в дверные да оконные щели... Помучились часа два, но все равно пришлось им сдаться. Восемь рабочих. Семеро русских, один татарин... Татарин как раз и оказался вашим Гереем. Один из русских тут же, на месте, застрелился. На остальных надели наручники, а мастерскую я сам обыскал. Это была целая фабрика. Нашли семьдесят пустых бомб. Пироксилина, нитроглицерина и динамита было столько, что, если бы каким-либо образом туда попал огонь, взлетел бы весь квартал. Кроме того, двадцать маузеров, четырнадцать солдатских винтовок. Короче говоря, тут и фабрика, тут и склад... Ведь это плоды ваших трудов! Как же вы ничего не знаете о них?.. Когда мы ворвались в мастерскую, Герей дважды стрелял в меня, но оба раза получилась осечка... Нам было известно, что он участвовал в двух экспроприациях... Теперь он сам в наших руках...

В душе Булата поднялась буря. Он знал, что Герей должен был переменить место хранения оружия... Он не хотел верить словам жандарма!.. Возможно, все это ложь... Но что-то случилось, что-то случилось... Надо скорее вернуться в тюрьму! Связные у них есть, там можно будет узнать обо всем...

Полковник, однако, не собирался так быстро расстаться с ним.

— Я,— сказал он,— сообщил вам столько новостей, что вы тоже должны хоть на один мой вопрос ответить правильно!..

Он нажал на столе кнопку. Вошли два жандарма, отперли по его приказу большой шкаф. Герасимов вскочил и, подойдя к шкафу, стал показывать Булату:

— Это мои трофеи... Тут не все. Вот динамит, вот бикфордов шнур. Кстати, о нем мне давно уже сообщали через департамент из Петербурга: большевики очень много вывезли его из Парижа. Я уж было потерял надежду его обнаружить... А вот маузер — я выбрал его из двадцати. Из него стрелял в меня Герей... Тут хотят отметить мое шестидесятилетие, и мой помощник Иванов шутит, что по этому случаю следует преподнести мне именно этот маузер... Да, я ведь хотел задать вам один вопрос!.. Вы с Енисея возвращались через Челябинск или Екатеринбург?

Булат уже собирался ответить, что через Челябинск, но вспомнил, что задержался там на два дня, помогал размещать тайную типографию... И прикусил язык.

В этот момент зазвонил телефон. Вероятно, передали что-то очень серьезное: лицо Герасимова побелело.

— Сейчас, сейчас!..— вскричал он, сразу потеряв свой победоносный вид и даже позабыв о заданном Булату вопросе.

Приказав запереть шкаф, он отослал Булата в тюрьму.

В том, что услышал Булат во время допроса, правда была перемешана с ложью. Разин не был арестован. Устроили обыск в комнате, где он ночевал, но захватить его не успели. Коля бежал из города. А вот страшный рассказ о поимке Герея оказался верным... Полковник соврал только, будто один из рабочих покончил самоубийством: его подстрелили через окно жандармы.

Среди арестованных и в самом деле был Герей. При расследовании установили, что он под именем Ахмеда Хайруллина принимал участие в двух экспроприациях на

Урале. Его заковали в кандалы и посадили в тайную камеру, которая предназначалась для самых опасных преступников.

LXIX

ПРИЕХАЛИ В ГОСТИ

Нигмат-кази с Сахибом-певцом приехали в гости в деревню.

Старик Сафа сам отворил ворота.

Здоровенный батрак, смазывавший посреди двора телегу, подбежал и ввел под уздцы лошадей. На звук колокольчиков из дома выбежала девчушка. Увидев взмокших под дождем лошадей, тарантас с гостями, у которых даже лица были залеплены дорожной грязью, она оторопела... но, узнав Нигмата-кази, подскочила к тарантасу:

— Мулла-абзы, мулла-абзы! [1]

Однако присутствие незнакомого человека смутило девочку, и она опрометью помчалась обратно, оглашая дом криками:

— Джинги, суюнче!.. [2] Мулла-абзы приехал!.. Мулла-абзы приехал!..

Не успели гости слезть с тарантаса, как их окружила шумная стайка набежавшей с улицы детворы, молодых парней.

Старик Сафа-бай, одетый по-деревенски — в светлой рубахе до колен поверх исподних штанов, в полосатом камзоле, в расшитой бухарской тюбетейке, в ичигах, кявушах,— стоял с кумганом в руке, пытаясь отогнать ребят.

— Отойдите в сторонку... лошади затопчут! — пугал он их.

Но от радости с лица его не сходила улыбка. Грузное тело двигалось по-молодому легко.

Нигмат с Сахибом прошли в дом: один в женскую половину — поздороваться с родней, другой — в горницу. Потом вышли во двор умыться.

В кумганы была налита теплая вода, батрак стоял, держа в руках новое, тонкой выделки домотканое полотенце и душистое мыло.

Сам старик совершал омовение к полуденному намазу,

---

[1] В семье шакирда, которого прочили в муллы, младшая родня иногда почтительно называла его «мулла-абзы».

[2] Суюнче — подарок за добрую весть.

громко произнося слова ритуальных молитв. И тут же, прерывая молитву, говорил сыну:

— Спасибо... великое тебе спасибо, сынок! Вовремя ты приехал... Не мы одни, весь народ тебя ждет!..

Нигмат умылся и сказал, обращаясь к Сахибу:

— Вот он — мир нашего отца!

Он обвел взглядом все вокруг и, словно бы только что заметив, проговорил:

— Ого, отец, ты шибко разбогател!.. Перебрал оба дома, железом покрыл... Ворота и те под железной крышей стоят... Еще одну клеть поставил! Баню тоже перебрал! Не сглазить бы, сад и то решеткой обнес... Дела твои хоть куда, отец!..

Старик засиял:

— Благодарение аллаху, сынок... В прошлом году купил я у Михайлы двенадцать саженей лесу. На твое счастье, лес оказался отборный, и мастера подходящие нашлись, я и порешил — заодно все сделать. Еще в мечеть и школу много досок отдал!.. Ты говоришь: сад огородил. Решетка — она и есть решетка, а ты в сад загляни!.. Сноха-то, тебя дожидаючись, что ни год день-деньской в саду копается — яблонь там, вишен всяких вырастила, цветов насадила...

Чтобы доставить старику удовольствие, прошли в сад. Он и в самом деле был хорош! На кустах рдели ягоды, цвели вокруг цветы. Старик, однако, не ограничился одним садом — повел гостей по всему своему хозяйству, показал новые, крепко сработанные телеги, клети, а там — сусеки, полные хлеба. Гумно оказалось на отшибе, туда не пошли. Старик, указав пальцем на видневшиеся издали три большие скирды, сказал:

— Вон и запасец мой. У бога-то ведь не знаешь, как обернется... Бывает — сеешь, а поля-то как есть голыми остаются...

Прибежала та самая девочка, которая первой встретила гостей, Мэргуба, сводная сестренка Нигмата от младшей жены отца.

— Папа, чай готов, идите! — позвала она.

Нигмат сдержанно приласкал сестру и, достав из кармана конфету, протянул ей. Девочка, довольная, вприпрыжку побежала домой. Нигмат пошел за ней в женскую половину, а дед Сафа, сказав: «Ну, шакирд, добро пожаловать!» — повел Сахиба в дом, который выходил окнами на улицу, там обычно принимали гостей.

Здесь тоже было полно всякого добра. По обе стороны

от дверей висели шубы, полушубки, тулупы, бешметы... На выступе ровно выбеленной печи лежали в ряд полголовы сахара в синей обертке, фунтовые пачки чая, печатки душистого мыла. В углу между печкой и дверью стоял массивный медный таз, а в нем — несколько начищенных до блеска больших и малых кумганов. Левый угол занимал шкаф, полный разной посуды — тарелок, чашек, фарфоровых блюд, вазочек... Рядом со шкафом были придвинуты к стене сундуки, окованные красной и желтой жестью. Были здесь еще нарядно убранный стол, довольно высокое зеркало, а в углу напротив — за ситцевым пологом — широкая кровать, на которой высились цветастые пуховики, подушки, одеяла. На стенах всюду, где только можно, висели узорчатые полотенца, терпеливо и любовно вытканные девушками... Пол был застлан плотным белым войлоком, поверх которого лежали деревенские домотканые ковры и паласы.

Посредине комнаты — по деревенскому обычаю — на полу было накрыто место для чаепития. Вокруг скатерти разложили мягкие подстилки для сидения.

Уже шумел на скатерти самовар, были расставлены блюда с угощением.

— Вперед проходи, шакирд, вперед! — пригласил старик Сахиба и усадил его возле маленького стола.

Вскоре появился и Нигмат-кази. Приступили к трапезе.

— Отец, вот я привез к тебе близкого моего товарища Сахиба! Он рос в сиротстве, в бедности и только благодаря своей старательности смог доучиться. Я-то как-нибудь, а вот его принимайте как гостя! — начал разговор Нигмат.

Старик был очень доволен.

— Добро пожаловать, добро пожаловать! — повторял он.— Все мы живем молитвами ученых людей...

На минарете мечети, видневшемся в окно, показался муэдзин. Послышался азан, призывавший к ахшаму — предвечернему намазу.

— Да простит аллах, скоро ахшам, но мне не хочется уходить от вас! — со вздохом проговорил старик. И отправил в широко разинутый рот жирную оладью.

В дверь бочком вошел мальчик и выпалил:

— Дед Сафа! Отец велел звать вас на обед. Велел сказать, чтобы и гостя вашего привели и Нигмата-абзы тоже!..

Сахиб стал было отказываться, но его заставили пойти.

Людей на обеде было много, сидели тесно. Угощали очень жирным мясом, пироги тоже плавали в жиру...

Сахиб не знал, о чем говорить, зато Нигмат-кази чувствовал себя как рыба в воде. Он рассказал гостям о роспуске второй думы, об аресте большевистской фракции, о столыпинской диктатуре, о том, что все катится назад... А там перешел к лошади Садыка, к земле Валия, теленку Шаймердена...

И крестьяне и мулла слушали его, забывая даже о еде... А Сахиб с удивлением заметил, что в политических своих разглагольствованиях Нигмат-кази здесь казался более левым, чем в городе: в хорошем свете представил социалистов, Столыпина назвал «русским барином», возлагал большие надежды на рабочих...

После этого обеда последовали приглашения еще в два дома. Сахиб шепнул другу на ухо:

— Не могу я больше, у меня желудок лопнет от стольких угощений!..

— Нет, нет,— удержал его Нигмат.— А то обидятся! Придется идти, потерпишь...

И у новых хозяев гостей оказалось много, места мало, мясо и пироги и тут были слишком жирные... И здесь Нигмат-кази, начав разговор с политики, непостижимым образом перешел в конце концов к лошади одного из гостей, курам и цыплятам — другого.

Все были очарованы им и не переставали благодарить его за то, что он вспомнил родную деревню, вернулся к ним!..

Когда, покончив наконец с мясом, с пирогами, возвратились домой, было уже двенадцать часов ночи. Но их опять поджидали, как сказали хозяйки, с легкой едой: с куриным супом, горячими оладьями, мелкими белешами, маслом, медом...

Что они могли поделать! Опять расселись вокруг разложенной на войлоке скатерти.

Сахиб съел немного супу, выпил чашку крепкого чаю — больше он ничего не мог уже в рот взять. Нигмат тоже ел мало. Зато старик как сел, подвернув под себя ноги, так начал уплетать и курицу и оладьи.

— У вас в медресе с голодухи животы усохли, вот и не можете есть,— объяснил он.— Поживете подольше и обвыкнетесь!

LXX

КОТОРУЮ КОБЫЛУ ЗАКОЛЕМ?

После ужина все трое откинулись на подушки.

— Мне с тобой потолковать надо, Нигмат,— начал старик глуховатым, спокойным голосом.— Старая гнедая кобыла поджара очень. Может, рыжую заколем? У нее и нога покалечена!..— Он вопросительно взглянул на сына.

Нигмат пожал плечами:

— Зачем же летом кобылу закалывать? Мясо попортится. И к зиме успеете.

— Где там попортится! — усмехнулся старик.— Еще и кобылы не хватит. Тут вся округа твоего приезда дожидалась!

— К чему это ты? Не пойму я...

— Чего же не понимать-то? Ты у муфтия экзамен держал, получил звание мюдарриса... Ты окончил учение, и я к твоему приезду собрал у народа тамгу [1]. Отпразднуем получение указа — заколем кобылу, устроим пир! И так уж башкиры говорят: ты, мол, дед Сафа, в эти годы прижимистый стал, не угощал давно...

Нигмат побледнел. Он резко выпрямился, точно его кольнули в самое сердце.

— Постой, отец, что ты говоришь? Какой указ?.. Какая тамга, какой пир?..

Старика не смутило удивление сына.

— А какая ж еще может быть тамга! Тебя в мечеть верхнего прихода муллой выбрали. Весь приход, все до единого свою тамгу поставили.— Он встал и, со звоном открыв крышку одного из сундуков, вынул большой лист бумаги, испещренный сотнями «подписей»: «Руку приложил... Тамгу поставил...», подтвержденных изображениями молотка, серпа, подковы, крюка...

Нигмат еще больше переменился в лице. Он тоже поднялся на ноги.

— Что ты натворил, отец?! Не известил меня, не спросил моего мнения, не узнал, хочу я этого или нет, и собрал тамгу — сделал меня муллой!.. Да что же это такое?! Да пусть хоть тысяча человек тамгу поставят, я муллой становиться пока вовсе не собираюсь!

Дед Сафа вытаращил на него глаза:

[1] Собрать тамгу — собрать подписи. Неграмотные крестьяне ставили свою тамгу — тот или иной знак: топор, вилы и т. п.

— Что ты мелешь?! Мало разве ты был в отлучке? У меня борода уже побелела, жена твоя восемь лет слезы льет... Тут еще со сватами размолвки... Как приедут, начинают корить: с одним, говорят, сыном совладать не можешь, не женил бы, говорят, коли сам не знал, чего он задумал... А ты собираешься еще по свету носиться! Всему есть своя мера... Со мной тоже надо бы посчитаться... А на кого, думаешь, слезы твоей жены падут?..

— Ты, отец, скажи все-таки: шутишь ты или всерьез?.. Сан муллы я сейчас все равно не приму! Слышишь?!

Взгляд старика стал суровым, в голосе появились резкие нотки.

— Погоди-ка, погоди-ка... А когда же ты думаешь житейскую-то заботу на себя принимать?.. Ведь как кончил ты медресе Садыка-хазрета, наставник твой так и сказал: дескать, Нигмат твой прошел все обучение, дескать, все он постиг, все уразуметь может... Но ты этим не довольствовался, пошел учиться к джадидам — поступил в Медресе-и-исламийе... Сказал, что после этого и будешь муллой... Мы ждали... А я — в старые-то мои годы — трудился для тебя...

— За это спасибо, отец! Но я приехал всего на два дня... Послезавтра еду...

— Как это едешь?.. Куда это ты собрался?.. Ты же самое большое медресе окончил! Получил право стать мюдаррисом. Какие же могут быть еще науки?

— Есть, отец, есть еще науки. Я буду учиться русскому языку, сдам экзамен на учителя...

Старик усмехнулся уже зло:

— Смотри-ка, чего выдумал: учителем он будет!.. Да на что ты польстился-то?! Будешь учителем, и положат тебе жалованья тридцать целковых в месяц. Хочешь, я тебе с сегодняшнего дня стану по шестьдесят платить?..

— Дело не в деньгах: в знаниях, отец... Кроме того, без русского языка ныне ничего не сделаешь!

Старик промолчал. Только вздохнул глубоко.

Пробило два часа. Нигмат показал Сахибу, где ему постелили спать, и пошел в покои жены.

После ухода сына старик снова заговорил. В словах его были горечь, обида и смятение:

— Сынок, Сахиб... Разумным ты мне показался человеком... Не обессудь! Горько у меня на душе, потому и говорю... Хоть и нет у тебя отца-матери, да сердцем своим ты меня поймешь... Вот... Единственный у меня сын Нигмат! Двадцать пять лет я его учу. А сам дни и ночи маюсь, добро

наживаю. На намазы-молитвы времени не остается — вере своей урон наношу... Наконец, думал, обрету покой! А он опять уезжает... Скажите на милость: что же вы за люди, неужто для вас нет родительского права?.. Неужто ваши хальфэ, ваши книги учат идти против родителей, учат ослушанию?! Нигмат — он неглупый, ученый он человек. Во всей округе на него как на пророка смотрят... Прежде, когда шакирдом был, в гостях, на обедах мулл поносил... а потом перестал, больше поучал, как жить надо!.. Однажды приезжал на побывку — собрал с народа ашурное даяние и на эти средства построил мектеб о пяти стенах. В другой раз выговорил у башкир землю на вакуф [1] — поправил дела мечети и медресе. Потом привез учителя, добился, чтобы приход учителю жалованье выплачивал. Любит Нигмата народ: что ни скажет, все по его слову делают... Вот увидишь, завтра днем в мечети места не хватит — столько набьется народу к намазу! А в другое время только одни старики и ходят... Нигмат проповедь будет читать, вот всем и хочется послушать его, что-нибудь полезное узнать... И такой человек бежит неведомо куда, будто ему родные места опостылели!.. Что же это получается, в толк никак не возьму. Тут жена восемь лет его ждет, плачет все... Благодарение аллаху, состояние у меня не малое. А чего я не натерпелся, пока наживал его!.. И людей обижать приходилось... Сами-то мы пензенские. Мне десять всего сравнялось, когда дядя взял с собой в Сибирь. Там я и учился торговать. Потом дядя помер. А я поднакопил малость деньжат и переехал сюда, в Орский уезд, купил землю, торговлю открыл... Тут же и жену взял, домом обзавелся. Нет небось на свете такого дела, каким бы я не занимался... Все в поте лица заработал... Ну а сын теперь все это нажитое добро бросает... Говорили прежде: «Чем быть царем в Египте, лучше быть нищим в Кангане». Разве не сказано это в ваших книгах?.. Остался бы он здесь, поручил бы я ему все мирские дела, а сам предался молитве... Ведь и смерть может прийти, борода-то вон вся белая. Азраил [1] небось неподалеку ходит... Вставал бы я на заре, шел бы в мечеть к утреннему намазу. После намаза, как другие благочестивые старики, оставался бы на ишрак [2]. Потом, помолясь, ложился бы отдохнуть.

---

[1] Вакуф — в данном случае речь идет об отчуждении земли в дар мечети.

[1] Азраил — ангел смерти.

[2] Ишрак — необязательное моление, совершаемое после утреннего намаза.

А там прошелся бы немного по хозяйству и опять в мечеть — к полуденному намазу. Так и не пропускал бы ни одного намаза — ни предвечернего, ни вечернего... Молился бы не торопясь: читал суры предписанные и даже нафильные — сверх предписания. В святой рамазан совершал бы игтикаф[1]. Сподобил бы аллах — поехал в Мекку, стал хаджи, большего я не желал бы... А теперь и помолиться как следует не удается. Бывает, только склонишься в земном поклоне, вдруг вспомнишь какое-нибудь спешное дело и тут же бежишь из мечети домой... А он вот ничего этого не понимает!..

Сахиб слушал жалобы старика и не знал, что сказать, чем утешить его. То, что он услышал сейчас, было для него не ново: все его товарищи пережили, подобно Нигмату, тяжелые столкновения с отцами... Некоторые отступили, подчинились воле стариков... Но Нигмат — Сахиб был уверен в этом — не сдастся.

— Почему не понимает? Понимает... и даже очень...— попытался Сахиб успокоить деда Сафу.— Он ведь ненадолго уедет... самое большее — на год...

Отделавшись кое-как от старика, Сахиб вышел во двор подышать свежим воздухом. На крыльце стоял Нигмат.

— Вот видишь, Сахиб, какая у меня жизнь,— начал теперь жаловаться тот.— С одной стороны — отец, который требует, чтобы я заделался муллой да еще впрягся в житейские дела... С другой — жена, это несчастное существо... Вон она плачет там навзрыд: восемь, говорит, лет дожидаюсь, молодость проходит! Что, говорит, за жизнь без тебя!.. Умоляет не уезжать...

Сахиб давно знал тяжелую историю женитьбы своего друга. Когда Нигмат учился в медресе, родители просватали ему девушку, решили все без него. По молодости он не смог тогда противостоять им и вынужден был жениться. Жена его была недурна собой, только уж очень невежественна, уж очень неотесанна... И не было надежды, что она переменится. Ничто, кроме физической близости, не роднило двух этих людей...

В этот раз Нигмат ехал сюда с мыслью развестись с женой. Оказывается, он сейчас сказал ей, что она может оставаться у них, но что он не хочет связывать ее, что она может уйти, когда захочет, и что он даст письменное на то согласие... Выслушав все это, она потеряла сознание. А придя

[1] Игтикаф — обряд трехдневного уединения в мечети для молитвы.

в себя, принялась, заливаясь слезами, рыдая, упрекать Нигмата за то, что все ее молодые годы прошли в бесконечных ожиданиях его — от приезда до нового приезда, все время в разлуке,— а вот теперь он гонит ее от себя!..

Отведя душу хоть недолгим разговором обо всех этих бедах, но, конечно, так и не найдя никакого пути избавления от них, друзья разошлись по своим покоям.

LXXI

МУЛЛОЮ-ТО БУДЕШЬ?

Невозможно было бы перечесть все яства, поданные им наутро к завтраку. День же опять весь прошел в хождениях по гостям...

Опять они вернулись домой только к полуночи и уселись за приготовленный для них ужин. И опять возник вчерашний спор. Только на этот раз он был не столь резким и быстро пресекся.

Завел его дед Сафа:

— Ты и взаправду задумал уехать, сынок?.. Со вчерашнего дня я вроде как рассудка начал лишаться...

Нигмат постарался ответить как можно спокойнее, но в то же время достаточно твердо, чтобы не возвращаться снова и снова к одному и тому же:

— Ты знаешь, отец, что я никогда не изменяю своему слову. Зачем из-за пустяков кровь себе портишь?.. Я уеду завтра после полуденного намаза.

Старик хорошо знал характер сына. Он уже понял, что продолжать препирательства было бы бесполезно. И все-таки сделал еще одну попытку:

— А если не пущу?..

— Удержишь-то как? Привязать-то веревкой ведь не сможешь! — отрубил Нигмат.— Отвезу вашу сноху к родителям и уеду тем же путем, каким приехал!

— Ну а с нами как поступишь?..

— Пока будете жить как прежде. Летом на уборку месяца на два приеду...

Старик сдался:

— Ладно, сынок, ладно... Не маленький, впустую небось не станешь разъезжать... Ну а потом, когда вернешься... будешь муллою-то?

— Буду, разумеется, и муллою, и учителем, и русскому языку учить буду... Иначе ничего с нашим народом не поделаешь, не выведешь его из невежества...

Тут старик почувствовал некоторое облегчение:

— Ладно, сынок. Пусть все будет на благо!.. Сноха только вот уж больно убивается, ты ее успокой... Деньги-то у тебя есть?

— Чего уж спрашивать?.. Коли есть, дай. А нет — так после продашь что-нибудь, пришлешь.

— Зачем продавать! Благодарение аллаху, не с пустыми руками сидим. Все, что есть,— твое. У молодой матери[1] ассигнации лежат, возьмешь, сколько надо...

...Назавтра после полуденного намаза запрягли в хороший, байский тарантас добрых лошадей, подвесили им колокольчики.

Хотя у Нигмата было даже больше знаний, чем требовалось учителю, ему слишком тяжело давался русский язык. Чтобы какое-то время говорить постоянно только по-русски, он решил уехать в Самару, где было мало татар, а среди них совсем не было знакомых...

Весть об отъезде Нигмата-кази собрала множество соседей ко двору старика Сафы-бая. А на перезвон колокольцев сбежались ребятишки со всей округи.

Кто-то читал напутственную молитву. Жена Нигмата, нисколько не стесняясь посторонних людей, плакала в голос. Старик наказывал сыну, чтобы тот писал почаще да заканчивал ученье поскорее... С одними Нигмат попрощался за руку, остальным просто пожелал доброго здоровья. Поцеловав Сахиба, улыбаясь, велел ему поправлять свое здоровье, есть почаще и побольше. И наконец уселся в тарантас.

Лошади тронулись. Поднялся оглушительный ребячий гомон. Жену Нигмата, забившуюся в плаче, под руки увели в дом.

Сахиб ехал в деревню, думая лишь погостить да отъесться как следует, но Нигмат уговорил его остаться здесь учительствовать.

— Для того чтобы приниматься нынче же за русский язык, у тебя не хватит ни здоровья, ни денег,— сказал он.— Поживешь тут, и то и другое придет.

Да и дед Сафа упрашивал:

— Оставайся, шакирд! Как сын родной будешь ухожен у нас. С тобой и мне будет полегче...

Сахиб остался.

То было десятого июля 1907 года.

---

[1] Младшую жену отца часто зовут «молодой матерью».

LXXII

ЕСТЬ У ВАС «УРАЛ»?

Больше двух лет прожил Сахиб в деревне.

Голод, нужда, с которыми он долгие годы не расставался, видимо, основательно подточили его организм: сколько ни ухаживали за ним, сколько ни пытались откормить его и сам старик Сафа и все жители этой деревни, Сахиб не очень-то поправился, хотя и обрел, можно сказать, человеческий облик и денег немного заработал. Приехал он весь обтрепанный, а здесь оделся с ног до головы. Через одного человека, который ездил в город, смог накупить довольно много книг. И еще оставалось у него сто двадцать рублей. Этого вполне должно было хватить на шесть-семь месяцев учения.

Старик, однако, все не хотел отпускать Сахиба. Да и Нигмат в каждом письме просил не уезжать, пока он сам не вернется.

Помог Сахибу выбраться из деревни неожиданный счастливый для него случай.

Какой-то старый мулла сделал донос на нескольких учителей, что они-де «красные» и подстрекают народ против царя. Главарем их мулла назвал Сахиба. К Сафе-баю приехал урядник, увел его в сад и там наедине о чем-то говорил с ним. Чай пить урядник не стал. Прихватив с собой полтора пуда пшеничной муки, пять фунтов топленого масла, две тесовых доски, несколько связок мочала, уехал восвояси. После его отъезда дед Сафа открылся Сахибу: урядник получил сверху указание — не спускать глаз с Сахиба, проверить его прошлое, разузнать, о чем он разговаривает с людьми, и при малейшем подозрении схватить и отослать в Орск. Но поскольку Сафа-бай был человек, знакомый уряднику, тот поставил его в известность обо всем и посоветовал поскорее проводить Сахиба отсюда.

Старику тяжело было расставаться с Сахибом, однако в предвидении опасности он не рискнул задерживать его.

В тот же день постирали белье Сахиба, напекли несметное число подорожников, задали паре лошадей побольше овса, чтобы довезти гостя до железнодорожной станции. Старик от себя и от имени двух своих жен вручил ему в виде пожертвования в счет ашурного даяния шесть рублей. Выехал Сахиб на самой заре. Через пять дней он сошел с поезда уже в Казани.

Был один из дождливых, слякотных осенних дней. Но ненастная погода ничуть не омрачала настроения Сахиба. Как-никак здоровье его все-таки окрепло, одежда на нем целая, он сыт, и в кармане у него лежат деньги... Ведь такого благополучия еще не было в его жизни. К тому же он в Казани, в горниле татарской революции! Сегодня же увидится он со своими товарищами.

Выйдя в таком приподнятом состоянии духа из гостиницы, где он снял номер, Сахиб прежде всего спросил у мальчишек — разносчиков газет — сегодняшний номер «Урала». Те не поняли его.

— Есть разве такая газета?..— перешептывались они в недоумении друг с другом.

И вместо «Урала» предложили «Баянельхак», «Юлдуз», «Вакыт»[1], пестревшие объявлениями о торговле пивом и мылом... «Бестолковые какие ребята!» — подумал Сахиб и зашел в татарский книжный магазин.

За прилавком стоял джигит в каракулевой шапке.

— Есть у вас «Урал»?

Джигит улыбнулся:

— Вы что, с того света вернулись? Разве могут быть теперь такие газеты?

Сахиб смущенно объяснил, что он жил в деревне на Урале, далеко от города и от почты.

— Если нет «Урала», дайте мне тогда книги того же издательства,— добавил он.

— Эти книги не берет никто. Поэтому не держим их. Опасаясь обыска, мы даже те, что были у нас, сожгли давно!

Сахиб, не в силах уразуметь, что происходит на свете, пошел искать товарищей.

Сперва он отправился в «преисподнюю» Даута Урманова. Но там его встретил какой-то горемыка-сапожник, да и тот был вдребезги пьян. Он и сам ничего не понял из вопросов Сахиба, и объяснить ничего не смог...

В том же доме прежде жила семья Габдуллы-абзы. Сахиб спустился в их квартиру. И тут его ожидала неудача. Незнакомая заплаканная женщина сухо ответила, что не знает точно, где они, но слышала, что работают на пороховом заводе, поблизости и квартируют.

Сахиб растерялся: к кому еще пойти, где, кого искать?

---

[1] «Баянельхак», «Юлдуз», «Вакыт» — названия татарских газет той поры.

После долгих блужданий по улицам он вдруг увидел медленно катившую по мостовой коляску, в которую был запряжен белый рысак. Седок показался ему знакомым... «Господи, ведь это Юсуфджан! Вот счастье!»

— Юсуфджан, стой! — крикнул Сахиб.

Но тот не только не остановил лошадь, а хлестнул ее и погнал быстрее.

И вот наконец Сахибу повезло: на одной из улиц он столкнулся с Джихангиром. Зажав под мышкой кипу русских учебников, он спешил куда-то, но не сбежал от Сахиба, обрадовался, расцеловался с ним...

Однако это уже не был прежний горячий, задорный Джихангир — усталость ли его одолела, угасло ли в нем что-то, но стал он какой-то до странности безжизненный. Остановившись на углу, поговорили немного. Джихангир дал Сахибу свой адрес, пригласил его к себе — посидеть, но даже не поинтересовался, а где же тот остановился. Он, оказалось, готовится к экзаменам на аттестат зрелости, собирается поступать в университет.

О Габдулле-абзы он не знал ничего: давно не виделся с ним.

Что же это такое?

После целого дня тщетных поисков — усталый, разбитый, обескураженный — Сахиб вернулся к себе в номер, растянулся на кровати и уснул мертвым сном.

Проснулся в сумерках. Вечер ли близился? Или прошла ночь, настала пора утреннего намаза?

Вышел из номера и ахнул: он проспал двенадцать часов подряд, прошла ночь, родился новый день...

LXXIII

ЖАЛОБЫ ХАДИЧЭ-ДЖИНГИ

Надо во что бы то ни стало найти Габдуллу-абзы, у него, наверное, можно будет хоть о чем-нибудь разузнать.

С этой мыслью Сахиб пошел на завод, о котором говорила ему вчера заплаканная женщина. У заводских ворот он встретил группу рабочих. Те сразу растолковали ему, где живет Габдулла-абзы.

Запыхавшись, вбежал Сахиб в квартиру, которую ему показали.

Комната была маленькая, опрятная. У окошка на улицу сидела с шитьем в руках Хадичэ-джинги.

— Ой, джинги, милая джинги! Это ты?..— радостно кинулся к ней Сахиб.— Здоров ли Габдулла-абзы?.. Замучился я совсем, никого не мог найти из товарищей...— Он долго и крепко жал руку Хадичэ-джинги.

Хадичэ-джинги вся просветлела. Она тоже обрадовалась Сахибу.

— Спасибо, что вспомнил про нас! — сказала она.— А то Габдулла сетует все: куда, говорит, запропастились джигиты наши?.. Бывало, говорит, бегали, шумели, сколько делали дел!.. А нынче, говорит, точно птицы, что коршуна завидели: все попрятались, никого не найдешь... Как увидит тебя, на седьмом небе будет от радости!..

Хадичэ-джинги сказала, что муж вот-вот вернется с работы и Сахиб непременно должен дождаться его. Она занялась своими делами у печки — подбросив дровишек под казан, принялась ставить самовар.

И неторопливо, жалостливым голосом продолжала рассказывать Сахибу о тех, кто так интересовал его:

— Все, все разбрелись, побросали друг друга... А такие славные, такие дельные были джигиты! Габдулла, бывало, не нахвалится на них. А теперь что ни день приносит тяжелые вести: кого-то упрятали в каталажку, кого-то повесили...— Хадичэ-джинги вытерла набежавшую слезу.— Каждый день только одно плохое и слышишь... А из тех, кто остался, одни к баям подались, другие запили, многие совсем ушли с прежней дороги.

Хадичэ-джинги хоть что-нибудь да знала о каждом:

— Тот, которого звали Гереем Султаном, уже два года в тюрьме сидит. Его, говорят, повесят... только из-за чего-то, мол, задерживаются... Булат тоже сидит, его дело, сказывали, не очень опасное, вроде бы даже выпустить собирались, да вот что-то тянут... Один мусульманин-рабочий, из тех, что попались тогда же, помер в тюрьме, упокой, аллах, его душу. Очень был хороший человек. К нам заходил, бывало, иной раз... Еще кто там? Да! Урманов Даут в городе, служит в газете, которая на байские деньги выходит. Пьет, говорят, он сильно... Слыхала я: то ли судили его или только будут судить... А уж о той самой Разин и толковать нечего. Говорят, даже не здоровается, если кого встретит... Ходит, мол, в шляпках с перьями, в каракулевых шубах, с бриллиантовыми колечками на пальцах... С офицерами,

мол, все танцует... Сама-то я ее не видела, грешить не стану... С чужих слов говорю...

Пораженный услышанным, Сахиб продолжал расспросы:

— Ну, а Кадыр-бай, его Юсуфджан, Хаджер? Тогда их имена у всех на языке были...

Джиинги нашла что рассказать и о них:

— А что им сделается: у баев хоть вправо поворачивай, хоть влево, все одно по-байски выйдет. Кадыр-бай выздоровел, теперь он бороду красит, помолодел, с молодой Хаджер-бикэ на паре лошадей раскатывает... В ту пору Хаджер очень по Джихангиру убивалась, а теперь забыла его — нарядится, накрасится и вертится перед мужем! Говорят, вскорости ребенок у нее будет. Сын бая Юсуфджан в Стамбул уезжал, оттуда к агельчанам или французам хотел податься. Ну, а как отбили ему телеграмму, что отец при смерти, вернулся да так никуда и не ездил больше... Габдулла смеялся все: у нашего, мол, Юсуфджана отговорка крепкая. Спросишь у него, отчего не уехал, а он отвечает: что, мол, проку от ученья, еще пять — десять лет проучишься, выйдет из тебя доктор, адвокат или редактор, а самое большее, что заработаешь,— три тысячи в год, а я, мол, пальцем только шевельну, и они у меня уже в кармане... Чего от них ждать-то, одна порода. Теперь он, можно сказать, всеми отцовскими делами ворочает. Очень, говорят, ловкий и крутой торговец. Вот только вчера наш сосед-лавочник заходил: «Старый, говорит, бай лютый был и поколотить мог со злости, но коли пойдешь, бывало, к нему с поклоном, попросишь — всегда давал отсрочку в платежах-то... А Юсуфджан, говорит, куда там... Не хватило у меня по векселю шестидесяти рублей, так он грозит, что лавку мою с торгов спустит, имущество опишет...»

Хадичэ-джиинги посмотрела в окно и прервала свой рассказ:

— Вон и Габдулла идет! От него больше узнаешь.

Габдулла-абзы бросился к Сахибу, расцеловал его. И тут же принялся жаловаться:

— Хоть днем с огнем ищи, никого из прежних дружков не найдешь!..

Оглядев Сахиба, он одобрительно заметил:

— Ого, деревня-то тебе на пользу пошла, подкрепился, видать.

Габдулла-абзы и сам за это время поправился, окреп. Впалые прежде щеки округлились, и спина уже не так сутулилась, руки не дрожали. И одет он был прилично: хоро-

шие суконные брюки, крепкое пальто, кожаная фуражка.

У Хадичэ-джинги подоспели и обед и чай. Уселись втроем за стол.

Сахиб рассказал, как жил эти годы в деревне, рассказал об истории с урядником, о своем приезде в город и о том, как он напрасно обегал все улицы в поисках газет, книг, товарищей; сказал, что у него не укладывается в голове все услышанное сегодня от Хадичэ-джинги.

Габдулла-абзы тяжело вздохнул:

— Да, брат, ничего не поделаешь...

Он говорил об этом в еще более резких, мрачных тонах, чем Хадичэ-джинги.

Даже Усман, который считался одним из наиболее твердых, оказывается, служит теперь в земстве и для своего оправдания якобы раскрыл кое-что...

— Был еще такой Дашкин,— продолжал Габдулла-абзы,— особенно активным он не был, но на митингах любил пошуметь, красным представляться. Так вот он, чтобы получить политическое оправдание и поступить в какой-то институт, принял крещение и, говорят, будто бы служит в охранке, жалованье там получает... Что еще?.. Еще Фахри магазином обзавелся, трех приказчиков держит. Слышал, что жалуются приказчики на жесткий нрав хозяина. Уже и брюхо у Фахри округлилось... Габдрахман артистом заделался. В комедиях здорово играет... Растет, говорят...

— Но кто же, кто остался-то теперь?

— Как говорится, ты да я да мы с тобой... Есть еще Даут. Он только и знает, что ругается. Пьет беспробудно... От Булата письма иногда получаем. Подробно обо всем пишет, обнадеживает: не отчаивайтесь, мол, не вечно же будет черная ночь... У меня есть товарищи, рабочие. Читаем вместе его письма, бережем их... Поговаривали, что со дня на день может выйти из тюрьмы. На поруки будто берут его...

Когда Сахиб уже поднялся, распрощался и собирался уходить, Хадичэ-джинги остановила его:

— Послушай, Сахиб, у тебя не было среди башкир знакомой по имени Гюльбикэ? К нам несколько раз приходила молоденькая такая, красивенькая женщина, про тебя спрашивала. «Если, говорит, покажется он у вас, передайте, чтобы непременно меня повидал. Даут, мол, знает мой адрес». Сама она из башкир, женою какого-то пьянчуги была... С мужем она разошлась. В то самое время

где-то там театр татарский представлял. Услышали они про ее голос и заставили петь. Хоть и деревенская была, а шустрая оказалась. Прославилась пением-то, ее и выписали в город. Теперь она у нас в театре представляет... Ты отыщи ее, Гюльбикэ ее зовут.

Последняя новость вовсе ошеломила Сахиба. «Как?.. Неужели та самая Гюльбикэ?! Неужели она смогла выйти в люди?.. Невероятно!..»

Стараясь не выдать своего волнения, он взял адрес Даута, сказал, что зайдет к нему сегодня же вечером, расспросит обо всем, что творится здесь.

— Не бросай нас... Как найдешь время, приходи! — просили, провожая его, хозяева.

LXXIV

ГЮЛЬБИКЭ

Сахиб вошел в гостиницу, где жил Даут, и вдруг увидел на лестнице спускавшуюся прямо ему навстречу Гюльбикэ...

Это было уж слишком, он не верил своим глазам: сон это или явь?

Нет, то не было сном. Перед ним, улыбаясь, стояла живая Гюльбикэ... Только она приняла совершенно другой облик. Вместо башкирского камзола на ней было нарядное, подчеркивающее высокую грудь пальто. На голове — маленький татарский калфак, покрытый тонкой черной шалью. Глаза, губы — все ее лицо было то же, что и прежде, но с него сошла тупая покорность — отпечаток прежнего ее беспросветного существования, взгляд осветился пытливой мыслью, губы теперь не ухмылялись грубо и не кривились горько, на них играла милая, нежная улыбка. Удивительно мягкими стали руки, они дрожали, трепетали в ладонях Сахиба...

Сахиб не знал, что сказать, с чего начать. Наконец у него вырвалось:

— Жизнь снова улыбнулась мне, родная! У тебя ведь есть время... поедем ко мне!

Гюльбикэ с радостью согласилась. Они наняли извозчика и поехали к Сахибу.

Жизнь приучила Сахиба тратить деньги крайне расчетливо. Ведь у иего, случалось, и копейки не было на полфуита ржаного хлеба.

Сегодня, однако, он позабыл про всякую бережливость. Попросил поскорее поставить самовар, погиал коридорного купить сдобных булок, шоколаду, яблок, винограду и велел выбирать все только самое лучшее.

Когда угощение было водружено на стол, он запер дверь, спустил шторы на окнах, зажег электричество и с облегчением сказал:

— Вот теперь мы вдвоем!.. Нет, как тогда, ни моего друга башкира Вали, ии твоего пьяиого мужа, никого... Ну, рассказывай же скорее, дорогая, какое чудо спасло тебя из того ада...

Гюльбикэ поведала ему всю свою историю. Как и рассказывала уже Сахибу Хадичэ-джииги, оиа разошлась с мужем, стала свободной. А в один прекрасный день произошло и другое событие — иа железиодорожной станции устраивали любительский концерт; кто-то слышал, что у Гюльбикэ хороший голос, ее пригласили спеть иа концерте. После этого молва о ней дошла и до города, ее пригласили в театр. Сначала выпускали в отдельиых спектаклях, видно на пробу, а теперь оиа уже вошла в труппу...

Закончила Гюльбикэ свою повесть легким укором: она узнала, что Сахиб написал рассказ, в котором назвал ее имя, что он читал его товарищам, даже собирался выступить на вечере в театре и мог вовсе ославить ее иа весь свет...

Сахиб схватил ее руки, стал целовать их:

— Милая! Родиая!.. Ведь ты жила в таком далеком, глухом уголке... Немыслимо было даже представить себе, что моя исповедь может дойти туда или что ты сама когда-нибудь выберешься оттуда!.. Но ошибку свою признаю...

— Если рассказ при тебе, прочти мие! — попросила она.— Ведь ты, кажется, и назвал его: «Башкирка Гюльбикэ»?..

Сахиб бросился перерывать свой скарб и наконец вытащил старательно запрятаиную тетрадку.

Он стал читать. И постепеиио со все большей силой завладевали обоими дорогие для них воспоминания. Гюльбикэ была в восторге от услышанного, ио, тревожно заглядывая в глаза Сахиба, сказала:

— Тогда ты, видно, очень любил меня... Да ведь сколько встреч потом было в твоей жизни!.. Ты, наверное, выбросил меня из памяти?..

Хоть это и не было в привычках Сахиба, он принялся неистово клясться и божиться:

— Видит бог, ни одной женщины, кроме тебя, не было в моем сердце... Я тосковал по тебе... Но не буду скрывать — мне и в голову не приходило, что я увижу тебя такой, какая ты стала теперь, что вообще может произойти подобное чудо!..

Могло ли получиться иначе? Гюльбикэ оказалась в объятиях Сахиба. Истосковавшиеся по ласке, по любви, они молча прильнули друг к другу...

Внезапно Гюльбикэ опомнилась, вскочила и, торопливо надевая пальто, подошла к зеркалу, накинула шаль.

— Мне пора, проводи меня!..

Сахиб упрашивал, умолял остаться у него. Гюльбикэ испуганно качала головой:

— Нет, нет!.. Увидит кто-нибудь, узнают...

Но еще несколько заклинаний Сахиба — и она вдруг решилась.

И снова, как тогда, в темном башкирском ауле, к ним пришла счастливая ночь.

И эта вторая ночь, как и та, первая, показалась им обоим единственной в их жизни.

Бывают люди, которые рождаются полными жажды любви, однако тяжкая, черная судьба глушит эту жажду, не дает выхода бунтующей в сердце страсти, держит ее как бы в мрачной темнице. Но если вдруг настает час и двери темницы раскрываются, лучи солнца касаются сердца, хранящего прекрасный цветок любви,— для этих людей тот час блаженства становится превыше всякой радости на земле, они словно бы постигают то, что обещано смертным лишь в раю.

Такими людьми были Сахиб и Гюльбикэ, таким было счастье двух ночей, осветивших им жизнь.

...Им предстояла разлука в ближайшие же дни: театральная труппа уезжала на гастроли. Они встречались еще несколько раз и расстались, чувствуя себя осиротевшими, моля судьбу снова соединить их.

LXXV

У БАНКОМЕТА НЕВАЖНАЯ ИГРА

Сахиб, который после встречи с Гюльбикэ позабыл обо всех своих товарищах, теперь возобновил розыски. Несколько дней подряд ходил он в гостиницу, где жил Даут, и наконец застал его дома.

Было одиннадцать часов вечера. Сахиб постучался в дверь номера. Никто не отзывался. Постучал громче. На этот раз откликнулся ленивый, недовольный голос:

— Кто там? Войдите!

Сахиб отворил дверь — и, пораженный, остановился на пороге: в спертом, удушливом воздухе плавал густой табачный дым; на столе возле окна выстроились водочные бутылки — пустые, недопитые, полные; рядом с солонкой и горчичницей были разбросаны куски хлеба, тут же лежали селедочная голова, колбаса чуть ли не в пол-аршина длиной, на тарелках были навалены огурцы, лук и еще что-то... Под столом виднелась корзина с пивными бутылками... Посредине комнаты, вокруг большого стола, сидело человек десять — все растрепанные, помятые, погруженные в сосредоточенное раздумье, будто решали они сложную математическую задачу. А один стоял с колодой карт в руках и метал банк.

Сахиб протер глаза: «Господи, не Урманов ли это?!»

Да, это был Урманов. Но не тот, каким Сахиб знал его: спутанные волосы упали на лоб, лицо в черных тенях, глаза тусклые, спина сгорбилась, щеки ввалились, по углам рта легли морщины...

Вглядываясь в сидящих за столом, Сахиб постепенно узнавал прежних знакомых: вот Усман... Тангатаров... Баязит-кари... Фахри... Габдрахман... Джихангир... Лишь какой-то бледный, худой, голубоглазый джигит и еще трое, очень похожие на торговцев, были Сахибу незнакомы. Эти трое были даже одеты с некоторой изысканностью, но, судя по всему, чувствовали себя здесь вполне своими.

Сахиб стоял в замешательстве, но повернуться и уйти у него не хватило сил. Он шагнул вперед и робко, каким-то чужим голосом пробормотал:

— Здравствуйте, товарищи...

Урманов обернулся.

— А, Сахиб! — с пьяным безразличием воскликнул он.—

Каким тебя ветром занесло? Сейчас... поговорим с тобой.. Ты пришел в самый разгар... Срывают банк!..— Поморщился и добавил: — Ну и пусть срывают... Пропади он пропадом!..

Перед ним лежала карта рубашкой кверху.

— Играй в открытую! — выкрикнул кто-то возбужденно.

У Даута оказалась шестерка бубен. Игроки сразу оживились:

— У банкомета карта неважная!..

Даут прикупил еще карту, сунул ее под бубновую шестерку и стал медленно приоткрывать с одного угла. Десятка пик! У Даута дрогнули губы. Это еще больше обнадежило игроков.

Шестнадцать — скверное, очень скверное число для банкомета!

Минута была чрезвычайно острая. Обе стороны затаили дыхание, как будто сейчас должен был решиться вопрос о жизни или смерти... Наступила гробовая тишина. Все глаза устремились в одну точку...

Прикупит или нет?.. Если да — что вытянет?..

Банкомет вдруг принял решение и, взяв из колоды третью карту, бросил ее на стол.

Пятерка!

Сидевших за столом точно ослепило молнией.

— Поразительно: за два круга только раз и дал взять! — сказал кто-то.

— Я это предчувствовал! Ведь хотел спасовать...— сожалел другой.

Стали расплачиваться с банкометом. Даут собрал двести шестьдесят рублей.

Игра продолжалась.

— По моей карте — иди на все! — сказал Даут своему соседу. И подошел к Сахибу: — Ты в самую горячую минуту нагрянул, извини...

Коротко расспросил о его делах. Потом предложил:

— Приходи ко мне ночевать. Тут через часок все разойдутся, вот мы с тобой за ночь и наговоримся!..

В эту самую минуту в номер вошел весь промокший от дождя Зариф Булатов. Судя по тому, как оглядел он всех, он явно искал кого-то...

Приход Булата настолько ошеломил пьяную компанию, что все молча уставились на него, но потом, словно очнув-

шись, повскакали со стульев, подошли, пошатываясь, окружили его.

Булат обратился к Джихангиру:

— Ты ведь знаешь Шакира-солдата... Сегодня...— Ему не дали договорить — потащили к столу с водкой, требуя, чтобы он прежде всего выпил с ними.

В дверях появился посыльный:

— Урманова к телефону!

— Ходят тут, мешают...— заворчал Даут.

Однако вернулся он широко улыбаясь:

— Булат... есть новость для тебя: приехала Нина!.. Звонила сейчас из твоего номера. Она там, у тебя, с вещами сидит...

Булат сначала никак не мог себе этого представить: от Нины уже шесть месяцев не было известий, и он предполагал, что она вместе с Колей бежала из России... Но Даут так горячо убеждал его не терять ни секунды, что он поверил ему и поспешил к себе.

LXXVI

ЕСЛИ У ТЕБЯ ДВАДЦАТЬ, БЕРИ!

Побродив по улицам, Сахиб через час вернулся к Дауту.

Игра все еще шла. Сахиб не находил никакого удовольствия ни в выпивке, ни в картах. Он просидел до двух часов, безучастно наблюдая за игроками, потом улегся за ширмой на кровать.

Он очень устал, но спал неспокойно. Все время слышалось ему и сквозь сон:

— У меня девятнадцать. Если у тебя двадцать, бери!..

Проснулся он около десяти утра. И первым, что он услышал, было:

— У меня девятнадцать. Если у тебя двадцать, бери!

Он поднялся, вышел из-за ширмы.

Бутылки на столе были повалены, в разлитой на подносе воде плавали кружочки лука, колбасная кожура. Под ногами валялись осколки разбитых рюмок, окурки, кусочки хлеба, селедочные головы, пол был залит, затоптан, запле-

ван... А игра все продолжалась. Никто, кажется, не в силах был сдвинуться с места, поднять голову. Мутные глаза, дрожащие руки, испитые, помятые лица. Точно черти из преисподней!

Усман наконец не выдержал,— встал, покачиваясь, слил из бутылок оставшуюся на донышках водку, выпил ее и попытался привести перед зеркалом в порядок волосы, но, так и не справившись с этой задачей, сунул голову под кран умывальника. Это, видимо, немного отрезвило его.

— Пропади все пропадом, уже одиннадцать часов... И сегодня опоздал... Прощайте! — буркнул он и выбежал из номера.

Силы у игроков совершенно истощились, но они все тянули: вот еще колода, еще одна колода... Только в два часа стали расходиться. Их заносило из стороны в сторону, ноги не слушались, заплетались. Кто-то, одеваясь и глянув в зеркало, поморщился:

— Не лицо, а лапоть!

— О, будь все проклято! Опять пропустил занятия...

— Все, что вчера вызубрил, из головы вылетело...— спеша уйти, ругались Тангатаров и Джихангир.

За ними шмыгнул в дверь Габдрахман, который боялся неприятностей, потому что опаздывал на репетицию.

И остальные уходили, понося и карты и самих себя, жалуясь, что забросили дела, что у них трещат головы...

— Мне надо перевести столыпинский текст,— сказал высокий голубоглазый джигит, которого все называли Салимовым.— В редакции душу вымотают! А попробуй переведи с такой головой.

Даут Урманов должен был написать статью по поводу разногласий между министром Коковцевым и Шингаревым в бюджетных вопросах.

— Готова у тебя статья? Пошли в редакцию! — позвал его Салимов.

Даут махнул рукой:

— Не пойду. Если редактор спросит, почему меня нет, скажешь, что я целые сутки играл в карты, пил, прийти не могу... Если зашумит и начнет требовать материал, надпишешь за меня передовую из двух фраз: Коковцев и Шингарев, две собаки из дворян-буржуев, дерутся из-за народной кости. Пролетариат разнимет их!.. Ладно? Ну, пока! Я ложусь спать!

Проводив всех гостей, он отворил окна и двери, проветрил комнату и еще раз извинился перед Сахибом.

— Ты уж заходи вечером. Придут и товарищи,— сказал он и улегся спать.

Сахиб в замешательстве медленно зашагал по длинному коридору гостиницы.

LXXVII

ПРИЕХАЛА НИНА

Нина и Булат давно знали друг друга. Были близкими товарищами по партийной работе. Дальше этого их отношения не заходили.

Письмо, которое Нина написала Булату перед отъездом в Челябинск и которое попало в руки Гэвхар, тоже было обычным товарищеским письмом. Нина была тогда неофициальной женой Коли Кадомсова.

Колю арестовали в те же дни, когда схватили Булата и Герея, и сослали в один из самых дальних углов Якутии. Нина, отбросив все условности, поехала к нему.

Они прожили вместе два года.

Однако эти годы не сблизили их, а, наоборот, отдалили. Они охладели друг к другу.

Нина не была красивой. Но не была и безобразно курносой, большеротой, как, смеясь, уверяли Гэвхар с Разией. И про ее брови нельзя было сказать, что их «слизнула кошка». Правда, на лице ее можно было различить редкие рябинки, правая бровь у виска немного повреждена оспой и редковата, зато глаза у нее светились необыкновенно... Озаряя все лицо, они скрадывали его недостатки.

Коля был первой любовью Нины. Она сумела в тайной борьбе отстоять своего любимого от посягательств многих хорошеньких курсисток.

Она считала себя однолюбкой. «Я всю жизнь буду любить только одного! — говорила она себе.— Я живу для партии, для революции, но жизнь, не согретая верной любовью, обессиливает крылья. Партия, революционная борьба, Коля — все это неотторжимые части моего существа...» Поэтому, когда любимого ею человека сослали, она, не раздумывая ни минуты, связала с ним свою судьбу.

В ссылке, однако, все кончилось разрывом... В колонии социал-демократов жил на поселении старый революционер. У него была хорошенькая и ветреная дочка, которая

вскружила Коле голову. Ниа, далекая от сплетеи, иа пересуды вниманиия ие обращала. Но когда оиа одиажды оказалась свидетельиицей сцеи, возбудивших ее подозрение, оиа сказала Коле:

— Почему ты скрываешь? Скажи лучше прямо!

У Коли, видимо, не хватило мужества призиаться.

— Плюнь, это такая мелочь! — отмахиулся ои.

Если бы все на этом и коичилось, Ниа предала бы печальиую историю забвению. Случилось ииаче. Еще раз воочию убедилась она в обмане. В тот же деиь увела Колю под видом лыжной прогулки подальше от селения и выложила все, что накопилось у иее иа душе. Так оборвалась ее любовь.

Оиа хотела уехать немедлеиио. Но тут вклиниились обстоятельства иного порядка: четыре большевика должиы были с помощью партии бежать через Японию в Швейцарию. Одним из них был Коля. Нииу же включили в группу, которой поручили организацию побега.

Побег дважды проваливался, и замысел едва не был раскрыт. Удалась лишь третья попытка.

Провожая Колю, Нина сказала ему:

— Ну вот мы и расстаемся, Коля. Прощай!..

...Сегодня, когда она, утомлеииая долгой дорогой, приехала в город, она стала разыскивать Булата лишь как старого товарища по партии. Узиав его адрес, ио ие застав дома, она сказала служащим в гостиеице:

— Я близкий ему человек. Если доверяете, разрешите мне пройти в его комнату!

Ей дали ключ, и оиа со всеми своими вещами, чемодаиами водворилась в номере Булата.

К приходу Булата, который летел домой как иа крыльях, Ниа успела умыться, причесаться, привести себя в порядок.

Распахнулась дверь, и они кииулись друг к другу!

— Зариф, ты?..

— Это ты, Ниа?..

Они обиялись.

— Ох, Ниночка, да ты ли это? Неужели правда?.. — твердил Булат, обхватив ее сильиыми руками.

— Ты же уроиишь меия!.. — крикиула, смеясь, Нина.

Булат хотел поцеловать ее волосы, и тут глаза их встретились, губы слились в долгом поцелуе...

Ниа вдруг вырвалась из рук Зарифа.

— Что это, Булат?..

Но в ее полных света, ясных синих глазах не было ни гнева, ни упрека — они только недоумевали, удивлялись тому, что так неожиданно произошло.

Улыбаясь друг другу, от растерянности оба чинно уселись на стулья... И начались расспросы, воспоминания... Перескакивая с одного на другое, вновь возвращаясь к уже сказанному, торопясь и сбиваясь, они рассказывали обо всем, что пережили за последние годы. Нина — о своих скитаниях, о жизни в ссылке, побеге товарищей за границу. Булат — о том, как удалось ему бежать из ссылки, о времени, проведенном в тюрьме, о том тяжелом, трагическом, что произошло в городе.

— Что еще?..— припоминал он.— Одного из членов комитета повесили, троих выслали в Туруханский край, четверо продолжают сидеть в здешней тюрьме, ожидая суда. По сто двенадцатой будут их судить: крепость или четыре года ссылки. Меня и самого только до суда выпустили. Но это не все... Слишком далеко зашло разложение изнутри!.. Ведь вот, например, ты очень доверяла нашему Усману Азаматову. Хвалила его не раз, верно?..

Лицо Нины точно заволокло тенью.

— Что случилось?.. Неужели провокатор?! — спросила она, испуганно схватив Булата за руку.

— Нет, не то. Летом седьмого года мне ненадолго удалось выйти из тюрьмы на поруки. Было четвертое июня. Вдруг в два часа ночи появляется у меня Усман. Неподвижный взгляд, каменное лицо, сдавленный голос... «Ну, говорит, Зариф, надо бросать ребячество. Пора нам одуматься».— «Что, спрашиваю, случилось?» — «Как что? Пролетариат побежден. Вооруженное восстание не удалось. Вторую думу разогнали. Пятьдесят человек из социал-демократической фракции арестованы. С революцией покончено, следовательно, надо изменить тактику».— «Как изменить?» — спрашиваю я. «Надо, говорит, поворачивать оглобли!.. Довольно красной болтовни! Повернем оглобли!..»

— Это Усман?! Да он же продал свой дом, который получил в наследство, и все деньги отдал на нужды революции!..

— Да, так было. А вот сейчас, чтобы восстановиться в избирательных правах, как требует закон от третьего июня седьмого года, он хочет выкупить дом обратно; говорят, что он для этого вошел в сговор с Юсуфджаном!

— Это еще кто такой?

— Ты его ие знаешь. Байский сыиок, который вертелся среди татарских эсеров. Развитой, злой, по-своему даже умиый... Кстати, кажется, ои же подстроил все так, чтобы и иаша Гэвхар тоже повериула свои оглобли вправо...

Нине с самого иачала хотелось спросить об этой девушке, но она удерживала себя. Теперь же, когда заговорил сам Булат, ие утерпела — спросила с самым безразличным видом:

— А что оиа-то там путается?

Булат встал, нашел заложенный между книгами узкий розовый коиверт, вынул из иего письмо, развериул.

— Прочти. Увидишь.

Нина взяла в руки пахиущий духами листок розовой бумаги, исписаииый тоиким, красивым почерком.

«Милый, я ухожу. От партийной работы, от революциоииой деятельности, от тебя. Ухожу не с разочарованием, а с сожалеиием. Зиаю — буду тосковать, и все же ухожу. Находясь в вашей среде, я получила очень много. Теперь, кажется, все растеряла. Но одно осталось: я научилась у вас говорить открыто, решительно. Привыкла говорить прямо. В этом последнем моем письме к тебе я хочу открыть самые глубокие тайны своей души. Революция побеждена. Сейчас торжествует контрреволюция. Во мне все протестует против этого. Мне очень горько. Но, оказывается, во мне нет сил, чтобы продолжать борьбу в таких тяжелых условиях. Мои крылья подломились. В моем сердце иет той силы, какая есть в тебе, в Нине, в Герее, в Коле. Поэтому я ухожу, ухожу в иауку. Ты помиишь, я в дни октябрьских забастовок бросила курсы и приехала сюда. Теперь хочу сиова иачать учиться. Мой папа умер. Доходов от иашего дома едва хватает иа жизнь маме. Я уже хотела оставить всякие мысли об учении и устроиться иа работу, ио тут Юсуфджаи показал себя джеитльмеиом. «Тебе,— сказал он,— осталось учиться еще полтора года, ие губи себя, заканчивай учение!» Он посоветовал мне поехать в Петербург и предложил деньги.

Я пишу тебе в последний раз, Булат. Я любила тебя. И сейчас тоскую по тебе. И — по привычке, перенятой у тебя, у вас,— в последиий раз скажу прямо, открыто: я хорошо знаю, что Юсуфджаи ие такой уж добродетельиый человек, который выбросит деньги так, в угоду аллаху. Но, несмотря на это, я решила прииять его помощь. Я сказала Юсуфджану, что после окоичания курсов в течеиие трех лет буду выплачивать ему свой долг. Он говорит: «Нет, не иадо!» А я говорю: «Буду!» Я попросила его дать по пятьде-

сят рублей на месяц. Всего за полтора года — девятьсот рублей. Он настаивал: «Бери по сто рублей! За полтора года будет тысяча восемьсот». Я не отказалась. Я верю в себя. Пятьдесят ли возьму или сто — должницей его не останусь. Верю, что сумею за три года после курсов расплатиться с ним. Не осуждай меня. Оказывается, не все люди могут быть такими героями, как ты, Зариф. Буду тосковать по тебе, буду думать. Но писать больше не стану...

Гэвхар».

Нина скомкала письмо и бросила на пол.

— Еще пытается украсить свой поступок красивыми словами!..— вырвалось у нее.— Я и раньше ни одной минуты не верила ей... И удивлялась тем товарищам, которые ей доверяли...— добавила она тихо.

Булат помолчал в замешательстве, потом проговорил задумчиво:

— Да ведь как сказать... Она хранила в своем доме некоторые вещи... Сколько раз скрывала у себя Разина... В ту пору такие люди тоже были нужны...

LXXVIII

ЗА ЧТО ПОВЕСИЛИ МОЕГО СЫНА?

Из коридора кто-то негромко постучался.

Булат открыл дверь и увидел стоявшую у порога девочку и опиравшуюся на ее плечо дряхлую старуху. Вглядевшись в лицо девочки, он вскрикнул:

— Махирэ!..— И перевел взгляд на старуху: — А чья это бабушка?.. Что же вы стоите тут, заходите!

Старуха подняла высохшее, сморщенное лицо. Из-под нависших бровей на Булата глянули глубоко запавшие, угасшие глаза.

— Это ты и есть Зариф?.. За что повесили моего сына?! — скорбным, дрожащим голосом спросила старуха.

И, потеряв сознание, повалилась на пол. Подбежала Нина, крикнула Булату:

— Что же ты медлишь, Зариф!

Они вдвоем подняли старуху, внесли ее в комнату, положили на кровать. Стянули с ее ног грязные кявуши. Нина

развязала ей ворот, расстегнула бешмет. Булат сбегал за нашатырным спиртом. Побрызгали ей на лицо водой, дали понюхать нашатыря, и постепенно она стала приходить в себя. Повела глазами вокруг и остановила потухший взгляд на Булате. И тем же бессильным, дрожащим голосом, в котором слышались отчаяние и мука, повторила:

— Ты и есть Зариф?.. За что повесили моего сына?..— И, захлебнувшись слезами, добавила: — Могила его где?.. Где могила, скажи?.. Хоть камень с именем сыночка поставлю!..— Старуха зарыдала и больше не могла выговорить ни слова.

Она долго плакала, потом стала судорожно всхлипывать, слезы ручьем бежали по ее изборожденным морщинами щекам.

Махирэ, дочка Габдуллы-абзы, застыла у двери. Нина не знала, что теперь делать дальше.

— Нет, нет, бабушка! Не плачь, твой сын жив! — утешал Булат старуху.— Он в тюрьме. Тебя пустят к нему. Других никого не пускают, поэтому я и вызвал тебя... Ты увидишься с ним, я сам тебя поведу завтра, не плачь, бабушка!

Не веря своим ушам, старуха приподнялась, вцепилась сухими, узловатыми руками в Булата.

— Неужто правда?.. Еще не повесили?! Покажут мне его?! — И снова залилась слезами.

Когда рыдания утихли, речь ее стала наконец более связной.

— Передавали мне, что тяжкий он совершил проступок, против царя пошел... что вешают таких непременно... Вот уж месяц, Зариф, сынок, как закрою глаза, так и вижу — столб и словно кто-то висит на нем... Еда не идет в горло, воды в рот возьму, а она кровью отдает... О аллах, за что?! Какой я совершила грех? Кому нанесла обиду? Кого словом бранным задела?.. Или что чужое присвоила?.. О аллах, будь милостив, прости, прости все наши грехи!..

Старуха воздела руки, прочла молитву и добавила покорно:

— Ниспошли нам благонравие, счастье в жизни, не оставь милостями своими в судный день! Аминь! — Она провела ладонями по лицу, встала с кровати и, застегивая бешмет, семеня к двери, все говорила и говорила о том, что терзало ее душу: — Неужто удастся повидать сына! Я человек старый, разве пробиться мне одной! Да будет вечно с тобой милость аллаха, Зариф, сынок. Спасибо, что

вызвал меня. Да воздаст тебе аллах сторицей!.. Я у Хадичэ остановилась. Уж ты завтра сведи меня туда, Зариф! Страшусь только я сердцем-то: как бы ночью не сделали чего с сыном! О аллах...

Булат с Ниной помогли ей спуститься по лестнице, проводили до угла улицы.

— Я верно угадала: это мать Герея? — спросила Нина, когда они вернулись в номер.— Неужели не нашли никаких путей для побега?..

Булат закрыл дверь и рассказал о том, как рухнул план побега: когда Герей и еще четверо товарищей ожидали только сигнала, провокаторы сообщили об этом тюремщикам. Было предпринято две попытки, и обе закончились провалом. Всех беглецов поймали и, жестоко избив, заковали в кандалы. Мало того, провокаторы выдали двух рабочих, которые на воле готовили этот побег. Их расстреляли под тем предлогом, будто они напали на охрану.

Булату было слишком тяжело заново переживать эти трагические события. Закончив свой рассказ, он долго сидел молча, понуря голову.

Потом, словно очнувшись, спохватился:

— Постой... да ведь ты, наверное, ужасно голодна!..

Он вышел распорядиться, чтобы им принесли самовар, хлеба, сыра, масла.

Когда мальчик в грязном фартуке поставил все на стол, Булат сказал ему:

— Кто бы ни спрашивал, говори, что нет дома! — И запер за ним дверь на ключ.

Но о стольком еще надо было переговорить, столько узнать друг о друге и о событиях, происшедших в большом мире, что Нина совсем позабыла о голоде, о еде. Самовар уже перестал шуметь, чай в стаканах остыл, все так и стояло на столе нетронутым, а расспросам, казалось, не будет конца. Нина и в Сибири слышала о поражении революции, о разгуле контрреволюции. Много узнала она за время долгого своего путешествия из ссылки домой. Но то, о чем рассказывал Булат, камнем легло ей на душу.

Один за другим задавая вопросы, слушая Булата, она все время, видимо, думала о чем-то, настойчиво требующем решения... Прервав Булата на полуслове, она спросила:

— Ну, а как же мы теперь, в этих условиях, составим комитет?..— И добавила: — Надо во что бы то ни стало по-

лучить разъяснение от Центрального Комитета. Как будем налаживать связь с ним?..

Ища ответа и для нее и для себя на этот вопрос, Булат рассказал ей о том положении, которое сложилось в партии.

— Не только здесь, Нина, но и там, в эмиграции,— говорил он,— происходит тот же, как отмечает Ленин, развал, распад, идейно-политический разброд... Мне удалось заполучить пятидесятый номер «Пролетария» за прошлый год. Там напечатана его статья. Ленин пишет, что партия в настоящее время переживает кризис. И как на одну из причин он указывает на неустойчивость мелкобуржуазных элементов, примкнувших к революции. Из этой статьи можно сделать вывод: в социал-демократической партии только наша, большевистская фракция сумела отступить, сохранив себя, свои органы, свой центр... Среди эсеров же и меньшевиков произошло полное разложение. Меньшевики скатились на путь ликвидаторства: «С революцией покончено. Новой революции не будет. Необходимость нелегальной партии отпала. Надо ликвидировать подпольные революционные организации!» — вот с чем они выступают... Даже в нашей фракции сказываются идейные шатания: в ней появились ультиматисты, отзовисты, богостроители... Но все здоровое, крепкое в партии пошло за Лениным! Борьба ведется на два фронта: с правыми — ликвидаторами и с левыми — ультиматистами-отзовистами...

Булат старался передать Нине все, что было ему известно. Словно путники, которые пробиваются к тропе, которая ведет их из дремучего леса, они как бы ощупью искали свою дорогу в сгущавшемся вокруг них мраке.

LXXIX

ВЕРИШЬ, ЧТО ЗАВТРА ВЗОЙДЕТ СОЛНЦЕ?

Утром Булат не успел даже выпить чаю, наскоро умылся, причесался и, надев серую кепку и черное пальто, поспешил на квартиру Габдуллы-абзы, чтобы отвести бабушку Каримэ, мать Герея, на свидание с сыном.

В доме у Габдуллы-абзы было много народу и очень шумно... Плакала навзрыд бабушка Каримэ. В жарком споре сцепились Хадичэ-джинги с Габдуллой-абзы. Сахиб,

Баязит, Тангатаров, Джихангир тоже вмешались в их схватку.

Шакир-солдат бросился к Булату:

— Вот он ученый человек! Пускай скажет: можно или нет?..

Хадичэ-джинги затараторила, принялась объяснять:

— Подумай сам, Зариф: сколько лет уже держат Герея в тюрьме! Руки, ноги в кандалах... Старик, отец его, ходить не может, лежит... Вон мать плачет, тоже еле приплелась... Ну что особенного, если попросить царя?.. Что особенного?

— Кто будет просить царя, о чем?..

Булат переводил недоумевающий взгляд то на джинги, то на Шакира-солдата. Чувствовалось, что Шакир-солдат до этого поддакивал джинги. Однако сейчас он не решался говорить. За него ответил Габдулла-абзы:

— Вот из-за чего у нас спор... В тюрьме, оказывается, есть мулла! Он устраивает там для заключенных моленья — по пятницам и по большим праздникам... Прослышал он откуда-то о бабушке Каримэ и пришел к нам. Пришел в полном облачении: на голове чалма, сам одет в чапан, на ногах зеленые ичиги и кявуши. В одной руке — четки, другая опирается на посох. Ну будто в мечеть собрался в день гаита[1]... Расселся он тут, прочитал молитву и — к бабушке Каримэ: первый, говорит, аллах, а второй — царь!.. А твой, мол, сын против царя пошел! Так пусть, мол, он с покорностью попросит у него прощения: душа, мол, у царя широкая! Может, помилует... С этим, мол, я и пришел к вам. Если, мол, удастся мне сохранить жизнь правоверному мусульманину, буду считать, что совершил богоугодное дело... Напел он тут всякого и ушел... Вот мы и спорим! Моя старуха говорит: если Герей не думает о себе, должен подумать о своих стариках... Он должен просить у царя прощения,— может, царь и смилостивится... А я говорю: нельзя!.. Шакир тоже на ее стороне: что, мол, особенного, коли и попросит! Пускай, мол, пишет царю!.. Джихангир, как и я, считает, что это неподходящее дело... Вот о чем спор-то... Что ты нам скажешь: подходящее или неподходящее...

Булат даже в лице переменился, потемнел весь. Закусив нижнюю губу, он молча в упор смотрел на Габдуллу-абзы. Потом сказал:

---

[1] Гаит — большой религиозный праздник.

— Чего этот ворон рыщет здесь?! Знаешь ты, что его охранка подослала? Отсюда сам сделай вывод: подходящее это дело или неподходящее...

У Шакира-солдата глаза полезли на лоб.

— Да неужто?! Стало быть, это они подослали?! Тогда отступаюсь... Виноват!.. Эх, темнота наша!..

Пока они разговаривали, бабушка Каримэ уже нацепила свой старенький бешмет, надела кявуши, покрыла голову шалью, взяла в руки палку и узелок с привезенными из деревни гостинцами. Булат простился с хозяевами, взял бабушку под руку и повел ее.

Молодые люди пошли вместе с ними. Всю дорогу расспрашивали они Булата о делах Герея. Булат, однако, в своих ответах был очень сдержан. Да ему и трудно было сейчас разговориться: из головы у него не выходила эта провокация с прошением о помиловании... Он знал, что прежний Герей никогда не покорился бы, не стал унижать себя мольбами о прощении. Но не подсекли ли Герея годы одиночного заключения, не сломили ли они его характер?.. Беда, если у него не выдержат нервы, если он сдастся, беда!

Сегодня в тюрьме как раз был день свиданий с заключенными. Взглянув на документы, бабушку пропустили в здание.

Провожающие остались ждать у ворот.

Разговор как-то не клеился. Вдруг Сахиб, который до сих пор не мог прийти в себя после вчерашнего зрелища картежной игры и попойки, спросил Булата:

— Что это значит, Зариф-абы?.. Здесь — тюрьма... Там — пьянство, карты... А как же с социализмом?.. Как с революцией?..

Баязит-кари, все время молчавший, резко вскинул голову. Впившись взглядом в Булата, ждал: что ответит он на вопрос Сахиба?

Сахиб нравился Булату, Зарифу всегда хотелось, чтобы этот человек вышел в конце концов на верный путь...

— Ты веришь, что завтра взойдет солнце?

— Почему не верить? Верю! — ответил Сахиб с наивной непосредственностью.

Баязита словно кольнули в сердце. «А вот я не верю, нет!» — хотелось крикнуть ему.

— Если веришь в то, что завтра взойдет солнце, верь и в революцию! — сказал Булат Сахибу.

— А что мне делать сейчас?

— Сними на окраине комнату рубля за два в месяц. За пять рублей найми студента и начинай учиться.

Сахиб задал последний вопрос:

— А потом?

— А потом, когда наступит час, мы снова поднимемся... Связи не теряй. Заходи. И не марайся о всякую мразь, вроде Нигмата. Будь подальше!

LXXX

ТАК И НАЧИНАЕШЬ ВЯЗНУТЬ...

Джихангир и Тангатаров остались вместе с Булатом ждать, когда окончится свидание матери с Гереем.

Сахиб-певец молча пожал всем руки, попрощался. С ним ушел и Баязит.

Дорогой они не проронили ни слова. Сахиб был занят подсчетами... У него сохранилось семьдесят рублей. На эти деньги нужно проучиться зиму. С его больной грудью на еде особенно экономить нельзя. Если снять очень дешевую комнату, она может оказаться сырой, холодной, и снова его начнет душить кашель...

Увлеченный сложными финансовыми выкладками, Сахиб и не заметил, как Баязит, встретив на перекрестке знакомых, отстал от него.

По подсчетам Сахиба, получалось так: два рубля за комнату, пять рублей студенту, пять на еду — итого двенадцать рублей в месяц. При очень расчетливой жизни он сможет проучиться зиму на семьдесят рублей. Возможно, весной удастся держать экзамен на учителя. Вон некоторые собираются поступать в университет, готовятся сдавать на аттестат, но он так высоко и ие метит!.. Поначалу сделается учителем. Хорошо бы потом в учительский институт, да туда, кажется, берут только христиан. Татарина могут взять, если он примет крещение или получит особое разрешение от министра... А из института был бы открыт путь и в университет!.. Ну, да что там забираться в такие дали, все это дело будущего. Пока что эту зиму следует, стараясь хотя бы не подорвать здоровье, хорошенько учиться русскому языку...

Так разговаривая мысленно сам с собой, Сахиб добрался до окраины.

Узкая, грязная улочка. На окнах кое-где белеют бумажки: «Сдается комната...»

Зашел в один дом, в другой. Там ему не понравилось. В третьем — комната, хотя и была маленькой, в одно окошечко, оказалась уютной, сухой. Кровать, стол, пара стульев... Что еще было нужно ему! Старуха хозяйка сказала, что ставит самовар утром и вечером, дрова — ее, керосин — постояльца. Если постоялец купит провизию, она может сготовить ему в печке обед. Платить надо два рубля.

Когда они вели переговоры, отворилась дверь и вошла, неся в руках книги, порозовевшая от ходьбы и от морозца девушка. Ей было лет шестнадцать-семнадцать. Хорошенькая она была или нет?.. Как тут скажешь? В шестнадцать или семнадцать лет некрасивых девушек не бывает. На щеках у них играет алая кровь, в глазах искрится свет юности, губы улыбаются, походка легкая, косы струятся по плечам — ну могут ли девушки в таком цветенье быть некрасивыми!..

Сахиб никогда не отличался бойкостью, но на нее посмотрел долгим взглядом. Девушка отнесла книги в другую комнату, тут же вернулась и стала вертеться возле матери и гостя.

— Мама, этот дядя снимет комнату, да? — спросила она и улыбнулась.

Улыбнулась просто так, без всякой затаенной мысли — просто потому, что была молода. А Сахиб не нашелся сказать ей что-нибудь приятное...

— Вы на коньках катаетесь? — Девушка все улыбалась.

Сахибу хотелось ответить: «Вот вы меня и научите!..», да так и не собрался с духом, боялся, что получится нескладно.

Он достал из кармана полтинник и, протягивая монету старухе, сказал:

— Вот, бабушка, задаток. Комната моей будет! — И повернулся, чтобы поскорее уйти.

— Мама, тогда я сниму свою записку! — услышал он звонкий голос.

Выйдя вместе с Сахибом, девушка сорвала с окна приклеенную снаружи бумажку.

— Вы сегодня же переедете?

— Да, сегодня. Сейчас.

Сахиб пошел в гостиницу за своим скарбом.

На площадке у гостиничной лестницы сидел молодой мулла. Увидев Сахиба, он протянул руку:

— Здравствуй, Сахиб-друг! Я тебя дожидаюсь.

Сахиб, не узнавая его, пожал протянутую руку. И вдруг вскрикнул:

— Сулейман, ты?.. Что это? Тебя невозможно узнать. Муллою стал теперь?

Они прошли в номер. Мулла оказался товарищем Сахиба и Джихангира по борьбе в медресе, одним из героев шакирдского бунта — Сулейманом Сейфуллиным. Тогда он был более развитым, более зрелым, чем Сахиб... Поэтому Сахиб и переспросил с удивлением еще раз:

— Ты стал муллой? Чем это объяснить, а?

— Сейчас расскажу, дай сперва закурю папиросу. На улице не задымишь: мулле не полагается. В деревне тоже одно мученье с этим.— Сулейман вытащил из кармана папиросу, закурил жадно, глубоко затягиваясь.

Сахиб, хотя он и дал себе слово беречь каждую копейку, обрадованный встречей с другом, не стал скупиться — заказал самовар и перемечи.

Раньше они были не только шакирдами одного медресе, они и учились в одном классе, занимались в одной группе, делили друг с другом все радости и треволнения молодости. Им было о чем поговорить в час такой неожиданной встречи.

В прежние времена даже облик Сейфуллина был совершенно иным. Длинные волосы он аккуратно зачесывал назад, ходил всегда в русской одежде — в тужурке, в ботинках, хотя и изрядно поношенных. В его движениях, походке, манере держаться — во всем проскальзывало что-то говорившее о недюжинной воле. У него было смышленое лицо, острый взгляд, пылкая речь, не случайно стал он в шакирдском бунте второй по значению — после Джихангира — фигурой. Себя считал он социалистом... А теперь глаза его смотрели на мир равнодушно, лицо утратило прежнюю выразительность, выглядело каким-то безжизненным. Голова обрита наголо, борода отросла, усы, наоборот, как у истого правоверного, коротко подстрижены. Джуббе — одеяние мулл, ичиги, кявуши...

И все же, когда он выкурил подряд несколько папирос, когда прошло первое смущение, Сахиб начал узнавать в этом мулле прежнего друга — бойкого, пронырливого Сулеймана.

Беседа оживилась. Сулейман становился все резче.

— Ты хочешь знать, как это со мной случилось. Да, так оно, оказывается, и бывает: оступишься раз — и сам не заметишь, как начнешь вязнуть в трясине!

Появился на столе плохонький, грязный самовар. Сахиб подвинул поближе к гостю блюдо с перемечами. Сулейман выкурил еще одну папиросу, попробовал перемечей, выпил стакан чаю и снова взялся за папиросу...

— Не могу накуриться, ей-богу!.. В деревне, поскольку я мулла, вволю не покуришь,— повторил он и, с наслаждением затянувшись, выпустил одно за другим колечки дыма.— Ты знаешь, ведь я был категорически против получения сана муллы. Я тоже — вроде вас — мечтал: буду учиться русскому, стану учителем, подготовлюсь на аттестат... Даже в университет собирался поступать. А в кармане — ни гроша. С отцом отношения порваны. Он присылает письмо с проклятием: дескать, не внял моему слову, пошел против своих наставников,— стало быть, не сын ты мне, провались ты, дескать, в тартарары!.. А тут продаешь последние вещи, все проедаешь. Влезаешь в долги... Снимаешь с себя кожаный ремень и закладываешь лавочнику за два фунта ржаного хлеба. Съедаешь эти два фунта. Что остается делать?.. Погоди, думаешь, так ничего не выйдет, надо пойти в какой-нибудь мектеб учителем! Буду, мол, служить три-четыре часа в день, в остальное время заниматься сам со студентом... Все ведь сразу хочется двух зайцев поймать!..

Снова поплыли к потолку кольца сизого дымка.

— Тебе необходимо место в городе, а его нет. И все-таки стараешься не отказываться от своих планов. Голодаешь. А тут тебя еще выгоняют из комнаты. Ходишь в грязной рубахе да враспояску[1] поневоле. Ты вконец измучен, другого выхода у тебя нет, и ты говоришь: ну ничего, проучительствую одну зиму в деревне! Времени терять не буду, начну пока заниматься самостоятельно. Утешаешь себя: там жизнь, дескать, дешевая, отложу, мол, деньги на будущую зиму!.. И вот едешь в какую-нибудь глушь... Народ там темный, мектеб того и гляди обвалится. Парт нет, доски нет... Мулла при первом же знакомстве внимательно смотрит на твои длинные волосы и говорит: «Я лично не против... Но нам следует подлаживаться к народу, иначе слово наше не будет доходчивым. Не надо сразу от-

[1] Религиозные предписания запрещали носить ремни. Для молодежи, которая носила русскую одежду, снятие ремня представлялось уступкой темным силам.

пугивать их! Со временем все привьется...» Ладно!.. Ругаясь про себя, даешь сбрить свои длинные черные волосы, надеваешь каляпуш... Ремень прячешь подальше, на дно корзины... Ты приехал, позабыв давно и о боге и о вере, а тут тебе напоминают о ней на каждом шагу! Хоть в обычные дни в мечеть ты и не ходишь, но не пойти на намаз в пятницу неудобно!.. Идешь... Вот так, постепенно, и начинаешь вязнуть...

Не это ли пережил и сам Сахиб? Он с интересом слушал друга, не забывая угощать его, подкладывая ему перемечи. Тот, однако, решительно предпочитал перемечам папиросы.

— Оттого что сходишь в пятницу на намаз — будь он неладен! — ноги не отвалятся... Хуже другое: ты думал, что уроки в мектебе будут отнимать часа три-четыре в день. А тут изволь трать и все десять... И ничего не поделаешь: нанялся —вези! Бросил бы, да нет денег. Вдобавок успел наперед еще прихватить... И смысла нет бросать: другой-то специальности нет, все равно наймешься на такую же работу. Вот и терпишь. Портишь себе кровь из-за балованных сынков богатеев... Проходит зима. Весна наступает. С весенним солнышком начинаешь экзамены... И сразу после экзаменов бежишь оттуда прочь... Смотришь, а в кармане-то всего-навсего рублей сто. Как тут быть? Ведь на них и лето не проживешь, и одежду не справишь... А сам устал, исхудал, из сил выбился, неплохо было бы и отдохнуть... Начинаешь тратиться: приоденешься немного, покутишь раза два — глядишь, карман-то и вовсе отощал... Тут уже не смотришь на то, помирился с отцом или нет: едешь к себе в деревню... Зная с грехом пополам арабский, турецкий, еще хуже — русский, пытаешься перевести какую-нибудь книжку... А то стряпаешь рассказ о чем-нибудь таком печальном, что сам пережил... Сидишь, строчишь будто одержимый. Думаешь: написал же Сахиб, почему же и мне не написать! Вот, мол, и убью сразу двух зайцев одним выстрелом: и деньги будут и слава! Валом повалит и то и другое... Лежишь чудесной летней ночью и мечтаешь: поеду в Казань, продам свои произведения. Получу деньги и начну учиться! Тем, мол, временем подвернется перевод или еще что опять,— значит, будут деньги... С этими мечтами едешь на последние свои копейки в Казань... Сколько прекрасных книжных магазинов! Сколько добрых богатых издателей! Робея, со страхом и надеждой в душе идешь к господину издателю. Но — удивительное дело — он берет рукопись без всякого энтузиазма, с мрачноватым выраже-

нием лица и говорит сквозь зубы: «Зайдите через неделю». Ох, как долго ждать! Как выдержать целую неделю, а главное — на что жить? Когда напечатают? Какой выплатят гонорар?.. Рассчитываешь наперед, даешь себе зарок тратить деньги осмотрительно. Чтобы гонорара хватило на зиму, на учение!.. Проходит неделя. Полный надежд, волнуясь, отправляешься в книжный магазин господина издателя... А тебя точно холодной водой обдают: господин издатель еще не прочел, у него не было времени, просил передать, что, если очень торопитесь, можете взять обратно. Еще неделю, десять дней обиваешь пороги магазина, конторы издателя. Когда окончательно протрешь и без того дырявые подметки — нá тебе, пожалуйста: «Написано ваше произведение недурно. Но у нас уже много принятых рукописей, вашу взять не можем!» А сам и не смотрит на тебя. Словно ты обжулить его пришел. Если же попадешь под сердитую руку, так и отрежет: «Не понравилось, не возьмем! Не надо!» Фу, думаешь, бестолочь! Да может ли это быть, чтобы не понравилось такое произведение! И весь взмокший, как в сильном жару, с негодованием забираешь рукопись и несешь ее другому издателю. Там повторяется та же история... А ты, понадеявшись на журавля в небе, истратил последние гроши да еще, намереваясь отдать из гонорара, влез в долги. Что остается делать? Головой об камень биться? У тебя один выход: снова идешь в редакцию газеты, платишь семьдесят копеек за три публикации объявления и ждешь места учителя. Городские мектебы полны. Ты едешь опять в глухую деревню!.. И все еще не хочешь сдаваться. Успокаиваешь себя: этот, мол, год пропал, но в будущем году уже летом подыщу место в городе, буду, мол, учить и учиться! И в самом деле находишь место. Но какой толк? В месяц тридцать рублей. Каторжный труд. Деньги уходят на еду. Летние месяцы не оплачиваются. Весной проводишь экзамены, распускаешь детей на каникулы, а сам, задыхаясь от кашля, уезжаешь в деревню. Хорошо еще — отец есть. Есть куда голову приклонить в трудную минуту... Так протекают годы. Дело идет уже к тридцати. Под глазами появляются морщины. Чувствуешь, что сердце твое утомилось от этих бесконечных скитаний. Да и одиночество надоедает. Вдруг просыпается желание иметь свое постоянное гнездо, верного друга жизни!.. Есть и хорошенькая девушка. Она сторонница новых воззрений. Любит литературу. На голове у нее модный маленький калфак. Когда отца нет дома, она любит наигрывать на мандолине. Немного подучить, и она станет

хорошей учительнницей... Увлекаешься, влюбляешься. Она дает согласие. И вот вас двое. А там и третий появляется. Ну а с жеиой и ребенком таскаться каждый год из деревни в деревию, из города в город неудобно. Да и жеиа иачинает роптать. Ты, говорит, разве для того меия взял, чтобы, как цыганку, с места на место возить? Это только холостому приличио, ие иадо было жеииться! Сторониими путями доходит до тебя, что и тесть с тещей тоже иедовольиы: «Хорошие ведь есть приходы. Отчего зять муллой не стаиет?! Нельзя же всю жизиь как цыгаи кочевать!» Нет, нет! — говорю я себе. Никогда! Не покорюсь!.. Но выхода-то иет! Выкапываешь давио заброшеиные, пропылившиеся «Мухтасары», «Фараизы», «Хидая»[1], проглядываешь их — и едешь в Уфу, вручаешь приношения всяким кази, получаешь благословеиие муфтия, вроде бы сдаешь экзамеи... Отец же с тестем давио уже устроили тебе западню: надавали взяток — собрали тамги. Вот и делают оии тебя указиым муллой, дают тебе приход... Так, друг Сахиб, потихоиечку вязиешь, тоиешь... И сам не чувствуешь. Только когда вспоминать иачиешь...

В дверь иомера постучали. Не успел Сахиб крикнуть: «Кто там? Войдите!» — как дверь отворилась и в иомер, держась за руки, иесмело вошли две девочки. Одна из иих была Махирэ, дочь Габдуллы-абзы, другую — худенькую, вытянувшуюся, выросшую из своего платья, но очень хорошенькую — Сахиб ие зиал. Всматриваясь в ее лицо, он спросил у Махирэ:

— Чья эта девочка? Уж очеиь иа Булата похожа!

Махирэ улыбиулась:

— Как же ей ие быть похожей иа Булата, сестра его! Ее Фавзия зовут...

И сразу перешла к делу:

— Сахиб-абы! Нас к тебе мама послала. Сказала, что ей очеиь иужно письмо написать. Просила тебя сегодня вечером к иам прийти. Придешь, Сахиб-абы?

— Разумеется, приду. Вот только вещи перенесу иа новую квартиру и приду к вам... Так и скажите. Ладио?

— Ладно! Ладио! — заверещали девочки и попятились к двери.

Сахиб остаиовил их:

— Нет, иет, ие пущу! Меия у вас каждый раз кормят-поят... Выпейте-ка и вы чаю! Сейчас попрошу прииести яблок.

[1] Названия богословских книг.

Усаживая девочек, он спросил у Махирэ:

— А отчего ты сама ие иапишешь письмо для мамы? Ты же умеешь писать.

— Еще бы не уметь! Умею... Только маме не иравится, как я пишу. «У тебя, говорит, коротко получается, два слова — и конец. Вот Сахиб, говорит, тот кружит-кружит да складио так приветы выводит...» Не хочет оиа, чтобы я писала!

Светлоглазая Фавзия ткнула подругу кулачком в бок, давая понять, что пора все-таки уходить, что мать заругается. Обе вскочили и, как ии уговаривал их Сахиб, больше задерживаться ие стали.

— Так, зиачит, придешь? — переспросили они еще раз для вериости и выбежали из иомера.

Сахиб проводил своего гостя, пригласил заходить иа иовую квартиру.

Потом иаскоро уложил вещи, отвез их и тут же отправился к студенту, которого рекомеидовал ему Джихаигир, чтобы договориться с ним и с головой окуиуться в учебу...

LXXXI

МОЖНО ЛИ ТАК ЖИТЬ?

«Вот опять иаступила весна... Я пришел к тебе, не зиая, куда себя деть. А ты крепко спишь. Не стал будить,— иавериое, ты здорово разбит после очередиой бессонией ночи — после водки и карт. На столе твоем, развернутое, лежало письмо Наджиба Кемала. Оба вы для меия — люди свои. Надеюсь, не рассердишься,— я прочел это письмо... Откуда у него такое отчаяние? Разве реакция иачала душить и таких, как Наджиб? Ты посмотри, что он пишет: «Нет ии веры, ни идеала. И никакого просвета в будущем. Чем мие жить? Да и ие мие одному... Революция — это яркий деиь с огиенными зарницами в иебе. Тот деиь прошел. В чериой ночи реакции я сбился со своего пути. Потерял свои идеалы. Погасло пламя надежды в моем сердце. И ие только в моем... Вчерашиий националист-интеллигент — сегодня раб желудка. Вчерашний социалист сегодня стоит на задних лапках перед буржуа. Восторженый ша-

кирд, готовый вчера, точно молодой лев, прыгнуть хоть на луну, сегодня становится хальфэ, завтра будет муллой и затянет черные песни для своего прихода... Ты рассказывал однажды о героях-борцах, которые даже после двадцатипятилетнего заключения в Шлиссельбурге остались верными своим убеждениям. Вот сейчас я вспомнил о них... пылкий, порывистый юноша бросается в борьбу. Враг силен. Юношу заточили в тюрьму, в крепость. Ссылают. Большая часть его жизни проходит в цепях. Седеют волосы, горбится спина. А он все продолжает борьбу: «Я умру, но кровь, пролитая нами, не будет напрасной, наша кровь, наши муки грозною волной сокрушат каменные крепости врага, принесут миру свободу!» Он верит в это. Отчего же мы не смогли стать такими? Отчего так быстро подломились наши крылья, отчего так быстро угасли наши сердца?.. Придет ли еще революция? Или мы, словно птицы с подбитыми крыльями, так и будем метаться во мраке реакции?» Письмо Наджиба потрясло меня, Даут. Он сумел очень точно выразить наши чувства. Скажи, Даут, веришь ли ты сам? Веришь ли во что-нибудь? Можно ли жить, не веря ни во что? Где же конец этим мукам?..»

Когда Баязит зашел проведать Даута, тот действительно спал мертвым сном после обычной ночной пьянки. Баязит неровным, торопливым почерком исписал листок бумаги, валявшийся на столе рядом с письмом Наджиба Кемала, и ушел.

Проснувшись, Даут прочитал это послание, оно показалось ему бредовым, и он не стал вникать в суть признаний Баязита... Во рту был отвратительный вкус, адски болела голова. Не осталось ли чего-нибудь в бутылках? Нет. Ни капли. Пришлось послать коридорного за водкой. Чтобы хоть немного привести тебя в чувство, Даут подставил растрепанную голову под кран, пригоршнями стал плескать воду на шею, грудь....

В это время вернулся Баязит. Он привел с собой Хабиба Мансурова. За ними подоспел и малый с водкой.

Даут запер за коридорным дверь и принялся отчитывать Мансурова:

— Что это такое? Шатаешься где попало. Ты же беглый! Теперь ведь, если попадешься, трудно будет выбраться...

Хабиб только присвистнул, махнул рукой.

— Не волнуйся из-за пустяков. Давай-ка собирай на стол! Огурец найдется — закусить?

Урманов не успокоился. Расставляя на столе чашки, тарелки с хлебом, луком, разливая в чашки водку, продолжал свое:

— Ты всегда был упрям. И все-таки я посоветовал бы тебе держаться осторожнее...

— Брось болтать,— довольно мирно прервал его Хабиб.— Спрячь свои советы в карман и садись пить!

И они сели пить... Кончилась одна бутылка — за нею появилась другая. И еще одна добавилась...

Разгоряченный водкой, Хабиб, по обыкновению, пустился в свои бунтарские мечтания... У Даута, однако, настроение не стало лучше. Разглагольствования Беглеца его не увлекали. Он уже давно и тяжко задумывался над пройденным всеми ими путем. И рассуждения Хабиба казались ему повторением прошлых ошибок. Дауту хотелось сказать: «Не пора ли нам пересмотреть наши бунтарские, народнические позиции, дорогой Хабиб?! Ведь уроков мы получили достаточно!» Но он чувствовал себя слишком разбитым, голова была как в тумане, и он решил не затевать спора.

Баязит тоже сидел молча, с таким отсутствующим видом, словно впал в прострацию.

Хабиб последнее время, оказывается, ночевал у него. И вот сейчас — сначала шутливо, потом со все большим состраданием поглядывая на друга,— стал рассказывать:

— Знаешь, Даут, у твоего Баязита есть странная привычка: весь вечер шагает из одного конца комнаты в другой, пока наконец, выбившись из сил, не валится на постель... Рано утром просыпается и, не одеваясь, усядется и сидит на кровати. И в сумерки, когда заря только еще занимается, начинает петь. Поет заунывную, протяжную песню, да так тихо, тоскливо... Я поначалу подсмеивался: что, говорю, мычишь спозаранок, как теленок, потерявший матку? Молчит... И каждый день на заре тянет и тянет грустную свою песню. Сперва я досадовал на него. Потом стало меня забирать за сердце. А через несколько дней и сам начал подпевать... Теперь просыпаемся мы с ним под утро, спускаем ноги с кровати и, точно двое сирот, вместе заводим эту горькую, печальную песню... Что это творится с нами, Даут?

Как Урманов мог объяснить это?.. Одно он чувствовал: есть в душе у Баязита глубокая рана. Пытался вытянуть из него что-нибудь окольными расспросами. Но Баязит не раскрывал своей тайны... Спросить же прямо у Даута както не поворачивался язык.

Вот и сегодня пил Баязит наравне с ними, однако водка не действовала на него. Сколько времени уж прошло с тех пор, как Даут вышел из тюрьмы, но ни разу не слышал он прежнего звонкого смеха Баязита... Теперь Баязит и говорил-то редко. Раньше хоть водка делала его веселым, задорным. Теперь и этого не случалось. Лицо у него потемнело, точно обожженное каким-то внутренним огнем. В безучастном взгляде сквозило что-то тягостное. Глубокая ли скорбь, тоска, отчаяние или желание доискиваться чего-то очень важного — трудно сказать, но взгляд этот был исполнен невыносимой душевной муки. От углов рта пролегли книзу две горькие складки. В те редкие минуты, когда Баязит вдруг вступал в разговор, он мгновенно вспыхивал и, о чем бы ни шла речь, переходил на ругань, на проклятья...

Так и сейчас: ему, видно, надоело выслушивать фантазии Хабиба.

— Э, брось! Плюнь ты на всех!.. Все равно ничего не выйдет. Пропади все пропадом!..— Он безнадежно махнул рукой, опрокинул в рот последнюю чашку водки и, не попрощавшись, ушел.

Хабиб и Даут продолжали пить. Вскоре к ним присоединился Салимов — душа пьяных компаний и картежных ночей. А там постучался и вошел прежний франт, «красный приказчик», теперь торговец, Фахри.

Шея у Фахри стала толстая, щеки налились, залоснились. Салимов щелкнул его по округлившемуся брюшку и сказал:

— Ты, Фахри, говорят, трех приказчиков нанял, кровушку их сосешь... Так, наверное, и есть! Вон пухленький какой стал. От трудов праведных пузо не нарастишь!

— Всяко может быть,— ответил Фахри.— Такая она — жизнь...

После второй рюмки Салимов полез в карман за колодой карт, чтобы приступить к игре, но раздался легкий стук в дверь.

— Войдите! — сказал Салимов по-русски.

Стук повторился.

— Да входите, говорят вам! Что вы там топчетесь...— уже сердито крикнул Салимов.

Дверь отворилась. На пороге показалась среднего роста женщина в полуевропейской одежде. Поверх маленького калфака на ее голову была накинута черная шаль, лицо закрыто вуалью.

— Вам кого надо? Вы ошиблись дверью,— с иронической усмешкой проговорил Салимов.

Женщина тихо ответила:

— Мне нужно Даута Урманова. Он, кажется, здесь живет...

Даут в одну секунду отрезвел. Машинально застегнул воротник, пригладил волосы, подтянул пояс и, вскочив, пошел к двери. Молча взяв женщину под руку, вышел с ней в коридор.

— Комната со вчерашнего дня не убиралась... Друзья мои пьяные... Я не могу принять тебя там...— стал он оправдываться.

Женщина эта была давняя любовь Урманова — Нэфисэ.

Вначале Нэфисэ подумала, что Даут увел ее в коридор потому, что в комнате были другие женщины, или, в лучшем случае, потому что там велись тайные политические разговоры, которые ей нельзя слушать... То, о чем сказал Даут, показалось ей пустяком.

— Только это?..— Она с упреком взглянула на Урманова.— Разве я чужая тебе?.. Отчего не могу быть там, где твои товарищи?..

Даут был поражен: что с ней? Откуда такая смелость у кроткой, застенчивой Нэфисэ?..

— Что ж, входи! — Он ввел ее с собой в номер, полный табачного дыма, пропитанный запахом водки и лука...

Салимов был из числа тех, кто вечно клянет женщин, полагая, что никогда не суждено им выбраться из мещанского болота... Он не находил ничего интересного в их обществе. «Ну, все пропало!..» — подумал он, увидев входившую снова Нэфисэ. Разлил по чашкам оставшуюся в бутылке водку, приготовил для закуски хлеб, лук и, пригнувшись поближе к Хабибу, шепнул:

— Давайте уйдем! Тут сейчас сантименты начнутся.

Трое гостей допили остатки и разом поднялись.

Нэфисэ хорошо знала Фахри, знакома была и с Хабибом. Прощаясь с ними, она укоризненно улыбнулась:

— Что же вы убегаете от меня?

Но в душе обрадовалась их уходу. Ведь она еще не видела Даута после того, как его выпустили из тюрьмы...

Она подошла к двери, повернула ключ в замке и, бросившись к Дауту, прижалась лицом к его груди:

— Если бы ты знал, как я истосковалась по тебе!

LXXXII

НИКОГО НЕ ВИНИТЕ

Расспросив Даута о его тюремных злоключениях, Нэфисэ стала рассказывать ему по порядку все, о чем еще не знал он: как разошлась она с Габдрахманом, как после этого, продавая свои жемчуга, серьги, браслеты, на вырученные деньги училась, как, наконец, прошлой весною сдала экзамен на учительницу... И делать все это, бороться ее заставляла любовь к нему, Дауту.

— Ты тогда ночевал у нас, говорил о ссылке, о тюрьме... И я дала себе слово, я чувствовала, как в моей душе зародилась уверенность... Я перенесла много мучений, но добилась своего...

Только теперь, когда вырвались первые слова признания, Нэфисэ огляделась вокруг и ужаснулась:

— Ну и комната же у тебя!..

Она сбегала за щеткой, вымела, убрала сор. Позвав номерного, сказала ему, чтобы унес бутылки, остатки хлеба и лука. Распахнула окна, и сразу повеяло весенней свежестью. Заглянула за ширму, где стояла кровать: там оказался такой же беспорядок. Нэфисэ достала из комода чистые наволочки, отыскала там новую простыню и, сложив все грязное в старенький чемодан под кроватью, принялась искать одеколон. Не найдя его, вынула из ридикюля флакончик духов и, вылив несколько капель в воду, опрыскала постель.

Удовлетворенно оглядев преобразившуюся комнату, подбежала к Дауту, вспрыгнула, как когда-то, к нему на колени. Прижавшись к его груди, она думала блаженно о том, что вот сейчас уже никто и ничто не помешает излить ему всю свою любовь, всю свою тоску, самой сказать любимому, что она останется у него и сегодня и, может быть...

Но им помешали. Постучался коридорный и стал требовать у Даута плату за номер.

Только было выпроводили его, как за дверью послышались быстрые, твердые шаги и кто-то крикнул:

— Урманов! Выйди-ка скорее!

Даут кинулся к двери. Там стоял Тангатаров. Он торопливым шепотом сказал что-то, громко добавил:

— Пошли скорее! — и побежал по коридору.

Урманов набросил на плечи пальто и, стараясь помяг-

че отстранить ухватившуюся за него Нэфисэ, бросил на ходу:

— Ты не пойдешь, оставайся здесь!..

И выбежал вслед за Тангатаровым.

Когда Урманов, запыхавшись, вошел в дом на соседней улице, там в коридоре уже было полно народу. Он пробился сквозь толпу в комнате и отшатнулся в ужасе: на прочной, в палец толщиной, веревке, привязанной к ламповому крюку в потолке, захлестнутый за шею петлей, висел Баязит. Тут же, видимо отброшенный ногой самоубийцы, валялся стул.

Вероятно, прошло уже немало времени. Руки и ноги Баязита закоченели, лицо стало иссиня-черным, выпученные глаза почти выкатились из орбит. Из мучительно перекошенного рта вывалился распухший черный язык. Труп не снимали, ожидали прихода полиции.

Трагическая весть распространилась быстро, собралось много товарищей. Все они в последнее время замечали, что Баязит впал в крайний пессимизм, и многие даже опасались именно такого конца. «Я ведь предчувствовал...» — подумал и Урманов. Но сейчас никто ни словом не обмолвился об этом.

Тем временем прибежал хозяин номеров и в страхе завопил:

— Господи, что же это за напасть?! Человека у меня убили! Пропала моя голова, в Сибирь меня загонят!..

Наконец явился полицейский, затем доктор. Тут же составили протокол. Первым опросили Тангатарова, который в последние дни был почти неразлучен с Баязитом.

Тангатаров рассказал:

— В последнее время Баязит Сафаров был в чрезвычайно угнетенном состоянии. Больше молчал. В разговорах же проклинал и жизнь и людей. Видно, в душе у него царила тяжелая безнадежность. Когда он сегодня вернулся от Даута Урманова, я был уже одет, собирался уходить. Я предложил ему пройтись со мной. Он молча отмахнулся. Как только я вышел, он запер за мной дверь на ключ. Мне стало как-то не по себе. Не успокоился я и на улице. Через час приблизительно бросил все свои дела, вернулся. Стучу — не отвечает. Еще стучу — молчит. Я стал громко колотить в дверь — никакого движения. Не ушел ли, думаю, куда-нибудь? Зажег спичку, смотрю в замочную скважину: ключ торчит в двери. Я не на шутку испугался, кричу: «Почему не отпираешь, Баязит?!» От-

вета нет. Я совсем растерялся, позвал коридорного, официанта. Они пытались подобрать ключ к двери, но ничего не вышло. Тогда вызвали слесаря, сломали запор. Когда мы вошли, Баязит Сафаров был уже мертв...

Полицейский опросил еще хозяина, официанта, слесаря, внес материалы опроса в протокол и приказал перевести на русский язык оставленную покойником короткую записку. В ней было написано:

«В смерти моей никого не вините. Мне опостылела жизнь со всеми ее муками, бессмысленностью. Даут! У меня к тебе особая просьба: постарайся утешить маму и сестру Саджидэ! Прощай!

Баязит».

На этом полицейский счел свои обязанности выполненными и ушел. Тело Баязита отправили в больничный морг.

На четвертый день, после выполнения всех необходимых формальностей, Баязита разрешили похоронить. Но стало известно, что муллы города сговорились между собой:

— Самоубийство есть великий грех по шариату, ибо самоубийца уходит из жизни вероотступником. И посему совершать над Баязитом-кари молитвенный обряд не дозволяется!

Однако этот религиозный бойкот не имел никакого практического смысла. Товарищи Баязита-кари не стали приглашать ни муллу, ни муэдзина, не стали заботиться о заупокойных молебствиях. Взяли да и похоронили без молитв и обрядов.

Людей на похоронах было мало. Самые близкие друзья, не сменяясь, несли останки до кладбища. Даут Урманов и Хабиб Мансуров произнесли короткие надгробные речи. Перед тем как всем разойтись с кладбища, Тангатаров сказал товарищам:

— Через три дня, в понедельник вечером, соберемся в моей комнате помянуть покойного друга. Именных приглашений не будет. Пусть придут все, кто считал себя другом Баязита!

День был дождливый, пасмурный. В тоскливом молчании разбрелись все по домам.

LXXXIII

ПРИЕХАЛА РАЗИЯ-ХАНУМ

Даут Урманов вернулся к себе, полный тягостных, гнетущих мыслей. Но только опустился он на стул, спрятав лицо в ладонях, как в номер ворвался коридорный в грязном переднике:

— Даут-абы, тебя там одна женщина вызывает!

Урманов даже не поднял головы.

— Кто там еще? Почему сама не войдет?

— Не знаю почему. В коляске она и с кучером. Одета шикарно... Богатая, красивая штучка... Скорей иди! На одну, говорит, минуту.

Коридорный побежал по своим делам. Даут с трудом поднялся и стоял в оцепенении, позабыв о том, что говорил ему этот малый...

— Ах, да! — опомнился он. И, еле передвигая ноги, вышел в коридор, спустился по лестнице.

Отличная пара вороных. Толстый кучер в темно-синей поддевке. В новеньком дорогом экипаже — закутанная в меха молодая женщина. Сперва Даут не узнал ее. Узнав, хотел повернуться и уйти. Но, решив, что так будет все-таки неловко, спросил:

— Что вам угодно от меня?

Разия подалась тонким станом вперед и, откинув вуаль, пришпиленную к широким полям шляпы, с дружеской улыбкой протянула Дауту тонкую, теплую руку. Задерживая его руку в своей, уже без улыбки, со слезами в голосе, она сказала по-русски:

— Даут, я приехала, услышав о трагической смерти Баязита. С той поры, как у меня порвалась связь с вашей партией, прошли годы. Мои прежние товарищи — эсеры — обвинили меня во всяческих грехах. Поэтому я не смогла пойти ни в дом покойного товарища, ни на кладбище. Но я очень любила его... И не могу оставаться в стороне. Я слышала, что вы собираетесь поставить хороший памятник на его могиле... Не отвергайте, я хочу исполнить мой последний долг перед Баязитом... Мне говорили, что товарищи бедствуют в тюрьме, в ссылке. Вы распределите, как найдете нужным, передадите Герею, Беглецу Хабибу... — Разия протянула Дауту пакет, полный ассигнаций.

Видя, что тот не хочет брать, горестно улыбнулась, подняла на него большие, лучистые глаза:

— Я знаю, Даут, вы считаете, что я предала партию, революцию... Вы обвиняете меня в том, что я, зная о существовании у него содержанки и двоих детей, вышла замуж за фабриканта Абызова, думаете, что я продалась ему. О, если бы мы могли как-нибудь встретиться и я рассказала бы вам обо всем, вы бы поняли меня... не винили бы...

Урманов оттолкнул протянутый ему пакет.

— Отнесите вашу милостыню в общество подаяний, или, как вы его именуете, благотворительное общество! Ни Герей, ни Беглец никогда не примут вашей подачки. Что бы вы там ни плели, вы продались, и все. Какие еще могут быть между нами разговоры! — Он круто повернулся и вошел в двери гостиницы.

В номере у него сидел Тангатаров. Увидев его, Даут дал волю своему возмущению:

— Ну, брат Ахтэм! Знаешь, с кем я сейчас разговаривал?..

— С кем?

— Не знаю, как и назвать ее — любовницей или женой фабриканта Абызова. Помнишь, в нашей партии крутилась Разия Ширинская? Вот с ней. Приезжала сюда. Изумительные лошади. Здоровенный кучер. Дорогой экипаж. А в экипаже, словно графиня, закутавшись в меха, откинув назад голову, сидит она... Гадюка! Только не обычная. Эта, чтобы добиться своей цели, оборачивается ангелом и жалит исподтишка... Красивая гадюка! Ведь как изворачивается: «Я не могу забыть товарищей... хочу оказать им последнюю помощь... Даю деньги на надгробный памятник Баязиту... Выделите, сколько нужно, Герею, Беглецу, ведь они нуждаются!..» И сует мне пакет с деньгами...

Ахтэм Тангатаров слишком потрясен был трагическим концом своего друга. Он, даже не вникая в смысл того, что говорит Даут, рассеянно спросил:

— Ну, а потом что?

— А потом схватила мою руку и не выпускает... Как прежде, играет своими красивыми глазами, улыбается нежно! «Товарищи, говорит, обвиняют меня во всяческих грехах, мое замужество склонны рассматривать как предательство по отношению к революции. Если бы, говорит, мы смогли, Даут, поговорить с вами, вы бы не смотрели на меня как на продажную, поняли бы меня...» Ты знаешь, Ахтэм, благотворительное общество, в котором участвуют Юсуфджаны и Акчулпановы? Вот я и сказал ей: «Не луч-

ше ли будет, если вы отнесете вашу милостыню в общество подаяний? Вы продали себя, какие могут быть между нами разговоры!» Повернулся и ушел.

Тихо отворилась дверь, и вошел Джихангир. Повернув в замке ключ, он сел на свободный стул. В глазах его застыл ужас. Лицо точно окаменело, губы побелели. Казалось, ему трудно было произносить слова, с такой болью он заговорил:

— Я пришел к вам со страшной вестью... Тайное сообщение... Баязит был провокатором.

Урманов и Тангатаров ушам своим не могли поверить. В глазах, на лице у них были написаны недоумение и страх. Они стояли ошеломленные, недвижные, как будто посреди ясного дня их поразила молния. Первым пришел в себя Урманов:

— Быть не может! Ложь!

— Не может быть! Это ложь! — повторил за ним Тангатаров.— Если даже удостоверюсь своими глазами, и то не поверю!.. Весь мир продастся, но Баязит — никогда!.. Невозможно! — испуганно выкрикнул он.

И, схватив Джихангира за плечи, заглянул ему в глаза:

— Кто тебе сказал?

Не своим, каким-то чужим голосом Джихангир проговорил:

— Передали из тюрьмы. Еще раньше Герей и Зоя Горбатова послали Нине шифрованную записку: «Здесь, в тюрьме, долго сидел эсер из татар, он стал провокатором. Фамилия его пока неизвестна. Эсер был близок с Урмановым и Беглецом Хабибом». Сегодня утром сообщили имя и кличку. В соседней с Гереем камере, оказывается, сидит молодая большевичка Зоя Горбатова. Герей передал ей, а она через Габдуллу-абзы написала шифром Булату. Сегодня я был по делу у Булата. Он хоть и дожидается суда с прошлой осени, кажется, продолжает работать с заводскими людьми. Когда я зашел, у него сидело четверо татарских рабочих. Булат так и сказал мне: «Для побежденного войска трудны лишь первые шаги. После передышки оно вновь начинает готовиться к боям. Мне надо на завод, поэтому сам к ним не пойду. А ты иди, расскажи все, им следует знать об этом!» Я сейчас прямо от Булата...— Он помолчал, потом добавил: — Чувствую, подгнил фундамент вашего дома!

Больше он ничего не сказал. Посидел с минуту как потерянный, опустив голову, и ушел.

Ему надо было торопиться домой: засесть за математику, за латынь — зубрить Юлия Цезаря. Терпя тысячи бед, в жестоких лишениях, нужде он все же готовился сдавать экзамен на аттестат зрелости. Его замучили русский язык и латынь... Он уже дважды проваливался. Теперь пойдет сдавать в третий раз. «Осенью — университет. Буду студентом!» — поклялся он себе.

Все время, остававшееся от восьмичасовой корректорской работы в типографии, отдавал Джихангир учению. Он не позволял себе спать больше четырех часов в сутки. И однако, по старой привычке, иногда заглядывал к Урманову, участвовал в кутежах... Самоубийство Баязита он воспринял как первый сигнал для него самого. А сегодня после того, что ему сказал Булат, почувствовал, что оборвалась последняя нить, связывавшая его с Урмановыми и Мансуровыми. И ему, несмотря на всю тяжесть происшедшего, сразу стало легче... У него было ощущение, что он избавился от опаснейших заблуждений, от какого-то бредового, смрадного чада, в котором мог задохнуться. «Никогда больше не буду иметь с ними ничего общего!» — твердо решил он.

Урманов и Тангатаров сидели в тесном гостиничном номере, сраженные черной вестью, что принес Джихангир. Сидели словно мертвые, убитые ею.

LXXXIV

ДАУТ УРМАНОВ

Баязит — провокатор?! Нет, невозможно! Их разум отказывался постигнуть это.

Но мозг Урманова уже начала глодать одна мысль... И чем дальше, тем больше она овладевала им, наполняла его яростным гневом.

«Неужели причина в этом?! Неужели дело не столько в отдельных людях, сколько в самой классовой основе нашего эсерства, порождающей подобные случаи?! Там, наверху, в центре эсеровского движения, в его руководящем аппарате был Азеф! Гениальный провокатор. Провокатор-вождь! Здесь провокатор Баязит... Значит, Баязиты,

Азефы — плоды от одного и того же корня?.. Да и не только в Баязите дело! Ведь Разия, Юсуфджан, Фахри тоже проявляли кипучую деятельность в нашей, эсеровской партии. Они, возможно, прямо в охранку не пойдут... но разве результат не один и тот же? Взять хотя бы Дашкина: был настоящим эсером — оказался провокатором. Да еще — как будто этого одного было мало,— чтобы получить право на поступление в институт, крестился у попа... Говорят, носит на шее крест. Значит, наша вчерашняя революционность была показной, фальшивой?! Кому была нужна такая революционность?.. Нет, у меня голова идет кругом! Я чувствую, что стена, которая стояла между мной и Усманами, Нигматами-кази, рушится... Что же происходит? Что кроется за этим процессом? Где же истоки такого разложения? В отдельных людях или в чем-то другом? Почему Converted Гереям, Вахитовым не страшно никакое разложение? Почему они противостоят черным волнам реакции, а нас эти мутные волны поглощают?.. Ведь Шакира-солдата мы вызвали к жизни, а он принял сторону Вахитовых. Мне казалось, что это я возродил Габдуллу-абзы, я пробудил в нем сознание,—а теперь и он идет за Вахитовыми, Гереями... И суждения-то у него появились какие: «Что же это за мужчина, коли он не социал-демократ!..» А что осталось от прежнего Хабиба? Пьет и безобразно ругается, пьет и ругается... Точно заправский хулиган! Опустился, разложился... Герей Султан говорил ему прежде: «Ты не революционер, а пустобрех-бунтарь!» Теперь же и бунтарство-то его все вылилось в пьянство и ругань. Теперь его и бунтарем-то уже не называют, а только пустобрехом... Само его прозвище — Беглец — стало звучать чуть ли не как «хулиган»... Где же, в чем же причина такого разложения?..»

Сомнения уже давно точили Даута Урманова. Когда реакция начала наступление, Даута арестовали, он некоторое время просидел в тюрьме. Там-то и начались его метания. Был период, когда он изверился не только в революции, в социализме, но и во всем человечестве. Потом он увлекся толстовством. От толстовства переметнулся к философии Ницше. Одно время он превозносил «Заратустру» Ницше как священную книгу, заучивал наизусть, словно молитвы, ее страницы. И уже в ту пору он почувствовал вдруг, что, по сути дела, не видит различия между своим эсерством и воззрениями иттифакистов, которых прежде поносил... Стало казаться, что это одно и то же. Герей Султан, бывало, нападал на них, говоря:

«Вы, эсеры, созданы из левого ребра буржуазии... Вы — младшие братья буржуа!..»

Теперь эти слова вонзились в мозг Даута, словно железные шипы. «Значит, и вправду мы — левое ребро «Иттифака», его младшие братья?.. Отчего же мы тогда ругали их? Ругали в своей газете, специально ездили на ярмарки, на сборища дельцов, чтобы выступать против них!.. Хотя... родственники ведь тоже не обходятся без ссор!.. Неужели же к этому свелись все наши распри и мы в самом деле произросли из одного корня?! В таком случае, получается, что эти Фахри, Разия, Юсуфджан и откровенно примкнувшие к Нигмату-кази, к Кадыр-баю дворяне-меньшевики Усман Азаматов, Хайдар Акчулпанов — все они пошли по своему, неизбежному для них пути?..»

То, что Джихангир, который сидел здесь ошеломленный, словно человек, очнувшийся после долгого забытья, ушел молча, даже не простившись, сильно задело Даута. «Что я ему сделал,— возмущенно спрашивал себя Урманов,— отца у него зарезал, что ли... Слова не захотел вымолвить!»

Вот ушел и Ахтэм Тангатаров. Всегда трещавший точно сорока, сегодня он тоже прикусил язык... Однако в самом его молчании, даже в том, как он весь нахохлился, было что-то ироническое...

Оставшись один, Даут разделся, лег.

Сон у него был тревожный: он все строил мостик через какую-то реку, чтобы соединить вчерашнего Даута-эсера с завтрашним Даутом-иттифакистом... Потом этот узкий, легкий мостик сам стал превращаться в прочный мост... На противоположном берегу стояли Нигмат-кази, Кадырбай, Юсуфджан, Разия, Абызов. С этой стороны первым вступил на мост Усман Азаматов. За ним — Хайдар Акчулпанов, Фахри... Шатаясь из стороны в сторону, побрел по мосту и пьяный Хабиб Мансуров... «Подождите! И я с вами!..» — крикнул Даут и бросился вдогонку. Но едва не упал в воду: одна доска с грохотом провалилась у него под ногами...

Тут Даут и проснулся. Оказалось, в его номер кто-то громко стучался.

Он отпер дверь и впустил одетого по-дорожному учителя Бадри.

По-видимому, шел дождь: одежда на пришедшем вымокла, сапоги были забрызганы грязью.

— Ну, что ж ты делаешь, Даут, ведь мы же опаздываем! — с укоризной сказал Бадри.

Пошарив во внутренних карманах, он вытащил папиросу, закурил.

Бадри недавно пригласил Даута с собой в деревню. Даут еще не дал согласия, отвечал уклончиво: «Возможно, поеду, возможно, и нет...» Однако теперь, как только увидел Бадри, сразу решил: «Надо, надо ехать!.. Поскорее вырваться отсюда! Передохнуть, собраться с мыслями и с силами...»

Он оделся. Надо бы повидать Нэфисэ или хотя бы написать ей!.. Но времени уже не оставалось. А может быть, он почувствовал, что не так уж это необходимо для него?..

Они уложили вещи и, усевшись в добротный тарантас с парной упряжкой, покатили в деревню...

LXXXV

НАШЕЛ БЫ ВРЕМЯ, ЕСЛИ БЫ ЗАХОТЕЛ

Поминки начались со скандала.

Ахтэм Тангатаров пришел пьяный. Его помутневшие глаза еще с порога увидели беседовавшего с кем-то в стороне красивого студента. Хриплым голосом он воскликнул:

— Ба!.. Вот до чего дожили! Сюда и Акчулпанова пригласили?!

...Вначале намеревались справить поминки у Тангатарова. Но потом — под предлогом, что у него тесно,— по совету Фахри и Салимова собрались в квартире Усмана Азаматова. Пригласили молодежь — прежних «красных», видимо надеясь объясниться по некоторым вопросам...

Поднявшийся шум напугал устроителей. Акчулпанов, задетый за живое, бросился в переднюю, схватил свою студенческую фуражку, шинель с медными пуговицами и стал одеваться. К нему подбежал Усман:

— Нет, нельзя, нельзя, друг Хайдар!.. Он же пьяный!.. Будет очень куражиться, так я его самого выставлю! Давай раздевайся! — И принялся стягивать с него шинель.

Подошел Фахри и, петушась, размахивая руками, тоже стал уговаривать:

— Мало ли что на языке у хулигана!..

Тангатаров услышал и, вскипев, накинулся на Фахри:

— Кто хулиган? Ты или я? Кто ты такой? Вчерашний «красный приказчик»! Теперь завел себе лавку и сосешь кровь из своих приказчиков!.. Лижешь пятки Кадыр-баю и думаешь, что стал джентльменом? Эх ты, ренегат!..

Ссора грозила превратиться в скандал, но в это время отворились двери, и в зал вошла новая группа гостей. Возглавлявший их Салимов выкрикнул:

— Ну, джигиты, пьем нынче? В память Баязита пьем!

Среди вновь прибывших оказался и Нигмат-кази, только вчера приехавший из деревни. Товарищи не виделись с ним года три, и неожиданная эта встреча переключила и мысли и разговор на другое...

Он раздался еще больше, потучнел. Румяное лицо его стало еще полнее. В движениях, манере говорить, во взгляде, голосе — во всем чувствовались твердость, деятельная сила. Он, как всегда, улыбнулся во все лицо, пожал каждому руку, уселся, выбрав место получше.

Его засыпали вопросами, и не переставая гудел густой, мощный его бас. Нигмат-кази рассказывал о том, как на деньги отца поехал в город, где не было татар, и учился там русскому языку, как за два года сумел подготовиться и сдать экзамен на учителя. Было у него намерение учиться дальше, чтобы получить аттестат и пойти в университет, но прошлой осенью отец умер, и его вызвали в деревню — принять в свои руки хозяйство. В деревне он развил, оказывается, бурную деятельность. Стал и учителем, и пасечником, и торговцем, и землевладельцем. За одну зиму успел открыть — или подготовил к открытию — общество «Помощь», общественную лавку, общество пчеловодов, общество помощи учителям, благотворительное общество, мужскую и женскую школы...

Он рассказывал обо всем этом и похохатывал:

— Вот так! Открою общество и сам становлюсь председателем... Скоро мы по всему уезду джадидские школы пооткрываем! Только земство у нас очень консервативное, от государства ни копейки не можем получить. Все ложится на плечи народа... Но через несколько лет мы покроем школами весь уезд, а там я дотянусь и до губернии. Как налажу эти дела, перееду в город и здесь на акционерных началах организую издательство и назову его «Миллэт» [1]... Я думаю уже теперь заложить его основы. Деньги есть,

[1] Миллэт — нация.

желание есть, отчего же не потрудиться! По этому делу я и приехал.

Его, можно сказать, остановили силой: на столе появились тарелки, салфетки, вилки, ножи, выстроились блюда с капустой, огурцами, хлебом, уксус, соль. Посредине и на двух концах стола стояли большие миски с пельменями.

Усман, рассаживая гостей, взглянул на часы и подумал с горечью: «Людей много, а нужных нет!..» Булата он приглашал лично: «Поминки по Баязиту лишь повод, это для меня самое несущественное. Но я надеюсь, что удастся затронуть некоторые вопросы...» Перед тем как подавать на стол, Усман позвонил Булату по телефону. Ответила Нина: «К нам тут рабочие заходили... Булат эти дни все на заводе пропадает. Кажется, и сейчас туда пошел, точно не знаю. Когда вернется, передам...» Усман прикусил нижнюю губу. «Не хочет! Если бы захотел, нашел бы два часа времени...» — уязвленно подумал он.

Подойдя к пьяному Ахтэму Тангатарову, который, не вытерпев бахвальства Нигмата-кази, отошел в сторону и, злой, сидел, перелистывая альбом,— спросил у него о Дауте и Хабибе. Ахтэм сначала загорячился:

— Ты что двурушничаешь? Пришел Акчулпанов. Фахри пришел. И герой реакции, заживо сдирающий с крестьян шкуру, обогащающийся за их счет кулак Нигмат-кази тут как тут. Кого тебе еще надо? Только и остались иттифакист Ахмед Нури-эфенде и байский сынок Юсуфджан! Их тоже следовало пригласить, было бы полное сборище.

Потом все же объяснил поспокойнее:

— У Даута голова, кажется, кругом пошла, он смылся в деревню. Бунтарю Хабибу худо: видно, на его след напали. Он тоже куда-то исчез с глаз долой.

Однако опять не стерпел, глядя на сытое лицо, на дорогой галстук Азаматова, съязвил:

— Усман, который сказал «а», должен сказать и «б». Отчего ты не пригласил молодую бикэ Разню-ханум и фабриканта Абызова? Ведь это твоя нынешняя компания!

Усман, приписав все действию хмеля, не рассердился на Тангатарова. Взял его под руку, подвел к столу, за которым гости, стуча ножами и вилками, уже принялись за еду, и усадил рядом с собой.

Тангатарову первому пришла мысль о поминках. Но с той минуты, как Джихангир принес страшную весть, Ахтэм ни разу даже не произнес имени Баязита. Поэтому, когда Салимов сказал ему: «У тебя слишком тесно. И с едой будет трудно. Давай устроим у Усмана!» — у него точ-

но гора спала с плеч. Поначалу он было решил: «Пускай устраивают! Возможно, я и не пойду...» Все эти трое суток не пил. Он не мог справиться со своими сомнениями: «Как смогли установить?.. Откуда стало известно, что Баязит провокатор?.. Правда, Герей находится в той же тюрьме... Но он же не имеет доступа к тайным спискам охранки! Как он мог узнать?.. Но трудно и не верить ему! Он поддерживает связь с политической заключенной Зоей. Через нее и передал на волю. «Меня повесят. Сегодня или завтра — неизвестно. Я счел необходимым сообщить вам, пока жив. Он дал подписку в то время, когда попал по делу фидаистов. Получил деньги. Это установлено точно». На что, однако, опирается Герей Султан, говоря: «Установлено точно»?..»

Тангатаров мучился этим все трое суток. Самоубийство Баязита усугубляло подозрения. Рядом с вопросом: «Откуда узнал Герей?..» — неотступно маячил другой: «Отчего Баязит покончил с собой?..»

Оттого ли, что ему опостылела жизнь? Или оттого, что он продался охранке, предал революцию? Оттого, что предал товарищей, предал красное знамя, которое нес?.. Что же вынудило тебя повеситься, друг Баязит?.. Неужели это правда? Ты в самом деле был провокатором? Ты и в самом деле растоптал красное знамя? Ты продавал товарищей? Предал революцию, социализм? И повесился, не в силах перенести свою собственную подлость?..

Водка не помогала найти ответы на эти мучительные вопросы. Ахтэм вовсе потерял голову. Он так и не мог прийти к какому-либо выводу: виновен ли Баязит, был ли он провокатором, или это лишь черный навет на него?.. Только одно твердое решение принял Ахтэм: никому об этом не говорить. Но в то же время дал себе слово — на вечере у Усмана не произносить никаких речей в память Баязита! И нарочно еще сильнее напился, прежде чем явиться туда.

Как только на столе зазвеиели тарелки, застучали ложки, тут же рюмки наполнились водкой. Салимов подмигнул Тангатарову, давая понять, что он должен начинать. Но Ахтэм молчал. Усман тоже не торопился брать слово. Салимову же не терпелось выпить. Поскольку ораторов не нашлось, он просто сказал:

— Прожил с честью. Умер с честью. В буржуйские сани не сел. Давайте выпьем в память друга Баязита! — И, встав, поднял рюмку.

Все чокнулись и осушили свои рюмки.

Уж коли началось, Усман тоже не остался в стороне. Оказывается, он давно знал Баязита.

— Способный он был человек. Всю жизнь шел, протестуя, борясь против старого, против темной, затхлой жизни. Но цели своей не достиг. В тяжелой борьбе у него подломились крылья. Он потерял веру, надежду на светлое будущее. Это и привело его к трагическому концу...

Усман долго говорил о Баязите в этом же духе.

Акчулпанов, который сидел, почти не вмешиваясь в разговоры, поднялся и, не дожидаясь окончания трапезы, собрался уходить. Нигмат-кази и Фахри удерживали его:

— Ведь есть еще реферат Усмана... Как же ты уходишь?

Акчулпанов отмахнулся:

— Недавно у Кадыр-бая, после обеда со стариками, мы слушали этот реферат в кабинете у Юсуфджана. Я его полностью поддерживаю... Там был тогда и Тангатаров. Он еще все придирался!

Но его так и не пустили. Уговорили потерпеть всего полчаса...

...Возможно, реферат Усмана занял бы действительно всего минут тридцать, а если бы и понадобилось чуть больше времени, то лишь для спокойного, равнодушного обмена мнениями.

Но Тангатаров, основательно хлебнувший за столом, вдобавок к тому, что было уже выпито им сегодня, внес в споры такую резкость, что обсуждение реферата превратилось в яростную схватку враждующих сторон.

LXXXVI

РЕФЕРАТ

Еще до того, как все приготовились слушать, до того, как автор начал читать свой реферат, Ахтэм Тангатаров не преминул кольнуть его:

— Ну, товарищи! Послушаем, как вчерашний социалист, интернационалист призывает сегодня к черному национализму, к ренегатству! Поглядим, куда поворачивает оглобли наш Усман-мирза.

— Чего ты, Ахтэм? Не знаешь еще, что человек скажет, а уже заранее придираешься! — бросил укоризненно Нигмат.

— Как не знаю? Он уже пропел свой реферат в каби-

нете у байского отпрыска Юсуфджана. Только после того, как получил его санкцию, пришел к вам! Дипломат он — наш Усман-мирза Азаматов!

Усман, хотя и не любил, когда его называли мирзой, ничего не ответил, даже не обернулся. С пафосом стал он читать написанный по-русски большой свой реферат.

Начал, как было сказано в этом реферате, с уроков, которые следует извлечь из прошлых экспериментов. Дав анализ движения 1905—1907 годов, перешел к утверждению национализма, принялся перечислять меры, которые считал необходимыми для того, чтобы были сохранены «основы нации», единство тюрко-татарской «нации».

— Тюрко-татарская нация! Тюрко-татарская историческая литература!.. Тюрко-татарская музыка, тюрко-татарская женщина! — возглашал он, все больше вдохновляясь, став в позу заправского оратора.

Акчулпанов, несмотря на то что знал реферат, слушал со все возрастающим вниманием. Тучи, набежавшие на его лицо после разыгравшегося скандала, рассеялись. В глазах загорелись воинственные огоньки. Во время чтения он несколько раз выкрикивал с места:

— Правильно, правильно!

Фахри поддакивал ему. Салимов же прятал в усах мефистофельскую усмешку.

Зато Нигмат-кази буквально ликовал. Он совсем уже воспрянул духом и думал: «Этот Усман в то время в городском театре на собрании мусульман, когда готовили выборы в думу, отравлял нацию ядом своих красных социалистических бредней... Когда обсуждали для литературного вечера «Башкирку Гюльбикэ» Сахиба-певца, этот же социалист-дворянин Усман Азаматов обрушил на нас свои едкие тирады... Но история работает на нас, наша позиция берет верх!»

Хотя в душе он и считал неуместным сейчас откровенно высказывать такие мысли, однако промолчать не смог. Раскрасневшийся, с заблестевшими радостью глазами, он вскочил, прошел, бесцеремонно расталкивая гостей, к Усману, долго жал ему руку, потом, совсем расчувствовавшись, обнял его, поцеловал.

— Я,— сказал он взволнованным голосом,— безмерно счастлив сегодня, друзья! В пору волнений пятого года, когда тюрко-татарская молодежь, одурманенная красной модой, подражательством, отступилась от своей нации, топтала ногами национальные интересы, мы были одиноки. Слова «нация», «националист» считались тогда реакцион-

ными, позорными. Теперь истина восторжествовала. Наши вчерашние красные противники — одурманенная модой и подражательством молодежь наша нынче возвращается в лоно своей матери-нации. Это очень отрадно, это вселяет в нас большие надежды! Великая тюрко-татарская нация вернет себе былую свою славу! Реферат мирзы Усмана Азаматова — первая ласточка...

— Вчерашний социалист и черный националист целуются сегодня! Поздравляю тебя, Усман! — крикнул Тангатаров.

Его пытались остановить:

— Ты перебиваешь человека, это же неприлично!

Но удержать Тангатарова было уже нельзя.

— Вот, значит, как, мирза Усман!..— бросал он прямо в лицо Азаматову.— Рассказывали о тебе, что, поступая на службу в земство, ты обещал губернатору не принимать участия в политическом движении. «Не может быть, пустая сплетня!» — подумал я тогда. Рассказывали, что ты собираешься выкупить обратно тот дом, который в свое время продал и вырученные за него деньги отдал на нужды партии. Рассказывали, что ты с помощью Кадыр-баев, Юсуфджанов, Абызовых, Фахри намерен баллотироваться на предстоящих выборах в думу. И в это я не верил. «Не может быть, пустая сплетня!» — твердил я себе. Но вот теперь я убедился воочию и могу сказать: ты в полном смысле этого слова продал революцию, социализм, ты ренегат, предатель!.. Хотя чему же тут удивляться? Нечему. Ведь ты был меньшевиком, был дворянином-меньшевиком! И только потому, что не мог выскочить с меньшевистским своим знаменем, ты крутился около большевиков Булата и Герея. Чего же можно ожидать от подобных тебе меньшевиков! Ренегат, предатель! Иначе не скажешь!

Акчулпанов был окрылен тем, что большинство собравшихся склонялось на сторону Усмана. На слова Тангатарова разразился смехом и пустился иронизировать:

— Эх, Тангатар! Ты взгляни-ка в зеркало: кто ренегат-то? Не ты ли кричал всегда: «Да здравствует анархизм!» Что же ты сегодня-то переметнулся от анархизма к социализму?.. Разве это, по-твоему, не ренегатство?

— Нет! — Разъяренный Тангатаров вскочил.— Вовсе нет! Заявляю открыто: я ушел от анархизма. От анархизма, но отнюдь не от революции, не от социализма. Я не сел в буржуйские сани. Я не переметнулся, вроде вас, к черному национализму. В бурные годы, в годы революции, вы, скрыв свое меньшевистское лицо, примазались к Була-

там и Гереям. А сейчас, когда торжествует реакция, сколачиваете шайку вместе с Юсуфджанами, Нигматами и фабрикантом Абызовым?.. Почему сегодня нет здесь Булата? Почему здесь нет рабочего Габдуллы-абзы и Шакира-солдата? Да потому, что Булат не придет. Он не станет пачкать себя, встречаясь с подобными вам ренегатами! Его тянет к себе завод, а вас — хоромы Кадыр-бая. Ты, Хайдар, не петушись! Тангатар порвал с анархизмом. Но не для того, чтобы примкнуть к буржуазии. Я буду искать! Но мои искания выведут меня не на ту дорогу, которую указывает реферат Усмана, а к заводу, к фабрике и, может быть, к Булату и Гереям. Никогда не уподоблюсь я Усману-мирзе Азаматову...

Страсти бушевали. Акчулпанов с Нигматом-кази яростно наскакивали на Тангатарова. Ахтэм, выругавшись, отмахнулся от них обоих и снова накинулся на Усмана.

Тот, однако, был трезв, поэтому спор стал постепенно утрачивать остроту и перешел в легкую пикировку...

Несколько успокоившись, Тангатаров подошел к столу, взял стакан, отхлебнул остывшего чаю. Через головы сидящих крикнул Усману:

— Значит, прежнего социалиста Усмана уже нет? Значит, того Усмана, который собирал вместе с Булатами и Гереями армию борцов из рабочих и крестьян, чтобы уничтожить капитализм, уже нет теперь! Ведь так?

Усман удивительно спокойно ответил:

— Да. Значит, так!

Тангатаров впился в него взглядом.

— Где же тот Усман теперь?

— Где, говоришь?..

— Да.

— Он умер!

— Куда делись его идеи, классовые идеалы, красное знамя?

Усман горько рассмеялся и промолчал.

Тангатаров решил помочь ему:

— Значит, и это все кануло в Лету?

— Кануло, брат Ахтэм, кануло!

И революция, и социализм, и классовая борьба?

— Все.

— Кто же убил их? Кто их уничтожил?

— Это была всего лишь красивая иллюзия, рожденная весенней зарей. Это было лишь недолгое цветение юности. Все уничтожили не поддающиеся никаким иллюзиям темные силы жизни.

— И все ушло безвозвратно?
— Безвозвратно!
— Тьфу, предатель!..— Тангатаров с ожесточением плюнул в сторону Усмана и бросился вон из комнаты.

LXXXVII

НАМ НУЖНА ТОЛЬКО ПРАВДА

Ночь была светлая. Улыбаясь, плыла в небе полная луна. Сияли далекие звезды. Но Тангатаров ничего не видел — застегивая на ходу пальто, он спешил к Булату.

Кто это?.. Ему послышалось, что его окликнули, спросили.

— Булат! Ты?..

Он огляделся вокруг, однако никого не заметил. Только впереди, на углу, какой-то человек, нагнувшись, искал что-то на земле. Человек был в ушанке, в руке держал палку.

Ахтэм ускорил шаги. Было лишь одиннадцать часов. Если не окажется дома Зарифа, он повидается с Ниной: ведь они одного склада люди...

Раздумывая так, он дошел до перекрестка и уже хотел свернуть за угол, но тут машинально оглянулся и опять увидел того человека в ушанке. Да кто же это?.. Жулик? Поговаривали, что в таких темных переулках иногда раздевают людей. Тангатаров зашагал еще быстрее.

Вот он уже дошел до номеров, где жил Булат. Но что это: ушанка не отставала от него — вынырнула за ним изза угла и, увидев, что Ахтэм на этот раз замедлил шаги, отступила назад.

Нет, это никакой не жулик, и вовсе не пальто Тангатарова ему нужно... Конечно, это шпик, филер, решил Ахтэм и, не заходя к Булату, прошел мимо номеров.

Он вышел на центральную улицу. Полная нарядно одетых людей, эта улица была ярко освещена электрическими фонарями. По ней парами разгуливали красивые девушки, молодые люди, дамы с офицерами.

Надеясь, что удастся затеряться в людском водовороте и запутать следы. Тангатаров около получаса бродил в толпе гуляющих. Потом свернул в переулок. Увидел извозчика. Не торопясь сел в пролетку.

— К вокзалу!

Извозчик погнал лошадь.

Обернувшнсь, Тангатаров увндел ехавшего за ннм другого извозчика. В пролетке, чуть вндноясь, качалась шапка-ушанка.

Тангатарова разобрала злость: «Да провалнсь он совсем! Чего раднн буду я мучиться!» И тут же, не доехав до вокзала, он велел извозчнку поворачнвать обратно.

— Вези на улицу Чехова, дом сорок один!

Там он жнл, снимая маленькую отдельиую комиату.

Тень в шапке-ушанке в отдалеиии следовала за ним. Ахтэм умышленно долго расплачивался с нзвозчнком, все нскал мелочь... Он выжндал, не подойдет лн фнлер поблнже. Тогда он с презрением рассмеялся бы ему в лицо или прикинулся бы пьяным и дал ему по носу...

Но тот, соскочнв с пролеткн н внимательно взглянув на Тангатарова, на номер дома, пробежал дальше.

До снх пор Тангатарову не прнходилось замечать, чтобы за ннм следнли... Это был первый случай. Но кого выслеживает филер? Самого Тангатарова? Илн, может быть, хотят установнть, кто собирался у Усмаиа? Скорее всего так, ведь охранка настораживается даже при виде двух разговарнвающнх друг с другом людей. Тангатаров не испугался. «Пускай вынюхивают, пропади они пропадом!..» Поднявшись к себе, он улегся спать.

Сон то был или явь, ио, кажется, зазвенел колокольчик. В зале послышался топот множества ног...

Потом раздался стук совсем рядом. Ахтэм открыл глаза н увндел длнnную фигуру усатого пристава в фуражке с кокардой, с саблей на боку. С приставом былн двое жандармов. Где-то за их спинамн маячнли лица пьяннцы-сапожнника Федоровнча с ннжнего этажа и старого лавочннка Садыка. Этих двоих, по-вндимому, прнвелн как понятых.

Ахтэм жил студенческой жизнью. В комнате у него царил полный беспорядок. И обыскивать тут было нечего: кровать со старым одеялом н подушкой в грязной наволочке да два толстых учебника по анатомии и физнологии — вот и все имущество. После долгих понсков нашлн на голландке сверток с тремя книжками — Бакунина, Реклю и Кропоткина. Больше ничего в комнате не было: нн подозрнтельных писем, ни запнски илн телеграммы, нн газет, ни журналов,— только недопитая бутылка водкн н засохший, заплесневелый кусок хлеба. Красноносый жандарм раза два с сожаленнем остановнл взгляд на бутылке, как бы говоря: вот пропадет зря добро-то! Но пристав был человек новый, онн лншь второй раз шлн вместе на обыск,

и, не зная его характера, жандарм не осмелился произнести это вслух.

Порывшись в хламе и увязав маленький узелок, пристав дал Тангатарову подписать протокол, потом поднялся и сказал:

— Одевайтесь!

Под утро Тангатарова привели в пятый участок. Там он просидел до десяти часов, потом его отвели прямо в жандармерию — в охранку.

Старый полковник Герасимов так и не дождался юбилея по случаю своего шестидесятилетия и тридцатипятилетия безупречной службы в жандармерии... Провокатор Карачков, который в течение восьми лет состоял при нем личным тайным агентом, зарезал его ножом в городском саду среди бела дня. Самого Карачкова забрали в тот же день, а ночью в тюрьме он повесился...

Теперь вместо полковника Герасимова делами татарской молодежи занимался ротмистр Николаев, хмурый офицер с нависшими на глаза бровями.

Тангатарова провели в кабинет, где когда-то был учинен допрос Сахибу-певцу в связи с тем, что он размножил на гектографе свой рассказ «Башкирка Гюльбикэ». Хотя Тангатаров и находился в самой гуще революционных волнений, ему не довелось пройти конспиративную школу политических партий, его не учили, как держаться в случае ареста, как отвечать на допросах. Это немного беспокоило его сейчас. «Как бы охранка — будь она проклята! — не поймала меня в одну из своих коварных ловушек,— думал он, садясь на указанное ему жандармом место. И решил: — Никого не называть! На подозрительные вопросы не отвечать... Ну, бровастый, что ж, давай померяемся силами, поглядим, кто кого обыграет!..»

Николаев решил обмануть его напускной бесхитростностью. Не задавая никаких сложных вопросов, положил перед арестованным анкету, велел заполнить. Тангатаров пробежал анкету глазами и начал заполнять ее:

«Фамилия: Тангатаров. Имя: Ахтэм. Отчество: Шангереевич. Возраст: 28. Народность: татарин. Вероисповедание: вероисповедание родителей и предков — ислам. Сам атеист. Место рождения и жительства: Казань. На какие средства обучались? — Получал стипендию. В настоящее время зарабатываю сам уроками: учу татарских детей русскому языку. Экономическое положение родителей: отец был мелким чиновником. Умер, когда я был ребенком. Где обучались? — Был исключен из седьмого класса гимназии.

Экстерном получил аттестат, поступил на медицинский факультет университета. Бывали ли в иностранных государствах? — Нет. Привлекались ли к суду? — Нет. Членом какой партии являетесь? — Ни в каких политических партиях не состоял».

Поставил подпись: «Ахтэм Тангатаров. 1911, Казань».

Ротмистр прочел ответы и, вскинув тяжелые брови, как бы с удивлением уставился на Ахтэма. Потом тихим, спокойным, несколько глуховатым голосом сказал:

— Зачем пытаетесь скрывать? Говорите правду, вам же будет лучше.

— Как скрываю?

— «Ни в каких политических партиях не состоял»,— пишете вы. А в книгах, взятых у вас во время обыска, обнаружена прокламация. Да не один, а три экземпляра. Следовательно, вы сами ее писали и распространяли. Выходит, активно участвовали в анархистской организации.

Тангатаров задумался. Он вспомнил, что еще лет пять назад собирался сжечь эти злополучные прокламации, но забыл про них! А они, оказывается, лежали в книгах... Тут уж особенно лгать не приходилось.

— Я никогда не был членом какой-либо анархистской организации. Весь мой анархизм заключался в том, что я с удовольствием читал книги анархистов. Как-то на волжском пароходе я купил у книгоноши две книги Бакунина. С этими книгами, видно, прокламации и попали ко мне. Я их и в руки не брал. На что они мне нужны!..

Жандарм неожиданно перешел на другую тему:

— Как вы относитесь к сбору средств на турецкий флот?

Ахтэм еще не успел и ответить, а на него один за другим посыпались другие вопросы — о панисламизме, пантюркизме... К ним добавился еще один:

— Как вы смотрите на бытующую среди татар идею сепаратизма?

Не зная, что и отвечать на эти абсолютно не затрагивавшие его интересов, требовавшие пространных разъяснений вопросы, Тангатаров рассмеялся:

— Что я могу сказать! Я нигде, кроме университета и кабака, не бываю. Я даже и не разберусь в таких вопросах!

Ротмистр, покусывая губы, в упор смотрел на него:

— Не отпирайтесь... знаете, только пытаетесь скрыть! Однако я верю, что мы с вами сумеем понять друг друга. Вы обвиняетесь в том, что состоите активным членом организации, которая намерена силой оружия свергнуть существующий строй. Над вашей головой нависла сто вторая

статья. Если будет суд, вас ожидает крепость или ссылка в далекую Сибирь. Кроме того, лишение всех прав. Но я постараюсь не доводить до этого. Нам нужно совсем немного. Если вы сообщите правдивые сведения по ряду запутанных дел, я своей рукой отведу нависший над вами меч.

Он встал с кресла, и Тангатарова повели к выходу... От самых дверей ротмистр вернул его, усадил на прежнее место. И совсем по-дружески, точно речь шла о чем-то таком, что останется в полной тайне между ними двумя, тем же тихим голосом заговорил:

— Вы, конечно, знаете, что Герей Султан Кавказский является одним из восьми рабочих, которые попались с большевистской динамитной фабрикой. Он в наших руках. Он молодец, ничего не утаил. Но скрывает одно: кто остался атаманом в отряде боевиков после убитого Исрафилова — Галимов или Вахитов. Вот эту малость Герей пытается скрыть. Вы, наверное, знаете правду об этом?

Тангатаров снова не выдержал и расхохотался:

— Вы спрашиваете меня об удивительных вещах! Право, если бы я умер вчера, то ушел бы из жизни, ничего не зная... Ведь о динамитной фабрике большевиков я впервые слышу от вас. И меня поражает, что Герей Султан Кавказский мог участвовать в таком деле! Что у покойного Исрафилова был боевой отряд — тоже новость для меня. И мне никогда не пришло бы в голову, что Галимов или Вахитов смогут руководить отрядами!.. Пожалуйста, избавьте меня от подобных вопросов! Прикажите лучше отвести меня в камеру.

Его провели в соседнюю комнату и, сделав с него несколько снимков, отвели в тюрьму.

LXXXVIII

НО И ЭТО — НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ

Видно, закатилось весеннее солнце и поднялся ветер: громоздясь, словно горы белой ваты, стали надвигаться на город облака. Узник несколько минут недвижно стоял, глядя в маленькое, забранное железной решеткой окно, на эти клубившиеся по небу густые облака... Потом снял потертую студенческую шинель, форменную фуражку, повесил их на гвоздь и зашагал из конца в конец высокой камеры. В голове его была только одна мысль: «Как могут жить люди в этом каменном мешке?»

Так прошел вечер. Пришла ночь. Тяжелая, какой она может быть только в тюрьме, долгая, тянущаяся, точно год, темная ночь. За нею, словно стараясь пробудить бледными своими лучами надежду, засветилась заря. И вот на пыльных стеклах, на ржавой решетке тюремного окошка заиграл свет яркого весеннего солнца...

Потом снова сумерки. Опять заходит солнце. В последних его лучах вспыхивают, загораются облака. Горит, полыхает огненно-красная, багряная гряда. Горит и, медленно угасая, окутывается черной дымкой. На землю опускается ночь. Мир поглощает тьма.

Свой первый день и первую ночь в тюрьме Ахтэм Тангатаров провел, предавшись созерцанию сквозь железную решетку облаков на небе.

В следующий вечер, когда начал сгущаться тюремный мрак, Ахтэму показалось, что из соседней камеры осторожно постучали к нему. Но в коридоре у самой его двери с чем-то возился, время от времени покашливая, надзиратель. Наконец все затихло, шаги надзирателя отдалились. Тангатаров наклонился к стене и постучал:

— Кто ты?

Он долгое время жил вместе с Баязитом. Слушая бесконечные его рассказы о тюремных событиях, выучился у него и тюремной азбуке. Сегодня это пригодилось.

Однако разве разберешь сразу, кто стучит к нему. Баязит говорил, что нередко, имея дело с неопытными заключенными, в соседнюю камеру подсаживают агента охранки и переговорами через стену вытягивают у них все, что хотят узнать. Надо быть осторожным, чтобы не попасться на удочку. И вдруг Ахтэма словно что-то толкнуло в грудь. А сам Баязит? Что, если с ним случилось такое и он оказался в ловушке? Да, да! Конечно, так и было! Баязит покончил с собой оттого, что предательство было чуждо его натуре. Ахтэму сразу стало и легко и тяжело одновременно. Если бы он мог сейчас поделиться своей догадкой с теми, кто поверил в вину Баязита...

Тут опять послышался стук в стену.

Уже столько лет в этой тюрьме сидит Герей Султан... Его держат в оковах. Не удастся ли узнать хоть что-нибудь о его судьбе? И Ахтэм всякий раз, как только затихали шаги надзирателя, с надеждой приникал ухом к правой стене камеры.

Он не забывал, что надо быть осторожным. Особенно смущало его то, что соседу до мельчайших подробностей были известны события в тюрьме и на воле. Если верить

ему — взяли его по одному делу с Гереем, он близко знает и Зою Горбатову, и Колю, и Нину, работал вместе с Вахитовым в стачечном комитете. По его словам, он рабочий. В тюрьме второй раз. Впервые его якобы схватили во время воскресного столкновения у заводских ворот.

— Тогда нас, арестованных, было сорок человек вместе с Булатом,— рассказывал он.— Булата сослали на Енисей, он бежал оттуда, а меня выслали только в Пермскую губернию, в Шадринский уезд. В ссылке я пробыл два года. Сейчас попал сюда по доносу одного провокатора. Если выйду, задушу его собственными руками...

Откуда все-таки он столько знает?.. Или это в самом деле агент охранки, провокатор?..

Тангатаров пробовал стучать в другую камеру: вдруг найдется хотя бы кончик нити, чтобы начать распутывать клубок! Правда, этот сосед мог оказаться новичком, который не знает тюремной азбуки или не успел как следует научиться ей... И утром, и днем, и вечером по многу раз стучал Тангатаров в стену, однако ответа не дождался. Там царило глухое молчание. Не было даже беспорядочного, бессмысленного стука, который подтвердил бы, что по соседству есть живое существо. Будто все там вымерло.

Еще больше удивило Ахтэма то, что неожиданно умолкла и правая сторона. Что бы могло это значить?.. С нетерпением дожидался он, когда надзиратель отойдет подальше, и принимался выстукивать вопросы. В ответ не раздавалось ни звука теперь и отсюда. И в этой камере стояла мертвая тишина. Куда мог деться сосед? Перевели в другую камеру? Или же он действительно провокатор и, поскольку ничего выведать у Ахтэма не удалось, посчитали бесполезным держать его тут и убрали?

Могильная тишина словно тисками давила Ахтэма целые сутки. Опять он жил лишь созерцанием неба, луны, звезд, облаков, едва видневшихся в пропыленное, маленькое, точно фонарь под потолком, окошко.

Чу!.. Не стучат ли?.. Стукнул кто-то два раза и умолк... Вот, кажется, снова!.. Это сосед справа, уже ясно можно различить, что он передает.

«За стычку с начальником тюрьмы попал на сутки в карцер. Врагу не пожелаю: сыро, грязно... Ни света, ни кровати, ни даже стула. Беспросветная темень. Стены мокрые... Точно опустили тебя в колодец и прикрыли сверху камнем. Есть ничего, кроме куска хлеба и холодной воды, не давали. Если посидеть там подольше, непременно сой-

дешь с ума!.. Это какой-то ад — грязный, мерзкий, хлюпающий...»

У Ахтэма снова зашевелились подозрения: в карцере ли был этот человек? Или на воле — бегал в охранку? В голове мутилось. Уже не мог верить Ахтэм ни одному слову соседа, и перестукивание с ним теряло всякий смысл.

Но внезапно, в одну из минут, когда он сидел растерянный, расстроенный, заговорила левая стена.

Выстукивала явно опытная, умелая рука. У него даже не стали спрашивать, кто он, а сразу сказали:

— Ахтэм, ты? Я — Гриша!

Зная, что этим доверия еще не вызовешь, стучавший напомнил о маленькой тайне, которая была известна только им двоим: напомнил, как однажды, в годы озорной юности, переночевали они вдвоем у одной красивой татарочки. Тангатаров давно и позабыл про это. Конфузную ту историю они, разумеется, никому не рассказывали, и сейчас Гриша как нельзя кстати догадался вспомнить о ней: теперь-то у Ахтэма не оставалось никаких сомнений.

То, что по соседству с ним оказался Гриша, один из самых близких товарищей, сразу скрасило тюремную жизнь Ахтэма. Друзья пользовались теперь каждой выпадавшей минутой, чтобы перестукиваться. В свое время Тангатаров много читал Кропоткина. В своих воспоминаниях, относящихся к той поре, когда он сидел во французской тюрьме, Кропоткин рассказывал, как тайком от надзирателя, пользуясь тюремной азбукой, прочитал рабочему, который был заключен в одиночную камеру рядом с ним, лекцию о Парижской коммуне 1871 года. «Эту лекцию,— писал он,— я закончил в течение одной недели».

Конечно, до такой виртуозности Тангатарову было далеко, но все-таки он передавал и принимал довольно быстро. Ну, а уж о Грише и говорить не приходилось! Он, видимо, достиг того же совершенства, что в свое время Кропоткин... Выстукивал четко и быстро, а то, что передавал Ахтэм, схватывал на лету — после первых же букв в слове прерывал его стуком: «Понял, понял!..»

В последнее время участились случаи, когда заключенные выступали с коллективными протестами. Поэтому надзиратели, заглядывая чуть ли не ежеминутно в глазок, неусыпно следили за всеми. Тем не менее Гриша успел рассказать о нескольких событиях...

Зою Горбатову схватили в Саратове. Во время пересылки сюда ее в вагоне изнасиловал казачий караул. Истязали ее девятнадцать человек, заразили сифилисом... Здесь

ее держали в тюремной больнице, недавно перевели в этот корпус, в женскую половину. Дело ее обернулось скандалом, получившим широкую огласку не только в России, но и в Европе.

Закончив рассказ об этом, Гриша добавил:

— Со мною тоже сотворили изрядное бесчинство!

Оказывается, некоторое время назад, когда помощник начальника тюрьмы делал обход камер, Гриша не встал при его появлении. Не поднялся и после приказа встать, сославшись на боль в ноге. Помощник доложил о происшествии начальнику, и Гришу на три дня посадили в темный, сырой карцер на хлеб и воду. За буйное же поведение в карцере дали сорок плетей.

— Вся спина, все тело у меня,— передавал Гриша,— в гнойных ранах. Не могу ни лечь, ни сесть...

Он сразу же написал жалобу прокурору, но вот уже сколько дней ответа нет! Четвертый день Гриша ничего не ест, объявил голодовку.

— Я написал,— выстукивал он,— губернатору, что буду голодать двадцать дней. Если за это время не расследуют учиненное надо мной беззаконие, не накажут тех, кто приказал высечь меня, я вскрою себе вены.

Потом опять добавил:

— Но и это — не самое главное. Главное — со дня на день могут казнить Герея Султана...

LXXXIX

НАШ ДЕНЬ НАСТУПИТ ВНОВЬ!

Когда его выгнали в Казани с Алафузовской фабрики, он долго и тщетно искал работы и в конце концов вместе с женой Мэрьям и двумя детьми уехал в Баку.

Вернулся он сюда уже под чужим именем, с подложным паспортом, поэтому жену и детей пришлось оставить на Кавказе. Мэрьям устроилась там на фабрике Тагиева и могла как-то прокормить детей. Это несколько успокаивало Герея Султана в его раздумьях о судьбе семьи...

...Но вот сегодня, во время очередного свидания, старая его мать, сама того не ведая, снова разбередила ноющую в глубине его сердца рану.

Только вчера — в который уже раз! — он прогнал из своей камеры муллу, не перестававшего уговаривать его обратиться к царю с просьбой о помиловании. А сегодня мать

обхватила руками шею закованного в цепи сына и взмолилась, уповая на последнюю свою надежду.

— Сынок мой, я вырастила тебя в горе и слезах. И наглядеться-то не могла на тебя вдоволь,— задыхаясь от рыданий, причитала она.— Вся твоя жизнь прошла на заводах да в тюрьмах... Послушайся муллу! Говорят, царь милостив, он не оттолкнет протянутую к нему руку. Ведь даже бумагу заготовили! Что тебе стоит подписать ее. Пожалей же мать, которая из-за тебя глаза свои выплакала! Меня пожалей!.. Меня не жалеешь — так пожалей своих деток! У тебя есть сын — яблочко наливное, Ахмед твой. У тебя есть дочь — красивая, будто цветок весенний. У тебя есть молодая пригожая жена, готовая хоть в огонь и воду за тебя... Вчера письмо пришло от них. «Соскучились мы,— пишут бедненькие мои.— Соскучились и по отцу и по Казани. И по Волге соскучились...» Вот приедут они. А чем я утешу их? Чем осушу их слезы?.. Спросят они: «А папа где?..» Что я им скажу тогда, сынок мой?! — Старуха застонала и замерла на груди сына.

Герей не знал, как успокоить мать. Он и всегда-то был немногословен, а в это мгновение и вовсе не шли на ум слова — всем сердцем понял он, что уже ничто ее не утешит... Приведя ее в чувство, Герей с трудом проговорил:

— Мама... Не терзай мое сердце, мама! Думаешь, мне легко?..

Голос у него оборвался. Что-то подкатило к горлу, на глаза навернулись слезы. Никогда еще смерть не была от него так близко, никогда не ощущалось приближение ее так остро, как сейчас. Он вдруг почувствовал, что и в самом деле жизнь его подошла уже к своей грани, вот-вот оборвется...

Постояв секунду в оцепенении, он заговорил снова:

— Не будем плакать, мама! Ты иди. Детей поцелуешь за меня. Скажи Мэрьям: пусть не бьет Ахмеда, ведь у него часто болела голова.— Спазма снова перехватила дыхание. Больше Герей не произнес ни слова. Обнял старую мать, поцеловал.

— Время вышло! — возвестил караульный.

Двое стражников оторвали мать от сына и вывели из камеры.

Герей подождал, пока захлопнулась дверь, пока затихли в другом конце коридора шаги, и вынул изо рта маленький бумажный комочек. Став поближе к слабому свету, сочившемуся сквозь зарешеченное оконце, развернул бумажку.

В записке, переданной из губ в губы, когда мать, войдя

к сыну, поцеловала его, мелкими, но четкими буквами Булат писал:

«Герей! Мы, твои товарищи на воле, шлем тебе большой привет. Уже на исходе мрачные часы темной душной ночи. Оказывается, трудны только первые шаги побежденной армии. Пролетариат сделал передышку и уже набирает силы, расправляет крылья. Верь, друг, эти черные ночи не вечны, верь, не долго ждать — наш день наступит вновь! Будь твердым. Не думай, что ты одинок: и помыслы и сердца всех твоих товарищей на воле — с тобой».

Словно не веря глазам, рассудку, узник прочитал записку еще раз. У него возникло такое ощущение, что он опять в кругу своих товарищей — в огне общей борьбы, в их строю, что тяжелые железные цепи, железные решетки, железная дверь, высокие и толстые каменные стены — все вдруг рухнуло, исчезло...

Он перечитывал и перечитывал записку, он уже знал ее наизусть, но, сколько ни читал, казалось ему, что и мозг и сердце еще не во всей полноте вобрали в себя глубокий смысл слов, написанных на этом маленьком клочке бумажки. Садился ли он на койку, шагал ли, гремя кандалами, из угла в угол — он не отрывал глаз от этих таких дорогих для него строк. Нет, то была не обычная записка. И слова в ней были — не просто слова. Для Герея, разлученного с волей, с товарищами, для узника Герея, который не сегодня-завтра ожидал смерти, они были маяками, зажженными на дорогах грядущей истории.

Нет, больше! Они распахнули перед ним огромные, необъятные просторы жизни — с грозовыми тучами, с полыхающими молниями, с громадами волн, гуляющих в разбуженном море... просторы жизни, полной борьбы и битв.

Да, именно так!.. Сегодня или завтра его повесят. Но казнью Герея враг не спасет себя. Погибнет Герей, но не революция. Революция не может не победить. Революция свершится! А если так — Герей тоже не исчезнет бесследно. В яростных волнах революции, которые сокрушат старый мир, вспыхнут алым светом и капли его крови. В рядах товарищей, которые пробьются к победе революции, будет шагать и он, Герей...

С этими мыслями встречал Герей приближение той черты, где смыкаются жизнь и смерть. Не различая, утро сейчас или вечер, он все ходил и ходил по камере — ходил до изнеможения. Потом, тяжело переводя от усталости дыхание, сел на край койки и, обхватив руками голову, снова погрузился в нелегкие свои размышления.

Время шло. Герей Султан сидел недвижно. Ему принесли еду. Он не притронулся к ней. У него что-то спросили — он не ответил, не поднял головы.

В девять часов вечера надзиратель крикнул в глазок:

— Пора ложиться! Прикрути фонарь!

Герей словно и не услышал его.

Так пришла черная ночь.

XC

«ТОВАРИЩИ!..»

Где-то пробило час ночи. На окутанную мглой тюрьму, казалось, опустилась полная тишина. А заключенные не могли уснуть... В женском отделении Зоя Горбатова вскочила вдруг с койки и тонкими длинными пальцами, горящими от нервного напряжения, принялась торопливо выстукивать в соседнюю камеру:

— Что бы это значило?.. У меня сердце сжимается от страха? Что-то надзиратели сегодня странно ведут себя...

— Ты думаешь, произойдет что-нибудь?..— тревожно откликнулись ей...

Тюрьма опять стихла. Но не успокоилась.

Где-то внизу как будто отворилась и снова захлопнулась массивная железная дверь. Потом все замолкло. Но через несколько мгновений в глухом безмолвии ночи гулко раздались шаги нескольких пар ног, поднимавшихся по узкой каменной лестнице. Уронили какую-то вещь: что-то загремело, и сдавленный, злой голос проговорил: «Иди как следует, болван!..» Шаги приближались. Вот они уже здесь, наверху, направляются к северной стороне коридора, где находится секретное отделение. Чей-то сиплый, приглушенный голос спросил: «Где?»

Зоя Горбатова, которая все ночи напролет металась словно в нервной горячке, снова вскочила и, босая, растрепанная, кинулась к железной двери. Изо всех сил толкнула маленькой рукой заслонку глазка. Та не поддалась... Из коридора, где уже явственно слышен был топот сапог, прорычал надзиратель:

— Тебе что?.. Еще надо?..

Этот окрик взбудоражил всю тюрьму. Заключенные повскакали со своих мест и неистово заколотили руками и ногами по кованым дверям камер. Точно взбесившиеся в

клетках звери, они сотрясали тюрьму отчаянным стуком, наполнили ее невообразимым шумом, криками, воем.

Из коридора секретного отделения доносились едва сдерживаемые раздраженные голоса, торопливые шаги, послышался шум борьбы, какой-то возни... Внезапно резкий выкрик словно срезал многоголосый гул, перекатывавшийся под сводами камер и коридоров:

— Товарищи!..— и тут же оборвался. Видно, сдавили горло, заткнули рот.

Но человек вырвался и еще раз крикнул:

— Товарищи!.. Меня...— Сильный голос эхом отдался в коридоре, в камерах, на лестнице и снова оборвался...

Так повели Герея на казнь. Ни окрики, ни угрозы — ничто не могло теперь удержать заключенных. Во всех камерах — в едином, мощном порыве — поднялась песня:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Этой гремевшей в каменных стенах песней старая тюрьма проводила свою жертву.

XCI

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

После долгих переходов по коридорам и спусков по узким темным лестницам его ввели в низкое, мрачное помещение.

Под потолком висел фонарь. В глубине рассеянной группой стояли в напряженном ожидании несколько человек. Крупного сложения белобородый прокурор, в военном мундире со множеством медалей на груди, сразу отвел от узника глаза. Ротмистр Николаев только раз пристально посмотрел сквозь очки — и опустил взгляд. Находились тут еще два офицера. Один из них никак не мог стряхнуть с себя дремоту и зевал, широко раскрывая большой рот. Другой, помоложе, явно не находил себе места, но перед старшими старался принять хладнокровный вид. В стороне от всех, в одиночестве, с кораном под мышкой, стоял в чалме и чапане мулла с длинной седой бородой.

Но глаза Герея, как только он вошел, остановились не на них, а на длинном худом человеке с большими красными руками.

«Зачем он здесь?.. Значит, верно! Эта собака в самом деле палач!..» — мелькнуло в голове Герея.

Среди политических заключенных давно уже возникло подозрение, что арестант Тарбашев, который из-за наследства убил двух своих сестер и был приговорен к двадцати годам каторги, исполняет «обязанности» палача. Прежде он содержался в Томской тюрьме, а как раз после того, как здешний палач Трегубов сошел с ума и перерезал себе стеклом горло, Тарбашева привезли сюда... Говорили, что за каждого повешенного политического ему сокращают год наказания, что водки дают столько, сколько тому заблагорассудится...

Когда Герей увидел неподалеку от офицеров и жандарма этого заключенного с плеткой-свинчаткой в руке, его сразу пронзила мысль: «Сообщить бы товарищам, тем, кто остается!..» Он понимал, что теперь думать об этом бессмысленно, но даже когда палач, вывернув назад, связывал ему руки, эта мысль неотступно сверлила его мозг.

Старый прокурор, который привык с одного взгляда угадывать психологическое состояние узника перед казнью, заметил, что Герей занят своими мыслями. И сразу почувствовал облегчение: ведь всякое может произойти, политические тоже разные бывают, некоторые до последнего вздоха норовят портить тебе кровь.

Бывало и такое, как вот недавно случилось, еще до того, как зарезался палач Трегубов. Вешали сразу шесть человек, четверых казнили спокойно, благополучно, но один как увидел палача, веревку, виселицу, бросился прокурору в ноги:

— Не вешайте меня, господин прокурор! У меня ребенок, мать. Ради них смилуйтесь! Я буду вечным рабом государя!..— Он кричал, плакал, точно безумный.

Палач хотел оттащить, поднять его, но он как обхватил прокурору ноги, так и не встал — не дождался виселицы, умер от разрыва сердца.

Это уже было нарушением установленного порядка. А шестым из приговоренных оказался седобородый, среднего роста рабочий Назаров, с суровыми глазами и злым языком. С той минуты, как его ввели вот в это помещение с низкими сводами, и до последнего вздоха Назаров не переставал ругаться. Он глумился над богом, царем и жандармами и над самим прокурором. Даже когда затягивали петлю на его шее, он сквозь подступивший к горлу хрип кричал:

— Ты, старый упырь, не хвастай своим палачом! Придет день, тебя самого вздернут на первом уличном столбе, упырь старый!

Прокурор был глубоко уязвлен тем, что ему в присутствии караульиых солдат и молодых офицеров пришлось выслушивать унизительные оскорбления.

Поэтому сегодня ои намеревался послать вместо себя своего помощника. Да тот, к иесчастью, оказался больным, и вот пришлось все-таки самому явиться иа казнь. В душе он все время тревожился, как бы не разыгралось что-нибудь вроде той неприятиой истории с Назаровым. Потому-то, увидев, что Герей Султан весь поглощен сосредоточенным раздумьем о чем-то, несколько успокоился. А уж когда молодой офицер огласил приговор суда и лицо осужденного даже при этом осталось невозмутимым, как у каменного изваяния, прокурор обрел полный душевный покой.

Через множество коридоров и железных дверей Герея провели на окруженную высокими кирпичными стенами площадку, где его ожидала виселица. Прокурор сделал знак мулле. Тот, растерянно перекладывая коран из одной руки в другую, подошел к Герею.

— «Милости аллаха иет предела»,— говорится в коране,— начал он робким, дрожащим голосом.— Покайся! Помолись. Перед лицом смерти испроси прощения грехов своих. Аллах милостив!

Герей Султаи поморщился и отвернулся от муллы.

— Я не совершал таких грехов, чтобы каяться перед тобой! — отрезал он.

Мулла стоял, не зная, как ему быть. Прокурор выжидающе смотрел иа него.

— Ни хучит! — на ломаном русском языке сказал мулла, оторопело глядя мигающими глазками то на жандарма, то на палача.

Палач, который во время короткого разговора муллы с осужденным успел подготовить все для казни, вдруг быстрым движением набросил на Герея через голову смертный мешок и тут же накинул петлю. Молодой офицер, не выдержав, отвернулся. Прокурор же, словно надзирая за точным выполиением правил казни, неотрывно смотрел на палача, на неуклюже дергавшееся в мешке живое тело, на петлю на его шее. Палач потяиул за конец веревки, закрепил его и резким ударом вышиб из-под иог Герея подставку.

Герей повис под перекладиной, закачался между двух столбов и захрипел. Хрип и клокотанье в его горле усиливались. Страшный этот хрип отдавался в мозгу, в сердце, вселял леденящий ужас, заполнил все пространство между высокими стенами... У прокурора потемнело в глазах.

— Прекрати возню, болван! Не то велю самого вздернуть! — заорал он на палача.

Тарбашев обхватил длинными руками корчившееся в судорогах тело и изо всей силы потянул его вниз. Тело дернулось еще несколько раз, жизнь еще пыталась удержаться, но с последним хрипом угасла.

Так наступила смерть.

. . . .

Далеко, у горизонта, алой полоской прочертилась заря. Яркое, ослепительное, всходило солнце. Рождался один из прекрасных сияющих дней весны...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГАЛИМДЖАН ГИРФАНОВИЧ ИБРАГИМОВ

★

НАШИ ДНИ

Роман

Редактор Е. Корнеева
Художник Л. Чернышев
Художественный редактор Е. Андреева
Технический редактор Л. Дунаева
Корректор В. Дробышева

ИБ № 2902

Сдано в набор 12.10.82. Подписано к печати 14.12.82. А13097. Формат $84\times108/_{32}$. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 22,85. Тираж 100 000 экз. Заказ № 80. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
121351 Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Отпечатано с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28 на книжной фабрике № 1. Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25

ИБРАГИМОВ